

К Станислову



Константин Михайлович Станюкович

**Том 6. Вокруг света на
«Коршуне»**

(Собрание сочинений в десяти томах #6)

Константин Михайлович Станюкович — талантливый и умный, хорошо знающий жизнь и удивительно работоспособный писатель, создал множество произведений, среди которых романы, повести и пьесы, отличительные очерки и новеллы. Произведения его отличаются высоким гражданским чувством, прямо и остро решают вопросы морали, порядочности, честности, принципиальности.

В шестой том вошел рассказ «Кириллыч» и роман «Вокруг света на „Коршуне“».

<http://ruslit.traumlibrary.net>

Содержание

Кириллыч	0005
Вокруг света на «Коршуне»0050
Часть первая	0050
Часть вторая	0513

**Константин Михайлович
Станюкович
Собрание сочинений в
десяти томах
Том 6. Вокруг света на
«Коршуне»**

Кириллыч

I

Несколько лет тому назад мне пришлось гостить у одних знакомых на хуторе в степной части Крыма.

На этом хуторе, в числе работников, жил старый отставной матрос прежнего Черноморского флота Кириллыч. Он пробыл на службе лет двадцать и, как скромно выражался, «кое-что и повидал на своем веку». Он и «принял» немало линьков и «бою» от начальства, и с «черкесом» воевал во время крейсерств у Абхазских берегов тогда еще непокоренного Кавказа, он и с «туркой дрался» в Синопском сражении, бывши сигнальщиком на том самом корабле, где имел свой флаг адмирал Нахимов, и затем, во время осады Севастополя, безотлучно пробыл шесть месяцев на знаменитом четвертом бастионе, пока ядро не раздробило ему левую ногу.

Несмотря на свои семьдесят с лишком лет, этот маленький старикашка с седой, коротко остриженной головой, с выбритыми морщинистыми и побуревшими от загара щеками и

щетинкой колючих седых усов глядел молодцом. Почти все зубы у него были целы и зрение чудесное. Только глуховат был на одно ухо — от бомбардировки оглох, по его словам.

Он бодро и скоро ковылял на своей деревяшке и добросовестно исполнял обязанности караульщика большой бахчи, когда попевали арбузы и дыни, и сторожа при хуторе зимой, когда уезжали господа.

Я любил навещать Кириллыча в его владениях, любил беседовать с ним и, главное, слушать его рассказы, полные интереса и того наивного юмора, которым отличается русский человек даже и тогда, когда рассказывает далеко не веселые вещи.

Как и большая часть стариков, он охотно вспоминал прошлое и, по-видимому, рад был моим визитам, тем более что я иногда баловал старика — приносил ему небольшую склянку водки, до которой Кириллыч был большой охотник.

Бывало, на зорьке, когда еще солнце не поднималось и воздух был полон острой, бодрящей свежести, или перед вечером, когда спадала томительная жара, я пробирался

между гряд бахчи к караулке Кириллыча, сделанной из жердей, покрытых рогожками. Она стояла посредине бахчи, и оттуда Кириллыч озира́л свои владения, карауля вместе с маленькой черной лохматой собачонкой Цыганкой вверенную его надзору бахчу. Птиц он отгонял трещоткой, а людей, которые покушались в неумеренном количестве воровать арбузы и дыни, огорашивал страшною руганью и, в случае чего, стращал ружьишком, заряженным дробью. Взять арбуз один-другой он никому не отказывал — ешь, мол, с богом! Но наполнять мешки чужим добром не позволял и таких воров преследовал немилосердно.

Обыкновенно лохматая Цыганка выбегала ко мне навстречу, заливаясь неистовым лаем, но, распознав знакомого человека, смолкала и, весело виляя хвостом, возвращалась к караулке и свертывалась у входа калачиком. По утрам я почти всегда заставал Кириллыча или за бритьем, или только что окончившим эту операцию. Брился он тем самым ножом, которым резал и хлеб, потрясь в маленький осколок зеркальца, и хотя бритье таким способом едва ли было особенно приятно, тем не

менее Кириллыч стоически переносил пытку и тщательно выскабливал свои щеки по привычке хорошо вымуштрованного матроса николаевского времени.

В караулке Кириллыча было чисто и опрятно и все прибрано к месту, словно бы в корабельной каюте. Земля была устлана рогожками. Широкий деревянный обрубок служил столом, а другой — поменьше — стулом. На полке, укрепленной бечевками, в порядке расставлена была посуда: котелок, медный чайник, деревянная чашка, ведерко и две кружки. Коврига черного хлеба, обернутая чистой тряпицей, и помадная банка с солью стояли тут же. В переднем углу висел крошечный образок, а у изголовья постели Кириллыча стояло одноствольное ружье, и кое-какие принадлежности костюма висели на гвоздиках. Постель Кириллыча состояла из бараньего тулупа шерстью вверх, на котором была подушка в ситцевой наволоке. Спал Кириллыч всегда на меху, чтобы не ужалила проклятая «таранта», как называл старик тарантулов, которые боятся бараньего запаха. Однако, на всякий случай, он держал скляночку

с настоящим спирта на этом самом насекомом. Татары научили его этому средству против укуса тарантула.

Днем, во время жары, Кириллыч ходил в одной рубахе и исподних, в татарских башмаках на босу ногу и в матросской старой шапке на голове, а когда наступала ночная свежесть, надевал куцее затасканное пальтишко и в таком виде сиживал перед караулкой, наслаждаясь вечерней прохладой и поглядывая на высокое бархатное небо, усеянное звездами. Рядом с ним дремала чуткая Цыганка, пробуждавшаяся при малейшем подозрительном шорохе.

Нередко в такие чудные вечера сиживали мы вместе с Кириллычем. Обыкновенно, как только я заходил к нему, он предлагал мне кавуна или дыньки, и я, по его примеру, ел чудный арбуз, закусывая его черным хлебом, круто посыпанным крупной солью.

Среди торжественной тишины вечера Кириллыч, бывало, рассказывал, понижая голос, о прежней службе с ее строгостями и муштрой, о начальниках, о черкесе, о турке, о французе и особенно любил вспоминать о

том, как сам Павел Степаныч Нахимов (царство ему небесное!) повесил ему на бастионе «егория».

В рассказах Кириллыча покойный адмирал являлся легендарным героем, чуждым каких бы то ни было недостатков, и был единственным начальником, о котором старый матрос не обмолвился каким-нибудь критическим замечанием. И когда я спросил, порол ли Нахимов так же жестоко, как и другие черноморцы того времени, то Кириллыч даже с сердцем воскликнул:

— Ну так что же! И порол ежели, то правильно, за дело, вашескобродие!.. А другие так вовсе без рассудка, по бешености... Одно слово... никому не сравняться с покойным Нахимовым. Во всех статьях, можно сказать, начальник был!..

О себе и о своих подвигах — а о них я слышал от одного старого моряка-севастопольца, приехавшего на хутор, — Кириллыч никогда не говорил, вероятно, и сам не подозревая, что броситься в пороховой погреб и вынуть из вертящейся бомбы горящую трубку — не совсем обыкновенное дело для человека, и ко-

гда я спросил его об этом обстоятельстве, то он просто, словно бы не придавая своему поведению ни малейшего значения, ответил:

— Точно, было такое дело. Вижу, подлая, пробил пороховой погреб, я и за ей. Думаю: беда будет, как взорвет... Народу-то сколько пропадет!

— Да ведь вы могли первый погибнуть, Кириллыч?

— Пожалуй, что и так, — простодушно промолвил Кириллыч и, пыхнув острым дымком махорки из своей коротенькой трубочки, прибавил: — Однако господь вызволил. Только руки себе спалил.

— А вот как ноги решили, так вовсе страшно стало, вашескобродие! — проговорил после паузы Кириллыч.

— Отчего страшно?

— Главная причина оттого, вашескобродие, что думал я тогда: пропасть мне без ноги. Как прокормиться с одной ногой-то? Пенсия за ногу, сказывали, маленький, на его не пропитаешься, а подаянием кормиться тоже как быдто зазорно матросу с «егорием». И докладывал я в те поры дохтуру: «Нельзя ли, мол,

вашескобродие, оставить как-нибудь при ноге?» Не согласился. «Никак, говорит, невозможно. Ежели, говорит, не отрезать — умрешь!» Ну, так и отрезали.

— И не пропали вы без ноги, Кириллыч?

— То-то не пропал, вашескобродие! — усмехнулся старик. — Сперва, после замирения, как вышла мне чистая, жил я в Севастополе яличником, перевозил, значит, через бухту народ, который вернулся в город. Ну, и которые приезжие были, чтобы на Севастополь полюбопытствовать... Те, бывало, и полтину за перевоз давали... А после вот по хуторам пошел, потому люблю я, вашескобродие, вольный воздух. Спасибо добрым людям, не брезговают старым анвалидом... Небось и деревянная нога службу справляет! — не без некоторой гордости говорил Кириллыч, хлопая по деревяшке и, по-видимому, вполне довольный, что после двадцатипятилетней службы, геройских подвигов и потери ноги он не «пропал вовсе», а вел полунищенское существование. — Вот только отрезанная нога иной раз оказывает, вашескобродие! — прибавил Кириллыч.

— А что, болит?

— Ненастьем, значит, ломоту дает... А то, нечего бога гневить, сух я из себя, а нутренность вся здоровая, даром что за седьмой десяток перевалило. Паек-то уж давно мне на том свете по положению идет, а господь, видно, не пускает. «Живи, говорит, старик, пока кости носят». Я вот и живу!

II

Однажды, в один из прелестных в Крыму августовских вечеров, старик как-то особенно оживленно рассказывал про бомбардировку Севастополя, про вылазки по ночам, про пленных, про штурм, когда его «шарахнуло» в ногу ядром, и, окончив свой рассказ, совершенно неожиданно прибавил:

— А все-таки ни в жизнь не взять бы французу Севастополя, вашескобродие, хотя у француза и штуцера были!..

— Однако же взяли...

— А почему взяли, как вы полагаете?

— Да потому, что сила была на стороне неприятеля.

— Си-ла? — иронически протянул Кириллыч. — А я по своему глупому рассудку так

полагаю, что господь уж заранее определил наказать Севастополь. Потому и взяли.

— Наказать? За что? — удивленно спросил я.

— А за те самые грехи, за которые бог наказал Содом-Гоморру! — горячо проговорил Кириллыч, соединяя оба города в один. — Потому, доложу вам, вашескобродие, слишком уж распутно по части женского пола жили в Севастополе. Вовсе забыли бога. Так в грехах, примерно сказать, и купались. Какая своя жена, какая чужая — не разбирали. После, мол, разборка будет. Господа пример показывали, а за ими и наш брат, простой человек... У всех, почитай, полюбовницы были от женок... Ну, и те не зевали. И такой вроде быдто содом-гоморр шел, что страсть!.. А бог смотрел-смотрел, терпел-терпел и под конец не стерпел. «Надо, говорит, разорить Севастополь, чтобы, мол, камня на камне не осталось!..» И в те поры императору Николаю Павловичу отколе ни возьмись вдруг объявился во дворце монах и прямо в кабинет царский. «Так, мол, и так, ваше императорское величество, дозвоьте слово сказать». Дозволил. «Го-

вори, мол, свое слово». А монах лепортует: «Хотя, говорит, ваше величество, матросики и солдатики присягу исполняют, как следовало, по совести, но только Севастополю не удержаться по той самой причине, говорит, что господь очень сердит, что все его, батюшку, забыли. И для примера попомните, говорит, мое слово: француз победит. И тогда, говорит, ваше императорское величество, беспременно прикажите вашему сыну, чтобы распутство и жестокость начальства повелел искоренить и чтобы хрестьянам объявить волю. А ежели, говорит, ваше величество, этого не накажете сыну, то вовсе матушка-Россия пропадет и всякий будет иметь над ней одоление». Император слушал, как монах дерзничал, да как крикнет, чтобы монаха тую ж минуту забрить в солдаты. Прибежали на крик генералы, а монаха и след простыл. Нет его... Точно сквозь землю провалился... А вскорости после того император и умер, потому не стерпел, что русскую державу и француз одолел. То-то оно и есть! Вот самая причина, почему француз взял Севастополь и после замирения вышла воля! — закончил Кириллыч.

Мне и раньше доводилось слышать от стариков матросов, что Севастополь разорен за грехи, но черноморцы говорили об этом далеко не в такой категорической форме и не с тою глубокою убежденностью, какою звучали слова Кириллыча. Что же касается до появления какого-то монаха и связи падения Севастополя с освобождением крестьян, то едва ли в данном случае Кириллыч не приурочил разные слухи, ходившие в народе перед войной, к собственным своим желанием, угадав чутьем значение Крымской войны.

— Уж разве такие грешники жили в Севастополе? — спросил я Кириллыча.

— То-то совсем срамота была... Все: и старые и малые на баб льстились.

— И жестокие начальники, как вы говорите, были?

— Такие, можно сказать, отчаянные в жестокости, что и объяснить трудно... а вместе с тем жестокий-жестокий — убить, кажется, не жалко его — матроса казнил без всякой отдышки, а заботу об ем по-своему имел... Поди ж ты, какие люди бывают! — в каком-то философском раздумье прибавил Кириллыч.

— Кто ж у вас такой был?

— Много их было, но только страшной Сбойникова не было. Может, слыхали про капитана первого ранга Сбойникова?

— Слыхал по фамилии... Он был убит в Севастополе. И говорили, будто своими.

— Он самый и есть... Очень мудреный был человек...

— Вы расскажите про него, Кириллыч...

— Да уж что худое говорить про покойника...

— Да вы не в осуждение...

Кириллыч примолк, и показалось мне в полутьме сумерек, будто бы мрачная тень пробежала по его добродушному лицу от нахлынувших воспоминаний.

Он подавил вздох и, решительно сплюнув, начал:

III

— Его матросы так и звали «генерал-арестантом» за его жестокость. Другого названия ему не было. Генерал-арестант да генерал-арестант!.. Сказывали, будто в балтинском флоте был такой же мучитель и было ему такое же прозвище, только вряд ли балтийский был та-

кой лютой, как наш! Его, бывало, всегда назначали командиром на то судно, где какая ни на есть по службе неисправка была. «Он, мол, собака, подтянет, приведет, можно сказать, до самой точки...» А служба, вашескобродие, в Черном море тогда строгая была... тяжкая... Двоих, примерно, до неспособности от линьков доводили, зато третий, который ежели здоровье имел, вроде дьявола по матросской части был... изо всех сил, значит, старался и службу свою справлял... Не то шкуру небось спустят за всякую малость. Тогда шкуры-то нашей нисколько не жалели, вроде будто по турецкому барабану били, не то что теперь, когда матросу права дадены... Тогда, вашескобродие, случалось и до смерти запарывали... Иди на том свете к господу богу с лепортом... а что которых малосильных в чихотку вганивали — про то опять-таки один господь знал. Такое уж положение в Черноморском флоте было, чтобы матрос был обучен как следует... И ни тебе ни суда, ни расправы матросику. Сунься-ка жаловаться? Узнаешь, как сквозь строй гоняют! И все господа по такому положению словно озверелые

какие-то были. Другой мичман приедет из обучения добрый да жалостливый, из лица бледнеет, как по субботам на баке стон стоном идет, а как прослужит год-другой, смотришь — и сам так и чешет в ухо да приказывает боцманам матросу шкуру снять... Привыкает... А надо вам сказать, что этот самый генерал-арестант по службе первый, почитай, капитан был. По всем частям дока... Ни один боцман его не проведет... А уж управлялся судном — одно слово... И у его на судах первая по всему флоту команда была... Их и звали чертями... Так вот как назначат Сбойникова на новое судно, он сейчас явится на корабль... команду во фронт — и к им... А сам он из себя был небольшой, коренастый, чернявый... Лицо точно у цыгана и глаза этакие пронзительные... Идет это спешно, ус дергает, поздоровкается как следовало и зыкнет: «Знаете, мол, такие-сякие, Сбойникова? Ежели, говорит, не знаете, то знайте, что я меньше трехсот линьков в кису не накладываю. Помните это и старайтесь!» А уж матросы и без того в тоске... Кто не знал генерал-арестанта?.. Слава богу!.. А все-таки как следовало, по всей форме в от-

вет: «Рады стараться, вашескобродие!» Еще бы не рады! Хорошо. Угостивши таким родом матросов — к офицерам на шканцах. «Так, мол, и так, господа офицеры, прошу служить как следовает, а не то не извольте пенять. Я, говорит, с позволения сказать, не... баба и бабства не потерплю... У меня, говорит, сейчас под суд... Пусть, говорит, начальство разбирает!» Нагнавши это страху на офицеров, он марш в каюту, а на другое утро ученье, а сам со склянкой стоит, минуты, значит, отсчитывает... И ежели на какой секунд заминка с парусами ли, по артиллерийскому ли учению, по пожарной ли тревоге — бывало, человек пятьдесят пошлет на бак... И слово свое держал, меньше трехсот не приказывал... И так, вашескобродие, каждый день терзал людей... Смотришь, бывало, как полосуют нашего брата безо всякой жалости, так ровно в глазах мутится. Так бы, кажется, и задушил этого дьявола... И был один такой матросик, что не стерпел... Кинулся на его с ножом.

— Что ж он?

— Отстранился вовремя... Догадался, значит, по глазам...

— Что же было матросу?

— А такое он объявил ему решение: «Хочешь ты, говорит, помереть или мало-мало идтить в вечную каторгу, так я тебя, такого-сякого, сей секунд отошлю на берег и отдам под суд, а не хочешь, так получи пятьсот линьков, и ничего, мол, я не видал... Подумай, говорит, пять минут и опосля приходи ко мне. Помирать тебе, говорит, дураку, рано, в каторге, братец, сгниешь, а шкура заживет...» Это он ему вдогонку.

— Ну, и что же выбрал матрос?

— Стал под линьки. Выдержал. А потом этого же самого матроса — как бы вы думали, вашескобродие? — Сбойников в унтерцеры произвел... И все от начальства тогда скрыл и строго-настрого приказал ничего не болтать... Тоже по-своему пожалел... Не хотел загубить человека и нож этот самый простил... Вот и поди ж ты. Зверь-зверь, а тут поступил правильно... И то надо сказать. Тиранить он тиранил, а насчет пищи первый командир был! У него ни левизор, ни баталер не смели, значит, обидеть матроса. Ни боже ни! Тут бы он не пожалел... И насчет обмундировки, чтобы

все матрос получал по положению... А на вино, ежели работали хорошо, так своих денег сколько тратил. Всей команде, бывало, от себя жаловал за каждый день... Небось денег стоит... Совсем чудной был. А непреклонности своей не смирял... Даже и когда француз пришел и многие офицеры притихли, — боялись, значит, — этот по-прежнему остался генерал-арестантом... Еще жесточей стал.

— Вы, Кириллыч, с ним служили?

— То-то служил, и он меня — по правде сказать — мало тиранил. Даже приверженность имел, — как-то смущенно прибавил Кириллыч. — В вестовые взял, а потом с четвертого бакстиона перевел к себе, состоять при нем, когда его назначили, значит, траншейным майором[1], на самую опасную должность... А вестовым я у его до войны два года прослужил... Тут-то я и пытался спознать его...

— И спознали?

— Никак не спознал... Не разобрать евойной души... когда в ей зверь, когда человек... Видно, такого бог уродил...

— А тяжело было служить вестовым?

— Вовсе даже было легко, потому Сбойников дома совсем легким человеком был...

— Как легким?

— А так, вспылит ежели, обругает или вдарит в зубы, только и всего... А чтобы тиранить ни боже ни. Это только он на корабле да на службе, а так, значит, при ем служить — одно только удивленье... Быдто даже и не генерал-арестант... Но только с любовницей своей — опять зверь зверем был... Трудно, вашескобродие, и поверить, что он с ей раз сделал...

— Из-за чего?

— Из-за ревности, вашескобродие. Ревнивый он был страсть и любил эту самую Машку. А была она матросская вдова, такая ядреная, здоровая баба... Одно слово — козырь... И молодая, лет двадцати... Пошла она к Сбойникову в любовницы из-за денег... ну и попомнила... каковы денежки, да шелковые платья, да скусная пицца...

— Что ж он сделал?

— А поймал он у нее как-то раз матросика своего же экипажа, да и велел ему эту Машку привязать косами к крюку на потолке... Мат-

росик не осмелился перечить, со страху исполнил приказание; тогда Сбойников велел ему уйти и сам вышел, да еще и двери запер... На рассвете эту Машку замертво сняли... слышали, как она криком кричала... Сломали двери... Видят обходные — висит человек и еле дышит... Доложили по начальству... Однако дело замяли... Тут вскорости и войну объявили... Не до того было!..

Кириллыч примолк и закурил трубочку.

— Экая благодать! — промолвил он, наслаждаясь вечером. — И подумаешь, какие злодеи были... И сколько горя терпели от их...

— Что ж, жива осталась Маша?

— Отлежалась...

— А Сбойников жалел ее?

— Еще как!.. Вы вот дальше послушайте, вашескобродие, какой это был человек... Дайте только передохнуть. И то быдто в горле пересохло.

IV

Кириллыч выкурил трубку, откашлялся и совсем тихо, словно бы боясь нарушить торжественную тишину чудного вечера, проговорил:

— Да, вашескобродие... Совсем чудной был этот самый генерал-арестант. И в вестовые-то он брал не так, как другие...

— А как?

— Другие которые командиры брали себе вестовых из слабосильных или неисправных по флотской части матросов, а он таких не брал... «Не стоит, говорит, таких подлецов к лодырству приучать». И меня он взял, вы думаете, по какой причине, вашескобродие.

— По какой?

— За мою флотскую отчаянность, вашескобродие.

— Как так?

— А так оно и было. Я, вашескобродие, отчаянным фор-марсовым считался. На нок ходил, значит, штык-болт вязал. Сами изволите понимать, вашескобродие, что на штык-болте не всякому справиться. Бежишь, бывало, по рее вроде быдто оголтелой собаки, как командуют паруса крепить или рифы брать. Долго ли при такой оголтелости сорваться.

— И срывались?

— А то как же! Срывались и насмерть расшибались о палубу, а то в море падали... Каж-

дое лето такие дела случались у Сбойникова. Он ведь, анафема, за каждый секунд промедления порол. Так небось каждый марсовой изо всей силы рвался, в бешенство, можно сказать, входил... Не о том думал, что упадет, а как бы ему шкуру не спустил Сбойников. Всякий, значит, его опасался. Он неисправки никогда не прощал. Что другое — пьянство или какую шкodu на берегу простит, а неисправку по флотской части — ни боже ни! По самой этой причине и старались.

— Не все же такие были, как Сбойников.

— Кто говорит... Этот был по жестокости первым во флоте, недаром ему и прозвище дали генерал-арестанта, — но только, ваше-скобродие, на всех судах без порки да без бою не выучивали. Такое, значит, было положение до войны... Ну, а после, когда император узнал, как матросики Севастополь отстаивали, другое положение определил... Теперь, сказывают, на флоте такого боя нет... Правда это, вашескобродие?

— Правда, Кириллыч, — отвечал я.

— То-то один унтерцер мне в Севастополе сказывал, что нет, и легче, мол, служить. И

корабли пошли другого фасона... Без мачт, а то и есть мачты, так только для виду: ни рей на их, ни парусов... Так всё паром ходят. Небось матросу теперь и упасть-то неоткуда-ва... Ходи себе по палубе... Но только, вашескобродие, неказисты эти нонешние корабли... Видел я их в Севастополе...

— Не понравились?

— Вовсе дрянь против прежних! — промолвил Кириллыч тоном полнейшего презрения. — Положим, теперь на их опаски меньше, а я так полагаю, что без опаски какой и матрос!.. Теперь он вроде солдата, значит... только так, зря матросом называется... А в старину мы настоящие матросы были... Бывало, бежишь по рее и вовсе забываешь, что упасть можешь. Таким родом и я чуть не убился, вашескобродие...

— Как так?

— Сорвался я в горячности с нока, да на лету уцепился как-то за шкаторину и повис... Чувствую, нет силы моей держаться... Еще секунд, и упаду на палубу... Вижу свою смерть... Но только спасибо этому самому генерал-арестанту — не допустил.

— Как не допустил? — удивился я.

— А голосом, вашескобродие.

— Голосом? — переспросил я, недоумевая.

— То-то голосом. Увидал он меня в таком виде на шкаторине, да как крикнет, дьявол, со всей мочи с мостика: «Насмерть запорю, такой-сякой, ежели, говорит, упадешь. Держись!» И так я испугался этого крика, что зубами вцепился в шкаторину... держусь. А тем временем конец подали с реи... И меня подняли... Не подбодри он тогда меня страхом — не жить! — прибавил Кириллыч.

Кириллыч выдержал паузу и продолжал:

— Как просвистал боцман «с марсов долой!» — велел меня позвать. Прибежал. А он стоит на мостике, ноги расставил, сам сторбимшись маленько, поглядел на меня своим пронзительным глазом и говорит: «Молодчина, Кириллов! Слушаешься своего командира, а то лежал бы ты, такой-сякой, с пробитой головой. Как это ты сорвался? По какой такой причине?» — «От горячности, вашескобродие», — докладываю. «А отчего, спрашивает, ты руки за пазуху спрятал?» — «Ногти, мол, сорваны и кровь, говорю, вашескобродие,

каплет, так чтобы не загадить палубы!» — «С рассудком ты, матрос. Ну, ступай, говорит, в лазарет... там тебе пальцы починят, а за меня, говорит, пей десять ден по чарке!»

— И долго вы возились с пальцами, Кириллыч?

— Так, неделю, должно быть, не мог справлять должности, а там опять на марс. Однако недолго мне пришлось служить на марсе. Вскорости после того назначил он меня вестовым, а бывшего своего опять сделал марсовым, да и в тот же день приказал отодрать.

— За что?

— А на марс бежал сзади всех... Отстал... Известно, в вестовых очижалел... А мне говорит: «Отдохни, подлец, при мне. Очень уж ты, такой-сякой, отчаянный, говорит, матрос... Будешь, говорит, вестовым, да смотри — не воображай о себе, что ты капитанский вестовой»...

— За что ж он вас ругал?

— У его, вашескобродие, без того, чтоб не загнуть дурного слова, не было и разговора. Только меня он ругал не от сердца, а, значит, одобрительно... Так я у его два года в весто-

вых и прослужил... Сперва боялся, а после — нисколько... Непривередливый был и взыску строгого не было... И редко-редко когда в горячности искровянит, да и то, как отойдет, повинится... «Извини, говорит, братец. Я, говорит, не в своем праве бить человека на берегу. Жалуйся на меня, если забижен!» И, бывало, карбованец даст... А жил он на берегу просто... Квартира у нас была небольшая — две комнаты да кухня... Только и всего работы, что содержи ее в чистоте, подай ему утром самовар да почисти сапоги и платье... И еще жалованье платил от себя — три рубля в месяц, а обедать я в казармы ходил... Сам он редко дома сидел... Чай отопьет и ушел... Также на охоту часто ходил; бывало, осенью на несколько ден закатывался со своим «Шарманом» — пес легавый у его был... И горячий охотник был... Раз так и вlepил заряд дроби в ногу своему приятелю, капитан-лейтенанту Кувшинникову. «Зачем, мол, не в очередь стрелял»... Много, бывало, дичи нанесет и сейчас пошлет меня разносить по знакомым. «Кланяйся, мол, и скажи, что от Сбойникова». А дома не обедал. Больше все в клубе или где

у знакомых. Вернется, отдохнет час-другой, выпьет чаю, да и айда к своей душеньке.

— Это к той самой, с которой он потом так жестоко расправился?

— К той самой... И очень он к ей привержен был. Одаривал ее — страсть!

— Верно, хороша собой?

— То-то очень даже видна из себя... Такая чернобровая, глаз черный, лицо чистое-пре-чистое... одно слово, форменная бабенка, в-вашескобродие. Но только и шельмоватая же была! Этого самого Сбойникова долгое время обманывала — на стороне, значит, гуляла с кем ни попадет... И больше летом, когда он уходил в море. Не очень-то опасалась своего. Думала: обожает, так она в полной, значит, у его доверенности. И точно: сперва Сбойников не догадывался, что она без его погуливает, — верил, как она зубы ему заговаривала. Ну, а она оставила всякую опаску... Пошла вовсю... Жаль стало бабы, она хоть и гулящая, а добрая-предобрая, я вам скажу, и, бывало, скажешь ей: «Ой, милая, не очень-то форси... Остерегайся... Как-нибудь да пронюхает твои штуки генерал-арестант, небось не похва-

лит... От такого зверя всякой беды можно ждать»... А она куражится. «Я, говорит, не казенный человек, а вольная вдова и не обязана его бояться... Я, говорит, с эстим самым дьяволом связалась из антиреса и никакой приверженности к ему не имею. Начхать мне на его!» Так, глупая, и докуражилась!..

— Куда она потом делась?

— Куда ей деваться? В Севастополе осталась. Почти всю осаду пробыла в городе по своей воле, пока ее не убило бомбой... Она отчаянная была — ничего не боялась. Почитай, каждый день к отцу-матросу на батарею бежала... хлеба, квасу, огурцов, того да другого принесет. «Кушайте, мол, на здоровье». Белье тоже стирала. Страсть ласковая к отцу была! Прибежит, смеется, зубы белые скалит и балакает с матросиками... Всем и радостно... Отец, сказывали, запрещал ей ходить. «Убьют, мол, дура». Так она не слухала... «Я, говорит, тоже обязана свой город защищать, а бог, говорит, не захочет, меня не убьют... Уж если тогда он меня спас от генерал-арестанта — значит, и теперь спасет...» И опять смеется, обнадеживает себя... И к нам на бакстион забегала.

— К вам зачем?

— А был у нас, вашескобродие, один мичман молоденький... хороший такой мичман — недавно из корпуса определился. Так она к нему бегала: узнать, значит, жив ли, почему, мол, в слободку к ей давно не заходил... Вроде быдто прачки шлялась — тоже и ему белье стирала — и привязалась к этому мичману, ровно собачонка. Так в глаза и смотрит. Прикажи он, примером, ей стать под расстрел — стала бы, глупая, вашескобродие... И то ведь бегала на бакстион, под пулями да ядрами...

— А мичман привязан был к ней?

— Одобрял, вашескобродие, только при других виду не показывал. Совестьился, что к нему девка бегаёт... И то над им смеялись. Однако, как услышал, что ее бомбой убило, как она с бакстиона в город шла, заскучил... Жалел, видно. Вскорости и сам, бедный, в вылазке голову сложил. Все просился: «Возьмите да возьмите»... Отвагу показать хотел... Известно, молод был, не понимал, что сегодня ты цел, а завтра и нет тебя и что соваться нечего. Суйся не суйся, а час придет — и шабаш.

— А Сбойников узнал, что его прежняя любовница убита?

— Узнал... Я тогда при ем состоял вроде как ординарцем... Очень даже заскучил... В задумчивости большой ходил, как бы не в себе был... Поди ж ты! Приверженность-то, значит, осталась, даром что живую сказнить хотел... И верите ли, вашескобродие, послал меня разыскать покойницу, дал денег, чтобы похоронили честь честью, и велел клочок ейных волос ему принести...

— А матрос-отец жив остался?

— Какое! Его еще раньше дочки штуцерной пулей убило наповал, и не пикнул... А добрая была эта Машка — царство ей небесное! — продолжал Кириллыч и перекрестился, глядя на усеянное звездами небо. — И мне, бывало, когда рубаху постирает, когда свежих бубликов принесет на бакстион... И всякому матросику рада была угодить. И за ранеными хаживала... Шустрая... везде попевала. Положим, грешна она была, что и говорить, а только я так полагаю, вашескобродие, что за ейную доброту да отважность бог все грехи ей простил... Даром что женского звания, а жи-

вот свой положила за Севастополь...

Кириллыч примолк и задумался.

— Хо-ро-шо! — протянул он, глубоко вздохнув. — Ишь звезды-то повысыпали вокруг месяца...

В тишине вечера раздался резкий крик.

— Это дрохва, вашескобродие. Должно, испугалась чего-нибудь! — промолвил Кириллыч и опять погрузился в молчание.

— Быть может, вы спать хотите, Кириллыч? — спросил я.

— Какой сон? За день-то я отоспался... Ночью только идохнуть можно... Не жарит... Хоро-шо! — повторил он.

Я сидел около, ожидая, что он будет продолжать рассказ о Сбойникове.

Но старик, кажется, уже и забыл о нем.

Так прошло несколько минут.

V

— А почему вы, Кириллыч, ушли из вестовых от Сбойникова? — спросил наконец я, желая навести его на прежнюю тему.

— По случаю войны. Когда стали воевать с туркой, он поздравил меня с войной и приказал назавтра же свою должность новому ве-

стовому сдать. «А ты, говорит, явись в экипаж... Тебя снова на корабль марсовым назначат. Теперь, говорит, хороший матрос должен на своем месте быть и, в случае чего, за матушку-Расею, говорит, сражаться и честь флага отстаивать. Понял? А затем, говорит, я тобою был доволен». И с этими самыми словами дал мне десять карбованцев. Вскорости мы с Нахимовым-адмиралом ушли в море турку ловить и накрыли его под Синопом. Как вернулись в Севастополь после Синопа, пошел слух, что война будет долгая, и не с одним туркой. Сказывали потом, будто наш император Николай Павлович не согласился французского императора за ровню считать. «Я, говорит, настоящий император, а ты, говорит, из каких-то беглых арестантов. Я не согласен тебя за брата признать. Прусский и австрийский императоры — те точно мои двоюродные братья, а какой же мне, русскому царю, может быть брат — беглый арестант?» Так и отписал ему и приказал своему любимому генералу отвезти письмо к французскому императору и отдать, значит, в собственные руки. Тому, известно, обидно стало, и он

объявил войну да англичан на свою сторону переманил. За турку, значит, заступиться. «Мы, говорит, спеси-то собьем с русских, Черноморский флот изничтожим и Севастополь разорим». И точно, пришло ихних кораблей видимо-невидимо... Все так полагали, что Меньшиков не допустит высадки. Однако допустил. Войска, говорит, мало нашего. И в первом же сражении наших вовсе одолели... Побежали солдатики кто куда... Сказывали потом: у тех штуцера, а у нас, мол, ружьишки плохонькие — не берут. Он издали бьет, а ты стой на расстреле. И опять же: начальство вовсе бестолковое было... Генералы все врозь. Никто никого не слушает. Совсем дело плохо... Пошли, значит, французы с англичанами на Севастополь... А Меньшиков тем временем с войсками ушел... «Пропадай, мол, Севастополь, а я не виноват. Зачем мне подмоги не присылают; я, говорит, давно просил. И генералов умных просил, а мне одних, говорит, глупых генералов прислали. Без войска да без генералов я, говорит, сражаться не могу». И просил он, сказывали тогда, императора: «Ослобоните, ваше императорское величе-

ство, а то на победу я не обнадежен!» Однако император рассердился. «Врешь, Меньшиков... Армия моя первая на всем свете, и ты мне должен французов всех выгнать. А то смотри!» Так Меньшиков и остался, — ничего не поделаешь против царского повеления. А был этот самый Меньшиков с большим рас­судком старик, но только не для войны, а по другим делам... И веры в ем в войско не было... И генералов не уважал... И его никто при войске не видал. Как увидели Нахимов да Корнилов, чего набедокурил Меньшиков, поняли, что одна надежда на матросиков... «Вызволяй, мол, братцы!.. Не отдадим Севастополя!..» И сейчас же это стали возить пушки с кораблей на бакстионы да строить новые батареи на сухом пути. Дни и ночи работали. И всех, значит, арестантов выпустили — работай и вы, мол, вместе с прочими, и за то вам будет прощение. И бабы и девки, матросские женки да дочери, тогда старались вместе со всеми — помогали, всем жалко было Севастополя. Через дня два всех нас расписали по бакстионам, а залишним дали ружья и заместо войска назначили. Ждем мы таким родом

неприятеля... А Корнилов-адмирал объезжал, значит, по всем батареям да по городу и обнадеживает: «Все, говорит, лучше порем, а без бою не отдадим Севастополя!» Только он да Нахимов в те поры и распоряжались, а остальных адмиралов да генералов что-то не видно было. Сказывали, быдто вовсе пали духом: растерялись, значит. Город, мол, беззащитен. «Что поделаешь с горсткой матросов против всей армии...» А Нахимов да Корнилов подбадривали... Отчаянные были адмиралы... Первый отвагой брал, а другой и очень башковатый был... Ждем день, другой... И в те поры мы так и полагали, что помирать всем до одного... Где же горстке сустоять против всей армии?.. Однако господь, видно, продлить испытание хотел и навел туману на ихних генералов.

— Какого тумана?

— Да как же? Заместо того, чтоб идти прямо на Севастополь с северной стороны и брать Севастополь, а нас всех перебить, они в обход пошли, чего-то испужались. Видим это мы, что они тянутся на южную сторону — вздохнули... Значит, он осаду поведет... штур-

мовать не согласен. Тем временем и Меньшиков вернулся с армией. Дело и пошло взятяжку... Мы знай себе все батареи строим... И он строит. Отстроился и начал бондировку. Страсть как жарил.

— А вы где были?

— На четвертом бакстионе, вашескобродие...

— А Сбойников?

— А он рядом с нами батареей командовал... И строил сам... В два дня она у его, дьявола, была готова. Сам день и ночь стоял — и чуть заметит, что матрос отдохнуть захочет или покурить трубочки, он его приказывает отодрать линьками... Хуже, чем на судне, страху нагонял... Война не война, а он все зверствовал... Другие, которые прежде матроса не жалели, как война пошла, попритихли... Прежде, бывало, чуть что — в зубы или драть, а теперь — шабаш... опаску, значит, имели, как бы за жестокость свои не пристрелили... Разбирай потом. А этот еще сердитей по службе стал — нисколько не переменил характера... Ну и возроптали у его на батарею матросики... Но только он внимания не обращал на

это — свою линию вел. И чтобы вы полагали, вашескобродие, он делал? Бывало, велит комендору навести орудие, и если бомба или ядро не попадет в цель, он этого комендора на четверть часа на банкет, под неприятельские, значит, пули на убой... Что выдумал-то? Редко кто живым оставался. А одного писаря так прямо велел привязать... потому тот стоять со страха не мог.

— А другие стояли? — спросил я.

— Что будешь делать? Стояли! Но только пошел по батарее ропот, все больше да больше. И без того каждый раз от бондировки людей убивают да ранят, а генерал-арестант еще сам под расстрел ставит... А надо вам сказать, стреляли на батарее Сбойникова, почитай, лучше всех. Первая батарея была. До того, значит, он застращал... Кому лестно под расстрел попасть? Однако терпели-терпели, да раз, когда Нахимов приехал на батарею, какой-то комендор и скажи... «Так и так, ваше превосходительство, а терпеть, мол, командира никак невозможно... беззаконно расстрелом наказывает...»

— Что ж Нахимов?

— Отвернулся, быдто не слышал, и после что-то Сбойникову говорил, отчитывал с глаза на глаз, потому видели, как вышли они из блиндажа оба красные. Нахимов все плечом подергивал, видно, недоволен был, а генерал-арестант насупимшись, на людей не глядит. Однако комендору, что претензию заявил, ничего не сделал, а дня через два самого Сбойникова на другой баксион перевели.

— А там он не зверствовал?

— И там чуть не взбунтовались матросы, — так он их жестоко стрельбе учил... Под расстрел не ставил, а забивал... беда! Потом мне сказывал один матрос с баксиона, что они промеж себя решили пристрелить его, ежели случай подойдет. Однако случая не подходило. После подошел! — прибавил значительно Кириллыч и замолк.

— Какой случай? Расскажите, Кириллыч.

— Да что рассказывать? Пристрелили, и шабаш! Может, и неправильно тогда с им поступили. После войны и ему не дали бы так зверствовать при новом положении... Ну, да, видно, так господь ему определил! — промолвил старик словно бы в каком-то раздумье.

— Но почему вы уверены, что Сбойникова убили свои? Быть может, и неприятель?

— Свои! — уверенно и резко проговорил Кириллыч.

— Видели вы, что ли? — нарочно спрашивал я, чтобы заставить его рассказать подробности.

— Знаю! — строго и значительно промолвил Кириллыч и опять вздохнул. — В те поры я при ем состоял. Перевели его опять с бакстиона и назначили траншейным майором. Должность самая опасливая. Но только он и этой должности не боялся и шлялся по траншеям да осматривал по ночам секреты часто и под пулями, словно заговоренный какой-то от пуль. И как назначили его на эту должность, выбрал он четверых человек, чтобы бессменно при ем состояли, и меня в том числе с четвертого бакстиона взял... Собрал это он нас на Малаховом кургане, — у его там маленький был свой блиндажик по новой должности, — облаял первым делом и стращал запороть, если кто не сполнит в точности какого его приказания, а затем велел, чтобы к девяти часам все к ему явились и чтобы у каж-

дого было по штуцеры и по линьку в кармане. Да приказал, чтобы линьки были хорошие. «А то я на вас самих, сучьи дети, говорит, попробую!..» Ладно... Вышли мы...

— А зачем линьки? — перебил я.

— А вот узнаете, вашескобродие... Просили сказывать, так не сбивайте! — с неудовольствием заметил Кириллыч.

И затем продолжал:

— Вышли мы от его и тут же раздобыли линьки от унтерцеров... Выдали нам по штуцеры да припасу, и завалились мы спать в матросском блиндаже... просили побудить к восьми часам и к назначенному сроку явились... А уж он готов... в солдатской шинели, «егорий» на груди... сабля через плечо. «Идем! — говорит, — да смотри, ни гугу... чтобы неслышно идти...» Вышли за укрепления. Он впереди, а мы за им. А ночь темная... Только звезды горят... Идем это, значит, обходим траншеи, поверяем секреты, все ли в исправке, не спят ли «секретные»... Кругом тихо... Только слышно, как он в своих траншейках работает против наших, совсем близко, так близко, что иной раз слышно, как он лопочет

по-своему... Вдруг Сбойников остановился. «Сюда!» — чуть слышно скомандовал. Мы все подскочили. «В линьки вот этого!» — и пальцем указывает на человека... А он, значит, спал в траншейке перед самым неприятелем... Увидал я, что у человека офицерские погоны, и на ухо докладываю: «Офицер, ваше-скобродие», а он вместо ответа — мне в зубы и опять же скомандовал: «В линьки, да всю!» Мы и начали лупцевать. Ту ж минуту вскочил офицер на ноги: «Как, говорит, вы смеете, господин траншейный майор... Я, говорит, армии капитан!» — «Извините, говорит, господин капитан, в темноте обознался. Полагал, солдат. Никак, говорит, не рассчитывал, чтобы офицер, да еще начальник секрета, мог заснуть на своем посту!» И пошел дальше. Так, бывало, ходили мы с им каждую ночь и возвращались к рассвету. И многих он учивал линьками — не разбирая, значит, звания. Жаловались на его высшему начальству. А он и ему свое, значит, лепортует: «Обознался... Никак, говорит, не мог думать, чтобы офицер долга своего по присяге не сполнял!» Так этак через неделю, как Сбойникова сдела-

ли траншейным майором, небось никто больше не спал, кому не полагалось... С им не шути... Ходим мы с им таким родом с полмесяца... двоих унтерцеров, что были при ем, убило, одного он сам избил до полусмерти за то, что пьяный напился, да так избил, что надо было в госпиталь идтить, и остался только я из прежних, а троих новых назначили... И был один, Собачкиным прозывался, с той батареи, где Сбойников первое время служил и этого самого Собачкина прежде жестоко наказал, а младшего его брата — молодого матросика — так прямо, можно сказать, загубил, поставил его на банкет, а его через минуту пулей и срезало... А был этот Собачкин очень озлоблен на Сбойникова и за себя и за брата, но только по скрытности своей в себе злобу таил и никакого вида не оказывал, и так старался, что вскорости Сбойников ему «егория» выхлопотал и унтерцером сделал и часто своими деньгами награждал... Однако Собачкин не облестился этим... Бывало, взглянет на генерал-арестанта такими недобрыми глазами, что страсть... А был этот Собачкин, надо сказать, башковатый человек и ничего себе мат-

рос — только загуливать любил... За это-то самое и терпел. Потому и на службе, случилось, пьяный бывал... И вот одним разом, как собрались мы идтить в ночной обход, Собачкин и говорит: «А ведь доброе дело, братцы, бешеную собаку убить. По крайности, говорит, никого кусать больше не будет. Как вы, братцы, про это полагаете?» Догадались это мы, про кого он. Молчим. А он опять. И складно так у него выходило, что нужно собаку изничтожить. «Уж давно, мол, ждут матросы не дождутся; все надеялись: пуля, мол, неприятельская уложит бешеную собаку». Молчим. «По жеребку, говорит, братцы, нужно»... Молчим. Однако кинули трехкопеечник.

Кириллыч на минуту примолк.

— Пошли мы в ночной обход. Ночь была темная-претемная. Как шли назад, так около рассвета подошли к траншейкам впереди четвертого бакстиона. А там наши работали, чинили батарею — тихо так, чтобы неприятель не слышал... А он услышал. Раздались выстрелы — и как бросились французы!.. Пошла тревога... Наши держатся... А их, видно, много... Одолевают... У нас затрубили отступить...

Уходим, значит, наутек... А он вдогонку за нами... Идем это мы за Сбойниковым... Он все ругается, что армейские прозевали, мол, французов... Пули так вокруг нас и свищут... Начало светать... Вдруг Собачкин упал... Мы все к нему... взять хотим. «Оставьте, говорит, братцы... все равно помираю... Уговор только помните!..» Сказал это он — и дух вон... Хотели было все-таки подобрать его, да нельзя... француз насаждает... Однако с бакстионов подмога тем временем шла... и французы наутек... А мы уже близко к Малахову подходим... Стрельба еще идет... Вот тут-то и вышло это самое!.. — почти шепотом проговорил Кириллыч.

— Догадался он, что его свои убили? — спросил я.

— А господь знает. Подняли его — еще дышал, а говорить ничего не говорил... только рукой на шинель показывал... Скоро и помер, а как на Малаховом снимали с его часы, то в кармане нашли пакет, а в ем пять тысяч, и на пакете написано, что, мол, кровные его эти денежки в случае смерти отдать в экипаж и разделить матросам.

Кириллыч замолчал и глубоко вздохнул.

— Вы потом опять на четвертый бастион
поступили?

— На четвертый.

— Там и ногу оторвало?

— Там.

Он, видимо, неохотно отвечал на вопросы
и, закуривая трубку, промолвил:

— Однако, и поздно, должно быть.

Я поспешил оставить Кириллыча и, про-
стившись с ним, тихо пошел на хутор.

Оглянувшись, я увидал в полосе лунного
света фигуру поднявшегося старика около
своей сторожки. Он истово и усердно кре-
стился.

Ночь стояла чудная.

Вокруг света на «Коршуне»

Часть первая

Глава первая Неожиданное назначение

I

В один сумрачный ненастный день, в начале октября 186* года, в гардемаринскую роту морского кадетского корпуса неожиданно вошел директор, старый, необыкновенно простой и добродушный адмирал, которого кадеты нисколько не боялись, хотя он и любил иногда прикинуться строгим и сердито хмурил густые, нависшие и седые свои брови, журуя какого-нибудь отчаянного шалуна. Но добрый взгляд маленьких выцветших глаз выдавал старика, и он никого не пугал.

Семеня разбитыми ногами, директор, в сопровождении поспешившего его встретить дежурного офицера, прошел в залу старшего, выпускного класса и, поздоровавшись с воспитанниками, ставшими во фронт, подошел к одному коротко остриженному белокурому юнцу с свежим отливавшим здоровым румян-

цем, жизнерадостным лицом, на котором, словно угольки, сверкали бойкие и живые карие глаза, и приветливо проговорил:

— Тебя-то мне и нужно, Ашанин.

— Что прикажете, ваше превосходительство?

— Ничего не прикажу, братец, а поздравлю. Очень рад за тебя, очень рад...

Молодой человек недоумевал: с чем поздравляет его директор и чему радуется?

Директор шутливо погрозил длинным костлявым пальцем.

— Да ты что прикидываешься, хитрец, будто ничего не знаешь, а? Я вот сейчас получил бумагу. По приказанию высшего морского начальства, ты назначен на корвет «Коршун» в кругосветное плавание на три года. Через две недели корвет уходит. Ну, что, доволен? Кто это за тебя хлопотал, что тебя назначили раньше окончания курса? Редкий пример...

Юноша был более изумлен, чем обрадован, и в первую минуту решительно не мог сообщить, кто это ему устроил такой сюрприз. Сам он и не думал о кругосветном плавании. Напротив, он мечтал после выпуска из корпу-

са поступить в университет и бросить морскую службу, не особенно манившую его. Два летних плавания в Финском заливе, которые он сделал, казались ему неинтересными и не приохотили к морю. О своих планах он недавно говорил с матерью, и она, добрая, славная, обожавшая своего сына, не препятствовала. Хотя покойный отец и был моряком, но пусть Володя поступает, как хочет...

И вдруг — здравствуйте! — все мечты его разбиты, вся жизнь изменена. Он должен идти в кругосветное плавание.

Юное самолюбие не позволило сознаться, что его посылают помимо его желания, и потому Ашанин, оправившись после первой минуты изумления, поспешил ответить директору, что он «доволен, очень доволен», но что не знает, кто за него хлопотал.

— Верно, дядя твой, почтеннейший Яков Иванович! — промолвил директор.

«Господи! Как это он не догадался в первую же минуту!» — мелькнуло в голове молодого человека.

Разумеется, это дядюшка-адмирал, этот старый чудак и завзятый морской волк, отча-

янный деспот и крикун и в то же время безграничный добряк, живший одиноким холостяком вместе с таким же, как он, стариком Лаврентьевым, отставным матросом, в трех маленьких комнатках на Васильевском острове, сиявших тем блеском и той безукоризненной чистотой, какие бывают только на военном корабле, — разумеется, это он удружил племяннику... Недаром он непременно хотел сделать из него моряка.

«Ах, дядюшка!» — мысленно произнес Ашанин далеко не ласково.

— Вероятно, дядюшка, ваше превосходительство! — отвечал юноша директору.

— Ну, братец, через три дня ты должен быть в Кронштадте и явиться на корвет! — продолжал директор. — А теперь иди скорее домой, проведи эти дни с матушкой. Ведь на три года расстанетесь... Верно, командир корвета тебя еще отпустит... А мы тебя, молодца, снарядим. Тебе дадут все, что следует, — и платья и белья казенного, целый сундук увезешь... А как произведут в гардемарины[2], сам обмундируешься... Ну, пока до свидания. Смотри, зайди проститься со своим директо-

ром... Ты хоть и большой был «школа», и мы с тобой, случилось, ссорились, а все-таки, надеюсь, ты не вспомнишь старика лихом! — прибавил с чувством директор, улыбаясь своей ласковой улыбкой.

С этими словами он ушел.

Многие товарищи поздравляли Ашанина и называли счастливецом. На целые шесть месяцев раньше их он вырывался на свободу. Где только не побывает? Каких стран не увидит! И, главное, не будет его более зудить «лукавый царедворец», как называли кадеты своего ротного командира, обращавшего особенное и едва ли не преимущественное внимание на внешнюю выправку и хорошие манеры будущих моряков. Отличавшийся необыкновенной любезностью обращения — хотя далеко не мягкий человек — и вкрадчивостью, он за это давно уже получил почему-то прозвище «лукавого царедворца» и не пользовался расположением кадет.

Через четверть часа наш «счастливец поневоле», переодевшись в парадную форму, уже летел во весь дух в подбитой ветром шинельке и с неуклюжим кивером на голове на

Английский проспект, где в небольшой уютной квартирке третьего этажа жили самые дорогие для него на свете существа: мать, старшая сестра Маруся, брат Костя, четырнадцатилетний гимназист, и ветхая старушка няня Матрена с большим носом и крупной бородавкой на морщинистой и старчески румяной щеке.

Ах, сколько раз потом в плавании, особенно в непогоды и штормы, когда корвет, словно щепку, бросало на расвирепевшем седом океане, палуба убегала из-под ног, и грозные валы перекатывались через бак[3], готовые смыть неосторожного моряка, вспоминал молодой человек с какой-то особенной жгучей тоской всех своих близких, которые были так далеко-далеко. Как часто в такие минуты он мысленно переносился в эту теплую, освещенную мягким светом висячей лампы, уютную, хорошо знакомую ему столовую с большими старинными часами на стене, с несколькими гравюрами и старым дубовым буфетом, где все в сборе за круглым столом, на котором поет свою песенку большой пузатый самовар, и, верно, вспоминают своего

родного странника по морям. И все спокойно сидят на неподвижных стульях, а если и встанут, то пойдут по-человечески, по ровному, неподвижному полу, не боясь растянуться со всех ног и не выделявая ногами разных гимнастических движений для сохранения равновесия. Комната не кружится, ничто в ней не качается и ничто в ней не «принайтовлено»[4]. Окна большие, а не маленький, наглухо задраенный (закрытый) иллюминатор[5], обмываемый пенистой волной. Как хорошо в этой столовой и как неудержимо хотелось в такие минуты «трепки» очутиться там!

II

Когда Володя пришел домой, все домашние были в гостиной.

Мать его, высокая и полная женщина, почти старушка, с нежным и кротким лицом, сохранившим еще следы былой красоты, в сбившемся, по обыкновению, чуть-чуть набок черном кружевном чепце, прикрывавшем темные, начинавшие серебриться волосы, как-то особенно горячо и порывисто обняла сына после того, как он поцеловал эту милую белую руку с красивыми длинными

пальцами, на одном из которых блестели два обручальных кольца. Она, видимо, была расстроена, и ее большие бархатистые черные глаза были красны от слез. Хорошенькая Маруся, брюнетка лет двадцати, с роскошными косами, обыкновенно веселая и светлая, как вешнее утро, была сегодня грустна и задумчива. Костя, долговязый и неуклюжий подросток в гимназической куртке, с торчащими вихрами, глядел на брата с каким-то боязливым почтением и в то же время с грустью. А старая няня Матрена, уже успевшая обнять и пожалеть своего любимца в прихожей, стояла у дверей простоволосая, понурая и печальная, с любовно устремленными на Володю маленькими слезящимися глазками.

Одно только лицо в гостиной совсем не имело скорбного вида — напротив, скорее веселый и довольный.

Это был дядюшка-адмирал, старший брат покойного Ашанина, верный друг и пестун, и главная поддержка семьи брата — маленький, низенький, совсем сухонький старичок с гладко выбритым морщинистым лицом, коротко стриженными усами щетинкой и

небольшими, необыкновенно еще живыми и пронзительными глазами, глубоко сидящими в своих впадинах. Его остроконечная голова, схожая с грушей, казалась еще острее от старинной прически, которую он носил в виде возвышавшегося, словно петуший гребешок, кока над большим открытым лбом. Он был в стареньком, потертом, но замечательно опрятном сюртуке, застегнутом, по тогдашней форме, на все пуговицы, — с двумя черными двуглавыми орлами[6], вышитыми на золотых погонах. Большой крест Георгия третьей степени, полученный за Севастополь, белел на шее, другой — Георгий четвертой степени, маленький, за восемнадцать морских кампаний — в петлице.

Заложив обе руки назад и несколько горбя, по привычке моряков, спину, он ходил взад и вперед по гостинной легкой и быстрой походкой, удивительной в этом 65-летнем старике. Во всей его сухой и подвижной фигуре чувствовались живучесть, энергия и нетерпеливость сангвинической натуры. Он по временам бросал быстрые взгляды на присутствующих и, казалось, не обращал особенного вни-

мания на их подавленный вид.

— Вы, конечно, уже знаете, мамаша, о моем назначении?.. Я просто изумлен! — взволнованно проговорил Володя.

— Сейчас Яков Иванович мне сказал. И так это неожиданно... И так скоро уходит корвет! — грустно проговорила мать, и слезы брызнули из глаз.

Володя направился поздороваться с дядей, который дарил всегда особенным ласковым вниманием своего любимца и крестника.

Маленький адмирал круто остановился, стиснул руку племянника и, притянув его к себе, поцеловал.

— Это вы, дядя, устроили мне такой сюрприз?

— А то кто же? Конечно, я! — весело отвечал старик, видимо любуясь своим племянником, очень походившим на покойного любимого брата адмирала. Третьего дня встретился с управляющим морским министерством, узнал, что «Коршун» идет в дальний вояж[7], и попросил... Хоть и не люблю я за родных просить, а за тебя попросил... Да... Спасибо министру, уважил просьбу. И ты, ко-

нечно, рад, Володя?

— Признаться, совсем даже не рад, дядя.

— Что?! Как? Да ты в своем ли уме?! — почти крикнул адмирал, отступая от Володи и взглядывая на него своими внезапно загоревшимися глазками, как на человека, действительно лишившегося рассудка. — Тебе выпало редкое счастье поплавать смолоду в океанах, сделаться дельным и бравым офицером и повидать свет, а ты не рад... Дядя за него хлопотал, а он... Не ожидал я этого, Володя... Не ожидал... Что же ты хочешь сухопутным моряком быть, что ли?.. У маменьки под юбкой все сидеть? — презрительно кидал он.

— Да вы не сердитесь, дядя... Позвольте сказать...

— Что еще говорить больше?.. Уж ты довольно разодолжил. Срам! Покорно благодарю!..

С этими словами адмирал низко поклонился и даже шаркнул своей маленькой ножкой и тотчас продолжал:

— А я-то, старый дурак, думал, что у моего племянника в голове кое-что есть, что он, как следует, молодчина, на своего отца будет по-

хож, а он... скажите, пожалуйста!.. «Совсем даже не рад!»... Чему ж вы были бы рады-с? Что же вы молчите-с?.. Извольте объяснить-с, почему вы не рады-с? горячился и кричал старик, переходя на «вы» и уснащая свою речь частицами «с», что было признаком его неудовольствия.

— Да вы не даете мне слова сказать, дядя.

— Я слушаю... извольте говорить-с.

— Я, видите ли, дядя... Я, собственно говоря...

И Володя, несколько смущенный при мысли, что то, что он скажет, совсем огорошит дядю и, пожалуй, огорчит еще более, невольно замялся.

— Ну, что же... Я пока ничего не вижу... Не мямли! — нетерпеливо сказал маленький адмирал.

— Я имел намерение после выхода из корпуса поступить в университет и...

— Потом сделаться чиновником... строчить бумаги?.. Чернильной душой быть, а? — перебил дядя-адмирал, казалось, вовсе не огорошенный словами племянника и даже не вспыхивший еще сильнее при этом известии,

а только принявший иронический тон. — То-то сейчас Мария Петровна говорила... Володя не любит моря, Володя хочет в университет, а потом строкулистом... Ай да карьера! Или, может быть, министром собираешься быть?.. Каким ведомством полагаете управлять, ваше превосходительство? — насмешливо обратился старик к Володе.

И, снова меняя тон, адмирал продолжал:

— Вздор... Глупости... Блажь! Я не хочу и слышать, чтобы ты был чиновником... и не слыхал, ничего не слыхал... Ты будешь моряком. И твой покойный отец этого хотел, и я этого желаю... слышишь? Ты полюбишь море и полюбишь морскую службу... она благородная, хорошая служба, а моряки прямой честный народ... Этих разных там береговых «финтифантов» да дипломатических тонкостей не знают... С морем нельзя, брат, криводушничать... К нему не подольстишься... Это все на берегу учатся этим пакостям, а в океане надо иметь смелую душу и чистую совесть... Тогда и смерть не страшна... Какой ты строкулист? Ты и теперь настоящий моряк, а вернешься таким лихим мичманом, что чу-

до... И чего только не увидишь?.. Ну, довольно об этом... Через две недели мы тебя все проводим... не так ли?

— Как же иначе, дядя? — отвечал Володя, задетый за живое словами дяди и уже соблазненный кругосветным плаванием.

— И ты не будешь трусить?.. Бабой не станешь? Не осрамишь дядю?

— Надеюсь, ни себя, ни вас, — отвечал, весь вспыхивая, юноша.

— Ишь загорелся!.. Ишь стали отцовские глаза! Эх ты, славный и смелый мальчик! — дрогнувшим голосом проговорил адмирал и, сразу смягчившийся и повеселевший, быстрым движением руки привлек к себе Володю, горячо обнял его и так же быстро оттолкнул, словно бы стыдясь при всех обнаруживать ласку.

Вслед за тем старик подошел к Марии Петровне и проговорил с глубокой нежностью:

— А вы, родная, не предавайтесь горю... И ты, дикая козочка, что носик опустила? — кинул он Марусе. — Три года пролетят незаметно, и наш молодец вернется... А в это время он нам длинные письма посылать будет... Не

правда ли, Володя?

— Еще бы!

— А мы сперва прочтем каждый в одиночку, а потом вечером за чаем вместе... Вы думаете, и мне, старику, не жаль расставаться с ним? — прибавил он, понижая голос, — еще как жаль-то! Но я утешаю себя тем, что моряку плавать надо, и ему, нашему востроглазому, это на пользу.

— Я... что ж... Я постараюсь не горевать... Только ему было бы, голубчику, хорошо... Очень уж скоро расставаться... Надеюсь, это две недели он с нами пробудет? — спрашивала мать.

Адмирал успокоил ее. Наверное, командир отпустит Володю до ухода. Что ему делать на корвете? мешать разве?.. Там теперь спешат... порют горячку...

— То-то... Надо успеть кое-что приготовить ему... Произведут его ведь там, далеко где-нибудь... а казенные вещи...

— Уж это позвольте мне взять на себя, Мария Петровна, — деликатно остановил ее адмирал. — Это наше мужское дело... Не беспокойтесь... Все выпускное приданое сделаем...

ничего не забудем... и теплое пальто сошьем... казенные пальтишки легонькие, а но-чи-то в море на севере холодные, а вахты длинные. И штатское платье закажем... Ну, и деньжонками снабдим молодца... До производства жалованья ему не полагается, одни порционные, так не мешает иметь свои, чтоб повидать города, да в Лондон или Париж съездить. Это полезно для молодого человека...

— Экий вы, Яков Иванович... заботливый! — благодарно промолвила мать.

— О ком же и заботиться, как не о своих! Не о себе же! — усмехнулся он. — А ты, Володя, завтра-то пораньше ко мне забеги... Вместе посмотрим реестрик, какой я составил... Может, что и пропустил, так ты скажешь... Кстати, и часы золотые возьмешь... я их приготовил к производству, а приходится раньше отдавать...

— Благодарю вас, дядя.

— Ну, ну! — сердито замахал старик рукой. — Не благодари. Ты знаешь, я этого не люблю!

Через три дня Володя, совсем уже примирившийся с назначением и даже довольный предстоящим плаванием, с первым утренним пароходом отправился в Кронштадт, чтоб явиться на корвет и узнать, когда надо окончательно перебраться и начать службу. Вместе с тем ему, признаться, хотелось поскорее познакомиться с командиром и старшим офицером — этими двумя главными своими начальниками — и увидеть корвет, на котором предстояло прожить три года, и свое будущее помещение на нем.

Еще не совсем готовый к выходу в море, «Коршун» стоял не на рейде, а в военной гавани, ошвартовленный [8], у стенки, у «Купеческих ворот», соединяющих гавань с малым кронштадтским рейдом.

Володя, еще на пароходе узнавший, где стоит «Коршун», поехал к гавани и по стенке дошел скоро к корвету.

Это было небольшое, стройное и изящное судно 240 футов длины и 35 футов ширины в своей середине, с машиной в 450 сил, с красивыми линиями круглой, подбористой кормы и острого водореза и с тремя высокими, чуть-

чуть наклоненными назад мачтами, из которых две передние — фок- и грот-мачты были с реями[9] и могли носить громадную парусность, а задняя — бизань-мачта была, как выражаются моряки, «голая», то есть без рей, и на ней могли ставить только косые паруса. Десять орудий, по пяти на каждом борту, большое бомбическое орудие на носу и две медные пушки на корме представляли боевую силу корвета.

На нем уходила в кругосветное плавание горсточка моряков, составлявших его экипаж: капитан, его помощник — старший офицер, двенадцать офицеров, восемь гардемарин и штурманских кондукторов, врач, священник, кадет Володя и 130 нижних чинов — всего 155 человек.

На корвете заканчивали последние работы и приемку разных принадлежностей снабжения, и палуба его далеко не была в том блестящем порядке и в той идеальной чистоте, которыми обыкновенно щеголяют военные суда на рейдах и в плавании.

Совсем напротив!

Загроможденная, с валявшимися щепой и

стружками, с не прибранными как следует снастями, с брошенными где попало инструментами и бушлатами портовых мастеровых — плотников, слесарей, конопатчиков и маляров, она имела вид хаотического беспорядка, обычного при спешном снаряжении судна.

Везде — и наверху и внизу — кипела работа. Повсюду раздавался стук топоров и молотков, визг пил и рубанков, лязг и грохот. По временам, при подъеме тяжестей, затягивалась «дубинушка». Рабочие из порта в своих грязных парусиновых голландках доделывали и исправляли, переделывали, строгали, рубили и пилили. Тут конопатили палубу, заливая пазы горячей смолой, и исправляли плохо пригнанный люк, там, внизу, ломали каютную переборку, красили борты, притачивали что-нибудь к машине.

Корветские матросы в синих засмоленных рубахах таскали разные вещи и спускали их в люки, сплескивали[10] веревки, поднимали на таях[11] (толстых веревках) тяжести, а марсовые, рассыпавшись по марсам[12] или сидя верхом на реях, прилаживали снасти и

блочки, мурлыкая по обыкновению какую-нибудь песенку. Смолили ванты[13], разбирали бухты[14] веревок, а двое маляров, подвешенные на беседках[15], красили толстую горластую дымовую трубу. Везде приятно пахло смолой.

Среди всех этих рабочих голландок и матросских рубах мелькали озабоченные и возбужденные лица нескольких офицеров в коротких бушлатах (пальто). Они появлялись то тут, то там и поторапливали.

Еще бы! Надо поскорее кончать и уходить. И то октябрь на дворе!

Володя стоял минут пять, в стороне от широкой сходни, чтобы не мешать матросам, то и дело проносящим тяжелые вещи, и посматривал на кипучую работу, любовался рангоутом и все более и более становился доволен, что идет в море, и уж мечтал о том, как он сам будет капитаном такого же красавца-корвета.

Никто не обращал на него никакого внимания.

Только один пожилой рябоватый матрос с медной сережкой в ухе, проходя мимо Воло-

ди, приостановился и, слегка приподнимая фуражку своей жилистой, просмоленной рукой, проговорил мягким, приятным баском:

— Любопытно, барин, посмотреть, как матросики стараются? Небошь, скоро справим «конверт»[16]. Мы ведь в дальнюю[17]...Я, барин, во второй раз иду...

— И я на корвете иду! — поспешил сказать Володя, сразу почувствовавший симпатию к этому низенькому и коренастому, черноволосому матросу с серьгой. Было что-то располагающее и в веселом и добродушном взгляде его небольших глаз, и в интонации его голоса, и в выражении его некрасивого рябого красно-бурого лица.

— Вместе, значит, служить будем, баринок. А пока — счастливо оставаться!

— Что, капитан на корвете? — остановил матроса Володя.

— А то как же?! Он цельный день на «конверте»... Старается.

— А тебя, брат, как звать?

— Михайлой Бастрюковым люди зовут, барин! — отвечал, улыбаясь широкой ласковой улыбкой, матрос и вприпрыжку побежал на

сходню.

Оттуда он еще раз оглянулся на Володю и все с тем же ласковым и веселым выражением.

Володя двинулся на сходню и вошел на корвет, разыскивая глазами вахтенного[18] офицера.

На мостике[19] его не было.

Наконец, заметив молодого лейтенанта [20], показавшегося из-за грот-мачты, он подошел к нему и, вытягиваясь во фронт и отдавая по форме честь, спросил:

— Можно ли видеть капитана?

— Отпустите руку, пожалуйста, и стойте вольно. Я не корпусная крыса! проговорил смеясь лейтенант и в ответ не приложил руки к козырьку, а, по обычаю моряков, снял фуражку и раскланялся. — Капитан только что был наверху. Он, верно, у себя в каюте! Идите туда! — любезно сказал моряк.

Володя поблагодарил и, осторожно ступая между работающими людьми, с некоторым волнением спускался по широкому, обитому клеенкой трапу, занятый мыслями о том, каков капитан — сердитый или добрый. В это

лето, во время плавания на корабле «Ростислав», он служил со «свирепым» капитаном и часто видел те ужасные сцены телесных наказаний, которые произвели неизгладимое впечатление на возмущенную молодую душу и были едва ли не главной причиной явившегося нерасположения к морской службе.

Каков-то этот?

У входа в капитанскую каюту он увидел вестового, который в растворенной маленькой буфетной развешивал по гнездам рюмки и стаканы разных сортов.

— Послушай, братец...

— Есть! — почти выкрикнул молодой чернявый матрос, оборачиваясь и глядя вопросительно на Володю.

— Доложи капитану, что я прошу позволения его видеть.

— У нас, господин...

Чернявый вестовой запнулся, видимо затрудняясь, как величать кадета. Он не «ваше благородие» — это было очевидно, однако из господ.

— У нас, барин, — продолжал он, разрешив этим названием свое минутное сомнение, —

без доклада. Прямо идите к ему...

— А все-таки...

— Да вы не сумлевайтесь... Он простой...

Он всякого примаает...

Володя невольно улыбнулся и вошел в большую, светлую капитанскую каюту, освещенную большим люком сверху, роскошно отделанную щитками из нежно-палевой карельской березы.

Клеенка во весь пол, большой диван и перед ним круглый стол, несколько кресел и стульев, ящик, где хранятся карты, ящики с хронометрами и денежный железный сундук — таково было убранство большой каюты. Все было прочно, солидно и устойчиво и могло выдерживать качку.

По обе стороны переборок[21] были двери, которые вели в маленькие каюты кабинет, спальню и ванную. Дверь против входа вела в офицерскую кают-компанию.

В большой каюте капитана не было. Володя постоял несколько мгновений и кашлянул.

В ту же минуту сбоку вышел среднего роста, сухощавый господин лет тридцати пяти, в коротком пальто с капитан-лейтенантски-

ми погонями, с бледноватым лицом, окаймленным небольшими бакенбардами, с зачесанными вперед, как тогда носили, висками темно-русых волос и с шелковистыми усами, прикрывавшими крупные губы. Из-под воротника пальто белели стоячие воротнички рубашки.

— Честь имею явиться...

— Ашанин? — спросил капитан низковатым, с приятной хрипотой голосом и, протянув свою широкую мягкую руку, крепко пожал руку Володи; в его серьезном, в первое мгновение казавшемся холодном лице засветилось что-то доброе и ласковое.

— Точно так, Владимир Ашанин! — громко, сердечно и почему-то весело отвечал Володя и сразу почувствовал себя как-то просто и легко, не чувствуя никакого страха и волнения, как только встретил этот спокойно-серьезный, вдумчивый и в то же время необыкновенно мягкий, проникновенный взгляд больших серых глаз капитана.

И этот взгляд, и голос, тихий и приветливый, и улыбка, и какая-то чарующая простота и скромность, которыми, казалось, дышала

вся его фигура, все это, столь не похожее на то, что юноша видел в двух командирах, с которыми плавал два лета, произвело на него обаятельное впечатление, и он восторженно решил, что капитан «прелесть».

— Очень рад познакомиться и служить вместе... Явитесь к старшему офицеру. Он вам укажет ваше будущее помещение.

— Когда прикажете перебираться?..

— Можете пробыть дней десять дома. У вас есть в Петербурге родные?

— Как же: мама, сестра, брат и дядя! — перечислил Володя.

— Ну вот, видите ли, вам, разумеется, приятно будет провести с ними эти дни, а здесь вам пока нечего делать... Я рассчитываю уйти двадцатого... К вечеру девятнадцатого будьте на корвете.

— Слушаю-с!..

— Так до свидания...

Володя ушел от капитана, почти влюбленный в него, — эту влюбленность он сохранил потом навсегда — и пошел разыскивать старшего офицера. Но найти его было не так-то легко. Долго ходил он по корвету, пока, нако-

нец, не увидал на кубрике[22] маленького, широкоплечего и плотного брюнета с несо-размерно большим туловищем на маленьких ногах, напоминавшего Володе фигурку Черно-мора в «Руслане», с заросшим волосами ли-цом и длинными усами.

Хлопотавший и носившийся по корвету с четырех часов утра, несколько ошалевший от бесчисленных забот по должности старшего офицера — этого главного наблюдателя судна и, так сказать, его «хозяйского глаза» — он, видимо чем-то недовольный, отдавал прика-зания подшкиперу[23] и боцману[24] своим крикливым раздраженным тенорком, сильно при этом жестикулируя волосистой рукой с золотым перстнем на указательном пальце.

Володя остановился в нескольких шагах, выжидая удобного момента, чтобы подойти и представиться.

Но едва только старший офицер окончил, как бросился, точно угорелый, к трапу, веду-щему наверх.

— Честь имею...

Напрасно!.. Старший офицер ничего не слышал, и его маленькая, подвижная фигурка

уже была на верхней палубе и в сбитой на затылок фуражке неслась к юту[25].

Володя почти бежал вслед за нею, наконец настиг и проговорил:

— Честь имею явиться...

Старший офицер остановился и посмотрел на Володю недовольным взглядом занятого по горло человека, которого неожиданно оторвали от дела.

— Назначен на корвет «Коршун»...

— И зачем вы так рано явились?.. Видите, какая у нас тут спешка? ворчливо говорил старший офицер и вдруг крикнул: — Ты куда это со смолой лезешь?.. Только запачкай мне борт! — и бросился в сторону.

— Тут, батенька, голова пойдет кругом!.. — заметил он, возвращаясь через минуту к Володе. — К командиру являлись?

— Являлся. Он разрешил мне пробыть десять дней дома.

— Ну, конечно... А то что здесь без дела толочься... Когда переберетесь, знайте, что вы будете жить в каюте с батюшкой... Что, недовольны? — добродушно улыбнулся старший офицер. — Ну, да ведь только ночевать. А

больше решительно некуда вас поместить... В гардемаринской каюте нет места... Ведь о вашем назначении мы узнали только вчера... Ну-с, очень рад юному сослуживцу.

И, быстро пожав Володе руку, он понесся на бак.

Володя спустился вниз и, заметив у кают-компания вестовых, просил указать ба-тюшкину каюту.

Один из вестовых, молодой, белобрысый, мягкотелый, с румяными щеками матрос, видимо из первогодков, не потерявший еще несколько неуклюжей складки недавнего крестьянина, указал на одну из кают в жилой палубе.

Это была очень маленькая каютка, прямо против большого машинного люка, чистенькая, вся выкрашенная белой краской, с двумя койками, одна над другой, расположенными поперек судна, с привинченным к полу комодом-шифоньеркой, умывальником, двумя складными табуретками и кенкеткой для свечи, висевшей у борта. Иллюминатор пропускал скудный свет серого октябрьского утра. Пахло сыростью.

Между койками и комодом едва можно было повернуться.

— Батюшка еще не приезжал?

— Никак нет, ваше благородие! — отвечал белобрысый вестовой и, заметив, как интересуется каютой и подробно ее осматривает Володя, спросил:

— Нешто и вы с попом будете жить?

— Да, братец.

— Так позвольте вам доложить, что я назначен вестовым при этой самой каюте. Значит, и вам вестовым буду.

— Очень рад. Как тебя зовут?

— Ворсунькой, ваше благородие...

— Это какое же имя?

— Хрещеное, ваше благородие. Варсонофий, значит. Только ребята все больше Ворсунькой зовут... И господа тоже в кают-компании.

— Видно, недавно на службе?

— Первый год, ваше благородие... Мы из вологодских будем...

— А фамилия как?

— Рябов, ваше благородие...

— Ну, Рябов, — проговорил Володя, считав-

ший неудобным звать человека уменьшительным именем, — будем друзьями жить. Не правда ли?

— Так точно, ваше благородие. Я стараться буду.

— А грамоте знаешь?

— Никак нет, ваше благородие...

— Я тебя грамоте выучу. Хочешь?

— Как прикажете, ваше благородие...

— Да я не могу приказывать. Твоя воля.

— Что ж, я согласен, ваше благородие.

— Ну, прощай, брат... Вот тебе!

Володя сунул матросу рублевую бумажку и вышел вон.

— Ишь ты! — проговорил с радостным изумлением Ворсунька и пошел рассказывать вестовым, какой добрый, простой молодой барин: и грамоте обещал выучить, и так «здря» бумажку дал.

Ашанин ушел в восторженном настроении духа.

В нескольких шагах от корвета он снова встретил пожилого рябоватого матроса с серьгой, который нес ведро с горячей смолой.

— А что, Бастрюков, каков у вас командир?

Довольны вы им? — спросил Володя.

— Нашим-то Василием Федорчем? — воскликнул останавливаясь Бастрюков и словно бы удивляясь вопросу Володи. — Видно, вы про него не слыхали, барин?

— То-то, не слыхал.

— Так я вам доложу, что наш командир — прямо сказать — голубь.

— Добрый?

— Страсть добер. Я с им, барин, два года на «Забияке» в заграницу ходил, в Средиземное море. Он у нас тогда старшим офицером был. Так не то что кого-нибудь наказать линьками [26] или вдарить, он дурного слова никому не сказал... все больше добром... И других офицеров, которые, значит, зверствовали, стыдил да удерживал... Он матроса-то жалел... Так и прозвали мы его на «Забияке» голубем. Голубь и есть! — заключил Бастрюков.

С каким-то особенно радостным чувством слушал Володя эти похвалы старого матроса, и когда в тот же день вернулся домой, то первым делом восторженно воскликнул:

— Ну, мамочка, если бы ты знала, что за прелесть наш капитан!

И Володя стал передавать свои впечатления и сообщил отзыв о капитане матроса.

— Верно, он и моряк чудесный. Вы знаете нашего капитана, дядя?

— Слышал, что превосходный и образованный морской офицер, — отвечал дядя-адмирал, видимо довольный восторженным настроением племянника.

IV

Ах, как незаметно быстро пронеслись последние дни! С утра этого хмурого и холодного октябрьского дня, когда Володе надо было перебираться на корвет, Мария Петровна, то и дело вытирая набегавшие слезы, укладывала Володины вещи в сундук. Благодаря дяде и матери Володю снарядили отлично. Сундук вскоре наполнился платьем — и форменным, будущего гардемарина, и штатским, для съезда на берег за границей, бельем, обувью и разными вещами и вещицами, в числе которых были и подарки Маруси, Кости и няни. Все несли свою лепту, всем хотелось чем-нибудь да одарить милого путешественника-моряка. Ни одна мелочь не была забыта, все аккуратно уложено заботливой материнской рукой.

Тронутый, взволнованный и благодарный Володя часто входил в уютную маленькую спальную, где заливалась канарейка, и целовал то руку матери, то ее щеку, то плечо, улыбался и благодарил, обещал часто писать и уходил поговорить с сестрой и с братом, чтобы они берегли маму.

— А вот, Володя, тут варенье, — говорила Мария Петровна, показывая на большой, забитый гвоздями ящик, в котором был почти весь запас, заготовленный на зиму. — Полакомишься... За границей такого нет.

— Ах, мама, мама! — восклицал Володя и снова целовал мать.

К четырем часам пришел маленький адмирал и резким движением сунул Володе туго набитый вязаный кошелек, в котором блестяли новенькие червонцы.

— Тут их сто. Сразу, смотри, не транжирь... До производства ведь еще долго... Да кошелек береги... Он у меня еще с первого моего дальнего вояжа... Одна дама вязала...

— Зачем так много, дядя?

— Пригодится... Можешь, если придется, в Париж и в Лондон съездить... Готов?

— Готов, дядя.

— У директора был? С товарищами простился?

— Все сделал.

За обедом все сидели грустные, подавленные, молчаливые. Один только адмирал был разговорчив, стараясь всех подбодрить.

— И не увидите, Мария Петровна, как пройдут три года и Володя вернется бравым мичманом. То-то порасскажет!..

Никогда в жизни никуда не опаздывавший и не терпевший, чтобы кто-нибудь опаздывал, адмирал тотчас же после обеда то и дело посматривал на свою старинную золотую английскую луковицу и спрашивал:

— Который час у тебя, Володя?

И Володя не без удовольствия вынимал из-за борта своей куртки новые золотые часы, подаренные адмиралом, и говорил дяде время.

— Твои часы верные... Секунда в секунду с моими... А вещи твои отправлены? Лаврентьич увез?

— Увез, дядя.

— Ну, пора, пора, Володя, а то опозда-

ешь, — нетерпеливо говорил адмирал. —
Пять часов!

Володя пошел прощаться с няней Матрeной. Завтра все приедут в Кронштадт на казенном пароходе и все утро пробудут на корвете, а няня останется дома.

Старуха долго целовала Володю, крестила его, всхлипывала и сунула ему в руку только что доконченную пару шерстяных носков.

Володя обнимает мать, сестру и брата, еще раз подбегает к рыдающей няне, чтобы поцеловать ее, и торопливо спускается с лестницы вместе с адмиралом, который вызвался проводить племянника на пароход.

На извозчике старик-адмирал, между прочим, говорит, вернее выкрикивает, племяннику:

— Старайся, мой друг, быть справедливым... Служи хорошо... Правды не бойся... Перед ней флага не спускай... Не спустишь, а?

— Не спущу, дядя.

— Люби нашего чудного матроса... За твою любовь он тебе воздаст сторицей... Один страх — плохое дело... при нем не может быть той нравственной, крепкой связи начальника

с подчиненными, без которой морская служба становится в тягость... Ну, да ты добрый, честный мальчик... Недаром влюбился в своего капитана... И времена нынче другие, не наши, когда во флоте было много жестокости... Скоро, бог даст, они будут одними воспоминаниями... Готовится отмена телесных наказаний... Ты ведь знаешь, и я против них... Однако и я наказывал — такие были времена... Но и тогда, когда жестокость была в обычае, я не был жесток, и на моей душе нет упрека в загубленной жизни... Бог миловал! И — спроси у Лаврентьича — меня матросы любили! — прибавил старик.

— Еще бы не любить вас! — воскликнул Володя, умиленный наставлениями, которые так отвечали стремлениям его юной души.

— Помни, что ни отец твой, ни я ни в ком не искали и честно тянули лямку... Надеюсь, и ты... Извозчик, что ж ты плетешься! — вдруг крикнул адмирал, когда уже пристань была в виду.

В девятом часу вечера Володя подъезжал на шлюпке с «Коршуна» к корвету, темный силуэт которого с его высокими мачтами и

двумя огоньками вырисовывался на малом кронштадтском рейде.

— Кто гребет? — раздался обычный оклик часового с корвета.

— Офицер! — отвечал с катера мичман, возвращавшийся, как и Володя, из Петербурга.

Катер пристал к борту.

Два фалрепных с фонарями осветили парадный трап, и Володя вслед за мичманом поднялся на палубу.

Теперь уже палуба ничем не напоминала о беспорядке, бывшем на ней десять дней тому назад. На ней царила тишина, обычная на военном судне после спуска флага и раздачи коек. И только из чуть-чуть приподнятого, ярко освещенного люка кают-компания доносился говор и смех офицеров, сидевших за чаем.

И сам «Коршун» показался Володе во мраке осенней ночи каким-то большим и грозным, с его чернеющими орудиями и фантастической паутиной снастей, окружающей высокие мачты.

Володя спустился в кают-компанию и пошел к старшему офицеру, который сидел на

почетном месте, на диване, на конце большого стола, по бокам которого на привинченных скамейках сидели все офицеры корвета. По обеим сторонам кают-компании были каюты старшего офицера, доктора, старшего штурмана и пяти вахтенных начальников. У стены, против стола, стояло пианино. Висячая большая лампа светила ярким веселым светом.

Тут за чаем, попыхивая дымком папиросы, старший офицер был совсем не тем человеком, каким видел его Володя наверху. Он добродушно встретил Володю и тут же представил юного сослуживца остальным присутствовавшим.

Всеми любезно встреченный, Володя пошел в свою каюту и с помощью Ворсуньки начал устраиваться на новом месте. Будущего его сожителя, иеромонаха с Валаама, отца Никанора, еще не было; его ждали завтра утром.

— Завтра, ваше благородие, и белье разложим в шинерку (шифоньерку), говорил Ворсунька, — и платье развесим как следует, как поп приедет.

— Ну, ладно...

— А теперь ступайте, барин, чайку попить. Господа ардемарины кушают, а я вам постель сделаю.

Володя направился в гардемаринскую каюту и был радостно приветствован несколькими молодыми людьми, годом старше его по выпуску и знакомыми еще по корпусу. Тотчас же его познакомили и с двумя штурманскими кондукторами.

В маленькой каюте, в которой помещалось восемь человек и где стол занимал почти все свободное пространство, было тесно, но зато весело. Юные моряки шумно болтали о «Коршуне», о капитане, о Париже и Лондоне, куда все собирались съездить, о разных прелестных местах роскошных тропических стран, которые придется посетить, и пили чай стакан за стаканом, уничтожая булки с маслом.

И жидковатый чай, и хлеб, и масло казались Володе в этот вечер особенно вкусными, а все молодые люди милыми.

Разошлись около полуночи, и Володя, вернувшись в свою каюту, быстро разделся, впрыгнул на верхнюю койку, чуть не ударившись головой о потолок, и, юркнув под мяг-

кое шерстяное одеяло, связанное матерью, почти мгновенно уснул со смутными мыслями о близких, о корвете и о чем-то беспредельно счастливом и хорошем впереди.

Глава вторая Прощай, Россия

I

— Ваше благородие!.. Пора вставать!..
Володя высунул из-под одеяла за-
спанное лицо и недоумевающими сонными
глазами, еще не вполне освободившийся от
чар сновидений, глядел и на Ворсуньку, и на
белые стены каюты, словно бы не понимая,
где он находится.

— Восьмого половина. Скоро флага подь-
ем, Владимир Николаевич. Господа уже вста-
ли! — продолжал Ворсунька, стоя у дверей и
переступая с ноги на ногу.

Володя вполне очнулся и сообразил, что он
на корвете, а не в каких-то таинственно-луче-
зарных чертогах, в каких только что был во
сне. Он соскочил с койки и быстро стал оде-
ваться.

— Как погода, Рябов?

— Пронзительная, ваше благородие... Сы-

рость.

— А ведь мы сегодня уходим, брат.

— Точно так... Даве утром все женатые матросы с берега вернулись, ваше благородие... Прощаться, значит, отпускали вчера вечером.

— Ты рад, что идешь в плавание?

— Никак нет, ваше благородие! — просто-душно отвечал Ворсунька. — Кабы моя воля...

— Так не пошел бы?

— Никак нет. При берегу бы остался... На сухой пути сподручнее, ваше благородие... А в море, сказывают ребята, и не приведи бог, как бывает страшно... В окияне, сказывают, волна страсть какая... Небо, мол, с овчинку покажется...

— Ничего, привыкнешь.

— То-то привыкать надо, ваше благородие, — проговорил, вздохнув, Ворсунька и прибавил: — а я пойду, барин... Антиллерист приказывал кипятку. Бриться, значит.

— Ступай, ступай. Мне ничего не нужно.

Через десять минут Володя был готов и вышел наверх.

На корвете приканчивали обычную еже-

дневную чистку и уборку, основательность и педантизм которых могли бы привести в восторг любую голландку. Палуба, «пройденная» голиками, вычищенная и вымытая, сверкала своей белизной и тонкими, ровными черными линиями залитых смолой пазов. Орудия и все медные вещи блестели, отчищенные на диво. Белые матросские койки, свернутые в одинаковые кульки и перевязанные крест-накрест, уложенные в бортовых гнездах и выглядывающие из них своими верхушками, составляли красивую каемку поверх борта. Снасти были натянуты, и концы их или висели в красиво убранных гирляндах, или уложены в правильных бухтах. Реи были выправлены, и мяготь парусов ровными подушками белела у их середины. Одним словом, корвет сиял во всей безукоризненности чистоты и порядка военного судна.

Из-за облаков выглянуло холодное октябрьское солнце и залило корвет блеском, весело играя на ярко блестящей меди.

Погода как будто обещала разгуляться.

К восьми часам утра, то есть к подъему флага и гюйса[27], все — и офицеры, и коман-

да в чистых синих рубашках — были наверху. Караул с ружьями выстроился на шканцах [28] с левой стороны. Вахтенный начальник, старший офицер и только что вышедший из своей каюты капитан стояли на мостике, а остальные офицеры выстроились на шканцах.

До восьми оставалось несколько минут.

Сигнальщик [29] сторожил эти минуты по минутной склянке песочных часов, и когда минута стала выходить, т. е. последний остаток песка высыпаться через узкое горлышко склянки из одной ее части в другую, доложил вахтенному офицеру.

— Флаг и гюйс поднять! Ворочай! — командовал офицер.

И в тот же момент взвились кормовой и носовой флаги, и приподнятые раньше брамреи повернуты поперек. Барабан забил поход, караульные взяли «на караул». Все обнажили головы.

С подъемом флага начинался судовой день.

Капитану рапортовали о благополучии вверенных им частей старший офицер, док-

тор, старшие штурман и артиллерист.

Тем временем вахтенный офицер сдавал вахту другому, вступившему с 8 часов до полудня.

Вслед за тем офицеры спустились вниз пить чай.

Сегодня все торопились, чтоб очистить поскорее стол в ожидании гостей, которые придут провожать уходивших моряков, приодевшихся, прифранченных и взволнованных близкой разлукой с дорогими лицами.

К девяти часам уж чай отпит, все убрано со стола, и вестовые в буфетной перетирают тарелки и стекло, готовясь к завтраку, роскошному завтраку, который готовился сегодня по случаю приезда гостей. Моряки — народ гостеприимный и любят угостить.

II

Уже с девяти часов начали подходить из Кронштадта шлюпки с провожавшими, и в десять часов показался дымок парохода, шедшего из Петербурга. Вот ближе, ближе — и с корвета простыми глазами можно было увидеть пестреющие яркие пятна дамских туалетов и темные костюмы мужчин. Глаза моря-

ков впились в пароход: едут ли все те, которые обещали?

Через двадцать минут пароход пристал к борту корвета. Положена была сходня, и несколько десятков лиц сошли на палубу. Вызванный для встречи двух приехавших адмиралов караул отдавал им честь, и их встретили капитан и вахтенный офицер.

Володя уже целовался с матерью, братом и сестрой.

— Ну, пойді, покажи-ка нам твою конурку, Володя, — говорил маленький адмирал, подходя к Володе после нескольких минут разговора с капитаном. — А ваш корвет в образцовом порядке, — прибавил адмирал, окидывая своим быстрым и знающим морским глазом и палубу, и рангоут. — Приятно быть на таком судне.

Володя повел всех вниз показывать свою каюту.

Сегодня она имела опрятный и домовитый вид. Приехавший утром батюшка, старик-иеромонах, имел с собой очень мало вещей и охотно уступил своему сожителю весь комод-шифоньерку, оставив для себя только

один ящик. Таким образом, Володе было куда убрать все белье, вещи и часть своего платья. Остальное — гардемаринское, — тщательно уложенное заботливым Ворсунькой, хранилось в сундуке, который был убран, по выражению вестового, в надежное место; а ящик с вареньем был поставлен в ахтер-люке — месте, где хранится офицерская провизия.

Все в Володиной каюте было аккуратно прибрано Ворсунькой. Медные ручки комода, обод иллюминатора и кенкетка, на диво отчищенные, так и сияли. По стенке, у которой была расположена койка Володи, прибит был мягкий ковер, подарок Маруси, и на нем красовались в новеньких рамках фотографии матери, сестры, брата, дяди-адмирала и няни Матрены.

Батюшки не было, и все Володины близкие входили в каюту, подробно осматривая каждый уголок. Мать даже отворила все ящики комода и смотрела, в порядке ли все лежит.

— Это, мама, все мой вестовой, а не я! — улыбнулся молодой человек.

— Ах, какая маленькая каютка! Тут и повернуться негде! — воскликнула сестра, при-

саживаясь на табуретку.

— А зачем ему больше? Он не такая стрекоза, как ты! — шутливо заметил адмирал, стоявший у дверей. — Койка есть, где спать, и отличное дело... А захотел гулять, — палуба есть... Прыгай там.

— Только бы не было сыро. А то долго ли ревматизм схватить! — заметила мать.

— Не сахарный он... не отсыреет, Мария Петровна... В прежние времена и не в таких каютах живали.

— А все-таки, Володя, не снимай фуфайки. Обещаешь?

— Обещаю, мама.

— И ног не промачивай.

— И ног не промочу. Непромокаемые сапоги есть.

— И вообще береги себя, голубчик. Не растрать здоровья...

И, воспользовавшись тем, что они одни, она порывисто и страстно прижала к себе голову сына и несколько секунд безмолвно держала у своей груди, напрасно стараясь удержать обильно текущие слезы.

— Смотри же, пиши чаще... и длинные

письма... И как же будет скучно без тебя, мой славный! — говорила Мария Петровна.

— И мне пиши, Володя, — просила сестра.

— И мне! — говорил брат.

— Буду, буду всем писать.

Все по очереди посидели в Володиной каюте, потрогали его постель, заглянули в шифоньерку, открывали умывальник, смотрели в открытый иллюминатор и, наконец, ушли посмотреть на гардемаринскую каюту, где Володе придется пить чай, завтракать и обедать.

Маленькая каютка была полна провожающих. Володя тотчас же представил всех бывших в каюте гардемарин и кондукторов своим. Ашанины посидели там несколько минут и пошли в кают-компанию.

По дороге, у буфетной, стоял Ворсунька.

— Вот, мама, мой вестовой...

Мать ласково взглянула своими чудными большими и кроткими глазами на молодого белобрысого вестового и сказала:

— Уж вы, пожалуйста, хорошенько ходите за сыном... Вещи его берегите, а то он у меня растеряха.

— Все будет сохранно у барина... Не сумле-

вайтесь, сударыня, ваше превосходительство! — отвечал Ворсунька, титулуя так Марию Петровну ввиду того, что около нее шел адмирал.

— Какой он симпатичный! — шепнула Маруся.

— Прелесть! — отвечал Володя.

— Первогодок? — спросил дядя, обращаясь к Ворсуньке.

— Точно так, ваше превосходительство.

— И, верно, вологодский?

— Точно так, ваше превосходительство.

— Смотри, вовремя буди к вахтам своего барина, — шутливо промолвил адмирал и, подавая Ворсуньке зеленую бумажку, прибавил: — Вот тебе, матросик... За границей выпьешь за мое здоровье!

— Много благодарны, ваше превосходительство, но только я этим не занимаюсь.

— Не пьешь?

— Никак нет... Я в загранице гостинца куплю своей бабе.

— А баба где? Здесь или в деревне?

— В деревне, ваше превосходительство.

В кают-компании тоже сидели гости, на-

полнявшие сегодня корвет. Они были везде: и по каютам, и наверху. Почти около каждого офицера, гардемарина и кондуктора группировалась кучка провожавших. Дамский элемент преобладал. Тут были и матери, и сестры, и жены, и невесты, и просто короткие знакомые. Встречались и дети.

Несмотря на старания моряков казаться веселыми и вести оживленные разговоры, чувствовалось грустное настроение. Разговоры как-то не клеились, внезапно прерывались, и среди затишья слышался подавленный вздох. Вместо улыбок на лицах наворачивались слезы.

Хорошенькая, изящно одетая блондинка с прелестными голубыми глазами, молодая и свежая, только что вышла из каюты с молодым красивым лейтенантом, взволнованная, полная отчаяния. И лейтенант был бледен, хотя и старался сохранить бодрый вид. Они быстро прошли в кают-компанию, поднялись на палубу, и оба, облокотившись о борт и прижавшись друг к другу, не находя слов, безмолвно смотрели на свинцовую, слегка рябившую воду затихшего рейда. В каюте им не

сиделось: слишком тяжело было... да и здесь казалось не лучше. По временам они взгляды-вали долго и нежно один на другого и молодая женщина глотала рыдания.

— Ну, полно, полно... успокойся, Наташа! — говорил лейтенант, делая невероятные усилия, чтобы самому не расплакаться.

Еще бы!

И года не прошло, как они поженились, оба влюбленные друг в друга, счастливые и молодые, и вдруг... расставаться на три года. «Просись, чтобы тебя не посылали в дальнее плавание», — говорила она мужу. Но разве можно было проситься? Разве не стыдно было моряку отказываться от лестного назначения в дальнее плавание?

И он не просился, чтоб его оставили, и вот теперь как будто жалеет об этом...

— Каждый день пиши...

— И ты...

— И фотографии чаще посылай... Я хочу знать, не изменилось ли твое лицо...

— И ты посылай...

И снова молчание, то грустное молчание двух родных душ, которое красноречивее вся-

ких излияний.

Загляните в каюты, и вы увидите еще более трогательные сцены.

Вон в этой маленькой каютке, рядом с той, в которой помещаются батюшка и Володя, на койке сидит пожилой, волосатый артиллерист с шестилетним сынишкой на руках и с необыкновенной нежностью, которая так не идет к его на вид суровому лицу, целует его и шепчет что-то ласковое... Тут же и пожилая женщина — сестра, которой артиллерист называет беречь «сиротку»...

Слезы катятся по морщинистому, некрасивому лицу артиллериста, и он еще крепче прижимает к себе единственно дорогое ему на свете существо.

Когда Ашанины вошли в кают-компанию, любезные моряки тотчас же их усадили. Старший офицер, похожий на «Черномора», — одинокий холостяк, которого никто не провожал, так как родные его жили где-то далеко, в провинции, на юге, — предложил адмиралу и дамам занять диван; но адмирал просил не беспокоиться и тотчас же перезнакомился со всеми офицерами, пожимая всем руки. Стар-

шему офицеру он похвалил исправный вид «Коршуна», чем привел «Черномора» в немалое удовольствие. Старика Ашанина знали в Кронштадте по его репутации лихого моряка и адмирала, и похвала такого человека что-нибудь да значила. В низеньком, худощавом старике, старшем штурманском офицере «Коршуна», Степане Ильиче Овчинникове, адмирал встретил бывшего сослуживца в Черном море, очень обрадовался, подсел к нему, и они стали вспоминать прошлое, для них одинаково дорогое.

Юный мичман Лопатин, представленный Володей своим, старался занимать дам. Румяный, жизнерадостный и счастливый, каким может быть только двадцатилетний молодой человек на заре жизни, полный надежд от будущего, он был необыкновенно весел и то и дело смеялся.

— А вас никто не провожает? — спросила его Мария Петровна.

— Некому!

— Родные ваши не здесь?

— В Тамбовской губернии.

И со свойственной молодым людям откоро-

венностью он тотчас же рассказал своим новым знакомым о том, что мать его давно умерла, что отец с тремя сестрами и теткой живут в деревне, откуда он только что вернулся, проведя чудных два месяца.

— А теперь вот впереди предстоят еще лучшие месяцы и годы! — весело заключил молодой мичман, широко улыбаясь своей доброй улыбкой и открывая ряд ослепительно белых зубов.

Все невольно улыбнулись в ответ. И всем он показался таким славным и хорошим.

— Ты сойдишь с Лопатиным, Володя... Он, кажется, прекрасный молодой человек... В нем что-то прямое и открытое, — говорила сыну мать, когда, посидев в кают-компании, они вышли все наверх и уединились на юте, у самой кормы, а юный мичман, не желая мешать семейному разговору, деликатно удалился и уже весело болтал с какой-то молоденькой барышней...

— На корвете, мама, все славные...

А время летело незаметно в этих обрывистых разговорах, недавних воспоминаниях, грустных взглядах и вздохах. И по мере того

как оно уходило, напоминая о себе боем колокола на баке, отбивающего склянки, лица провожавших все делались серьезнее и грустнее, а речи все короче и короче.

И напрасно дядя-адмирал, и сам втайне несколько расстроенный, старался подбодрить эту маленькую кучку, окружавшую Володю, своими шутками и замечаниями. Они теперь не производили впечатления, да и все чувствовали их неестественность.

А кругом, как нарочно, было так мрачно и серо в этот осенний день. Солнце спряталось за тучи. Надвигалась тихо пасмурность. Море, холодно-спокойное и бесстрастное, чуть-чуть рябило, затихшее в штиле. В воздухе стояла пронизывающая сырость.

Все примолкли и как-то притихли, полные невеселых дум.

В голове у матери носились мрачные мысли об опасностях которым будет подвергаться Володя. А ведь эти опасности так часты и иногда непредотвратимы. Мало ли бывает крушений судов?... Мало ли гибнет моряков?... Еще недавно...

И ей, как нарочно, припомнилась ужасная

гибель корабля «Лефорт», бывшая три года тому назад и взволновавшая всех моряков... В пять минут, на глазах у эскадры, перевернулся корабль, и тысяча человек нашли могилу в Финском заливе, у Гогланда. И ни одна душа не спаслась...

При этом воспоминании невольная дрожь охватывает бедную женщину. Она тревожно смотрит на сына и спрашивает, стараясь придать своему вопросу равнодушный тон:

— А ваш корвет хорошее судно, Володя?

— Говорят, отличное, мама. Недавно выстроено.

Мать ищет взглядом подтверждения слов сына адмиралом.

— Превосходнейшее судно, Мария Петровна! — подтверждает и адмирал.

— А его не может перевернуть?

В ответ адмирал смеется.

— И придет же вам в голову, Мария Петровна...

— А вот «Лефорт» же перевернулся.

— Ну, так что же? — раздраженно отвечает дядя-адмирал. — Ну, перевернулся, положим, и по вине людей, так разве значит, что

и другие суда должны переворачиваться?... Один человек упал, значит, и все должны падать... Гибель «Лефорта» — почти беспрецедентный случай во флоте... Раз в сто лет встречается... да и то по непростительной оплошности...

Адмирал говорит с обычной своей живостью и несколько кипит «бабьими рассуждениями», как называл он всякие женские разговоры об опасностях на море.

И эта раздражительность адмирала несколько успокаивает мать.

— Да вы не сердитесь, Яков Иванович... Я так только... спросила...

— Хитрите... хитрите... Я знаю, что вам пришло в голову... Так вы выкиньте эти пустяки из головы. Никогда «Коршун» не перевернется... И нельзя ему перевернуться... Законы механики... Вот у Володи спросите... Он эти законы знает, а я позабыл.

В эту минуту к Ашаниным подходит старший офицер и, снимая фуражку со своей кудлатой головы, просит сделать честь позавтракать вместе в кают-компании.

Завтрак был обильный. Шампанское ли-

лось рекой. Гостеприимные моряки с капитаном во главе угощали своих гостей. За столом было несколько тесновато для пятидесяти человек, и потому завтракали *a la fourchette*[30]. К концу завтрака тосты шли за тостами. Пили за здоровье дам, за всех провожающих, за адмирала Ашанина, а старик адмирал провозгласил тост за уходивших моряков и пожелал им хорошего плавания. Все гости чокались с моряками, и немало слез упало в бокалы... Хорошенькая блондинка, возбуждавшая общее участие, была бледна, как смерть, и не отходила от мужа... Артиллерист не показывался... Ему хотелось последние минуты провести с «сироткой».

Пары уже гудели. Шлюпки были подняты. «Выхаживали» на шпигель[31], поднимая якорь.

Капитан и старший офицер вышли из кают-компании, и через несколько минут через приподнятый люк кают-компании донесся звучный, молодой тенорок вахтенного офицера:

— Свистать всех наверх с якоря сниматься!
И вслед за тем боцман засвистал в дудку и

зычным голосом крикнул, наклоняясь в люк жилой палубы:

— Пошел все наверх с якоря сниматься!

Прибежавший в кают-компанию сигнальщик тоже крикнул:

— Пожалуйста все наверх с якоря сниматься!

Пора расставаться и уходить гостям. Все оставили кают-компанию и вышли на палубу, чтобы по сходне переходить на пароход.

Еще раз, еще и еще обняла мать своего Володю и повторяла все те же слова, осеняя его крестным знаменем и глотая рыдания:

— Береги себя, родной!.. Пиши... носи фуфайку... Прощай...

Наконец, она его отпустила и, не оглядываясь, чтобы снова не вернуться, вошла на сходню.

— Береги маму! — шептал Володя, целуясь с сестрой.

— Береги маму! — повторил он, обнимая брата.

Адмирал быстрым движением привлек племянника к себе, поцеловал, крепко потряс руку и сказал дрогнувшим голосом:

— С богом... Служи хорошо, мой мальчик...

И бодро, легкой поступью, побежал по сходне, словно молодой человек. У сходни толпились. Раздавались поцелуи, слышались рыдания и вздохи, пожелания и только изредка веселые приветствия.

Артиллерист, высокий и плечистый, на своих руках перенес сынишку, бережно прижимая его к своей груди, и скоро возвратился оттуда угрюмый и мрачный, точно постаревший, сконфуженно смахивая своей здоровенной рукой крупные слезы.

С какой-то старушкой сделалось дурно, и ее перенесли на руках. А хорошенькая блондинка так и повисла на шее мужа, точно не хотела с ним расстаться.

— Наташа... Наташа... успокойся... все смотрят, — шептал муж.

Наконец, она оторвалась и перешла сходню. Тогда и лейтенант, как ни храбрился, а не выдержал и заплакал.

— Ничего, братец ты мой, не поделаешь! — проговорил один из матросов, наблюдавший сцены прощанья господ.

— И у меня баба голосила, когда я уходил

из деревни, — отвечал другой... — Всякому жалко... То-то и лейтенантова женка ревмя ревет...

С парохода и с корвета обменивались последними словами:

— Прощайте... Прощай!

— Володя!.. смотри... носи фуфайку... Пиши...

— Христос с тобой...

— Помни слово... Леля... Держи его! Не забывай меня! — взволнованно кричал молодой офицер-механик миловидной барышне в яркой шляпке.

— Я-то?..

И слезы помешали, видно, ей докончить, что она не забудет своего жениха.

— Капитолина Антоновна!.. мальчика-то... берегите!..

— Будьте спокойны, братец...

— Вася... Васенька... где ты?.. Дай на тебя взглянуть!..

— Я здесь, мамаша... Прощайте, голубушка!.. Из Копенгагена получите письмо... Пишите в Брест *poste restante*[32].

— Алеша... помни, что я тебе говорил... не

транжирь денег.

«Алеша» благоразумно молчал.

Наконец, последний из провожающих перешел на пароход.

— Никого больше нет на корвете? — спросил старший офицер боцмана.

— Ни одного «вольного»[33], ваше благородие. Все каюты обегал, докладывал боцман.

С парохода убрали сходню, и пароход тихо отходил.

— Панер![34] — крикнули с бака.

III

— Тихий ход вперед! — скомандовал капитан в переговорную трубку в машину, когда встал якорь.

Машина тихо застучала. Забурлил винт, и «Коршун» двинулся вперед, плавно рассекая воду своим острым носом.

Матросы обнажили головы и осеняли себя крестными знаменьями, глядя на золоченые маковки кронштадтских церквей.

С парохода кричали, махали платками, зонтиками. С корвета офицеры, толпившиеся у борта, махали фуражками.

Стоя на корме, Володя еще долго не спус-

кал глаз с парохода и несколько времени еще видел своих. Наконец, все лица слились в какие-то пятна, и самый пароход все делался меньше и меньше. Корвет уже шел полным ходом, приближаясь к большому рейду.

— Приготовиться к салюту! — раздался басок старшего офицера.

Матросы стали у орудий, и тот самый пожилой артиллерист, который с таким сокрушением расставался с сыном, теперь напряженный, серьезный и, казалось, весь проникнутый важностью салюта, стоял у орудий, ожидая приказа начать его и взглядывая на мостик.

Когда корвет поравнялся с Петровской батареей и старший офицер махнул артиллеристу головой, он скомандовал:

— Первое пли... второе пли... третье пли...

Командовал он с видимым увлечением, перебегая от орудия к орудию и про себя отсчитывая такты, чтобы между выстрелами были ровные промежутки.

И девять выстрелов гулко разнеслись по рейду. Белый дымок из орудий застлал на минуту корвет и скоро исчез, словно растаял в

воздухе.

С батареи отвечали таким же прощальным салютом.

Скоро корвет миновал брандвахту, стоявшую у входа с моря на большой рейд: Кронштадт исчез в осенней мгле пасмурного дня. Впереди и сзади было серое, свинцовое, неприветное море.

— Прощай, матушка Рассея! Прощай, родимая! — говорили матросы.

И снова крестились, кланяясь по направлению к Кронштадту.

А корвет ходко шел вперед, узлов[35] по десяти в час, с тихим гулом рассекая воду и чуть-чуть подрагивая корпусом.

Машина мерно отбивала такты, необыкновенно однообразно и скучно.

Уже давно просвистали подвахтенных вниз, и все офицеры, за исключением вахтенного лейтенанта, старшего штурмана и вахтенного гардемарина, спустились вниз, а Володя, переживая тяжелые впечатления недавней разлуки, ходил взад и вперед по палубе в грустном настроении, полном какой-то неопределенно-жгучей и в то же время ласка-

ющей тоски. Ему и жаль было своих, особенно матери, и впереди его манило что-то, казалось ему, необыкновенно хорошее, светлое и радостное... Но оно было еще где-то далеко-далеко, а пока его охватывало сиротливое чувство юноши, почти мальчика, в первый раз оторванного от семьи и лишённого тех ласк, к которым он так привык. И сознание одиночества представилось ему еще с большей силой под влиянием этого серого осеннего дня. Все на корвете, казавшиеся ему еще утром славными, теперь казались чужими, которым нет до него никакого дела. Душа его в эту минуту мучительно требовала ласки и участия, а те, которые бы могли дать их, теперь уже разлучены с ним надолго.

И ему хотелось плакать, хотелось, чтобы кто-нибудь пожалел его и понял его настроение.

— Здравия желаю, барин! — окликнул знакомый приятный басок Володю, когда он подошел к баку.

Володя остановился и увидел своего знакомого пожилого матроса с серьгой в ухе, Михайлу Бастрюкова, который в куцом бушлати-

ке стоял, прислонившись к борту, и сплескивал какую-то веревку. Его глаза ласково улыбались Володе, как и тогда при первой встрече.

— Здравствуй, Бастрюков. Что, ты на вахте?

— На вахте, барин... Вот от скуки снасть плету, — улыбнулся он. — А вы, барин, шли бы вниз, а то, вишь, пронзительная какая погода.

— Не хочется вниз, Бастрюков.

— Заскучали, видно? — участливо спросил матрос. — Видел я, как вы с маменькой-то прощались... Да и как не заскучить? Нельзя не заскучить... И наш брат, кажется, привычное ему дело без сродственников жить, и тот, случается, заскучит... Только не надо, я вам скажу, этой самой скуке воли давать... Нехорошо! Не годится! — серьезно прибавил Бастрюков.

— Отчего нехорошо?

— Смутная мысль в голову ползет. А человеку, который ежели заскучит: первое дело работа. Ан — скука-то и пройдет. И опять же надо подумать и то: мне нудно, а другим, мо-

жет, еще нуднее, а ведь терпят... То-то и есть, милый баринок, — убежденно прибавил матрос и опять улыбнулся.

И — странное дело — эти немудрые, казалось, слова и вся эта необыкновенно симпатичная фигура матроса как-то успокоительно подействовали на Володю, и он не чувствовал себя одиноким.

Глава третья **Первые впечатления**

I

Со следующего же дня началась служба молодого моряка, и старший офицер определил его обязанности.

Вместе с другими четырьмя гардемаринами, окончившими курс, он удостоился чести исполнять должность «подвахтенного», т. е. быть непосредственным помощником вахтенного офицера и стоять с ним вахты (дежурства), во время которых он безотлучно должен был находиться наверху на баке и следить за немедленным исполнением приказаний вахтенного офицера, наблюдать за парусами на фок-мачте, за кливерами[36], за часовыми на носу, смотрящими вперед, за ис-

правностью ночных огней, — одним словом, за всем, что находилось в его районе.

Кроме вахтенной службы, Володя был назначен в помощь к офицеру, заведующему кубриком, и самостоятельно заведывать капитанским вельботом и отвечать за его исправность. Затем, по судовому расписанию, составленному старшим офицером, во время авралов, то есть таких работ или маневров, которые требуют присутствия всего экипажа, молодой моряк должен был находиться при капитане.

— Вот и все! — проговорил старший офицер, перечислив обязанности молодого человека. — Надеюсь, справитесь? — прибавил он.

— Постараюсь, Андрей Николаевич.

— Кроме того, вам не мешает познакомиться и с машиной корвета... Потом будете стоять и машинные вахты... И по штурманской части надо наостриться... Ну, да не все сразу, — улыбнулся старший офицер. — И, главное, от вас самого зависит научиться всему, что нужно для морского офицера. Была бы только охота... И вот еще что...

И маленький черноволосый старший офи-

цер, беседовавший глаз на глаз в своей каюте с молодым человеком, сидевшим на табурете, протянул любезно Володе свой объемистый портсигар со словами «курите, пожалуйста!» и продолжал:

— Позвольте вам дать добрый совет, Ашанин, послужившего моряка: старайтесь жить со всеми дружно... Будьте уживчивы... Извиняйте недостатки в сослуживцах, не задирайте никого, остерегайтесь оскорблять чужие самолюбия, чтобы не было ссор... Ссоры на судне — ужасная вещь, батенька, и с ними не плавание, а, можно сказать, одна мерзость... На берегу вы поссорились и разошлись, а ведь в море уйти некуда... всегда на глазах друг у друга... Помните это и сдерживайте себя, если у вас горячий характер... Морякам необходимо жить дружной семьей.

Он помолчал и спросил:

— Ну, что, не очень вам скучно после вчерашних проводов?

— Ничего, Андрей Николаевич.

— Уж такая наша служба, батенька... Надо расставаться с близкими! промолвил старший офицер и, показалось Володе, подавил

вздох. — А в каюте удобно устроились с ба-
тющкой?

— Отлично.

— Ну, очень рад... Можете идти... Вы под-
вахтенный в пятой вахте, у мичмана Лопати-
на. Вам с полуночи до четырех на вахту...
Помните, что опаздывать на вахту нельзя...
За это будет строго взыскиваться! внушитель-
но прибавил старший офицер, протягивая ру-
ку.

Володя ушел весьма довольный, что назна-
чен в пятую вахту к тому самому веселому и
жизнерадостному мичману, который так по-
нравился с первого же раза и ему, и всем
Ашаниным. А главное, он был рад, что назна-
чен во время авралов состоять при капитане,
в которого уже был влюблен.

И эта влюбленность дошла у юноши до
восторженности, когда дня через три по выхо-
де из Кронштадта однажды утром Ашанин
был позван к капитану вместе с другими офи-
церами и гардемаринами, кроме стоявших на
вахте.

Когда все собравшиеся уселись, капитан
среди глубокой тишины проговорил несколь-

КО ВЗВОЛНОВАННЫМ ГОЛОСОМ:

— Господа! Я попросил вас, чтобы откровенно высказать перед вами мои взгляды на отношения к матросам. Я считаю всякие телесные наказания позорящими человеческое достоинство и унижающими людей, которые к ним прибегают, и полагаю... даже более... уверен, что ни дисциплина, ни морской дух нисколько не пострадают, если мы не будем пользоваться правом наказывать людей подобным образом... Я знаю по опыту... Я три года был старшим офицером и ни разу никого не наказал и — честью заверяю вас, господа, — трудно было найти лучшую команду... Русский матрос — золото... Он смел, самоотвержен, выносив и за малейшую любовь отплачивает сторицей... Докажем же, господа, своим примером, что с нашими матросами не нужны ни линьки, ни розги, ни побои... Вопрос об отмене телесных наказаний уже рассматривается в нашем ведомстве... Благодаря настояниям нашего генерал-адмирала в скором времени выйдет и закон, но пока офицеры еще пользуются правом телесного наказания... Так откажемся, господа, теперь же от

этого права, и пусть на «Коршуне» не будет ни одного позорно наказанного... Согласны ли, господа офицеры?

У Володи и у большинства молодых людей восторженно сияли лица и горячей бились сердца... Эта речь капитана, призывающая к гуманности в те времена, когда еще во флоте телесные наказания были во всеобщем употреблении, отвечала лучшим и благороднейшим стремлениям молодых моряков, и они глядели на этого доброго и благородного человека восторженными глазами, душевно приподнятые и умиленные.

Быть может, и даже наверное, не все господа офицеры разделяли мнение капитана, но все ответили, что согласны на предложение командира.

На серьезном лице командира отразилось радостное чувство, и он весело сказал:

— Итак, господа, на «Коршуне» телесных наказаний не будет?

— Не будет! — торжественно отвечали все.

— И вы увидите, господа, какая лихая у нас будет команда! — воскликнул капитан. — Не правда ли, Андрей Николаевич? — обратился

он к старшему офицеру.

— Надеюсь, что не ударит лицом в грязь.

— И я прошу вас, Андрей Николаевич, приказать боцманам и унтер-офицерам не иметь у себя линьков. Чтобы я их не видал!

— Есть! — отвечал старший офицер.

— И чтобы они не дрались, а то срам...

— От этого отучить их будет трудно, Василий Федорович... Вы сами знаете... привычка...

И многие офицеры находили, что трудно, имея в виду и собственные привычки.

— Не спорю, что трудно, но все-таки надо внушить им, что это нельзя... Пусть и матросы знают об этом...

— Слушаю-с...

— Надеюсь, господа, что вы своим примером отучите и боцманов от кулачной расправы... К сожалению, на многих судах офицеры дерутся... Закон этого не разрешает, и я убедительно прошу вас соблюдать закон.

Многие офицеры, недовольные этой просьбой, равносильной приказанию, молчали, видимо, далеко не сочувственно и чувствовали, как будет им трудно избавиться от прежних

привычек. Но делать было нечего. Приходилось подчиняться и утешаться возможностью утолять свой служебный гнев хотя бы тайком, если не открыто, чтобы не навлечь на себя неудовольствия капитана. Не особенно был, кажется, доволен и старший офицер, довольно фамильярно в минуты вспышек обращавшийся с матросскими физиономиями.

— Мне остается еще, господа, обратиться к вам с последней просьбой: это... не употреблять в обращении к матросам окончаний, не идущих к службе...

Все улыбнулись, улыбнулся и капитан.

— Я только боюсь, что моя просьба будет невыполнима... Моряки так привыкли к энергичным выражениям...

— Не знаю, как другие, Василий Федорович, а я... я... каюсь... не могу обещать, чтобы иной раз и не того... не употребил крепкого словечка! проговорил старший офицер.

— И я не обещаю.

— И я...

— И я...

— Но по крайней мере хоть не очень! — проговорил смеясь капитан, знавший, что его

просьба действительно слишком требовательна для моряков.

И, обращаясь к гардемаринам, он продолжал:

— Но вы, господа гардемарины, еще не имеющие наших морских привычек, не приучайтесь к ним... прошу вас... Помните, что матрос такой же человек, как и мы с вами. Вас, господа, я попрошу в свободное время заниматься с командой... учить матросов грамоте, знакомить их с географией, читать им подходящие вещи. Каждому из вас будет поручено известное количество людей, и вы посвятите им час или два времени в день. Надеюсь, вы от этого не откажетесь, и на «Коршуне» у нас не будет ни одного неграмотного[37].

Нечего и говорить, что все молодые люди с восторгом приняли предложение капитана.

Отпуская офицеров, капитан попросил гардемаринчиков остаться.

— Мы побеседуем еще о разных делах, — проговорил он со своей хорошей улыбкой.

И, любезный и приветливый, он усадил поднявшихся было молодых людей и, предлагая папиросы, снова заговорил о важности

умственного развития матросов особенно теперь, после величайшей реформы, освободившей несколько миллионов людей от крепостной зависимости.

— Теперь и матрос уже не может быть тем, чем был... темным и невежественным... И мы обязаны помочь ему в этом, насколько умеем.

Видимо, это дело было близко сердцу капитана. Он объяснил молодым людям подробный план занятий, начиная с обучения грамоте, арифметике и кончая разными объяснительными чтениями, приноровленными к понятиям слушателей, вполне уверенный, что господа гардемарины охотно поделятся своими знаниями и будут усердными учителями.

— И вы увидите, какие будут у вас внимательные ученики!.. На днях я вам выдам запас азбук и кое-какой запас народных книг... Каждый день час или полтора занятий, но, разумеется, никаких принуждений. Кто не захочет, — не приневоливайте, а то это сделается принуждением и... тогда все пропало... Кроме этих занятий, мы устроим еще чтение с глобусом... Нам надо смастерить большой

глобус и начертить на нем части света... Найдутся между вами мастера?

Мастеров нашлось несколько человек.

— И отлично. Работайте, господа, и как окончите глобус, повесим его в жилой палубе. Каждый день один из вас будет отмечать на нем пройденное «Коршуном» расстояние и точки широты и долготы и читать географические лекции. Таким образом, матросы будут знать, куда мы едем, и будут иметь кое-какие сведения о портах, которые посетим... От ваших талантов, господа, будет зависеть, насколько они усвоят ваши объяснения... Впрочем, наши матросики — народ толковый... вы увидите, — и через три года они вернутся домой, благодаря вам, кое-что знающими, и помянут вас добром...

Капитан помолчал и затем начал:

— Надеюсь, господа, что и вы сами воспользуетесь плаванием, чтобы быть дельными моряками. Кроме обычной службы, вахт и занятий по расписанию, я буду просить вас каждого, кто стоит на вахте с 4 до 8 утра, делать астрономические наблюдения и к полудню вычислить широту и долготу помимо

штурмана... Это необходимо уметь моряку, хотя, к сожалению, далеко не все моряки это умеют... Кроме того, я попрошу вас ознакомиться и с машиной корвета и знать ее, чтоб потом, когда вам придется быть капитанами, не быть в руках механиков. Все это я буду от вас требовать, а теперь позвольте вам дать дружеский совет, господа... Надеюсь, вы не будете в претензии, что я вам хочу дать совет, так как он от чистого сердца.

Все молодые люди заявили, что они рады выслушать совет Василия Федоровича.

— Не забудьте, что быть специалистом-моряком еще недостаточно, и что надо, кроме того, быть и образованным человеком... Тогда и самая служба делается интереснее и осмысленнее, и плавания полезными и поучительными... А ведь все мы, господа, питомцы одного и того же морского корпуса, не можем похвалиться общим образованием. Все мы «учились чему-нибудь и как-нибудь»... Не правда ли?

— Правда... правда! — ответили молодые люди.

— От вас зависит в плавании пополнить

этот пробел... Времени довольно, чтобы позаняться и почитать... Если кают-компанейская библиотека окажется недостаточна, моя к вашим услугам всегда... У меня есть кое-какие книги по истории, литературе, есть путешествия... Советую ознакомиться по книгам со странами, которые нам придется посетить... Тогда и ваше личное знакомство с ними будет плодотворно, а не ограничится только посещениями театров, кафе-ресторанов... Тогда, вернувшись из плавания, вы можете действительно сказать, что кое-что видели и кое-чему научились... И сколько духовного наслаждения вы получите, если будете смотреть на мир божий, на вечно окружающую нас природу — и на море, и на небо — так сказать, вооруженным глазом, понимающим ее явления, и воспринимать впечатления новых стран, совсем иных культур и народов, приготовленные предварительным знакомством с историей, с бытом ее обитателей, с ее памятниками... Ну, да что распространяться... Вы это знаете и сами отлично. Повторяю: книги мои в вашем распоряжении...

Взоры молодых людей невольно обрати-

лись на два огромных шкафа, наполненных книгами.

— Половина книг, господа, на английском и французском языках, продолжал капитан. — Вы владеете ими?

Увы! хотя все и учились в морском корпусе и у «англичанина», и у «француза», но знания их оказались самыми печальными: ни один не мог прочитать английской книги, и двое с грехом пополам знали французский язык.

— И теперь, значит, как и в мое время, языкам не везет в морском корпусе? — усмехнулся капитан. — Надо, значит, самим учиться, господа, как выучился и я. Моряку английский язык необходим, особенно в дальних плаваниях... И при желании выучиться нетрудно... И знаете ли, что?.. Можно вам облегчить изучение его...

Гардемарины вопросительно взглянули на капитана.

— Мы можем в Англии взять с собой в плавание учителя-англичанина, конечно, на наш общий счет, пропорционально получаемому содержанию, деликатно заметил капитан, которому, как знающему, учиться, однако, не

предстояло. — Вероятно, все офицеры согласятся на это... Хотите?

Все, конечно, изъявили согласие и скоро вышли из капитанской каюты как-то духовно приподнятые, полные жажды знания и добра, горевшие искренним желанием быть не только отличными моряками, но и образованными, гуманными людьми.

Ничего подобного не слышали они никогда ни от корпусных педагогов, ни от капитанов, с которыми плавали, бывши кадетами...

Эта проповедь человечности, этот призыв к знанию были чем-то неслыханным во флоте в те времена. Чем-то хорошим и бодрящим веяло от этих речей капитана, и служба принимала в глазах молодых людей более широкий, осмысленный характер, чуждый всякого угнетения и произвола.

Для многих из этих юнцов, бывших на «Коршуне», этот день был, так сказать, днем просветления и таким лучезарным остался на всю их жизнь.

Володя вышел от капитана взволнованный и умиленный. Он в тот же день принялся за историю Шлоссера и дал себе слово основа-

тельно заняться английским языком и прочитывать всю капитанскую библиотеку.

II

Когда в тот же день старший офицер призвал к себе в каюту обоих боцманов, Федотова и Никифорова, двух старых служак, отзвонивших во флоте по пятнадцати лет и прошедших старую суровую школу, и сказал им, чтобы они бросили линьки и передали об этом остальным унтер-офицерам, то оба боцмана в первое мгновение вытаращили удивленно глаза, видимо, не веря своим ушам: до того это казалось невероятным по тем временам.

Однако твердо знавшие правила дисциплины, они оба почти одновременно отвечали:

— Слушаю, ваше благородие!

Тем не менее и красно-сизое, суровое на вид лицо Федотова с заседевшими черными бакенбардами и перешибленным носом, и менее подозрительного оттенка физиономия боцмана второй вахты Никифорова, рыжеусого, с лукавыми маленькими глазами, коренастого человека, выражали собой полнейшее недоумение.

— Поняли? — спросил строго старший офицер.

— Никак нет, ваше благородие! — отвечали разом оба, причем Федотов еще более нахмурился, сдвинув свои густые, нависшие брови, словно бы кем-то обиженный и чем-то недовольный, а Никифоров, как более тонкий дипломат и не знающий за собой, как его товарищ, слабости напиваться на берегу до бесчувствия, еще почтительнее заморгал глазами.

— Кажется, я ясно говорю: бросить линьки. Понял, Федотов?

— Никак нет, ваше благородие.

— А ты, Никифоров?

— Невдомек, ваше благородие, по какой такой причине и как, осмелюсь вам доложить, ваше благородие, боцман... и вдруг без линька...

— Боцман, ваше благородие, и не имеет при себе линька! — повторил и Федотов.

— Не ваше дело рассуждать! Чтобы я их не видал! Слышите!

— Слушаем, ваше благородие.

— И чтобы вы не смели ударить матроса...

Ни боже ни!

— Как вам угодно, ваше благородие, но только осмелюсь вам доложить, что это никак невозможно! — пробурчал Федотов.

— Никакого, значит, почтения к боцману не будет, — доложил почтительно Никифоров.

— Ежели примерно, ваше благородие, не вдарь я матроса в зубы, какой же я буду боцман! — угрюмо заметил Федотов.

— И ежели за дело и драться с рассудком, ваше благородие, то, позвольте доложить, что матрос вовсе и не обижается... Напротив, даже... чувствует, что проучен по справедливости! — объяснял Никифоров.

Старший офицер, человек далеко не злой, но очень вспыльчивый, который и сам, случалось, в минуты служебного гнева давал волю рукам, слушал эти объяснения двух старых, отлично знающих свое дело боцманов, подавляя невольную сочувственную улыбку и отлично понимая затруднительность их положения.

В самом деле, приказание это шло вразрез с установившимися и освященными обычаями

понятиями о «боцманском праве» и о педагогических приемах матросского обучения. Без этого права, казалось, — и не одним только боцманам в те времена казалось, — немислим был хороший боцман, наводящий страх на матросов.

Но какого бы мнения ни был Андрей Николаевич о капитанском приказании, а оно было для него свято, и необходимо было его исполнить.

И, напуская на себя самый строгий начальнический вид, словно бы желая этим видом прекратить всякие дальнейшие рассуждения, он строго прикрикнул:

— Не драться, и никаких разговоров!

— Есть, ваше благородие! — ответили оба боцмана значительно упавшими, точно сдавленными голосами.

— И если я услышу жалобы, что вы деретесь, с вас будет строго взыскано... Зарубите себе на память...

Оба боцмана слушали эти диковинные речи безмолвные, изумленные и подавленные.

— Особенно ты, Федотов, смотри... не зверствуй... У тебя есть эта привычка непременно

искровянить матроса... Я тебя не первый день знаю... Ишь ведь у тебя, у дьявола, ручища! — прибавил старший офицер, бросая взгляд на действительно огромную, жилистую, всю в смоле, руку боцмана, теребившую штанину.

Федотов невольно опустил глаза и, вероятно сам несколько смущенный видом своей руки, стыдливо спрятал ее назад.

— И, кроме того, — уже менее строгим тоном продолжал старший офицер, не очень-то распуская свои языки. Вы оба так ругаетесь, что только ахнешь... Откуда только у вас эта гадость берется?.. Смотри... остерегайтесь. Капитан этого не любит... Ну, ступайте и передайте всем унтер-офицерам то, что я сказал! — заключил Андрей Николаевич, хорошо сознавая тщету последнего своего приказа.

Окончательно ошалевшие, оба боцмана юркнули из каюты с красными лицами и удивленно выкаченными глазами. Они торопливо прошли кают-компанию, осторожно и на цыпочках ступая по клеенке, и вновь получили дар слова только тогда, когда прибежали на бак.

Но дар слова явился не сразу.

Сперва они подошли к кадке с водой[38] и, вынув из штанов свои трубочки и набив их махоркой, молча и неистово сделали несколько затяжек, и уж после того Никифоров, подмигнув глазом, произнес:

— Какова, Пров Захарыч, загвоздка, а?

— Д-д-да, братец ты мой, чудеса, — вымолвил Пров Захарович.

— Ты вот и пойми, в каких это смыслах!

— То-то... невдомек. И где это на военном судне видно, чтобы боцман и... тьфу!..

Федотов только сплюнул и выругался довольно затейливо, однако в дальнейшие объяснения не пустился ввиду присутствия матросов.

— И опять же, не могли сказать слова... Какая такая это новая мода, Захарыч?..

— Как он сам-то удержится... Небось, и он любит загнуть...

— Не хуже нашего...

— То-то и есть.

Дальнейшие совещания по поводу отданных старшим офицером приказаний происходили в тесном кружке, собравшемся в сторон-

ке. Здесь были все представители так называемой баковой аристократии: оба боцмана, унтер-офицеры, баталер[39], подшкипер[40], артиллерийский вахтер[41], фельдшер и писарь. Линьки, само собой разумеется, надо было бросить. Что же касается до того, чтобы не тронуть матроса, то, несмотря на одобрение этого распоряжения в принципе многими, особенно фельдшером и писарем, большинство нашло, что безусловно исполнить такое приказание решительно невозможно и что как-никак, а учить иной раз матроса надо, но, конечно, с опаской, не на глазах у начальства, а в тайности, причем, по выражению боцмана Никифорова, бить следовало не зря, а с «рассудком», чтобы не «оказывало» знаков и не вышло каких-нибудь кляуз.

Вопрос о том, чтобы не ругаться, даже и не обсуждался. Он просто встречен был дружным общим смехом.

Все эти решения постановлено было держать в секрете от матросов; но в тот же день по всему корвету уже распространилось известие о том, что боцманам и унтер-офицерам не велено драться, и эта новость была встре-

чена общим сочувствием. Особенно радовались молодые матросы, которым больше других могло попадать от унтер-офицеров. Старые, послужившие, и сами могли постоять за себя.

III

Небольшой «брамсельный»[42] ветерок, встреченный ночью корветом, дул, как выражаются моряки, прямо в «лоб», то есть был противный, и «Коршун» продолжал идти под парами по неприветливому Финскому заливу при сырой и пронизывающей осенней погоде. По временам моросил дождь и набегала пасмурность. Вахтенные матросы ежились в своих пальтишках, стоя на своих местах, и лясничали (разговаривали) вполголоса между собой, передавая один другому свои делишки и заботы, оставленные только что в Кронштадте. Почти половина команды была из старослужилых, и у каждого из них были в Кронштадте близкие — у кого жена и дети, у кого родные и приятели. Поговорить было о чем и о ком пожалеть.

Капитан то и дело выходил наверх и поднимался на мостик и вместе с старшим штур-

маном зорко посматривал в бинокль на рассеянные по пути знаки разных отмелей и банок, которыми так богат Финский залив. И он и старший штурман почти всю ночь простояли наверху и только на рассвете легли спать.

Наконец, во втором часу прошли высокий мрачный остров Гогланд и миновали маленький предательский во время туманов Родшер. Там уж прямая, открытая дорога серединой залива в Балтийское море.

За Гогландом горизонт начинал прочищаться. Ветер свежел и стал заходить.

— Кажется, норд-вест думает установиться. Как вы полагаете, Степан Ильич?

Сухощавый, небольшого роста пожилой человек в стареньком теплом пальто и старой походной фуражке, прошедший большую часть своей полувековой труженической жизни в плаваниях, всегда ревнивый и добросовестный в исполнении своего долга и аккуратный педант, какими обыкновенно бывали прежние штурмана, внимательно посмотрел на горизонт, взглянул на бежавшие по небу кучевые темные облака, потянул как будто воздух своим длинноватым красным носом с

желтым пятном, напомиравшим о том, как Степан Ильич отморозил себе лицо в снежный шторм у берегов Камчатки еще в то время, когда красота носа могла иметь для него значение, и проговорил:

— Надо быть, что так-с. И самое время для норд-веста, Василий Федорыч. Ишь, подыгрывает.

Прошло еще с полчаса. Ветер дул из норд-вестовой четверти и был попутным для корвета.

Тогда капитан обратился к вахтенному лейтенанту и приказал ставить паруса.

— Свистать всех наверх паруса ставить! — скомандовал офицер звучным веселым тенорком.

Вахтенный боцман Федотов подбежал к люку жилой палубы, мастерски засвистал в дудку и рявкнул во всю силу своих могучих легких голосом, который разнесся по всей жилой палубе:

— Пошел все наверх паруса ставить. Живо, ребята... Бегом!..

И, разумеется, окончил свою команду словами, ничего не имевшими общего с вызовом

наверх.

Тем временем сигнальщик, как полоумный, вбежал в кают-компанию и затем в гардемаринскую каюту с извещением о вызове всех наверх, и все стремительно полетели на палубу.

Старший офицер, как распорядитель аврала, поднялся на мостик, сменив вахтенного начальника, который, по расписанию, должен был находиться у своей мачты.

Словно бешеные, бросились со всех ног матросы, бывшие внизу, лишь только раздался голос боцмана. Он только напрасно их поощрял (и более по привычке, чем по необходимости) разными энергичными словечками своей неистощимой по части ругательств фантазии.

Не прошло и минуты, как весь экипаж корвета, исключая вахтенных машинистов и кокегаров да коков (поваров), был наверху на своих местах.

Мертвая тишина воцарилась на палубе.

— Марсовые к вантам! — раздалась звучная команда старшего офицера.

Несколько десятков марсовых — цвет ко-

манды, люди все здоровые, сильные и лихие — стало у ванта, веревочной лестницы, идущей по обе стороны каждой мачты.

— По марсам и салингам!

С этой командой матросы ринулись по вантам, бегом поднимаясь наверх.

Когда все уже были на марсах и салингах, старший офицер скомандовал:

— По реям!..

И все, с ноковыми[43] впереди, разбежались по реям, держась одной рукой за приподнятые рейки, служащие вроде перил, словно по гладкому полу и, стоя, перегнувшись, на страшной высоте, над бездной моря, стали делать свое обычное матросское трудное дело.

Володя, стоявший на мостике сзади капитана, в первые минуты с чувством страха поглядывал на эти слегка покачивающиеся вместе с корветом рей, на которых, словно муравьи, чернели перегнувшиеся люди. Ему казалось, что вот-вот кто-нибудь сорвется — и если с конца, то упадет в море, а если с середины, то на смерть разобьется на палубе. Он слышал — бывали такие примеры. И в голове

его невольно проносились мысли о той ежеминутной опасности, которой подвергаются матросы. Если теперь при тихой погоде и незначительной качке ему казалось их положение опасным, то каково оно во время бури, когда реи стремительно качаются, делая страшные размахи. Каково работать при дьявольском ветре? Каково устоять там?

И он, еще совсем неопытный моряк, преувеличивающий опасность, решил непременно как-нибудь самому сходить на рею и как-то невольно проникался еще большей любовью и большим уважением к матросам.

— Молодцами работают, Андрей Николаевич, — промолвил капитан, все время не спускавший глаз с рей.

— Хорошие марсовые, — весело ответил старший офицер, видимо довольный и похвалой капитана, и тем, что они действительно «молодцами работали».

— Готово, — крикнули с марсов.

— Отдавай! С реев долой! Пошел марса-шкоты![44] Фок[45] и грот[46] садить!..

Топот матросских ног да легкий шум веревок нарушали тишину работ. Изредка, впро-

чем, когда боцмана увлекались, с бака долетали энергические словечки, но они еще не рсточались с особенной щедростью ввиду того, что все шло хорошо.

Но вот какая-то снасть «заела» (не шла) на баке, и кливер что-то не поднимался. Прошла минута, долгая минута, казавшаяся старшему офицеру вечностью, во время которой на баке ругань шла crescendo[47]. Однако Андрей Николаевич крепился и только простирали руки на бак. Но, наконец, не выдержал и сам понесся туда, разрешив себя от долго сдерживаемого желания выругаться...

А капитан, слушая все эти словечки, серьезный и сдержанный, стоял на мостике и только морщился. Все, слава богу, было исправлено — кливер с шумом взвился.

Не прошло и пяти минут с момента вызова всех наверх, как «Коршун» весь покрылся парусами и, словно гигантская белоснежная птица, бесшумно понесся, слегка накренившись и с тихим гулом рассекая своим острым носом воду, которая рассыпалась алмазной пылью, разбиваясь о его «скулы».

Машина была застопорена. Винт поднят из

воды, чтобы не мешать ходу, и укреплен в так называемом винтовом колодце.

Аврал был кончен. Подвахтенных просвистали вниз, и вахтенный офицер снова занял свое место на мостике.

— К вечеру возьмите у марселей два рифа, — сказал капитан, обращаясь к вахтенному.

— Есть!

— Того и гляди, к ночи засвежеет, Степан Ильич?..

— Не мудрено и засвежеет, — отвечал старший штурман.

И оба они спустились вниз и разошлись по своим каютам.

IV

Ах, как не хотелось вставать и расставаться с теплой койкой, чтобы идти на вахту!

Володя только что разоспался, и ему снились сладкие сны, когда он почувствовал, что его кто-то дергает за ногу. Он отодвинул ее подальше и повернулся на другой бок. Но не тут-то было, какой-то дерзкий человек еще решительнее дернул ногу.

— А?.. Что?.. — произнес в полусне Володя,

не открывая вполне глаз и скорей чувствуя, чем видя, перед собой тусклый свет фонаря.

— Ваше благородие... Владимир Николаевич! Вставайте... На вахту пора! говорил чей-то мягкий голос.

Володя открыл глаза, но еще не совсем освободился от чар сна. Еще мозг его был под их впечатлением, и он переживал последние мгновения сновидений, унесших его далеко-далеко из этой маленькой каютки.

— Без десяти минут полночь! — тихим голосом говорил Ворсунька, чтобы не разбудить спящего батюшку, зажигая свечу в кенкетке, висевшей почти у самой койки. — Опоздаете на вахту.

Сон сразу исчез, и Володя, вспомнив, какое он может совершить преступление, опоздав-ши на вахту, соскочил с койки и, вздрагивая от холода, стал одеваться с нервной стремительностью человека, внезапно застигнутого пожаром.

— Что, не опоздаю?.. Много до двенадцати? — спрашивал он.

— Да вы еще успеете, ваше благородие. Должно, еще более пяти минут.

Володя посмотрел на свои часы и увидел, что остается еще целых десять минут. О, господи, он отлично мог бы проспать по крайней мере пять минут, если бы его не разбудил так рано Ворсунька.

И ему бесконечно стало жалко этих недоспанных минут, и он не то обиженно, не то раздраженно сказал молодому белобрысому вестовому:

— За что ты меня так рано поднял? За что?

Должно быть, и Ворсуньке стало жаль молодого барина, потому что он участливо проговорил:

— А вы, ваше благородие, доспите на диване в кают-компании, одевшись... Как будет восемь склянок, я вас побужу...

— Одевшись?! Какой уж теперь сон! — упрекнул Володя.

— Напередки я буду за пять минут вас будить, ваше благородие... А то, признаться, я не знал, чи жало ли вы встаете... Боялся, как бы не заругали, что поздно побудил... Виноват, ваше благородие... Не извольте сердиться.

— Да что ты, голубчик... разве я сержусь? Я,

право, нисколько не сержусь, — улыбался Володя, глядя на заспанное лицо вестового. — И ты напрасно встал для меня... Вперед пусть меня будит рассыльный с вахты...

— А помочь одеться?

— Я и сам умею... Что, холодно наверху?

— Пронзительно, ваше благородие... Пожалуйста, теплое пальто...

— Однако покачивает! — заметил Володя, расставив для устойчивости ноги.

— Есть-таки качки.

— А тебя не укачивает?

— Мутит, ваше благородие... душу будто сосет...

— Ступай, брат, ложись лучше. А к качке можно привыкнуть.

— Надо, видно, привыкнуть. Ничего не поделаешь! — промолвил, улыбаясь, Ворсунька, уходя вон.

В жилой, освещенной несколькими фонарями палубе, в тесном ряду подвешенных на крючки парусиновых коек, спали матросы. Раздавался звучный храп на все лады. Несмотря на пропущенные в люки виндзейли [48], Володю так и охватило тяжелым креп-

ким запахом. Пахло людьми, сыростью и смолой.

Осторожно проходя между койками, чтобы не задеть кого-нибудь, Ашанин пробрался в кают-компанию, чтобы там досидеть свои пять минут.

В кают-компании ни души. Чуть-чуть покачивается большая лампа над столом, и слегка поскрипывают от качки деревянные переборки. Сквозь жалюзи дверей слышатся порой сонные звуки спящих офицеров, да в приоткрытый люк доносится характерный тихий свист ветра в снастях, и льется струя холодного сырого воздуха.

Сверху раздаются мерные удары колокола. Раз... два... три... Бьет восемь ударов, и с последним ударом колокола Володя выбегает наверх, сталкиваясь на трапе со своим вахтенным начальником, мичманом Лопатыным.

— Молодцом, Ашанин... Аккуратны! — говорит на ходу мичман и бежит на мостик сменять вахтенного офицера, зная, как и все моряки, что опоздать со сменой хотя б минуту-другую считается среди моряков почти что

преступлением.

Иззябший, продрогший на ветру первый лейтенант, стоявший вахту с 8 до полуночи, радостно встречает мичмана и начинает сдавать вахту.

— Курс такой-то... Последний ход 8 узлов... Паруса такие-то... Огни в исправности... Спокойной вахты! Дождь, слава богу, перестал, Василий Васильевич!.. — весело говорит закутанная в дождевик поверх пальто высокая плотная фигура лейтенанта в нахлобученной на голове зюйдвестке[49] и быстро спускается вниз, чтобы поскорее раздеться и броситься в койку под теплое одеяло, а там пусть наверху воет ветер.

Слегка балансируя по палубе корвета, который довольно плавно поднимался и опускался на относительно спокойной качке, Ашанин торопливо, в несколько возбужденном состоянии юного моряка, идущего на свою первую серьезную вахту, шел на бак сменять подвахтенного гардемарина.

В темноте он его не сразу нашел и окликнул.

— Очень рад вас видеть, Ашанин! Фор-мар-

сель в два рифа, фок, кливер и стаксель... любуйтесь ими четыре часа... Огни в исправности... Часовые не спят... Погода, как видите, собачья... Ну, прощайте... Ужасно спать хочется!

И, проговорив эти слова, гардемарин быстро скрылся в темноте. Зычный голос вахтенного боцмана, прокричавшего в жилой палубе «Первая вахта на вахту!», уже разбудил спавших матросов.

Охая, зевая и крестясь, они быстро спрыгивали с коек, одевались, натягивая поверх теплых шерстяных рубаш свои куцые пальтишки, повязывали шеи гарусными шарфами и, перекидываясь словами, поднимались наверх на смену товарищам, уже предвкушавшим наслаждение койки.

Боцман Федотов, вступавший на вахту, сердитый со сна, сыпал ругательствами, поторапливая запоздавших матросов своей вахты, и, поднявшись наверх, проверил людей, назначил смены часовых на баке, послал дежурных марсовых на марсы, осмотрел огни и заходил по левой стороне бака.

И Володя шагал по правой стороне, пол-

ный горделивого сознания, что и он в некотором роде страж безопасности «Коршуна». Он добросовестно и слишком часто подходил к закутаным фигурам часовых, сидевших на носу и продуваемых ветром, чтобы увериться, что они не спят, перегибался через борт и смотрел, хорошо ли горят огни, всматривался на марсель и кливера — не полощут ли.

Но часовые, разумеется, не спали; огни ярко горели красным и зеленым цветом, и паруса стояли хорошо.

И ему точно было обидно, что нечего было делать, не на чем проявить свою бдительность.

«Разве вперед смотреть?», — думал он, и ему казалось, что он должен это сделать. Ведь часовые могут задремать или просто так-таки прозевать огонь встречного судна, и корвет вдруг врежется в его бок... Он, Володя Ашанин, обязан предупредить такое несчастье... И ему хотелось быть таким спасителем. И хоть он никому ничего не скажет, но все узнают, что это он первый увидал огонь, и капитан поблагодарит его.

И он остановился, прислонившись к борту

у самого носа, и напряженно вглядывался в мрак осенней ночи, среди которого бесшумно двигался корвет, казавшийся теперь какой-то фантастической гигантской птицей.

На носу «поддавало» сильнее, и он вздрагивал с легким скрипом, поднимаясь из волны. Свежий ветер резал лицо своим ледяным дыханием и продувал насквозь. Молодой моряк ежился от холода, но стойчески стоял на своем добровольно мученическом посту, напрягая свое зрение...

Ему то и дело мерещились огни то справа, то слева, то силуэты судов, то казалось, будто совсем близко впереди выглядывают из моря камни. И он беспокоил часовых вопросами: не видят ли они чего-нибудь? Те, конечно, ничего не видали, и Володя, смущенный, отходил, убеждаясь, что у него галлюцинация зрения. К концу вахты уж он свыкся с темнотой и, менее возбужденный, уже не видал ни воображаемых огоньков, ни камней, ни судов, и не без некоторого сожаления убедился, что ему спасителем не быть, а надо просто исполнять свое маленькое дело и выстаивать вахту, и что и без него безопасность корвета зор-

ко сторожится там, на мостике, где вырисовываются темные фигуры вахтенного начальника, младшего штурмана и старшего офицера.

Последний нет-нет да и появлялся на мостике, возбуждая досадливое чувство в самолюбивом молодом мичмане.

Еще бы!

Он, сделавший уже три летние кампании и поэтому горделиво считавший себя опытным моряком, был несколько обижен. Эти появления старшего офицера без всякой нужды казались недоверием к его знанию морского дела и его бдительности. Еще если бы «ревели» или корвет проходил опасные места, он понял бы эти появления, а теперь...

И мичман Лопатин, обыкновенно жизнерадостный, веселый и добродушный, с затаенным неудовольствием посматривал на маленькую фигуру старшего офицера, который, по мнению мичмана, мог бы спокойно себе спать вместо того, чтобы «торчать» наверху. Небось, капитан не «торчит», когда не нужно!..

А старший офицер, недоверчивый, еще не знавший хорошо офицеров, действительно не

совсем доверял молодому мичману, потому и выходил наверх, вскакивая с постели, на которой спал одетым.

Но не желая оскорблять щекотливое морское самолюбие мичмана, он, поднимаясь на мостик, как бы жалуясь, говорил:

— Совсем не спится что-то сегодня... Вот вышел проветриться.

— Удивительно, что не спится, Андрей Николаевич, — иронически отвечал мичман. — Кажется, можно бы спать... Ветер ровный... установился... идем себе хорошо... Впереди никаких мелей нет... Будьте спокойны, Андрей Николаевич... Я не первый день на вахте стою, — несколько обиженно прибавил вахтенный офицер.

— Что вы... что вы, Василий Васильевич... Я вовсе не потому... Просто бессонница! — деликатно сочинял старший офицер, которому смертельно хотелось спать.

«Эка врет, — подумал мичман и мысленно проговорил: — Ну, что же... торчи здесь на ветру, коли ты не доверяешь».

Убедившись, наконец, после двух-трех появлений с целью «проветриться» среди ночи,

что у молодого мичмана все исправно, что паруса стоят хорошо, что реи правильно обрасплены[50] и, главное, что ветер не свежеет, старший офицер часу во втором решился идти спать.

Перед уходом он сказал:

— Если засвежеет, пошлите разбудить меня, Василий Васильевич. А капитана без особенной надобности не будите. Он вчера всю ночь не спал.

— Есть! — отвечал мичман.

— Да, знаете ли, вперед хорошенько поспатривайте... как бы того... огни судов...

— За это не беспокойтесь.

— И на горизонт вглядывайтесь... Того и гляди, шквал наскочит...

— Не прозеваю... не бойтесь...

— Я не боюсь... я так позволил себе вам напомнить... До свидания, Василий Васильевич...

— Спокойной ночи, Андрей Николаевич!

Старший офицер спустился в свою каюту, хотел было раздеться, но не разделся и, как был — в пальто и в высоких сапогах, бросился в койку и тотчас же заснул тем тревожным и

чутким сном, которым обыкновенно спят капитаны и старшие офицеры в море, всегда готовые выскочить наверх при первой тревоге.

— Вперед смотреть, — весело и молодежато во всю силу своих молодых и могучих легких крикнул мичман Лопатин вслед за уходом старшего офицера, как будто выражая этим окриком и свое удовольствие остаться одному ответственным за безопасность корвета и всех его обитателей, и свое не дремавшее внимание лихого моряка, у которого ухи держи остро.

— Есть! Смо-о-о-отрим! — тотчас же ответили протяжными голосами и в одно время оба часовые на баке и вновь продолжали свою тихую беседу, которой они коротали свое часовое дежурство на часах: рассказывали сказки друг другу, вспоминали про Кронштадт или про «свои места».

Володя к концу вахты уже более не беспокоил часовых так часто, как прежде, особенно после того, как услышал замечание, сделанное на его счет каким-то матросом, не заметившим в темноте, что Ашанин стоит тут же около.

Чей-то голос говорил:

— Ишь ведь смола этот кадет... так и приста-
ставал. Думает, что без него люди не справля-
ют службы. То и дело подходил, когда мы с
Ивановым сидели на часах... Не заснули ли,
мол... И все, братцы, ему огни в глазах мере-
щились... Шалый какой-то.

— Это он так, с непривычки... Молодень-
кий... глупый еще... думает: на вахте егозить
надо... А барчук, должно, хороший... Ворсунь-
ка, евойный вестовой, сказывал, что добер и
простой... нашим братом не брезговает.

Володя совсем смутился и незаметно ото-
шел, дав себе слово больше не «егозить», как
выразился матрос про него.

И он ходил снова, по временам останавли-
ваясь у какой-нибудь кучки матросов, кото-
рые, притулившись у борта или у мачты,
вполголоса лясничали. Присутствие юнца-ка-
дета не останавливало бесед, иногда доволь-
но свободно критиковавших господ офице-
ров. И Володя слушал эти беседы и только
удивлялся их добродушному юмору и метко-
сти и образности определений и прозвищ.

— А что, барин, правду сказывают, будто

капитан приказал боцманам бросить линьки и не лезть в зубы? — спросил один из кучки баковых, сидевших у крайнего орудия, к которому подошел Володя.

— Правда...

— Ишь, ведь ты! — раздались несколько удивленные восклицания.

— Я вам говорил, братцы! — произнес знакомый голос Бастрюкова. — Одно слово: голубь. Голубь и есть!

— Да-да... Такого командира по всему флоту не найти... Бережет он матроса, дай бог ему счастья!

— Но только — и то сказать — нельзя боцману или офицеру иной раз нашего брата не съездить, — авторитетно заметил чей-то басок, сильный и надтреснутый.

Володя горячо протестовал и даже сказал по этому поводу убедительную, по его мнению, маленькую речь.

Казалось, судя по глубокому молчанию, все слушали с одобрением молодого барина. Однако, когда он кончил, тот же басок не без тонкой иронии в голосе проговорил:

— Так-то оно так, ваше благородие, а все-

таки, если не здря, а за дело, никак без эстого невозможно. Я вот, барин, пятнадцать лет во флоте околачиваюсь, всего навидался, но чтобы без боя — не видал... И никак без него невозможно! — тоном, полным глубокого убеждения, повторил старый матрос.

— Трудно, что и говорить! — поддержал кто-то.

— И вовсе даже можно! Барин правильно говорит! — заступился за Володю Бастрюков. — Это, ваше благородие, Аксютин так мелет потому, что его самого драли как Сидорову козу... У него и три зуба вышиблено от чужого, можно сказать, зверства.

— В старину, небось, учивали!.. — снова заметил басок и, казалось, без всякого протеста на виновников потери его зубов.

— То-то учивали и людей истязали, братец ты мой. Разве это по-божески? Разве от этого самого наш брат матрос не терпел и не приходил в отчаянность?.. А, по-моему, ежели с матросом по-хорошему, так ты из него хоть веревки вей... И был, братцы мои, на фрегате «Святой Егорий» такой случай, как одного самого отчаянного, можно сказать, матроса сде-

дали человеком от доброго слова... При мне дело было...

— Да ты Расскажи, Иваныч, как это вышло.

— А вышло, братцы, взаправду чудное дело... А вы, барин, что ж это зря на ветру стоите? Не угодно ли за пушку?.. Тут теплей, — обратился Бастрюков к Ашанину, заметив, что тот не уходит.

В кучке произошло движение, чтобы дать место Володе.

Но он, как подвахтенный, не счел возможным принять предложение и, поблагодарив матросов, остался на своем месте, на котором можно было и посматривать вперед, и видеть, что делается на баке, и в то же время слушать этого необыкновенно симпатичного Бастрюкова.

И тот продолжал:

— Служил, братцы, у нас на фрегате один матросик — Егорка Кирюшкин... Нечего говорить, матрос как есть форменный, первый, можно сказать, матрос по своему делу... штыкболтным[51] на фор-марса-рее и за гребным на капитанском вельботе был... Все понимали, что бесстрашный матросик: куда хо-

чешь пошли пойдет. Но только, скажу я вам, человек он был самый что ни на есть отчаянный... вроде как быдто пропащий...

— Пьянствовал? — спросил кто-то.

— Это что — пьянствовал!.. Всякий матрос, ежели на берегу, любит погулять, и нет еще в том большого греха... А он, кроме того, что пьянствовал да пропивал, бывало, все казенные вещи, еще и на руку был нечист... Попадался не раз... А кроме того, еще и дерзничал...

— Ишь ты... Значит, в ем отчаянность эта самая была...

— То-то и есть... Ну и драли же его-таки довольно часто, драли, можно сказать, до бесчувствия... Жалели хорошего матроса судить судом и в арестантские роты отдавать и, значит, полагали выбить из него всю его дурь жестоким боем, братцы... Случалось, линьков по триста ему закатывали, замертво в лазарет выносили с изрытой спиной... Каких только мучений не принимал... Жалеешь и только диву даешься, как это человек выносит...

— Шкура наша не господская... выносили, — вставил опять басок.

— И, что ж, не помогала ему эта самая выучка? — спросил кто-то.

— То-то и есть. Отлежится в лазарете и опять за свои дела... да еще куражится: меня, говорит, никакой бой не возьмет... Я, говорит, им покажу, каков я есть! Это он про капитана да про старшего офицера... Хорошо. А старшим офицером у нас в те поры был капитан-лейтенант Барабанов — может, слышал, Аксютин?

— Как про такого арестанта не слышать... Зверь был известный... В резерв его нонче увольнили.

— Ну, вот, этот самый Барабанов, как услышал, что Егорка хвастает, и говорит — тоже упрямый человек был: «Посмотрим, кто кого; я, говорит, его, подлеца, исправлю, я, говорит, и не таких покорял...» И стал он с этого самого дня Кирюшкина вовсе изводить... Каждый день при себе драл на баке как Сидорову козу.

— Ишь ты, что выдумал!

Володя слушал в волнении, полный негодования. Он не мог себе и представить, чтобы могли быть такие ужасные вещи.

— И хоть бы что, — продолжал Бастрю-

ков, — Егорка только приходил в большую отчаянность... Наконец, братцы вы мои, видит Барабанов, что нет с Кирюшкиным никакого сладу и что допорет он его до смерти, пожалуй, еще в ответе будет, — адмирал у нас на эскадре законный человек был, — пошел к капитану и докладывает: «Так мол, и так. Никак не могу я этого мерзавца исправить; дозвольте, говорит, по форме арестантом сделать, потому, говорит, совсем беспардонный человек»...

— Да... Вовсе отчаянный...

— И как он только еще жив остался!..

— И до сих пор жив... Только грудью слаб...

Он в бессрочные вышел и в Рамбове сторожем на даче. Я его летом встрел. А быть бы ему арестантом, если бы этого самого Барабанова не сменили в те поры и не назначили к нам старшим офицером Ивана Иваныча Буткова... Он теперь в адмиралы вышел. Человек он был справедливый и с большим рассудком... «Повремените, — это он капитана просит, — такого лихого матроса в арестанты назначать; я, говорит, быть может, его исправлю». А капитан только махнул рукой: «Не ис-

правите, мол... Уж его всячески исправляли и ничего не вышло, а впрочем, можно повременить; действительно, этот пьяница, грубиян и вор — преотличный матрос». Тоже, значит, и в капитане морская душа была. Любил он хороших матросов и многое им прощал! — пояснил Бастрюков. — И ведь как вы думаете, братцы, ведь совсем другим человеком сделал новый старший офицер этого самого Егорку... Дивились мы тогда... А все потому, что душу человеческую понял и пожалел матроса...

Бастрюков на минуту смолк.

— Как же он такого отчаянного исправил? Чудно что-то, Иваныч, нетерпеливо спросил кто-то.

— Чудно и есть, а я вам верно говорю... Словом добрым проник, значит, человека. Призвал это он Кирюшкина к себе в каюту и говорит: «Так и так, брось, братец ты мой, свою дурость и служи как следует. Тебя в арестантские роты хотели отдать, но я поручился за тебя, что ты станешь хорошим матросом. Уж ты, говорит, меня, Кирюшкин, оправдай... Ступай, говорит, и подумай, что я

сказал, и верь, что я от доброго сердца, жалеючи тебя». Только всего и сказал, а как пришел это Кирюшкин от старшего офицера на бак, смотрим — чудеса: совсем не куражится и какой-то в лице другой стал... После уж он мне объяснил, как с ним, можно сказать, первый раз во всю жизнь по-доброму заговорили, а в те поры, как его стали спрашивать, что ему старший офицер отчитывал, Егорка ничего не сказывал и ровно какой-то потерянный целый день ходил. Ну, думаем, видно, Егорку застращал арестантскими ротами, а не то Сибирью новый-то старший офицер... Ладно. В скорости вышли мы из Кронштадта и пришли в Ревель. На другой день велено было нашей вахте собираться на берег — отпускали, значит, гулять. Одеваемся мы, значит, в новые рубахи, смотрим — боцман приказывает и Егорке ехать. А тот стоит и вовсе ошалел, во все глаза смотрит, потому его почти никогда не отпускали на берег... знали, что пропьет с себя все или что-нибудь скрадет, что плохо лежит. «Ты что zenки вертишь? — говорит боцман. — Тебя, такой-сякой, старший офицер велел отпустить на берег. Видно, еще не

знает, каков ты есть». «Старший офицер?» — вымолвил только Егорка. — «А ты думал, я за тебя просил?.. Я, прямо скажу, просил, чтобы тебя не пускали, вот что я просил, но только старший офицер приказал... Одевайся... И будут же тебя пороть завтра, подлеца. Опять что-нибудь да выкинешь, дьявол!» Однако Кирюшкин ничего не выкинул и вернулся на фрегат, хотя и здорово треснувши, но с целыми вещами. Мы только диву давались. А старший офицер на утро, во время уборки, подошел к нему и говорит: «Спасибо, Кирюшкин, оправдал ты меня. Надеюсь и впредь». Егорка молчит, только лицом весь красный стал... И с тех пор шабаш... Ни воровства, ни озорства — совсем путевый стал.

— Совесть, значит, зазрила...

— То-то оно и есть... И доброе слово в душу вошло... Небось, оно, доброе-то слово, скорее войдет, чем дурное.

— Что ж он, пить бросил?

— Пить — пил, ежели на берегу, но только с рассудком. А на другой год старший офицер его в старшие марсовые произвел, а когда в командиры вышел, к себе на судно взял... И

до сих пор его не оставил: Кирюшкин на евойной даче сторожем. Вот оно что доброе слово делает... А ты говоришь, никак невозможно! — заключил Бастрюков.

Наступило молчание. Все притихли под впечатлением рассказа.

— А и холодно ж, братцы. Разве пойти покурить! — промолвил, наконец, Бастрюков и, выйдя из кучки, подошел к кадке и закурил трубочку.

Володя снова заходил, взволнованный рассказом матроса. И сам этот пожилой матрос с серьгой в ухе, с добрыми и веселыми глазами и с своей философией еще милее стал Ашанину, и он решил познакомиться с ним поближе.

Пробило шесть склянок. Еще оставалось две. Володя ужасно устал ходить и прислонился к борту. Но только что он выбрал удобное положение, как почувствовал, что вот-вот и он сейчас заснет. Дрема так и звала его в свои объятия. У борта за ветром так было хорошо... ветер не продувал... И он уже невольно стал клевать носом и уж, кажется, минут-другую был в полусознательном состоя-

нии, как вдруг мысль, что он на вахте и заснул, заставила его вздрогнуть и поскорее уйти от предательского борта.

«Срам какой... Хорошо, что никто не видал!», — думает он и снова начинает ходить и нетерпеливо ждать конца вахты. Спать хочется нестерпимо, и он завидует матросам, которые сладко дремлют около своих снастей. Соклазн опять прислониться к борту и подремать хоть минутку-другую ужасно велик, но он храбро выдерживает искушение и, словно бы чтоб наказать себя, лезет осматривать огни.

— Напрасно, барин, беспокоитесь, я только что осматривал, — говорит боцман Федотов, который, как маятник, ходил взад и вперед и зорко посматривал на паруса.

— А часовые смотрят?

— Смотрят...

— Кажется, кливер будто полощет?

— Это так только оказывает. И кливер стоит форменно, не извольте сумлеваться, — говорит боцман с снисходительной почтительностью.

— Вперед смотреть! — снова раздаётся

Звучный и веселый голос мичмана.

— Есть! Смотрим! — снова отвечают часовые.

Море черно. Черно и кругом на горизонте. Черно и на небе, покрытом облаками. А корвет, покачиваясь и поклевывая носом, бежит себе, рассекая эту непроглядную тьму, подгоняемый ровным свежим ветром, узлов по восьми. На корвете тишина. Только слышатся свист и подывание ветра в снастях да тихий гул моря и всплески его о борта корвета.

Холодно, сыро и неприветно кругом.

И Володе, как нарочно, в эти минуты представляется тепло и уют их квартиры на Офицерской. Счастливцы! Они спят теперь в мягких постелях, под теплыми одеялами, в сухих, натопленных комнатах.

— Дзинь, дзинь, дзинь, дзинь...

Почти у самых его ушей пробивает семь ударов.

Слава богу, осталось всего полчаса.

Но зато как бесконечно долго тянутся эти полчаса для моряков на ночных вахтах, да еще таких холодных и неприветных. И чем ближе конец вахты, тем нетерпеливей ожи-

дание. Последние минуты кажутся часами.

Володя то и дело подходил к фонарю, висевшему около кадки с водой, впереди фок-мачты, взглядывал на часы. Стрелка, показалось ему, почти не двигалась.

— Восемь бить! — раздался веселый голос с мостика.

— Наконец-то! — невольно проговорил вслух Володя.

Радостно отдавались эти удары в его сердце и далеко не так радостно для матросов: они стояли шестичасовые вахты, и смена им была в шесть часов утра. Да и подвахтенным оставалось недолго спать. В пять часов вся команда вставала и должна была после утренней молитвы и чая начать обычную утреннюю чистку и уборку корвета.

С последним ударом колокола к Володе подошел сменяющий его гардемарин.

Ашанин торопливо сдал вахту и почти побежал вниз в свою каюту. Быстро раздевшись, он вскочил в койку, юркнул под одеяло и, согревшись, охваченный чувством удовлетворенности тепла и отдыха, вполне довольный и счастливый, начал засыпать.

«Какой славный этот Бастрюков и какие ужасные звери бывали люди... Я буду любить матросов...» — подумал он сознательно в последний раз и заснул.

* * *

Через два дня корвет входил на Копенгагенский рейд, и вскоре после того, как отдан был якорь, Володя в большой компании съехал на берег, одетый в штатское платье.

Он первый раз в жизни вступил на чужую землю, и все его поражало и пленяло своей новизной. Вместе с другими он осматривал город, чистенький и довольно красивый, вечер провел в загородном саду вместе с несколькими гардемаринами и, вернувшись на корвет, стал писать длинейшее письмо домой.

На другой день из консульства привезли целую пачку газет и писем, в числе которых одно, очень толстое, было и для Володи.

Он пошел в каюту, чтобы читать письмо без свидетелей, и, обрадованный, что сожигатель его в кают-компани, стал глотать эти милые листки, исписанные матерью, сестрой и братом, с восторженной радостью и по вре-

менам вытирая невольно навертывавшиеся слезы.

В одном из листков была и лаконичная записка дяди-адмирала: «Ждем известий. Здоров ли? Не укачивает ли тебя?»

— Ах, славный дядюшка! — воскликнул Володя и снова начал перечитывать родные весточки не «начерно», а «набело».

Глава четвертая Первая трепка

I

По выходе, после двух дней стоянки, из Копенгагена ветер был все дни противный, а потому «Коршун» прошел под парами и узкий Зунд, и богатый мелями Каттегат и Скагеррак, этот неприветливый и нелюбимый моряками пролив между южным берегом Норвегии и северо-западной частью Ютландии, известный своими неправильными течениями, бурными погодками и частыми крушениями судов, особенно парусных, сносимых то к скалистым норвежским берегам, то к низким, окруженным отмелями берегам Ютландии.

К вечеру третьего дня «Коршун» вошел в Немецкое[52] море, тоже не особенно госте-

приимное, с его дьявольским, неправильным волнением и частыми свежими ветрами, доходящими до степени шторма.

Немецкое море сразу же дало себя знать изрядной и, главное, неправильной качкой. Поставили паруса и на ночь взяли три рифа у марселей и по одному рифу у нижних парусов.

Ветер все свежел, и барометр падал.

Капитан, не спавший две ночи и отдохнувший днем урывками, готовился, кажется, не спать и третью ночь. Серьезный, с истомленным лицом, он зорко всматривался вокруг и приказал старшему офицеру осмотреть, хорошо ли закреплены орудия и все ли крепко закреплено.

— К ночи, верно, нас потреплет! — прибавил он.

И старший штурман Степан Ильич был, кажется, того же мнения и, спустившись в кают-компанию, приказал вестовым, чтобы ночью был чай. Во время штормов Степан Ильич любил сбежать вниз и выпить, как он выражался, «стакашку» с некоторым количеством рома.

— Что, Степан Ильич, — спрашивали пожилого штурмана в кают-компании, разве того... в ночную?

— Видно, придется.

— Трепанет, что ли?

— Немецкое море уж такое, можно сказать, свинское... часто треплет, а главное — качка в нем преподлейшая... Приготовьтесь, господа. Здесь самых выносливых к качке укачивает.

— Пока ничего себе... валяет, да не очень.

— Да теперь и качки-то почти никакой нет. Какая это качка! — говорил штурман, хотя корвет изрядно-таки покачивало, дергая во все стороны. — Вот к ночи, что бог даст. Тогда узнаете качку Немецкого моря.

Володя, только что сменившийся с вахты,пил чай в гардемаринской каюте. У многих молодых людей, первый раз испытывавших такую беспокойную качку, уже бледнели лица, и многие уже улеглись в койки. И Ашанин, не чувствовавший морской болезни, стоя наверху, на воздухе, теперь ощущал какую-то неприятную тяжесть в голове и подсывание под ложечкой. Однако он храбрился

и выпил стакан чаю, хотя он ему вдруг и показался противен, и скоро ушел к себе в каюту и лег в койке. Лежа, он уже не испытывал никакой неприятности и скоро заснул.

II

Проснулся он от сильной боли, ударившись лбом о переборку, и первое мгновение изумленно озирался, не понимая, в чем дело. Но тотчас же его снова дернуло на койке, и он должен был схватиться рукой за стойку, чтобы не упасть. Корвет дергало во все стороны, то вперед, то назад, то стремительно кидало на один бок, то на другой. Сквозь наглухо задраенный иллюминатор в каюту проникал мутноватый полусвет. Иллюминатор то выходил из воды, и крупные капли сыпались с него, то бешено погружался в пенящуюся воду, и тогда в каюте становилось темно. Эта бездонная пропасть бушующего, заседевшего моря, бьющегося о бока корвета, отделялась только стеклом иллюминатора да несколькими досками корабельной обшивки. Оно было близко, страшно близко, это море, и здесь, сквозь стекло иллюминатора, казалось как-им-то жутким и страшным водяным гробом.

И чувство беспомощности и сиротливости невольно охватывало юношу в этой маленькой полутемной каюте, с раздирающим душу скрипом переборок и бимсов[53]. Здесь положение казалось несравненно серьезнее, чем было в действительности, и адская качка наводила на мрачные мысли юношу, испытывавшего первый раз в жизни серьезную трепку. При этих стремительных размахах боковой качки, когда корвет ложился совсем набок и голова Володи была на горе, а ноги висели где-то под горой, ему казалось, что вот-вот корвет не встанет и пойдет ко дну со всеми его обитателями.

И ему делалось невыразимо жутко и хотелось поскорее выскочить из каюты на свежий воздух, к людям.

Он пробовал подняться, но чуть было не стукнулся опять лбом. Надо было уловить момент, чтобы прыгнуть. Батюшка стонал и шептал молитвы, мертвенно бледный, страдая приступами морской болезни.

— Что, опасности нет? — спрашивал он упавшим голосом.

— Ни малейшей! — уверенным голосом от-

вечал Ашанин, стараясь скрыть свое смущение, недостойное, как ему казалось, моряка, под видом напускного равнодушия.

Но едва только Ашанин стал на ноги, придерживаясь, чтобы не упасть, одной рукой за койку, как внезапно почувствовал во всем своем существе нечто невыразимо томительное и бесконечно болезненное и мучительное. Голова, казалось, налита была свинцом, в виски стучало, в каюте не хватало воздуха и было душно, жарко и пахло, казалось, чем-то отвратительным. Ужасная тошнота, сосущая и угнетающая, словно бы вытягивала всю душу и наводила смертельную тоску.

— Укачало, — подумал со страхом Ашанин, впервые понявший всю мучительность морской болезни и чувствуя неодолимое желание глотнуть свежего воздуха.

А корвет так и бросало со стороны на сторону, так и дергало.

С большим трудом, проделывая разные эквилибристические упражнения, чтобы не упасть, Ашанин оделся и, бледный, все с тем же мучительным ощущением тошноты и тоски, вышел из каюты.

В палубе, казалось, все прыгало и вертелось. Несколько десятков матросов лежало вповалку. Бледные, с помутившимися глазами, они казались совершенно беспомощными. Многие тихо стонали и крестились; многих тут же «травило», по выражению моряков. И вид всех этих страдавших морской болезнью, казалось, еще более усиливал страдания молодого человека.

И морская служба сразу потеряла в глазах Ашанина всю свою прелесть. Ах, зачем он ушел в плавание?.. Как хорошо теперь на твердой земле! Как мучительно ее хотелось!

Глухой гул ревущего ветра доносился сверху сквозь приоткрытые люки. Там, наверху, казалось, происходило что-то ужасное и страшное.

Стараясь улавливать моменты, когда палуба не уходила из-под ног, пробирался Володя, хватаясь за разные предметы, к трапу.

У кают-компания он увидел Ворсуньку, сидевшего на корточках, притулившись к дверям буфетной каюты.

Выражение страдания и страха стояло на бледном лице молодого вестового. Что-то жа-

лобно-покорное и испуганное было в его голубых, широко открытых глазах.

— Укачало, брат? — участливо спросил Ашанин, останавливаясь у трапа.

Вестовой хотел было встать.

— Сиди, сиди.

— С души вовсе рвет, барин... Точно душу тянет! — жалобно отвечал Ворсунька.

— Ты приляг... легче будет.

— Никак невозможно ложиться... я — дежурный... О, господи Иисусе, испуганно вдруг прошептал Ворсунька и стал креститься, когда стремительным размахом бросило корвет набок.

— Не бойся, голубчик. Ничего опасного нет! — произнес Володя, сам полный жгучего страха, и, поднявшись по трапу, отдернул люк и очутился на палубе.

Его всего охватило резким, холодным ветром, чуть было не сшибившим его с ног, и осыпало мелкой водяной пылью. В ушах стоял характерный гул бушующего моря и рев, и стон, и свист ветра в рангоуте и в трепетавших, как былинки, снастях.

Цепляясь за протянутый леер[54], он про-

шел на шканцы и, держась цепкой рукой за брюк[55] наветренного орудия, весь потрясенный, полный какого-то благоговейного ужаса и в то же время инстинктивного восторга, смотрел на грозную и величественную картину шторма — первого шторма, который он видал на заре своей жизни.

Здесь, наверху, на ветре, ощущения морской болезни были не так мучительны, как в душной каюте, и качка хотя и казалась страшнее, но переносить ее было легче.

III

Действительно, было что-то грандиозное и словно бы загадочное в этой дикой мощи расвирепевшей стихии, с которой боролась горсточка людей, управляемая одним человеком — капитаном, на маленьком корвете, казавшемся среди необъятного беснующегося моря какой-то ничтожной скорлупкой, поглотить которую, казалось, так легко, так возможно.

Бушевавшее на всем видимом пространстве море представлялось глазам пенистой, взрытой, холмистой поверхностью бешено несущихся волн и разбивающихся одна о дру-

гую своими седыми вершушками. Издали не видать было цвета воды: все кипело пеной, точно в гигантском котле. И волны издали не давали понятия об их страшной высоте. Только вблизи, у самого корвета, можно было видеть эти громадные свинцово-зеленые валы с высокими гребнями, окружающие со всех сторон корвет и бешено, с гулом разбивающиеся о его бока, обдавая брызгами своих вершук.

И среди этих водяных гор маленький «Коршун» со спущенными стеньгами и брам-стеньгами выдерживает шторм с оголенными мачтами под штормовыми триселями[56], бизанью[57] и фор-стеньги-стакселем, то поднимаясь на волну, то опускаясь в глубокую ложбину, образуемую двумя громадными валами. Корвет дергает во все стороны. Он качается и вперед и назад, и с бока на бок и, разрезывая острым носом гребень, вскакивает на него, и в этот момент часть волны попадает на бак. Иногда при сильном размахе корвет черпает бортом, и тогда вершушки волн яростно вскидываются на палубу и выливаются на другой стороне борта через шпигаты[58].

Жутко было в первые минуты Володе от этой картины бушующего моря и от этой страшной близости к нему... Страшными казались и эти громады волн, несущиеся на корвет и словно бы готовые его сейчас поглотить... Вот сзади, словно большая гора, поднялся высокий вал над кормой, словно опустившийся в пропасть. Володя в трепетном страхе смотрит на эту водяную гору застывшим от ужаса взглядом. Ему, юному и неопытному моряку, только теоретически знакомому с пловучестью и легкостью судна, кажется, что еще мгновение... и эта гора обрушится на корму и покроет своим водяным саваном весь корвет со всеми его обитателями.

О, господи! Неужели?!

Но молодость и жажда жизни невольно протестуют против такой мысли.

И ему вдруг делается стыдно своего малодушного страха, когда вслед за этой мелькнувшей мыслью, охватившей смертельной тоской его молодую душу, нос «Коршуна», бывший на гребне переднего вала, уже стремительно опустился вниз, а корма вздернулась кверху, и водяная гора сзади, так напу-

гавшая юношу, падает обессиленная, с бешенством разбиваясь о кормовой подзор, и «Коршун» продолжает нырять в этих водяных глыбах, то вскакивая на них, то опускаясь, обдаваемый брызгами волн, и отряхиваясь, словно гигантская птица, от воды.

На горизонте вокруг серо и мрачно. Изредка мелькнет парус такого же штормующего судна и скроется во мгле. Нависшее совсем низко небо покрыто темными клочковатыми облаками, несущимися с бешеной быстротой.

Ветер ревет, срывая гребни волн и покрывая море водяной пылью. Бешено воет он и словно бы насаждает, нападая на маленький корвет, на его оголенные мачты, на его наглухо закрепленные орудия и потрясает снасти, проносясь в них каким-то жалобным стоном, точно жалея, что не может их уничтожить.

С такой же яростью нападали на маленький «Коршун» и волны, и только бешено разбивались о его бока, перекатывались через бак и иногда, если рулевые площадки, вливались верхушками через подветренный борт. Все их торжество ограничивалось лишь тем, что они обдавали своими алмазными брызга-

ми вахтенных матросов, стоявших у своих снастей на палубе.

Прошло минут пять-десять, и юный моряк уже без жгучего чувства страха смотрел на шторм и на беснующиеся вокруг корвета высокие волны. И не столько привыкли все еще натянутые, словно струны, нервы, сколько его подбадривало и успокаивало хладнокровие и спокойствие капитана.

Бледный и истомленный от нескольких бессонных ночей, капитан точно прирос к мостику, расставив ноги и уцепившись за поручни, в своем коротком пальто, с нахлобученной фуражкой. Зорко и напряженно вглядывался он вперед и лично отдавал приказания, как править рулевым, которые в числе восьми человек стояли у штурвала под серединой мостика. Лицо его было серьезно и спокойно. Ни черточки волнения не было в его строгих чертах. Напротив, что-то покойное и уверенное светилось в возбужденном взгляде его серых, слегка покрасневших глаз и во всей этой скромной фигуре.

Это спокойствие как-то импонировало и невольно передавалось всем бывшим на па-

лубе. Глядя на это умное и проникновенное лицо капитана, который весь был на страже безопасности «Коршуна» и его экипажа, даже самые робкие сердца моряков бились менее тревожно, и в них вселялась уверенность, что капитан справится со штормом.

Володя уже не сомневался в этом и с каким-то восторженным чувством взглядывал на своего любимца.

Тут же на мостике стояли: вахтенный лейтенант Невзоров, тот самый молодой красивый брюнет, который с таким горем расставался в Кронштадте с изящной блондинкой женой, и старший штурман, худенький старик Степан Ильич.

Молодой лейтенант, видимо, был несколько взволнован, хотя и старался скрыть это. Но Володя заметил это волнение и в побледневшем лице лейтенанта, и в его тревожном взгляде, который то и дело пытливо всматривался то в капитана, то в старшего штурмана, словно бы желая на их лицах прочесть, нет ли серьезной опасности и выдержит ли корвет эту убийственную трепку.

Он тоже переживал свой первый шторм и

В эти минуты втайне горько жалел, что не отказался от лестного назначения и пошел в дальнейшее плавание.

И, глядя на эти бушующие волны, среди которых метался корвет, молодому лейтенанту с какой-то поразительной назойливостью лезли мысли об отставке, и образ дорогой Наташи являлся перед ним, мучительно щемя его душу.

«Ах, зачем он не послушался тогда ее... Зачем не отказался!..»

Но стыд за свое малодушие заставляет молодого лейтенанта пересилить свой страх. Ему кажется, что и капитан и старый штурман видят, что он трусит, и читают его мысли, недостойные флотского офицера. И он принимает позу бесстрашного моряка, который ничего не боится, и, обращаясь к старому штурману, стоящему рядом с капитаном, с напускной веселостью говорит:

— А славно треплет нас, Степан Ильич... Право, славно.

Почтенный Степан Ильич, проплававший более половины своей пятидесятилетней жизни и видавший немало бурь и штормов и

уверенный, что кому суждено потонуть в море, тот потонет, стоял в своем теплом стареньком пальто, укутанный шарфом, с надетой на затылок старенькой фуражкой, которую он называл «штормовой», с таким же спокойствием, с каким бы сидел в кресле где-нибудь в комнате и покуривал бы сигару. Он видел, что «штормяга», как он выражался, «форменный», но понимал, что «Коршун» доброе хорошее судно, а капитан — хороший моряк, а там все в руках господ бога.

— Ну, батенька, славного мало, — отвечал Степан Ильич. — Лучше бы было, если бы мы проскочили Немецкое море без шторма... Ишь ведь как валяет, прибавил старый штурман, не чувствовавший сам никакого неудобства от того, что «валяет», и уже ощущавший потребность выпить стакан-другой горячего чаю. — Здесь, батенька, преподлая качка... Наверное, многих укачала! А вас не мутит?..

— Нет, нисколько, — похвастал Невзоров, хотя и чувствовал приступы тошноты.

— Внизу разлимонит... Уж такая здесь толчея... Это не то что океанская качка... Та благородная качка, правильная и даже приятная,

а эта самая что ни на есть подлая.

— Право! Больше право! Так держать! — крикнул капитан рулевым.

Но волна-таки ворвалась, чуть было не смыла висевший на боканцах[59] катер и обдала матросов.

Матросы отряхнулись, словно утки от воды, и снова стоят у своих снастей, молчаливые и серьезные. На всех поверх теплых фланелевых рубаш надеты пальто-бушлаты и просмоленные наружные дождевики, но эта одежда не спасает их от мокроты. Брызги волн непрерывно обдают их. Многих, особенно молодых матросов, укачало и наверху, и они стоят бледные как смерть.

Не слышно, как обыкновенно, ни шутки, ни смеха. Только изредка кто-нибудь заметит:

— Ишь ты, каторжный какой ветер...

— Штурма настоящая...

Молодой матросик из первогодков, ошалевший от страха, обращается к пожилому матросу и спрашивает:

— А что, Митрич, потопнуть нельзя при такой страсти?

«Митрич», здоровенный, коренастый матрос и, судя по сизому носу, отчаянный пьяница, отвечает грубоватым голосом:

— Деревня ты как есть глупая!.. Потопнуть?! И не такие штурмы бывают, а корабли не тонут. «Конверт» наш, небось, крепок... И опять же капитан у нас башковатый... твердо свое дело понимает... Погляди, какой он стоит... Нешто стоял бы он так, если бы опаска была...

Молодой матросик, стоявший у грот-мачты, смотрит на мостик, где стоит капитан, и несколько успокаивается.

— Бог-то его любит, братцы, за евойную доброту к матросу и не попустит! — вставил кто-то.

— То-то оно и есть! — подтвердил Митрич и после минуты молчания прибавил, обращаясь ко всем: — давечь, в ночь, как рифы брали, боцман хотел было искровянить одного матроса... Уже раз звезданул... А около ардимарин случись... Не моги, говорит, Федотов, забижать матроса, потому, говорит, такой приказ капитанский вышел, чтобы рукам воли не давать.

— Что же боцман?

— Известно, оставил... Но только опосля все-таки начистил матросику зубы... Знает, дьявол, что матрос не пойдет жалиться... А все ж таки на этих анафем боцманов да унтер-церов теперь справа есть... Опаску, значит, будут иметь...

— Мутит, братцы, ох, как мутит, — жаловался матросик.

— А ты «страви» — полегчает, — ласково сказал Митрич.

— То-то не «травит»...

— А ты запусти, братец ты мой, палец в глотку...

Матросик последовал совету товарища.

— Ну, что, легче?

— Будто и легче.

Ашанин пробыл наверху около часа. Шторм, казалось, крепчал, и качка делалась нестерпимее. Он снова почувствовал сильные приступы морской болезни и на этот раз мучительные.

И снова все показалось ему немилым, и снова морская служба потеряла всякую прелесть в его глазах. Он спустился вниз, шата-

сь, дошел до своей каюты и влез на койку. Но и лежащее положение не спасло его. После самого пребывания на свежем воздухе его, как выражался старый штурман, «совсем разлимонило» в душной и спертой атмосфере маленькой каюты, в которой по-прежнему бедный батюшка то стонал, то шептал молитвы, вдруг прерываемые неприятными звуками, свидетельствовавшими о приступе морской болезни.

Володя так же страдал теперь, как и его сожитель по каюте, и, не находя места, не зная, куда деваться, как избавиться от этих страданий, твердо решил, как только «Коршун» придет в ближайший порт, умолять капитана позволить ему вернуться в Россию. А если он не отпустит (хотя этот чудный человек должен отпустить), то он убежит с корвета. Будь что будет!

В этот мучительный день на Немецком море Володя ненавидел морскую службу, а море, которое он видел в иллюминатор, внушало ему отвращение.

IV

Такие же чувства испытывали в этот день

большая часть офицеров и гардемарин и добрая половина матросов. Всех укачало, и для всех берег являлся желанным и недостижимым блаженством.

Все почти отлеживались по своим каютам, с ужасом ожидая времени, когда придется идти на вахту.

По случаю шторма варки горячей пищи не было. Да почти никто и не хотел есть. Старик-матросы, которых не укачало, ели холодную солонину и сухари, и в кают-компании подавали холодные блюда, и за столом сидело только пять человек: старший офицер, старик-штурман, первый лейтенант Поленов, артиллерист да мичман Лопатин, веселый и жизнерадостный, могучего здоровья, которого, к удивлению Степана Ильича, даже качка Немецкого моря не взяла.

— Вы, батенька, прирожденный моряк, — говорил старик-штурман и уписывал с обычным своим аппетитом и ветчину, и холодную телятину, запивая все это любимой своей марсалой.

Обедали, конечно, с деревянной сеткой, укрепленной поверх стола, в гнездах которой

стояли приборы и лежали плашмя графины и бутылки, чтобы все эти предметы не могли двигаться на качающемся стремительно столе. Вестовые выписывали вензеля и делали необыкновенные акробатические движения, чтобы донести блюда по назначению и не разметать яств по полу. Приходилось выбирать моменты и обедающим, умело ими пользоваться, чтобы благополучно донести вилку до рта, не разлить вина или не обжечься горячим чаем, который подавался в стаканах, завернутых в салфетку.

Весь этот день Володя пролежал в каюте, впадая по временам в забытие. Точно сквозь сон слышал он, как под вечер зычный голос боцмана прокричал: «Пошел все наверх» — хотел было вскочить, но, обессиленный, не мог подняться с места.

Да и не все ли равно? Ведь он бесповоротно решил в первом же порте остаться, и ну ее к черту, эту отвратительную службу... Пусть дядя сердится, а он не виноват... Ишь ведь как мечется во все стороны корвет... О, господи, что это за ужасная качка... И неужели можно к ней привыкнуть когда-нибудь...

Он вспомнил, что не пошел на вахту, и когда ему рассыльный пришел доложить, что до вахты пять минут, сказал, что болен и выйти не может...

Еще бы выйти, когда его безостановочно тошнит.

Он ни за что не встанет... Пусть с ним делают, что хотят... Он будет лежать до тех пор, пока «Коршун» не придет в порт... О, тогда он тотчас же съедет на землю.

Счастливцы, кто живет на земле... Идиоты — пускающиеся в море... О, как завидовал он всем этим счастливцам, которые сидели и ходили и не чувствовали этих мучительных приступов...

«О, мама, милочка! как бы я хотел быть с тобой!» — повторял Володя и, наконец, забылся в тяжелом сне.

V

Проснувшись на следующее утро, Володя, к крайнему своему изумлению, чувствовал себя свежим, бодрым, здоровым и страшно голодным.

Что это значит?.. Разве уж больше не качает?

Но корвет качало и качало почти так же, как вчера, а между тем Ашанин не испытывал никакого неприятного ощущения.

Он боялся верить такому счастью. Может быть, ему так кажется оттого, что он лежит?

И он приподнялся на койке, придерживаясь рукой за стойку, чтобы не стукнуться лбом. Койка, словно качели, мечется под ним, а он ничего... Ни тоски, ни этого сосания под ложечкой, ни этого свинца в голове.

— Неужели?! — громко воскликнул Ашанин.

— Что вы, Владимир Николаевич?.. Али во сне?.. Господь с вами! проговорил слабым голосом батюшка.

— Простите, батюшка, я вас разбудил?

— Какой сон... Не дает мне господь сна-то. Всю ночь мучился... и теперь вот... Качка-то какая... Нет передышки...

— Разве вам не легче сегодня?

— Нимало не легче...

— А я, батюшка, так нисколько не чувствую качки, точно ее и нет! — с счастливым и радостным чувством говорил Ашанин. — А вчера-то... Впрочем, это может быть пока, а

когда встану...

— Который час?

— О! уже половина восьмого, а мне с восьми на вахту.

Ашанин спрыгнул с койки и постоял несколько времени, ожидая, что вот-вот и вся его радость разлетится прахом.

Но здоровый крепкий организм юноши выдержал и это испытание, и он, хотя и не без больших забот о равновесии собственного тела, сегодня мог вымыться, причесаться, — словом, несколько заняться туалетом, о котором и не думал вчера.

— Ишь, какой вы счастливец, — проговорил батюшка.

— Вам не надо ли чего? Не приказать ли подать чаю?

Но батюшка замахал руками.

— Не надо мне ничего... Какой чай... Служитель божий страждет, а вы, словно бы в издевку над ним, предлагаете чай, когда на свет божий тошно смотреть... Нехорошо, Владимир Николаевич! — раздраженно говорил батюшка.

— Честное слово, батюшка, я и не думал

издеваться... Я сам вчера страдал... Я понимаю...

Но батюшка застонал, и Володя вышел из каюты.

В палубе почти не видно было лежащих матросов, и лица у всех не были бледные, как вчера.

— Ну, а ты, Рябов, как, брат, сегодня? — окликнул Ашанин Ворсуньку, выходявшего из каюты артиллериста.

— А вы уж изволили встать? А я только что хотел вас побудить... Да как же, барин, у вас сапоги не чищены... и платье тоже... Я утром рано заходил, так боялся обеспокоить... И поп стонет...

— Не беда... Ты лучше скажи, рвет тебя с души, как ты вчера говорил, или нет?

— Самую малость, барин...

— Меня нисколько, брат! — весело говорил Володя.

— Дай вам бог... Бог даст, и у меня отойдет... Сегодня по крайности хоть на свет божий глядеть можно, а вчера...

— Вчера, брат, и меня укачало... Хотел все службу бросать! засмеялся Володя.

— Уйтить только некуда, барин... Кругом море...

Володя вошел в гардемаринскую каюту. Там уже пили чай.

— Ну, что, Ашанин, ожили? — встретили его со всех сторон вопросами молодые люди.

— Ожил, а вы, господа, как?

— Вчера все как есть в лоск лежали, — заметил курчавый, красивый брюнет Иволгин.

— И собирались в отставку?

— Собирались! — рассмеялся Иволгин. — Разве и вы тоже?

— Я сбежать даже собирался.

— Ну, а теперь вас нисколько не укачивает? — допрашивал Иволгин.

— Нисколько!

— Ни капельки?

— Ни капельки!

— Вы не хвастаете?

— Честное слово.

— Счастливец! Меня все еще чуть-чуть мутит... Зато наверху нисколько.

— И меня нисколько не укачивает! — заметил плотный, здоровый рыжий молодой человек.

— Еще бы такого быка, как ты, укачать. И то удивительно, что вчера тебя свалило.

— А вот бедный наш Кошкин так и сегодня еще в антимионии находится, заметил рыжий юноша. — Еще бы: зачем он такой спичка!

— Не всем быть таким быком, как ты... И фамилия-то у тебя такая: Быков! — раздался с койки раздраженный голос.

— А знатно трепало вчера, господа.

— А как сегодня? — спросил Володя.

— Валяет порядочно, но куда легче...

Володя не без некоторого страха пил чай и уписывал черствые булки с маслом и сухари.

А что как после еды его снова укачает?

Но голод давал себя знать, и Володя удовлетворил по возможности свой волчий аппетит, рассчитывая сегодня поплотнее пообедать.

За пять минут до восьми он вышел наверх и сегодня не только без всякого страха смотрел вокруг, а с каким-то вызывающим чувством, словно бы и он принимал участие в победе над вчерашним штормом.

Море еще бушевало. По-прежнему оно катило свои седые волны, которые нападали на

корвет, но сила их как будто уменьшилась. Море издали не казалось одной сплошной пеной, и водяная пыль не стояла над ним. Оно рокотало, все еще грозное, но не гудело с ревом беснующегося стихийного зверя.

Ветер уж не ревел, срывая гребни волн, с яростью бури и не раздражался бешеными порывами, а, свежий, очень даже свежий, дул ровно, с одинаковой силой, далеко не доходя до силы шторма.

И «Коршун», пользуясь попутным ветром, неся, весь вздрагивая и раскачиваясь, в бакшаг узлов по десяти, по двенадцати в час, под марсельями в два рифа, фоком и гротом, легко и свободно перепрыгивая с волны на волну. И сегодня уж он не имел того оголенного вида, что вчера, когда штормовал с оголенными кудцами мачтами. Стеньги были подняты, и, стройный, красивый и изящный, он смело и властно рассекал волны Немецкого моря.

Горизонт был чист, и на нем то и дело показывались белеющие пятна парусов или дымки пароходов. Солнце, яркое, но не греющее, холодно смотрело с высоты неба, по которому бегали перистые облака, и доставляло

большое удовольствие старому штурману Степану Ильичу, который уже брал высоты, чтобы иметь, наконец, после нескольких дней без наблюдений, точное место, то есть знать широту и долготу, в которой находится корвет.

И все лица словно просветлели. И когда в восемь часов утра вышел к подъему флага капитан, все с каким-то безмолвным почтением взглядывали на него, словно бы понимая, что он — победитель вчерашнего жестокого шторма.

Глава пятая **Спасение погибающих**

I

Хотя на баке еще сильно «поддавало» [60] и нос корвета то стремительно опускался, то вскакивал наверх, тем не менее Ашанин чувствовал себя отлично и окончательно успокоился. Бодрый и веселый, стоял он на вахте и словно бы гордился, что его нисколько не укачивает, как и старого боцмана Федотова и других матросов, бывших на баке.

Увидав Бастрюкова, который по обыкновению, стоя на вахте, не оставался без работы, а

плел мат и мурлыкал себе под нос какую-то песенку, Володя подошел к нему и поздоровался.

— Здравия желаю, барин, — весело приветствовал его Бастрюков. — Хорошо ли поживали?

— Отлично, брат.

— Вчерась-то вас не видно было; верно укачало... Ну, да и качка же была. Мало кого не тронуло, особенно кто здесь не бывал.

— А тебя вчера укачало?

— Меня не берет, барин... Нутренность, значит, привыкла, а как первый раз был в этом самом Немецком море, так с ног свалило. Через силу вахту справлял.

— И меня, брат, совсем укачало.

— То-то на вахту не выходили...

— Не мог, — невольно краснея, проговорил Ашанин и подумал: «А вот матросы же могли... их также укачивало».

— Отлеживаться лучше-то.

— Зато сегодня меня нисколько не укачивает, Бастрюков. Ни капельки.

— То-то вы, баринок, такой веселый. Это бог, значит, к вам милостив... дает вам легче

справлять службу.

— Ведь и теперь качка порядочная. Не правда ли?

— Здорово покачивает.

— А мне ничего, — с наивной радостью говорил Володя.

— Теперь вам, барин, никакая качка не страшна после вчерашнего. Нутренность ваша, значит, вся вчера перетряслась и больше не принимает качки. Шабаш, мол. Другие есть, которые долго не привыкают.

Володя заходил по баку, стараясь, как боцман Федотов, спокойно и просто ходить во время качки по палубе, но эта ходьба, заставляя напрягать ноги, скоро его утомила, и он снова подошел к пушке, около которой стоял Бастрюков.

Его как-то всегда тянуло поговорить с ним.

— А вчера шторм-таки сильный был, — начал Володя.

— Д-д-д-а, было-таки. Не дай бог, какая ночь... Совсем страшная... Ну, да с нашим «голубем» и страху словно меньше и завсегда обнадёженность есть. Он башковатый... и не в такую штурму вызовет.

— А страшно было?

— Как еще страшно... Во втором часу ночи самый разгар был... Бе-да.

— Ты разве боялся?

— А то как же не бояться? — переспросил Бастрюков, ласково улыбаясь своими добрыми умными глазами. — Всякий человек боится, потому что никто не согласен в воде топнуть. Дело свое сполняй как следует, по совести, а все-таки бойся... И всякая тварь гибели боится, а человек и подавно. А который ежели говорит, что ничего не боится, так это он, милый барин, куражится и людей обманывает. Думает, и в самом деле, примерно, цаца какая, что ничего, мол, не боится... А я так полагаю, что и капитан наш — уж на что смелый, а и тот бури боится, хотя по своему званию и не показывает страху людям... И, по моему, по рассудку, еще больше других боится...

— Почему ты так думаешь? — спросил Ашанин, несколько удивленный этим своеобразным рассуждением матроса.

— А потому, барин, что мы боимся только за себя, а он-то за всех, за людей, кои под его

командой. Господу богу отвечать-то придется ему: охранил ли, как мог, по старанию, доглядел ли... Так, значит, который командир большую совесть имеет, тот беспрерывно должен бояться.

Володя почувствовал глубочайшую истину в этих словах доброго и необыкновенного симпатичного матроса и понял, как фальшивы и ложны его собственные понятия о стыде страха перед опасностью.

Да и не раз потом ему пришлось многому научиться у этого скромного старого матроса, то и дело открывавшего молодому барину неисчерпаемое богатство народной мудрости и нравственную прелесть самоотвержения и скромной простоты. Благодаря Бастрюкову и близкому общению с матросами Ашанин оценил их, полюбил и эту любовь к народу сохранил потом на всю жизнь, сделав ее руководящим началом всей своей деятельности.

II

Мичман Лопатин, стоявший на мостике, что-то долго и внимательно разглядывал в бинокль.

Наконец он отвел глаза и приказал сиг-

нальщику навести подзорную трубу в указанном направлении.

— Видишь что-нибудь? — торопливо и взволнованно спросил он.

— Вижу, ваше благородие... быдто мачта над водой.

— А на мачте?

— Флаг, ваше благородие, и быдто люди... Вон еще флаги...

— Попроси наверх старшего офицера, — приказал вахтенный офицер и снова впился глазами в горизонт. Лицо его, красивое и румяное, обличало сильное волнение.

Через минуту на мостик поднялся старший офицер.

— Андрей Николаевич... Кажется, погибает судно... вот в этом направлении. Прикажете идти к нему? — нервно и возбужденно говорил весь побледневший молодой мичман.

Старший офицер взял подзорную трубу и стал смотреть.

Мичману казалось, что он смотрит ужасно долго, и он нетерпеливо и с сердитым выражением взглядывал на маленькую, коренастую фигурку старшего офицера. Его красное,

обросшее волосами лицо, казалось мичману, было недостаточно взволнованно, и он уже мысленно обругал его, негодуя на его медлительность, хотя и минуты еще не прошло с тех пор, как старший офицер взял трубу.

— Странно... корпуса не видно... Дайте знать капитану! Приготовьтесь к повороту.

— Господин Ашанин! — крикнул мичман на бак.

— Есть! — отвечал Володя, торопливо подбегая к мостику.

— Доложите капитану, что на ОНО бедствующее судно... Живей!

Ашанин стремглав полетел в капитанскую каюту.

А вахтенный мичман громко и возбужденно крикнул.

— По местам стоять! К повороту!

Володя вбежал в каюту и увидал капитана, крепко спавшего на диване. Он был одет. Лицо его, бледное, истомленное, казалось при сне совсем болезненным, осунувшимся и постаревшим. Еще бы! Сколько ночей не спал он.

— Василий Федорович! — окрикнул его

Ашанин.

Но капитан не проснулся.

Тогда Володя дернул его за руку.

— Что такое? — спросил капитан, поднимая красные глаза на Ашанина.

— На горизонте судно... погибает! — доложил взволнованно Володя.

Капитан быстро вскочил с дивана, взял со стола фуражку и, как был, в одном сюртуке, бросился из каюты.

Володя заметил это и сказал чернявому капитанскому вестовому, чтобы тот вынес наверх капитану пальто. Затем он торопливо поднялся по трапу и побежал на бак.

Через пять минут «Коршун» уже повернул на другой галс[61] и неся к тому месту, где погибало судно.

Капитан смотрел в бинокль и нервно пощипывал бакенбарду. Все офицеры выскочили наверх, и все глядели в одну точку.

— Поставьте грот! — приказал капитан, которому казалось, что корвет идет недостаточно скоро.

Поставили грот, и «Коршун» понесся скорее.

Матросы толпились у борта и, взволнованные, напряженно смотрели вперед. Но простым глазом еще ничего не было видно.

Прошло еще несколько минут, и кто-то испуганно крикнул:

— Смотри, ребята... Ах ты, господи!

Володя взглянул и увидел качающуюся над волнами мачту с чернеющими на ней пятнами и приподнятый кверху нос. У него мучительно сжалось сердце.

Матросы снимали шапки и крестились. На палубе царила мертвая тишина.

«Коршун» подходил ближе и ближе, и эти чернеющие пятна преобразились в людские фигуры с простертыми, словно бы молящими о помощи руками. Они стояли на вантах и на марсе.

Полузатопленное судно каким-то чудом держалось на воде, и волны переливались через него. Шлюпок около не было видно. Вся надежда погибавших заключалась в случайной возможности быть замеченными каким-нибудь мимо идущим судном. Но ведь могло и не быть такого судна именно в этой маленькой точке моря, где медленно умирала

горсточка моряков. И с проходившего судна могли и не заметить этой одиноко уцелевшей мачты, качающейся на волнах. И, наконец, могли и заметить и... жестокосердечно пройти мимо. Такие случаи, правда, редки, но бывают, к позору моряков. И тогда — неизбежная, страшная смерть...

Чем ближе подходил корвет, тем возбужденнее и нетерпеливее были лица моряков.

И среди матросов раздаются восклицания:

— Ишь, сердечные, руками машут...

— То-то ждут нас...

— Потерпи, братцы... — говорит какой-то матрос, точно надеясь, что его могут услышать.

Володя не спускал глаз с мачты. У него теперь в руках был бинокль, и он мог уже разглядеть эти истомленные, страдальческие лица, эти зацепеневшие на вантах фигуры, эти протянутые руки. Всех было человек двадцать.

— Баркас[62] к спуску! — раздалась команда.

Наконец «Коршун» приблизился к полуза-топленному судну и лег в дрейф в расстоянии

нескольких десятков сажен от него.

И до ушей моряков донесся с качающейся мачты радостный крик. Многие махали шапками.

Матросы в свою очередь снимали шапки и махали.

Раздались голоса:

— Сичас, братцы, всех вас заберем!..

— Бог-то вызволил...

— А какой народ будет?

— Французы, сказывали... Ишь, зазябли больно, бедные...

Баркас был поднят из ростр и спущен на воду необыкновенно быстро. Матросы старались и рвались, как бешеные.

Лейтенант Поленов, который должен был ехать на баркасе, получив от капитана соответствующие инструкции, приказал баркасным садиться на баркас. Один за одним торпливо спускались по веревочному трапу двадцать четыре гребца, прыгали в качающуюся у борта большую шлюпку и рассаживались по банкам. Было взято несколько одеял, пальто, спасательных кругов и буйков, боченок пресной воды и три бутылки рома. При-

казано было и ром и воду давать понемногу.

Когда вслед за гребцами стал спускаться плотный лейтенант с рыжими усами, к трапу подбежал Ашанин и, обратившись к старшему офицеру, который стоял у борта, наблюдая за баркасом, взволнованно проговорил:

— Андрей Николаевич, позвольте и мне на баркас.

В его голосе звучала мольба.

Старший офицер, видимо, колебался.

— Свежо-с!.. Вас всего замочит на баркасе...

И к чему вам ехать-с? проговорил он.

Но капитан, увидавший с мостика сперва умоляющее и потом сразу грустное выражение лица Ашанина и понявший, в чем дело, крикнул с мостика старшему офицеру:

— Андрей Николаевич! пошлите на баркас в помощь Петру Николаевичу кадета Ашанина.

— Есть! — ответил старший офицер и сказал Володе: — Ступайте, да смотрите, без толку не лезьте в опасность. — Володя бросил благодарный взгляд на мостик и стал спускаться по трапу.

— С богом! Отваливайте! — проговорил

старший офицер.

С корвета отпустили веревку, на которой держался баркас, и он, словно мячик, запрыгал на волнах, удаляясь от борта.

Многие матросы перекрестились.

А с мачты, усеянной людьми, раздалось троекратное «Vive la Russie!»[63]

III

— Навались, ребята! — говорил лейтенант с рыжими усами, правя рулем вразрез волн, верхушки которых то и дело обдавали всех сидевших на баркасе.

Но гребцы и без того «наваливались» изо всех сил, выгребая против сильного волнения, и баркас ходко подвигался вперед, ныряя в волнах, словно морская утка. На шлюпке близость этих водяных гор казалась еще более жуткой, и у Ашанина в первые минуты замирало сердце. Но возбужденный вид этих раскрасневшихся, обливающихся потом лиц гребцов, спешивших на помощь погибавшим и не думавших об опасности, которой подвергаются сами, пристыдил юнца... Он взглянул на качающуюся мачту, которая была уже близко, увидел эти дико радостные лица и

уже более не обращал внимания на волны и почти не замечал, что был весь мокрый. — Vive la Russie!.. Vive la Russie! раздалось с ползатонувшего корабля, когда баркас был в нескольких саженьях.

И люди стали спускаться с верхушки мачты, наседая друг на друга.

— Du calme! Attention! Nous les prendrons tous! Nous n'oublions personne! (Не торопитесь! Осторожнее! Мы всех возьмем! Никого не оставим!) крикнул лейтенант.

Но нетерпение скорее спастись пересиливало благоразумие... Все теперь столпились на нижних вантах, смертельно бледные, с лихорадочно сверкающими глазами, с искаженными лицами, толкая друг друга. И один из этих несчастных, видимо совсем ослабевший, упал в море.

Баркас направился к нему. Несколько дружных гребков — и один из матросов, перегнувшись через борт, успел вытащить человека из воды. Худенький, тщедушный француз с эспаньолкой был без чувств.

Володя занялся им.

Баркас подошел к судну с его подветрен-

ной стороны. Лейтенант строго прикрикнул, чтобы слушались его и без его приказа не садились.

Тогда только водворилось некоторое подобие порядка, и один за другим французы прыгали в баркас. Старик-капитан судна соскочил последним.

Оставалось на вантах еще пять человек. Они, видимо, совсем заоченели и не имели силы сойти.

— Ребята, надо снять этих людей! — сказал лейтенант.

Тотчас же из баркаса выпрыгнуло на судно несколько матросов и вместе с ними Володя. Они были в воде выше колен и должны были цепко держаться, чтоб их не снесло волнами.

Осторожно снимали они полузамерзших людей и передавали на баркас. Наконец, все были сняты, и мокрые матросы с Володей прыгнули на баркас.

— Plus personne? (Больше никого не осталось?) — спросил лейтенант у старика-капитана.

— Personne! (Никого!) — проговорил старик и вдруг зарыдал.

Плакали и другие, целовали руки матросам и просили пить. Один дико захохотал. Некоторые лежали без чувств. Юнга, мальчик лет пятнадцати, сидевший около Володи, с воспаленными глазами умолял его дать еще глоток... один глоток...

— Не давайте, Ашанин, а то умрет, — сказал лейтенант.

Было что-то невыразимо потрясающее при виде этих страдальцев. Все они были изнурены до последней степени и казались мертвецами. Всех их прикрыли одеялами и всем дали по глотку рома.

Помощник капитана, здоровенный бретонец, который был бодрее других, слабым голосом рассказал, что они двое суток провели на мачте без пищи, без воды.

— Sans vous... (Без вас...)

Он не мог продолжать и только прижимал руку к сердцу.

Через двадцать минут баркас приставал к борту «Коршуна».

Всех спасенных пришлось поднимать из баркаса на веревках. Двоих подняли мертвыми; они незаметно умерли на шлюпке, не до-

ждавшись возврата к жизни.

Мокрые и возбужденные вышли на палубу гребцы и были встречены капитаном.

— Молодцы, ребята! — проговорил он. — Постарались! Идите переоденьтесь да выпейте за меня по чарке водки.

— Рады стараться, вашескобродие!

— А вы, Ашанин, совсем мокрый, точно сами тонули...

— Он, Василий Федорович, по горло в воде гулял на затонувшем судне людей снимал! — заметил лейтенант.

— Ну, идите скорее вниз... переоденьтесь да обогрейтесь, и милости просим ко мне обедать.

Через несколько минут баркас был поднят, и «Коршун», сделав поворот, снова шел прежним своим курсом.

IV

Тем временем доктор вместе со старшим офицером занимались размещением спасенных. Капитана и его помощника поместили в каюту, уступленную одним из офицеров, который перебрался к товарищу; остальных — в жилой палубе. Всех одели в сухое белье, вы-

терли уксусом, напоили горячим чаем с коньяком и уложили в койки. Надо было видеть выражение бесконечного счастья и благодарности на всех этих лицах моряков, чтобы понять эту радость спасения. Первый день им давали есть и пить понемногу.

Через два дня все почти французы оправились и, одетые в русские матросские костюмы и пальто, выходили на палубу и скоро сделались большими приятелями наших матросов, которые ухитрялись говорить с французами на каком-то особенном жаргоне и, главное, понимать друг друга.

Старик-капитан, высокий, худой, горбоносый южанин из Марселя, с бронзовым, подвижным и энергичным лицом, опущенными засевшими баками, и эспаньолкой, на другой же вечер мог рассказать в кают-компании обстоятельства крушения своего трехмачтового барка «L'hirondelle» («Ласточка»).

Он шел из Нарвы в Бордо с грузом досок и бочек. До Немецкого моря они шли благополучно, но, застигнутый здесь жесточайшим штормом пять дней тому назад, барк потерял две мачты, руль и все шлюпки. Но хуже всего

было то, что старое судно получило течь, которая во время шторма усиливалась все более и более. Помпы не помогали. Судно носило по волнам, трепало, и оно все ниже и ниже погружалось в воду. Все ждали неминуемой гибели. Когда палуба уже покрылась водой, а корма совсем опустилась, все бросились на уцелевшую фок-мачту, ежеминутно ожидая, что вот-вот барк погрузится в волны. «Но полузатопленное судно не шло ко дну: вероятно, пустые бочки, бывшие в трюме, спасли нас», — вставил капитан, — и надежда закралась в сердца моряков, надежда, что вот-вот на горизонте покажется парус судна, которое заметит погибавших. Но буря не затихала... судно не показывалось. Так прошли длинные, бесконечно длинные сутки.

— На следующий день, обессиленные, голодные, иззябшие, мы уже начали терять надежду, — говорил старик-капитан. — О, что мы испытали, что мы испытали! — повторял он и при одном воспоминании как-то весь вздрагивал и озирался вокруг, словно бы желая удостовериться, что он сидит в кают-компании, окруженный внимательными участ-

ливыми слушателями, и перед ним стакан красного вина, только что вновь наполненный кем-то из офицеров. — Я, господа, плаваю тридцать пять лет, кое-что видел в своей жизни, разбивался у берегов Африки, выдержал несколько ураганов, был на горевшем корабле, но все это ничто в сравнении с этими двумя днями... Их не забыть! Шторм как будто затихал, но нам от этого не было лучше. Мы мерзли... Мы точно умирали заживо... чувствуя голод и жажду... Боже! какую жажду! Мы сосали пальцы, но соленая вода только усиливала жажду. Одежда леденела... Некоторые спускались на палубу и погружались в воду, чтобы согреться, но двоих на наших глазах смыло волнами... Настала вторая ночь, такая же холодная... Мы прижимались друг к другу, чтобы согреться, и толкали друг друга, чтобы не заснуть вечным сном... Боже! что за ночь! Многие галлюцинировали и говорили о солнце, о виноградниках, о теплых постелях... Маленький наш юнга рыдал. Плотник хохотал каким-то диким смехом. Когда рассвело, двое матросов, бывших около меня на вантах, спали... Я взглянул на них... Они спали веч-

ным сном с судорожно уцепившимися за ванты руками... Каждый теперь ждал смерти... Вдруг кто-то крикнул: «Судно!» Мы все впились в море... Действительно, к нам приближался парус. Мы увидали бриг. Крик радости вырвался у всех... Но вообразите себе, господа, — продолжал капитан, — бриг подошел, вдруг повернул от нас и скоро скрылся.

— О, какие мерзавцы! Под каким флагом был бриг? — спросил кто-то.

— Он не поднял, господа, флага и поступил, по-моему, предусмотрительно: по крайней мере по нескольким выродкам человечества мы не будем позорить нацию, к которой они принадлежат!

Француз отпил глоток вина и продолжал:

— Вы догадаетесь, господа, что мы проводили этого изверга проклятиями и снова застыли на своих местах, еще более отчаявшиеся. Еще бы! Видеть возможность спасения, видеть этот бриг так близко — потерять надежду... Это было ужасно... Мой боцман, несмотря на то, что едва держался от утомления на вантах, не переставал ругать бриг самыми страшными ругательствами, какие только может

придумать воображение моряков... И вдруг опять крик: «Парус!» Признаться, мы уже мало надеялись... Пройдет мимо, думали мы... Однако кто-то замахал флагом — невольно протягивались руки. По остановке я сразу узнал военное судно, и когда увидел, как на корвете вашем великодушно прибавили парусов, несмотря на свежий ветер, о, тогда я понял, что мы спасены, и мы благословляли вас и плакали от счастья, не смея ему верить...

Старик примолк и после паузы промолвил:

— К сожалению, только не все приехали живыми... Двое не перенесли этих страданий.

Этих несчастных похоронили в тот же день, после того, как доктор установил несомненный факт их смерти.

Похоронили их по морскому обычаю в море.

Тела их были защиты в парусину, плотно обмотаны веревками, и к ногам их привязаны ядра.

В пятом часу дня на шканцах были поставлены на козлах доски, на которые положили

покойников. Явился батюшка в траурной рясе и стал отпевать. Торжественно-заунывное пение хора певчих раздавалось среди моря. Капитан, офицеры и команда присутствовали при отпевании этих двух французских моряков. Из товарищей покойных один только помощник капитана был настолько здоров, что мог выйти на палубу; остальные лежали в койках.

Панихида окончена.

Тогда несколько человек матросов подняли с козел доски, понесли их к наветренному борту, наклонили... и два трупа с тихим всплеском исчезли в серо-зеленых волнах Немецкого моря...

Все перекрестились и разошлись в суровом молчании.

Приспущенный до половины кормовой флаг в знак того, что на судне покойник, снова был поднят.

— То-то и есть! — не то укорительно, не то отвечая на какие-то занимавшие его мысли, проговорил громко один рыжий матрос и несколько времени смотрел на то место, куда бросили двух моряков.

Капитан обещал довести французов до Бреста, куда он рассчитывал зайти после остановки в Темзе, в небольшом городке Грейвсенде, в часе езды от Лондона.

Матросы относились к пассажирам-французам с необыкновенным добродушием, вообще присущим русским матросам в сношениях с чужеземцами, кто бы они ни были, без разбора рас и цвета кожи. Они с трогательной заботливостью ухаживали за управлявшимися моряками и угощали их с истинно братским радушием.

Перед обедом, то есть в половине двенадцатого часа, когда не без некоторой торжественности выносилась на шканцы в предшествовании баталера большая ендова с водкой и раздавался общий свист в дудки двух боцманов и всех унтер-офицеров, так называемый матросами «свист соловьев», призывавший к водке, — матросы, подмигивая и показывая на раскрытый рот, звали гостей наверх.

— Алле наверх, водку пить... У нас, братец, водка бон... Понимаешь?

Француз, ничего не понимая, деликатно

кивает головой.

— Шнапс тре бон... очень скусна напитка! — продолжает матрос, уверенный, что коверкание своих слов в значительной мере облегчает понимание.

И баталер не начинал обычно выкрички матросов, пока французы первые не выпивали по чарке водки.

Зная, что их ждут, они, по примеру русских, сразу глотали изрядную чарку крепкой водки, и некоторые из них отходили в толпу, едва переводя дух, словно бы внезапно чем-то озадаченные люди.

— Что, брат, забирает российская водка? — добродушно спрашивает матрос, хлопая по плечу низенького, сухощавого и смуглого французского матроса. Нака-сь, сухариком заешь!

— Они по-нашему, братцы, не привычны, — авторитетно говорит фор-марсовый Ковшиков, рыжий, с веснушками, молодой парень, с добродушно-плутоватыми смеющимися глазами и забубенным видом лихача и забулдыги-матроса. — Я пил с ими, когда ходил на «Ласточке» в заграницу... Нальет это

он в рюмочку рому или там абсини[64] — такая у них есть водка — и отцеживает вроде быдто курица, а чтобы сразу — не согласны! Да и больше все виноградное вино пьют.

— Ишь ты!

— Что, камрад, бон водка? — спрашивает он, подходя к смуглому французу с озадаченным видом. — Вулеву-анкор? — неожиданно говорит он, приводя в изумление товарищей таким знанием французского языка.

Чернявый француз смеется и в свою очередь ошарашивает всех, когда, старательного выговаривая слова, произносит:

— Карош русски водки!

Эффект полный. В толпе хохот.

— Карош. Ишь ведь, дьявол, по-нашему умеет! — весело говорит Ковшиков и с самым приятельским видом треплет француза по спине. — В Кронштадт парле русс учил?

— Cronstadt...

— Ловко! Ай да Галярка! — внезапно переделал Ковшиков французскую фамилию Gollard на русский лад. — А вот посмотри, как я сейчас чарку дерну...

В эту минуту баталер кричит:

— Андрей Ковшиков!

— Яу! — отвечает Ковшиков сипловатым голосом.

И, снявши фуражку, подходит к ендове. Лицо его в это мгновение принимает серьезно-напряженное и несколько торжественное выражение. Слегка дрожащей от волнения рукой зачерпывает он полную чарку и осторожно, словно бы драгоценность, чтобы не пролить ни одной капли, подносит ее ко рту, быстро и жадно пьет и отходит.

— Видел, брат Галярка, как пьют у нас? Я и анкор и еще анкор — сделай одолжение, поднеси только! — смеется он. — Ну, машер, обедать!

И, подхватив француза, он ведет его вниз.

Там уже разостланы на палубе брезенты, и матросы артелями, человек по десяти, перекрестившись, усаживаются вокруг деревянных баков, в которые только что налиты горячие жирные щи.

— Садись, Галярка... Кушай на здоровье!.. Вот тебе ложка.

В этой же артели сидит и Бастрюков, а около него юнга-француз, мальчик лет пятнадца-

ти, бледный, с тонкими выразительными чертами лица, еще не вполне оправившийся после пережитых ужасных дней. Бастрюков с первого же дня взял этого мальчика под свое покровительство и ухаживал за ним, когда тот первые дни лежал в койке. Подойдет к нему, погладит своей шершавой, мозолистой рукой белокурую голову, стоит у койки и ласково глядит на мальчика, улыбаясь своей хорошей улыбкой. И мальчик невольно улыбается. Так постоит и уйдет. А то принесет ему либо чаю, либо кусок булки, за которой ходил к вестовым.

— Вы, ребята, дайте господской булки. Сиротке снести.

— Какому сиротке?

— Да мальчонку французскому.

Раз Ашанин увидал Бастрюкова, выпрашивающего у вестовых булки и, узнав, в чем дело, приказал давать Бастрюкову каждый день по булке.

— Спасибо, барин! — весело благодарил старый матрос. — Сиротка рад будет.

— Почему ты думаешь, что он сиротка?

— Беспременно сиротка, — уверенно отве-

чал матрос. — Нешто отец с матерью пустили бы такого мальчонка, да еще такого щупленького, на такую жизнь.

И Бастрюков был несколько разочарован, когда Володя, расспросив юнгу, узнал, что отец-рыбак и мать у него живы и живут в деревне, близ Лориана, у берега моря.

— Все равно, вроде быдто сиротки, коли родители его такие, не могли побережь сына, — заметил Бастрюков, выслушав Ашанина.

Когда юнга, его звали Жаком, поправился, Бастрюков однажды принес ему свою собственную тельную рубашку, купленную в Копенгагене, и шарф.

— Носи, брат Жака, на здоровье!

Вслед затем он снял с его ног мерку и стал ему шить сапоги: «Пригодится, мол, сиротке».

И теперь, сидя рядом с Жаком, Бастрюков то и дело указывал на бак со щами и говорил:

— Ешь, Жака, ешь, сирота.

И находя, что Жак ест не так, как бы следовало есть здоровому парнишке, Бастрюков обратился к Ковшикову:

— Ты ведь, милый человек, по-ихнему ло-

потать умеешь?

— Могу помалости...

— Так спроси Жаку, чего он лениво щи хлебает? Али не скусны?

— А вот сейчас мы твоего Жаку допросим! — довольно храбро отвечал Ковшиков.

И, хлопнув по плечу Жака, спросил:

— Жака! щи бон?

Жак, разумеется, ничего не понимал.

— Вот энто самое — бон?

И рыжий матрос указал своим, не особенно чистым, корявым пальцем на щи.

Жак понял. Он закивал головой и, весело щуря глаза, ответил:

— *La soupe aux choux est exquisite!* (Щи вкусные!)

— Карош! — подтвердил и другой француз.

— Хвалит щи Жака.

— Чего же он лениво ест? — спросил Бастрюков.

— Не в охотку. Говорит: солонину буду, — сделал свой вдохновенный вольный перевод, ни на минуту не задумываясь, Ковшиков.

Когда бак со щами был опростан, артельщик вынул из него большой жирный кусок

солонины, разрезал его на мелкие куски и свалил крошево обратно. Все ели мясо молча и не спеша, видимо стараясь не опередить один другого, чтобы всем досталось поровну.

Бастрюков свои куски стал было предлагать Жаку, но тот махал головой.

— Ешь, Жака! Ковшиков, скажи ему, чтоб он ел и мою порцию! Я и щами сыт.

— Анкор, Жака!

И так как мальчик-француз не понимал, чего от него хотят, то Ковшиков прибегнул к наглядному объяснению. Взяв в одну руку кусок солонины и указывая другой на крошево Бастрюкова, он сунул свой кусок в рот и повторил:

— Жака, валяй анкор. Вуле-ву... анкор!

Жак, казалось, сообразил. Он объяснил, что ему довольно, и благодарил.

— Мерси, говорит. Значит — благодарю. Ешь, Бастрюков, сам мясо-то. Галярка, не зевай, брат!

Затем принесли пшеничную кашу и полили ее маслом. Она, видимо, понравилась французам, и Бастрюков довольными и веселыми глазами посматривал, как «сиротка» уписы-

вал ее за обе щеки.

После обеда, когда подмели палубу и раздался обычный свисток, и вслед за ним разнеслась команда боцмана «отдыхать!», — все стали располагаться на отдых тут же на палубе, и скоро по всему корвету раздался храп и русских и французских матросов.

Но Бастрюков не отдыхал.

Примостившись у машинного люка и разложив около себя сапожные инструменты, он тачая сапоги, мурлыкая себе под нос какую-то песенку и бросая по временам ласковые взгляды на сладко спавшего рядом Жака.

Глава шестая **Прощай, Европа!**

I

Ч через четыре дня «Коршун», попыхивая дымком из своей белой горластой трубы, приближался ранним утром к берегам Англии, имея на грот-брам-стеннге флаг, призывающий лоцмана для входа в устье Темзы и следования затем по реке до Гревзенда, небольшого городка в двухчасовом расстоянии от Лондона.

Несколько лоцманских ботов, далеко вы-

шедших в море, чтобы встречать суда, нуждающиеся в лоцманах, крейсировали в разных направлениях, и как только на них заметили призывной флаг, они понеслись к «Коршуну».

Несмотря на довольно свежий ветер и порядочное волнение, эти маленькие одномачтовые, пузатые лоцманские боты необыкновенно легко перепрыгивали с волны на волну и, накренившись, почти чертя бортами воду, под всеми своими парусами и не взявши рифов, взапуски летели, словно белокрылые чайки.

Все на корвете невольно любовались и этими крепкими, не боящимися свежей погоды, маленькими ботами и лихим управлением ими. Видно было, что на них прирожденные моряки, для которых море — привычная стихия.

Сперва все четыре бота неслись почти рядом. Но вот один из них выделился вперед и подлетел к корвету. В одно мгновение лоцман схватился рукой за трап и уже поднимался на корвет, а бот, круто повернувшись, уже мчался назад, ныряя в волнах.

На палубе появился крепкий и здоровый

англичанин, с красным лицом, опущенным рыжими баками, с бритыми губами, в непромокаемом плаще, в высоких сапогах и с зюйд-весткой на голове. Не спеша поднялся он на мостик и, слегка поклонившись, стал у компаса в позе настоящего «морского волка».

С самым невозмутимым видом стоял он, имея в зубах маленькую глиняную трубочку, всматривался в плоские, низкие очертания берегов и по временам отрывисто и лаконично, точно лаясь, говорил вахтенному офицеру, каким курсом надо держать.

Чем дальше поднимался корвет по реке, тем оживленнее была картина реки и ее берегов. То и дело мелькали красивые города в зелени, поселки и фермы. А на реке, мутной, почти грязной, чувствовалась близость мирового торгового города. Суда всевозможных конструкций и величин, начиная с громадных океанских пароходов и больших индийских парусных хлопчатобумажников[65] и кончая маленькими клиперами и шхунами, поднимались и спускались по реке под парами, под парусами и, наконец, буксируемые маленькими парходиками.

Приближаясь к Лондону, «Коршун» все больше и больше встречал судов, и река становилась шумнее и оживленнее. Клубы дыма с заводов, с фабрик, с пароходов поднимались кверху, застилая небо. Когда корвет, подвигаясь самым тихим ходом среди чащи судов, бросил якорь против небольшого, утопавшего в зелени городка Гревзенда, солнце казалось каким-то медным, тусклым пятном.

А корабли все шли да шли, направляясь к Лондону, и казалось, конца им не будет. Впереди виднелся лес мачт.

Володя в первые минуты был ошеломлен. Эта масса судов всевозможных стран, эти снующие пароходики и шлюпки, эта кипучая деятельность казались чем-то сказочным для русского юноши... И это только, так сказать, у порога Лондона. Что же там, в самом Лондоне?

В тот же вечер решено было ранним утром отправиться в Лондон. «Коршун» должен был простоять в Гревзенде десять дней — необходимо было сделать кое-какие запасные части машины — и потому желающим офицерам и гардемаринам разрешено было, разделив-

шись на две смены, отправиться в Лондон. Каждой смене можно было пробыть пять дней.

По жребию Ашанину досталось ехать в первой очереди.

Рано утром веселая и оживленная компания моряков с «Коршуна», одетых в штатское платье, была в Гревзенде. В Лондон решено было ехать по железной дороге, а оттуда на пароходе, чтобы увидеть реку у самого Лондона. Торопливо взяли билеты... Примчался поезд... Остановка одна минута... и наши моряки, бросившись в вагон, помчались в Лондон со скоростью восьмидесяти верст в час.

Радостно-взволнованный ехал Ашанин. И эти невозмутимые физиономии молчаливых англичан, едущих в свои конторы с свежими газетами в руках, и мелькающие коттеджи, и эта быстрота езды, и минутные остановки на станциях, где мальчишки, газетные разносчики, выкрикивали названия газет, пробегая мимо окон вагонов, — все обращало на себя его внимание.

Лондон положительно ошеломил его своей, несколько мрачной, подавляющей гранди-

озностью и движением на улицах толпы куда-то спешивших людей, деловитых, серьезных и с виду таких же неприветливых, как и эти прокоптелые серые здания и как самая погода: серая, пронизывающая, туманная, заставляющая зажигать газ на улицах и в витринах магазинов чуть ли не с утра. Во все время пребывания в Лондоне Володя ни разу не видел солнца, а если и видел, то оно казалось желтым пятном сквозь густую сетку дыма и тумана.

Этот громадный муравейник людей, производящих колоссальную работу, делал впечатление чего-то сильного, могучего и в то же время страшного. Чувствовалось, что здесь, в этой кипучей деятельности, страшно напрягаются силы в борьбе за существование, и горе слабому — колесо жизни раздавит его, и, казалось, никому не будет до этого дела. Торжествуй, крепкий и сильный, и погибай, слабый и несчастный...

Фланируя по улицам, Ашанин невольно с ужасом думал о возможности очутиться в этом великане-городе без средств. Такие мысли приходили только в Лондоне и нигде бо-

лее. Чужеземец в лондонской толпе чужих людей ощущал именно какое-то жуткое чувство одиночества и сиротливости.

Восхищаясь разными проявлениями могущества знания, техники и цивилизации, молодой человек вместе с тем поражался вопиющими контрастами кричащей роскоши какой-нибудь большой улицы рядом с поражающей нищетой соседнего узкого глухого переулка, где одичавшие от голода женщины с бледными полуголыми детьми останавливают прохожих, прося милостыню в то время, когда не смотрит полисмен. Ашанин из книг знал, что более ста тысяч человек в Лондоне не имеют крова, и знал также, что английский рабочий живет и ест так, как в других государствах не живут и не едят даже чиновники.

В первый же день Ашанин с партией своих спутников, решивших осматривать Лондон вместе, небольшой группой, состоящей из четырех человек (доктор, жизнерадостный мичман Лопатин, гардемарин Иволгин и Володя), побродил по улицам, был в соборе св. Павла, в Тоуэре, проехал под Темзой по железной до-

роге по сырому туннелю, был в громадном здании банка, где толпилась масса посетителей и где царил тем не менее образцовый порядок, и после сытного обеда в ресторане закончил свой обильный впечатлениями день в Ковентгарденском театре, слушая оперу и поглядывая на преобладающий красный цвет дамских туалетов. В театре с нашими моряками случилось маленькое недоразумение: им не дали, как они хотели, первых мест, так как они были не во фраках.

Возвратившись в гостиницу, в которой остановились все моряки с «Коршуна», заняв рядом несколько комнат, Ашанин принялся было за письмо к своим, но дальше второго листика не дошел и, усталый, бросился в мягкую постель с безукоризненным бельем и заснул как убитый.

В остальные четыре дня та же маленькая партия моряков, любознательность и вкусы которых оказались довольно подходящими, руководимая доктором Федором Васильевичем, бывавшим прежде в Лондоне, и пользовавшаяся услугами Ашанина как человека, довольно хорошо объясняющегося по-англий-

ски, побывала в Британском музее, в библиотеке и просидела два вечерних часа в парламенте, куда попала благодаря счастливой случайности.

Как парламент с его обстановкой и речами тогда еще молодых Гладстона и Дизраэли, так и митинг в одном из парков произвели на туристов впечатление. Особенно этот митинг в парке, где под открытым небом собралось до двухсот тысяч народа, которому какой-то оратор, взобравшийся на эстраду, говорил целый час громоносную речь против лордов и настоящего министерства. Толпа разражалась рукоплесканиями, выражала одобрение восклицаниями... и мирно разошлась.

Поразили и знаменитые лондонские «доки», осмотру которых туристы наши посвятили полдня. Тут можно было видеть, так сказать, пульс всей торговой деятельности Лондона и представить себе до известной степени колоссальность этого обмена товаров со всеми странами мира. Тысячи судов выгружались у гранитных пристаней при помощи элеваторов, кранов и разных приспособлений. Массы рабочих были заняты работой, и

вся эта работа шла как-то скоро, умело, без шума, без криков, без брани, столь знакомой русскому уху у себя на родине. Каких только кораблей тут не было и каких только рас и цветов не было матросов. Рядом с белыми моряками всевозможных национальностей можно было встретить и индуса, и сингалезца, и малайца, и негра. И вся эта смесь «племен, наречий, состояний» толпилась на кораблях и на пристанях.

Громадные тюки и бочки под оглушительный шум и лязг цепей и лебедек подавались на берег и укладывались правильными рядами. Чего тут только не было? Пшеница, льняное семя, пенька, сало, шерсть, хлопчатая бумага, индиго, перец, кофе, чай и фрукты, среди которых ананасы, бананы и мандарины ласкали обоняние своим ароматом. И все это лежало в каком-то гигантском количестве.

Незаметно наполнялись тюками и бочками пристани, и так же незаметно исчезали задние ряды, увозимые на то и дело подходивших вагонах.

У других пристаней происходила нагрузка. Преимущественно грузились большие трех-

мачтовые корабли и пароходы грузом разных товаров и мануфактур, которыми англичане снабжают Индию, Китай и вообще Дальний Восток.

Обедали в этот день наши моряки в очень скромной таверне, чтобы иметь понятие о том, как кормят в Лондоне недостаточных людей.

В таверне, куда вошли русские, сидели преимущественно рабочие за большим столом, накрытым довольно чистой скатертью. К столу у каждого прибора были прикреплены на цепочках ложка, вилка и ножик. Посредине стола положены были маленькие рельсы, по которым двигалось огромное блюдо ростбифа, составляющее все меню этого обеда, стоящего шиллинг. Ростбиф и к нему обычный разварной картофель и зелень были безукоризненны и так же хороши, как и в первоклассном ресторане. Есть его можно было сколько угодно. Прислуживали одна горничная и сам хозяин, то и дело нарезававший куски гигантского ростбифа, который все обедающие запивали кружками эля.

Как только из-за стола уходил кто-нибудь

из обедающих, горничная немедленно снимала с цепочки ложку, ножик и вилку, уносила их и приносила назад чисто вымытыми и вычищенными.

— А ведь недурно, господа, не правда ли? Вы не раскаиваетесь, что я вас сюда привел? — сказал доктор.

Никто, конечно, не раскаивался. Все были сыты и благодарили доктора за то, что он дал им возможность пообедать в таверне для рабочих. Ведь очень немногие русские путешественники заглядывают в такие места.

На следующее утро первая смена моряков с «Коршуна» возвратилась в Гревзенд на пароходе, пробираясь буквально сквозь чащи кораблей у самого Лондона. Володя возвращался положительно ошеломленный от всего виденного и торопился поскорее поделиться впечатлениями со своими в Петербурге. Ах, как жалел он, что ни мать, ни сестра, ни брат не видали всех тех чудес, какие видел он! Ашанин об этом не раз вспоминал в Лондоне. Разумеется, он вез теперь с собой несколько подарков для своих и в том числе свои фотографические карточки в штатском платье. Не

забыл он и своего вестового Ворсуньки, и когда тот, радостно встретив Володю, осведомился, как барин съездил, Володя поднес ему большой шелковый платок.

— Это для твоей жены, — проговорил он.

Нечего и говорить, что Ворсунька был в восторге.

Целых два дня все время, свободное от вахт, наш молодой моряк писал письмо-монстр домой. В этом письме он описывал и бурю в Немецком море, и спасение погибавших, и лондонские свои впечатления, и горячо благодарил дядю-адмирала за то, что дядя дал ему возможность посетить этот город.

И подарки и карточки (несколько штук их назначалось товарищам в морском корпусе) были отправлены вместе с громадным письмом в Петербург, а за два дня до ухода из Гревзенда и Володя получил толстый конверт с знакомым почерком родной материнской руки и, полный радости и умиления, перечитывал эти строки длинного письма, которое перенесло его в маленькую квартиру на Офицерской и заставило на время жить жизнью своих близких. Он был счастлив, что все там

благополучно, что все здоровы — и няня не жалуется на ломоту в руках, и дядя не ворчит на ревматизм; он жалел, что не может повидать всех своих, но если бы ему предложили теперь вернуться в Петербург и остаться там, он ни за что не принял бы такого предложения.

Впечатлительного и отзывчивого юношу слишком уже захватили и заманчивая прелесть морской жизни с ее опасностями, закаляющими нервы, с ее борьбой со стихией, облагораживающей человека, и жажда путешествий, расширяющих кругозор и заставляющих чуткий ум задумываться и сравнивать. Слишком возбуждена была его любознательность уже и тем, что он видел, а сколько предстоит еще видеть новых стран, новых людей, новую природу!

Нет, нет! Как ни дороги близкие, а все-таки вперед, вперед по морям за новыми впечатлениями, чтобы сделаться и хорошим моряком и образованным человеком, подобно капитану!

II

«Коршун» вышел из Гревзенда с новым

членом небольшого кружка офицеров и гардемарин — англичанином (родом ирландцем) мистером Кенеди, приглашенным в кругосветное плавание для занятий английским языком с желающими. Это был молодой человек лет 26, охотно принявший предложение путешествовать на русском корабле, весьма милый и обязательный, добросовестно принявшийся за свое дело, кончивший курс в Оксфордском университете и вдобавок весьма недурной музыкант, доставлявший всем немалое развлечение своей игрой на пианино в кают-компани.

«Коршун» быстро прошел Английский канал, обыкновенно кишаций судами и замечательно освещенный с обеих сторон маяками, так что плавать по Английскому каналу ночью совершенно безопасно. Едешь словно по широкому проспекту, освещенному роскошными и яркими огнями маяков. Только что скроются огни одних, как уже открываются то постоянно светящиеся, то перемежающиеся огни других. Так от маяка до маяка и идет судно, вполне обеспеченное от опасности попасть на отмели, которыми усеяны бе-

рега Англии и Франции.

Одно только опасно — это возможность столкновения с судами, снующими по всем направлениям по этой, так сказать, столбовой дороге с севера на юг и обратно и между Францией и Англией.

Нечего и говорить, что и капитан и старший штурман всю ночь не покидали мостика. Часовые с бака и вахтенный гардемарин чуть ли не каждые пять минут тревожно давали знать, что «зеленый огонь под носом!», «красный огонь справа!» или просто: «огонь!» [66] — и «Коршуну» то и дело приходилось «расходиться огнями» со встречными пароходами или лавирующими парусными судами и подвигаться вперед не полным, а средним или даже и малым ходом.

Но занялась заря, вышло, словно из ярко пурпурных одежд, ослепительное солнце... и корвет на океанском просторе.

Берега скрылись. Вокруг одна беспредельная, холмистая водяная поверхность, ярко сверкающая на восточном горизонте под лучами быстро поднимающегося светила. Высокие волны с седыми гребешками мерно и ве-

лично переливаются с глухим рокотом, который уже не оставит наших моряков во все время плавания по океанам. То грозный и бешеный, напоминающий разъяренного зверя, то тихий и ласкающий, словно бы нежный пестун, любовно укачивающий на своей исполинской груди доверившееся ему утлое суденышко, этот рокот будет навевать и грустные и хорошие думы, будет наводить и трепет и возбуждать восторг, но всегда раздаваться в ушах несмолкаемой музыкой.

«Так вот он, океан!» — мысленно повторял Ашанин, увидавший его впервые на своей утренней вахте.

И он впился в него восторженными глазами, пораженный его величием, его красотой, его беспредельностью.

А солнце все выше и выше поднималось по нежно-голубой синеве неба, по которому бежали нежные перистые облачка; в остром утреннем воздухе, полном какой-то бодрящей свежести, чувствовалась уже теплая струя благодатного юга.

— Господи! Как хорошо! — невольно прошептал юноша. И, весь душевно приподня-

тый, восторженный и умиленный, он отдался благоговейному созерцанию величия и красоты беспредельного океана. Нервы его трепетали, какая-то волна счастья прилиwała к его сердцу. Он чувствовал и радость и в то же время внутреннюю неудовлетворенность. Ему хотелось быть и лучше, и добрее, и чище. Ему хотелось обнять весь мир и никогда не сделать никому зла в жизни.

Он переживал одни из тех счастливых и значительных минут, которые переживаются только в молодости, и словно бы перед лицом океана обнажал свою душу и внутренне молился идеалу правды и добра.

В эту самую минуту его духовного умиления он увидел, что боцман Федотов съездил по уху молодого маленького матроса, и ему сделалось невыразимо больно.

Взволнованный, подбежал он к боцману и проговорил:

— Драться нельзя... слышишь ли, нельзя... Нельзя! — вдруг крикнул он неестественно визгливым голосом.

На глазах у него появились слезы. Он почувствовал себя словно бы сконфуженным и

в эту минуту решительно ненавидел это скуластое, сердитое на вид лицо боцмана, с нависшими бровями и с толстым мясистым носом багрово-красного цвета.

Боцман нахмурился и сердито проговорил:

— Я так... легонько съездил, ваше благородие!

— Легонько! — продолжал с укором юноша. — Не все ли равно? Тут дело не в том... ты оскорбляешь человеческое достоинство.

Боцман смотрел на Ашанина во все глаза. О чем это он говорит?

— И вовсе я не оскорбил матроса, ваше благородие. Это вы напрасно на меня! — обидчиво проговорил он. — Я, слава богу, сам из матросов и матроса очень даже уважаю, а не то чтобы унижить его. Меня матросы любят, вот что я вам доложу!

Действительно, Ашанин знал, что матросы любили Федотова, считая его справедливым и добрым человеком и охотно прощая ему служебные тычки.

Реплика боцмана еще более смутила Володю, и он уже более мягким тоном и несколько сконфуженно проговорил:

— Но все-таки... ты, братец, пойми, что драться нехорошо, Федотов.

— Ежели с рассудком, так вовсе даже обязательно, ваше благородие! авторитетно и убежденно заявил боцман.

И так как Ашанин всем своим видом протестовал против такого утверждения, то Федотов продолжал:

— Вы, ваше благородие, с позволения сказать, еще настоящей службы не знаете. Вот извольте-ка послужить, тогда и увидите... Меня тоже учили, и, слава богу, вышел человек. Пять лет уже боцманом! И матросы на меня не забираются... Извольте-ка спросить у этого самого матросика, ваше благородие! А что эти самые новые порядки, чтоб боцман, ежели за дело, да не смел вдарить матроса, — так это пустое. Без эстого никак невозможно, прибавил боцман, видимо вполне уверенный в правоте своей и сам прошедший суровую школу прежней морской учебы.

Ашанин отошел неудовлетворенный и сконфуженный. Прежней ненависти к этому лихому боцману не осталось и следа.

А боцман сердито заходил по баку, и потом

Володя слышал, как Федотов насмешливо говорил одному старому матросу:

— Туда же... лезет! Оскорбил, говорит, матроса. Вы-то, господа, не забирайте матроса, а свой брат, небось, не забидит. Может, и крепостных имеет, живет в холе и трудов настоящих не знает, а учит. Ты поживи-ка на свете, послужи-ка как следовало, тогда посмотрим, как-то ты сам не вдарил никого... Так, зря мелет! — закончил боцман и плюнул за борт.

Возвышенное настроение юноши сразу пропало, и ему сделалось почему-то совестно перед боцманом, который ударил матроса.

III

Ветер дул попутный, и потому «Коршун» прекратил пары и поставил паруса.

Плавно раскачиваясь по океанской волне, громадной и в то же время необыкновенно спокойной, равномерно и правильно поднимающей и опускающей судно, «Коршун» взял курс на Брест. Там корвет должен был пополнить запас провизии и в лице этого военного порта надолго распротиться с Европой.

Под вечер ноябрьского дня просвистала дудка и раздался затем крик боцмана: «По-

шел все наверх на якорь становиться!»

Корвет проходил между серых скал с видневшимися на них батареями, около которых мирно шагали по эспланадам часовые, закутанные в серые плащи.

Французы-пассажиры радостно смотрели на родные берега.

— Что, Галярка, небось, рад? — говорил Ковшиков.

— Кто, братец ты мой, не рад своей стороне? — заметил Бастрюков, сочувственно поглядывая на своего любимца Жака, который щеголял в новых крепких сапогах, сработанных на славу Бастрюковым. — Небось, пойдет к отцу, к матери в свою деревню? — прибавил он.

— Ишь, улыбаются... Свою землю почувствовали! — раздалось чье-то замечание.

Рейд начал открываться. Корвет прибавил хода и кинул якорь вблизи одного французского военного фрегата. Город виднелся вдали на возвышенности.

Тотчас же спустили баркас и предложили французам собираться. Сборы бедных моряков были недолги. Старик-капитан был тро-

нут до слез, когда при прощании ему была выдана собранная в кают-компании сумма в триста франков для раздачи матросам, и вообще прощанье было трогательное.

Особенно горячо тряс руку Жака Бастрюков, и когда баркас с французами отвалил от борта, Бастрюков еще долго махал шапкой, и Жак, в свою очередь, не оставался в долгу. И долго еще смотрел матрос вслед удаляющемуся баркасу.

— Что, Бастрюков, жалко французов? — спросил Володя.

— Тоже чужие, а жалко... Теперь пока они еще места найдут... А главное, баринок, сиротки Жаку жалко... Такой щуплый, беспризорный... А сердце в ем доброе, ваше благородие... Уж как он благодарил за хлеб, за соль нашу матросскую. И век будут французы нас помнить, потому от смерти спасли... Все человек забудет, а этого ни в жисть не забудет!

Не прошло и получаса, что корвет бросил якорь, как из города приехали портные, сапожники и прачки с предложением своих услуг и с рекомендательными удостоверениями в руках. В кают-компании и в гардемарин-

ской каюте толкотня страшная.

Ворсунька в палубе отдает белье Ашанина и сердится, что пожилая бретонка не умеет считать по-русски, и старается ее вразумить:

— Ну, считай, тетка, за мной: одна, две, три, четыре...

Бретонка улыбается и, словно попугай, повторяет за матросом:

— Одна, две, три, четыре... — но затем сбивается и продолжает: *sinq, six...*[67]

— Опять загалдела, тетка... Ишь лопочет, мне и не понять. Уж вы, барин, не извольте опосля с меня спрашивать... я по-ихнему не умею! — обращается Ворсунька к Володе. — Може, чего не хватит, я не ответчик... А барыня, маменька, значит, ваша, велела беречь белье.

Володя вмешивается в спор вестового с прачкой, и дело скоро кончается. Прачка забрала узел и пошла к другой каюте брать белье.

— А фитанец, тетка? — испуганно восклицает Ворсунька.

— Ничего не надо! — успокаивает его Ашанин. — Она дала мне счет белья. Этого доволь-

но.

Вернутся прачки и в палубе. Но матросы не отдадут своего белья.

— Сами, тетенька, постираем.

Только некоторые унтер-офицеры да фельдшер решаются на такой расход. И один из унтер-офицеров пресерьезно говорит быстроглазой, востроносой молодой прачке, отдавая ей белье:

— Ты, смотри, кума-кумушка, вымой хорошенько. Чтоб было вери-гут, голубушка!

— O, monsieur, soyez sur. Un franc la douzaine[68].

— Знаю. Тоже, мадам, мы бывали в ваших местах. Один франок дюжина. Валяй.

Тем временем большинство офицеров уезжает на берег. Присланные афиши обещают интересный спектакль.

Ашанин поехал в Брест на другой день и вернулся разочарованный. Еще бы! После Лондона Брест показался какой-то жалкой деревушкой. Большая часть улиц, высеченных в скале, на которой расположена столица Британии, узки, кривы, грязны, и вообще общая физиономия Бреста совсем не напоминает ве-

селье французские города. Только и замечательного в нем, что знаменитый мост Наполеона III, перекинутый через один из внутренних рейдов, да превосходные доки и другие морские сооружения этого первоклассного французского военного порта.

Корвет простоял в Бресте восемь дней. Матросы побывали на берегу. Боцман Федотов, по обыкновению разрядившийся перед отъездом на берег, вернулся оттуда в значительно истерзанном виде и довольно-таки пьяный, оставленный своими товарищами: франтом фельдшером и писарем, которые все просили боцмана провести время «по-благородному», то есть погулять в саду и после посидеть в трактире и пойти в театр.

Но боцман на это был не согласен и, ступивши на берег, отправился в ближайший кабачок вместе с несколькими матросами. И там, конечно, веселье было самое матросское. Скоро в маленьком французском кабачке уже раздавались пьяные русские песни, и французские матросы и солдаты весело отбивают такт, постукивают стаканчиками, чокаются с русскими и удивляются той отваге, с которой

боцман залпом глотает стакан за стаканчиком.

Нечего и говорить, что Федотов был доставлен на корвет почти в бесчувственном состоянии и на утро был, по обычаю, еще более преисполнен боцманской важности, словно бы говоря этим: «На берегу я слабая тварь, а здесь боцман!»

Первого декабря 186* года корвет был готов. Провизии взято было вдоволь, несколько быков стояло в стойлах; бараны, свиньи помещены в устроенных для них загородках и разная птица — в больших клетках.

— Прощай, Европа! — говорил Ашанин, когда после полудня «Коршун» снялся с якоря и, отсалютовав крепости, вышел в океан.

Глава седьмая **Мадера и Острова Зеленого Мыса**

I

После изрядной «трепки» на параллели Бискайского залива «Коршун» с ровным попутным ветром спускался вниз.

Через две недели по выходе из Бреста только что солнце вышло из горизонта, как корвет приближался к группе высоких красивых

Мадерских островов.

— Барин, а барин! вставайте! — будил Ворсунька Ашанина. — Вы приказывали побудить, как станем к островам подходить.

Ашанин быстро оделся и был наверху. Утро было восхитительное. Океан словно замер и тихо и ласково рокочет, переливаясь утихавшей зыбью. На океане полнейший штиль. Высокое бирюзовое небо безоблачно, и горячее солнце льет свои ослепительные лучи и на океан и на палубу маленького «Коршуна», заливая все блеском.

Справа, совсем близко, высятся окутанные дымкой тумана передовые острова. Вот Порто-Санте, вот голый камень, точно маяк, выдвинутый из океана, вот еще островок, и наконец вырисовывается на ярко-голубом фоне лазуревго неба темное пятно высокого острова. Это остров Мадера.

Корвет полным ходом идет на него, рассекая прозрачную синеву заштилевшего океана. Он тих и необыкновенно нежен и только глухо шумит и пенится у берега, разбиваясь о скалы и катаясь бурунами по каменным грядам.

Остров все ближе и ближе — роскошный, весь словно повитый зеленью, с высокими, голыми маковками блиставших на солнце гор, точно прелестный сад, поднявшийся из океана. Переливы ярких цветов неба, моря и зелени ласкают глаз. Ашанину казалось, что он видит что-то сказочное, волшебное.

Наконец, на покатости горы показалось что-то ослепительно белое. Это Фунчаль, городок на благодатном острове. Его маленькие белые домики лепятся один возле другого, словно соты в улье, в гирлянде зелени, а над ними высокие зеленые горы, на которых там и сям красуются дачи и виллы, утопающие в листве. На одной из гор стоит высокий белый монастырь. И все это окаймлено густыми и кудрявыми тропическими деревьями.

Корвет подошел почти к самому подножью острова и бросил якорь недалеко от берега, на совершенно открытом, совсем не защищенном рейде, на котором стояло на якоре одно купеческое судно да несколько местных каботажных судов.

Природа, столь богато наделившая своими дарами этот остров, обидела его берега, не

устроивши в них сколько-нибудь удобной бухты, и потому стоянка здесь далеко не без-опасна, особенно для парусных судов. Как только задует ветер с океана, кораблям нече-го и думать укрыться от него у берегов. На-против, опытный капитан немедленно же снимется с якоря и уберется в океан, чтобы на свободе бороться с бурей. Иначе ему грозит гибель. Бедное оплошавшее судно, не успе-вшее уйти, сорвет с якорей и разобьет о скали-стые отвесные берега острова вдребезги.

И нет надежды отстояться, если океан рас-сердится. Но теперь он ласково лизал берега острова и манил своей бирюзовой прелестью.

— Эка благодать! — говорили матросы, по-сматривая на остров.

С берега неслись маленькие шлюпки на корвет, и скоро палуба была полна бронзовы-ми мадерцами с корзинами, полными фрук-тов. И каких тут только не было фруктов: и громадные апельсины, и мандарины, и ман-го, и гуавы, и ноны!..

Но морякам было не до фруктов. Корвет, зашедший на Мадеру по пути, собирался про-стоять на острове всего только до следующего

вечера, и потому все свободные офицеры торопились поскорее на берег.

Офицерский катер быстро доставил моряков к пристани. А у пристани ожидали уж извозчики или, вернее, проводники-португальцы в своих красивых, шитых золотом куртках и маленьких, надетых на макушки черных шапочках с маленькими, воткнутыми в них черными султанчиками. Они предлагали своих небольших красивых оседланных лошадей.

Езда верхом здесь самый распространенный способ передвижения. Других способов, как оказалось, не было, если не считать каких-то допотопных коробов на полозьях, везомых на волах, и паланкинов.

Разумеется, моряки — кстати, большие охотники до верховой езды — с удовольствием воспользовались предложением проводников и, вскочив в седла, отправились в город.

Ашанин поскакал... обернулся — и что же? Проводник, уцепившись за хвост лошади, скакал сам во всю прыть. Поневоле пришлось ехать почти шагом. Это, впрочем, нисколько

не избавляло от попрошайничества этих проводников, и повод к этому представлялся на каждом шагу. Остановка, чтобы полюбоваться видом, — и португалец протягивает руку с просьбой на водку; вопрос какой-нибудь — та же история; захочешь слезть с лошади и пройти пешком опять просьба. А в случае отказа целое представление: проводник и плачет, и ругается, и смеется, и в грудь себя бьет, и хохочет...

На улицах Фунчала пусто. Ни души. Жара невыносимая, и, разумеется, никто не показывает носа из домов, наглухо закрытых ставнями.

Но зато вечером, перед закатом солнца, все ожило в этом приюте больных иностранцев, преимущественно англичан.

Несмотря на жару, часть съехавших на берег моряков, соблазненная проводниками, отправилась в горы, Ашанин и несколько других решили совершить эту прогулку в окрестности завтрашним ранним утром до восхода солнца, а пока сделали визит консулу и заглянули в фунчальские магазины.

Перед закатом солнца вымершие днем

улицы оживились. Главное место прогулки — большая широкая аллея пальм и тамариндов сейчас за городом наполнилось разодетой элегантной публикой, среди которой были преимущественно иностранцы, и главным образом англичане. Тут были и больные, и здоровые, и в носилках, и верхами, и пешком.

К семи часам гуляющие спешили домой. Это час обеда, и грудным больным нельзя оставаться на улицах. Солнце уже закатилось, и приятная свежесть разливалась в воздухе.

А наши моряки, пообедавшие раньше, вернулись в город и продолжали бродить по улицам. Небольшая площадь, обсаженная роскошными деревьями, под которыми были скамейки, представляла соблазнительное место отдыха. Кстати, можно было и полакомиться фруктами, так как на этой же площади, под навесом из зеленой листвы, были горы всевозможных фруктов, и торговцы-португальцы тут же дремали у своих лавчонок, освещенных фонариками.

И моряки с жадностью набросились на невиданные ими доселе ноны, гуавы, манго. Но эти южные плоды показались им слиш-

ком пахучими, приторными. Один-другой плод необыкновенно нежной и ароматной белой гуавы, заключенной в зеленую игловатую оболочку, или манго... и чувствуется пресыщение.

Испробовав всех этих диковин, моряки напали на чудные, сочные мандарины. Кто-то сказал, что недурно бы выпить чайку, и все двинулись в гостиницу. Там уже собрались остальные товарищи, ездившие в горы. Они рассказывали о своей экскурсии чудеса. Какая природа! Какие виды!

Поздним вечером возвращалась шумная компания русских офицеров на корвет. Ночь была восхитительная. На бархатном высоком куполе томно светилась луна, обливая своим мягким, нежным светом и белые дома, и виллы маленького Фунчаля, и кудрявые леса гор. Город спал. Изредка встречались прохожие. Волшебная тишина чудной ночи нарушалась по временам звуками фортепиано, доносившимися из-за опущенных жалюзи.

И наши моряки невольно умерили голоса и заговорили почти шепотом.

Вдруг из одной из вилл, затонувшей в зеле-

ни, раздался чудный свежий голос, металлическое сопрано, певшее арию из «Пуритан». Моряки остановились и замерли, слушая пение.

И эта ночь, и это пение совсем околдовали нашего юношу, и он был в каком-то восторге. Так бы и слушал без конца чудный голос.

Но голос смолк. Моряки постояли, ожидая, не запоет ли певица еще. Какая-то тень мелькнула на балконе и скрылась. В вилле погасли огоньки, и моряки пошли к пристани, у которой дожидался их катер с «Коршуна».

Матросы дружно гребли по штилевшему океану, который серебрился под луной, и брызги воды, падавшие с весел, казались брильянтами. Вот и огни «Коршуна», и катер пристал к борту.

На следующее утро, до восхода солнца, Ашанин в компании нескольких моряков поднимался на маленькой крепкой лошадке в горы. Небольшая кавалькада предоставила себя во власть проводников, которые шли, держась за хвосты лошадей. Впереди ехал мичман Лопатин, так как у него был самый

старый и опытный проводник.

Дорога была в высшей степени живописна и в то же время, чем выше, тем более казалась опасной и возбуждала у непривычных к таким горным подъемам нервное напряжение, особенно когда пришлось ехать узенькой тропинкой, по одной стороне которой шла отвесная гора, а с другой — страшно взглянуть! глубокая пропасть, откуда долетал глухой шум воды, бежавшей по камням.

Все подвигались шагом, друг за другом. Тропа шла вниз. Лошади то и дело спотыкались. Справа — стена, слева — пропасть, Ашанину было жутко, и он взглядами призывал на помощь проводника, беспечно идущего сзади.

— Не бойтесь, не бойтесь, — говорил тот ломаным английским языком, — не затягивайте мундштука, лучше бросьте совсем поводья. Лошадь не первый раз ходит в горы, — добавил проводник, любовно трепля по шее своего хорошенького серого коника.

На половине дороги к монастырю — цель экскурсии, — построенному на верхушке одной из гор, проводники просили, во-первых,

остановиться и, во-вторых, дать им на водку. Кстати тут, среди деревьев, ютилась хижина, крытая широколистным тростником, в которой продавались вино и фрукты. Порядочно уставшие моряки охотно согласились и выпили по рюмке какой-то дряни, которую хозяин кабачка называл «настоящей мадерой», и съели по куску скверного сыра с черствым хлебом. Тем временем проводники распорядились огромной бутылкой, не переставая ругаться между собой.

В горах было хорошо — не жарко. Из окружавшего леса веяло прохладой.

Отдохнув немного, моряки поехали далее. После спуска дорога снова поднималась кверху. Тропа становилась шире и лучше. Лошади пошли скорее. Опять, как и в начале подъема, то и дело показывались из-за зелени маленькие виллы и дачи. Вот и знаменитая вилла какого-то англичанина-банкира, выстроенная на самом хребте одной из гор. Наконец, на вершущке одного из отрогов показался и монастырь — высшее место в горах, до которого можно добраться на лошадях. Выше можно подниматься только пешком.

Обыкновенная и прямая дорога, ведущая из города в монастырь, вьется белой лентой между дачами и садами. Она вымощена гладким камнем, и по ней все ходят или ездят в церковь. Та же дорога через горы, по которой приехали моряки, специально назначена для иностранцев — охотников до видов и до сильных ощущений. Для туриста, бывшего на Мадере, эта прогулка так же обязательна, как посещение лондонского туннеля или собора св. Петра в Риме.

Вид с паперти монастыря восхитительный. Маленькие фунчальские домики как на ладони. Голубой океан расстилается со всех сторон — беспредельный, необъятный, необыкновенно красивый. А «Коршун» с высоты кажется маленькой точкой на голубом фоне.

В темном, прохладном монастыре не было никого, исключая двух-трех старух да пятка нищих у входа. Осмотревши монастырь, ничем особенным не замечательный, моряки вышли на паперть и увидели драку проводников. Дело в том, что кто-то из русских дал своему проводнику более, чем остальные, и в

результате — потасовка, мгновенно прекратившаяся при появлении туристов. Они ментально были окружены проводниками, которые умоляли, кричали, плакали, ругались, чтобы и другим дали столько же, сколько получил счастливец, и только тогда успокоились и сделались веселы, когда их просьбы были удовлетворены.

Из монастыря в город наши моряки вернулись в санях — да, в санях, как это ни странно. Несколько пар саней стояло у монастыря, и вожаки при них настойчиво предлагали спуститься в город по широкой, выложенной гладким камнем, извивающейся вниз дороге.

Моряки, конечно, не отказались от такого удовольствия и, разместившись в санях, отправились одни за другими. У каждой саней было по двое вожатых. Сперва они толкали сани под гору, но с каждой минутой сани двигались все быстрее и быстрее по гладкому камню. Проводники вскочили на полозья сзади, направляя ногами путь саней. Наконец, сани уже летели с захватывающей дух быстротой... дым шел из-под полозьев. Кругом

мелькали виллы, дачи, деревья, цветы и фигуры идущих в монастырь людей с молитвенниками в руках... День был воскресный.

Через десять минут этого спуска моряки были в городе. Купив фруктов и загрузив ими катер, они в первом часу дня возвратились на корвет, сказав этому маленькому, симпатичному Фунчалю, с которым познакомились на лету, искреннее «прости».

К вечеру «Коршун» снялся с якоря, имея на палубе нового и весьма забавного пассажира: маленькую обезьяну из породы мартышек, которую купил Ашанин у торговца фруктами за полфунта стерлингов. Кто-то из матросов окликнул ее «Сонькой». Так с тех пор за нею и осталась эта кличка, и Сонька сделалась общей любимицей.

Скоро Мадера скрылась во мраке быстро опустившейся южной теплой ночи, а через день «Коршун» вступил в тропики и встретил благодатный северо-восточный пассат.

«Коршуну» предстояло зайти на один из островов Зеленого мыса, которые лежали на перепутье, чтобы взять быков, живности, зелени, налиться свежей водой и затем идти в

долгое-долгое плавание: прямо в Зондский пролив, не заходя ни в Рио Жанейро, ни на мыс Доброй Надежды, если на корвете все будет благополучно.

Переход предстоял длинный. По крайней мере дней пятьдесят моряки не увидят ничего, кроме океана да неба.

II

В первый день рождества Христова, встреченный далеко от родины, под тропиками, среди тепла, под ярко-голубым небом, с выси которого сверкало палящее солнце, матросы с утра приоделись по-праздничному: в чистые белые рубахи. Все побрились и подстриглись, и лица у всех были торжественные. Не слышно было на баке обычных шуток и смеха — это все еще будет после, а теперь матросы ожидали обедни.

В палубе, у переборки, соединяющей кают-компанию с жилым помещением матросов, у образа Николая Чудотворца, патрона моряков, уже собиралась походная церковь: были поставлены маленький иконостас, аналой и подсвечник для свечей.

Ровно в десять часов боцман Федотов про-

свистал в дудку и крикнул: «На молитву!», и скоро палуба была полна матросскими белыми рубахами. Впереди в полной парадной форме стояли капитан, офицеры и гардемарины. Все были тут, кроме вахтенных.

Старый монах, отец Спиридоний, облаченный в новую ризу, начал обедню, и хор певчих пел стройно и согласно.

Несмотря на пропущенные виндзейли, в палубе было жарко и душно. Но матросы, по видимому, не обращали на это ни малейшего внимания; в строгом молчании слушали они обедню и по временам осеняли себя истовым крестным знаменем. И грубые матросские лица, загорелые и обветрившиеся, эти небольшие, приземистые фигуры, крепко державшиеся на покачивающейся палубе своими мускулистыми, цепкими, босыми ногами, видимо, выражали торжественность настроения и вместе с тем удовлетворенность, что праздник справляется честь-честью и словно бы переносит их туда, на далекую холодную родину, напоминая заваленные снегом избышки и маленькую деревенскую церковь.

Обедня окончена. Матросы вслед за на-

чальством подходят к кресту и выходят наверх. Поставленный тент защищает их головы от палящего солнца. Все как-то празднично настроены.

— Команда во фронт! — раздается голос вахтенного начальника.

Боцмана ставят команду во фронт по обе стороны сияющего чистотой и блеском корвета.

Воцаряется мертвая тишина.

К фронту подходит капитан Василий Федорович и говорит своим мягким, сердечным голосом:

— Здорово, ребята! Поздравляю вас с праздником!

— Здравия желаем, вашескородие! И вас с праздником, вашескородие! весело гаркнули матросы, глядя с видимым расположением на капитана, которого они уже успели оценить и утвердить за ним кличку «голубя».

— Всем ли довольны, ребята? — спрашивал он, медленно обходя по фронту.

— Всем довольны, вашескородие! — раздались ответы.

— Нет ли у кого претензий?

Никто не отвечал. Ни у кого не было претензии.

На лице Василия Федоровича светилась довольная улыбка.

Команда разошлась. Просвистали к водке как-то особенно громко и весело сегодня. По случаю праздника разрешено было выпить по второй чарке, пожалованной капитаном.

Пока матросы, усевшись артелями на палубе, обедали и лясничали, вспоминая Кронштадт, русские морозы и похваливая обильный, вкусный праздничный обед, — ровно в полдень на фоне синеющего тумана серыми пятнами вырезались острова Зеленого мыса, принадлежащие, как и Мадера, португальцам.

Через час-другой «Коршун» под всеми парусами лихо пронесся мимо скалистых С.-Николо, Пазя, Лючия, Бонависта и, взяв вправо, побежал между гористыми и мрачными, подернутыми дымкой не то мглы, не то тумана островами С.-Антонио, с его высоким вулканическим пиком, и С.-Винцентом.

Скоро «Коршун» уже входил в бухту С.-Винцента, в глубине которой, на покатости, белел

маленький невзрачный Порто-Гранде, весь обнаженный под палящим солнцем, почти без зелени, среди песка, под громадами обветрившихся скал. Совсем неприветный городок, не то что симпатичный Фунчаль. Но зато бухта в Порто-Гранде представляет собой отличную стоянку для судов и защищена от ветров.

«Коршун» бросил якорь невдалеке от берега. На рейде стояло несколько парусных «купцов», которые зашли в Порто-Гранде, чтобы взять свежей провизии, налиться водой, а то и просто для того, чтобы «освежиться», выражаясь языком моряков, то есть отдохнуть после длинного перехода. А острова Зеленого мыса тем и удобны, что лежат в полосе пассата и как раз на перепутье большой океанской дороги, по которой ходили до открытия Суэзского канала (а парусные суда и до сих пор ходят) из Европы в Южную Америку, на мыс Доброй Надежды, в Австралию, в страны Дальнего Востока и обратно.

Большой пароход, ходивший между Лиссабоном и Рио Жанейро, гудел парами, готовый к отплытию. На палубе его толпилось много пассажиров, среди которых обращали на себя

внимание моряков «Коршуна» черные рясы и уродливые, похожие на приплюснутые треуголки, шляпы католических монахов. Их было особенно много.

Ближайшими соседями «Коршуна» на рейде были два щегольских военных корвета: английский и американский. Особенно красив был последний со своими большими, слегка наклоненными мачтами, круглой поджарой кормой и красными линиями носовой части.

Едва только «Коршун» бросил якорь, как с обоих военных судов прибыли шлюпки с офицером на каждой — поздравить с приходом и предложить услуги, если понадобится. Это обычная морская международная вежливость, свято соблюдаемая моряками всех наций. Каждое военное судно, стоящее на рейде, приветствует приходящего товарища, а капитан пришедшего судна в свою очередь делает первый визит капитанам стоящих на рейде судов.

После того как оба офицера сказали свое приветствие капитану, их пригласили в кают-компанию и предложили по бокалу шампанского. Американец, между прочим, рас-

сказал, что их корвет стоит здесь на станции, часто уходя в крейсерство в океан для ловли негропромышленников.

Постыдная эта торговля людьми еще процветала во времена нашего рассказа, и большие парусные корабли с трюмами, набитыми «черным» грузом, то и дело совершали рейсы между берегами Африки и Южной Америки, снабжая последнюю невольниками. Скованные, томились несчастные негры в трюмах во все время перехода. Нечего и говорить, что с ними обращались варварски, и случалось, этот «живой» груз доставлялся до места назначения далеко не в полном количестве.

Все правительства цивилизованных государств согласились преследовать эту торговлю, и, в силу международной конвенции, Англия, Франция и Северо-Американские штаты обязались высылать крейсера в подозрительные места для поимки негропромышленников. Кроме того, каждое военное судно держав, подписавших конвенцию, имело полное право задерживать подобные суда и отводить их в ближайшие порты. С пойманными расправлялись коротко: капитана и помощни-

ков вешали, а матросов приговаривали к каторжным работам.

Но океан велик. Суда с «черным» грузом обыкновенно бывали превосходными ходоками, а экипаж на них, набираемый из сброда самых отчаянных людей и подонков разных национальностей, с самым темным прошлым, смел и бдителен... И, наконец, одно пойманное судно в год или в два года далеко не устрашало отчаянных капитанов, занимавшихся перевозкой негров. Несколько лет такого занятия, — и они составляли состояния, бросали свое позорное дело и селились где-нибудь в дальних колониях, где их не знали и где вообще люди не особенно любознательны до чужих биографий, и занимались какой-нибудь торговлей.

— И что ж? Случалось вам поймать какого-нибудь негропромышленника? спрашивали в кают-компании американского лейтенанта.

— Мы на станции здесь уже два года, и только раз нам удалось поймать одного такого... Если бы вы пришли сюда двумя неделями раньше, то могли бы увидеть двух негодя-

ев, вздернутых на нока-рее! — прибавил не без удовольствия американец.

— Какой нации был капитан?

— Американец, только, конечно, южанин! — брезгливо проговорил моряк. Между нами, северянами, редко найдутся подобные молодцы.

— А что вы сделали с матросами?

— Судили их на корвете. Самых отчаянных приговорили к заточению на долгие сроки, других на небольшие сроки, а пятерых, молодых, и, по-видимому, менее испорченных, отпустили на все четыре стороны.

— А негры?

— Мы объявили им, что отныне они свободные люди.

— Куда же они отправились?

— Некоторые остались здесь — здесь ведь большинство населения негры, другие, по их просьбе, были отправлены в наши штаты... Несколько дураков, впрочем, просились на родину... Им, вероятно, хотелось быть снова проданными! — усмехнулся янки.

— И велика была партия?

— Триста человек.

— А что вы сделали с судном?

— Конфисковали и продали. Вырученные деньги были нашим призом.

Продавцы фруктов и просто любопытные уже осаждали корвет, и когда им позволили войти на палубу, то матросы могли познакомиться с представителями африканской расы, одетыми в невозможные лохмотья. Несмотря на полнейшее коверкание неграми кое-каких английских слов, матросики как-то ухитрились понимать их и торговались с ними с остервенением, покупая большие сочные апельсины и бананы из Порто-Прайя, городка на соседнем острове С.-Антонио, который и лучше и больше Порто-Гранде и изобилует зеленью и фруктами, но зато и славится своим крайне нездоровым климатом и особенно жестокими желтыми лихорадками.

Хотя вид этих черных, полуголых, а то и почти голых «арапов», как называли негров матросы, и возбуждал некоторые сомнения в том, что они созданы по подобию божию и вполне принадлежат к человеческой расе (были даже смелые попытки со стороны матроса Ковшикова, не без присущей ему отваги,

приравнять негров не то к обезьянам, не то, прости господи, к бесхвостым чертям), тем не менее отношение к ним матросов было самое дружелюбное и в некоторых случаях даже просто трогательное, свидетельствующее о терпимости и о братском отношении простого русского человека ко всем людям, хотя бы они были «арапы» да еще сомнительного людского происхождения. Эту гуманную черту Ашанин подметил в Порто-Гранде и затем наблюдал ее в русских матросах при их дальнейших знакомствах с людьми всевозможных цветов и рас. Ни малейшей расовой заносчивости, ни проблеска религиозной нетерпимости.

Предположения на баке о том, что эти «подлецы арапы», надо полагать, и змею, и ящерицу, и крысу, словом, всякую нечисть жрут, потому что их голый остров «хлебушки не родит», нисколько не помешали в тот же вечер усадить вместе с собой ужинать тех из «подлецов», которые были в большем рванье и не имели корзин с фруктами, а были гребцами на шлюпках или просто забрались на корвет поглазеть. И надо было видеть, как ра-

душно угощали матросы этих гостей.

А одного негра, необыкновенно симпатичного юношу, лет 17, который приехал в лохмотьях на корвет и начал помогать матросам, без всякого вызова, тянуть какую-то снасть, улыбаясь при этом своими влажными на выкате глазами и скаля из-за раскрытых толстых губ ослепительные зубы, — того негра так матросы просто пригрели своим расположением, и во все время стоянки корвета в Порто-Гранде этот негр Паоло, или «Павла», как перекрестили его матросы, целые дни проводил на корвете. Матросы в первый же день нарядили его в полный матросский костюм; кто дал рубаху, кто старые штаны, кто башмаки, кто отслужившую срок фуражку. Надо было видеть радость негра, когда он, бросив свои лохмотья за борт, облачился в более или менее приличное одеяние и увидел свое отражение в маленьком зеркальце, поднесенном ему кем-то из матросов. Он смеялся и прыгал, и добрые его глаза светились глубочайшею благодарностью.

— Что, небось, рад, черномазый? — смеялись, глядя на него, матросы.

Володя, конечно, поехал на берег, но смотреть было решительно нечего. Маленький городишко, напоминающий наши захолустья, в котором не более двухсот домиков, расположен у подошвы голых гор. Ни кусточка, ни зелени... Только у дома какого-то портограндского аристократа стоят три одинокие тощие пальмы, заботливо обнесенные плетнем, да у виллы английского консула, построенной на горе, зеленеется хорошо разведенный сад.

Жители в Порто-Гранде негры и креолы, все, конечно, свободные и христиане. Белых здесь, за исключением португальских властей, человек пятьдесят — англичан, португальцев и тех, отечества которых не узнаешь; оно там, где можно нажить деньги. Англичане имеют здесь склады угля, а остальные занимаются торговлей и, разумеется, эксплуатируют жителей. В нескольких лавках хоть и можно все достать, но все это лежалое и очень дорогое.

По словам португальцев, портограндские негры народ ленивый: работают только в случае крайней нищеты; и если у негра есть

несколько маиса или кукурузы — единственные произведения здешней почвы, то он работе предпочитает *far niente*[69]. Но не очень-то доверял Ашанин этим отзывам португальцев-торгашей. Во время недельной стоянки в Порто-Гранде он каждый день бывал в городе и всегда видел негров в работе. Одни работали в угольных складах, доставляя к пристани тачки; многие грузили уголь на суда; другие выгружали угольные пароходы. Целые вереницы ходили от улиц к морю с кувшинами на головах, вынося нечистоты. У моря негрятянки целые дни стирали белье и немилосердно били его о камни под напев своих заунывных песен.

Побродив по городу, Володя в компании нескольких товарищей шел к пристани, как у одного из маленьких белых домиков, похожих на малороссийские наши мазанки, увидел Паоло, окруженного целой толпой негров, завистливо осматривавших его костюм.

Заметив русских офицеров, Паоло знаками пригласил их зайти к нему в дом.

— Не стоит заходить! — брезгливо проговорил проводник-португалец, один из местных

коммерсантов.

— Отчего не стоит?

— Они живут, как свиньи, эти негры!

Однако все решили зайти, к удовольствию Паоло.

Они очутились в большой комнате, где сидели три женщины и двое мужчин, которые играли в засаленные карты и сильно горячились и жестикулировали.

Комната далеко не оправдывала репутации «свиной». Напротив, она даже поразила всех русских своей относительной чистотой. Стены были выбелены, глиняный пол отлично выметен. Большая кровать, стоявшая в углу, была покрыта полосатым бумажным одеялом, точь-в-точь как у нас в деревнях, и на подушках были довольно чистые белые наволочки. На кровати спал курчавенький маленький негритенок. В другом углу стоял стол, за которым сидели игравшие в карты; на нем — глиняный кувшин и такие же две кружки; у стола — два табурета; вдоль стены — скамья.

Невольно напрашивалось сравнение с нашими деревенскими избами и было далеко

не в пользу последних. Не было здесь ни черных тараканов, ни прусаков, ни той грязи, которая обычна в избах. Только маленькие ящерицы, очень некрасивые, с уродливыми головками, которых, говорят, ничем не выживешь и которые водятся по всем домам тропических местностей, бойко разгуливали по белому потолку, производя страшный шум, или, вернее, шуршанье.

При появлении русских моряков все встали. Хозяйка, молодая негритянка, сестра Паоло, знаками просила садиться. Она и другие две женщины — ее гости — были одеты довольно опрятно: в полосатых ярких юбках и в белых кофтах; на головах у них были белые повязки, напоминавшие белые чалмы, которые очень шли к их черным лицам. Игроки — муж и гость — были гораздо грязнее, и костюм их состоял из лохмотьев.

Паоло говорил о чем-то сестре и махал руками. Она вышла и через пять минут возвратилась с тарелкой, на которой красовалась связка бананов и несколько апельсинов. Она стала обносить моряков и затем присела к своим гостям. Мужчины продолжали игру, не

обращая внимания на моряков; увлеченные игрой, они предоставляли женщинам занимать гостей. Сперва дамы как будто стеснялись и молча поглядывали на офицеров. Зато Паоло пытался что-то сказать на своем ломаном английском языке, и то и дело показывал на свой костюм, весело скалил свои белые зубы и прижимал руки к сердцу. Молодая хозяйка первая дала пример веселости. Она что-то начала рассказывать, и все женщины захотали. Потом она начала напевать какую-то песенку, но вдруг сконфузилась и смолкла.

Кто-то из офицеров обратился к португальцу с просьбой передать хозяйке, что все просят ее спеть какую-нибудь народную негритянскую песню.

Когда португалец передал просьбу, все женщины кивнули головами в знак согласия. Они пошептались между собой, вероятно выбирая песню. Наконец решили. Лица их вдруг сделались серьезными; они поджали щеки руками и тихо-тихо запели.

Это было что-то монотонное, необыкновенно грустное и хватающее за душу. Они пели превосходно; голоса были молодые и све-

жие. В этой заунывной песне лились тихие жалобы и слышалась глубокая, полная покорности печаль...

И все это пелось тихо, однообразно, монотонно. И все — жалобы и грусть без конца... Ни одного мажорного звука, ни нотки протеста!

Чем-то знакомым, родным повеяло от этой песни на русских моряков. Им невольно припомнились русские заунывные песни.

Так пели негритянки с четверть часа и смолкли.

— Ну, что, понравилось? — насмешливо спросил португалец.

— Очень! — отвечали моряки и поспешили жестами и поклонами выразить одобрение певицам.

Португалец — желтый, худой и несимпатичный — с недоумением посмотрел на русских: дескать, какие варвары в музыке; что им может нравиться!

— А какие слова этой песни? — полюбпытствовал Ашанин, на которого песня произвела сильное впечатление.

— Обыкновенное дурацкое нытье: жалобы

на белых, сожаление о братьях-невольниках и вообще в этом роде.

Моряки посидели еще с четверть часа и ушли, положив на тарелку по монете в благодарность за гостеприимство и пение.

Накануне ухода из Порто-Гранде палуба «Коршуна» несколько напоминала деревню. Только что поднятые с баркаса на таях и водворенные в стойлах, устроенных на баке, шесть крупных быков громким мычанием выражали свое недовольствие, еще не совсем пришедшие в себя после бесцеремонного их подъема. С десятков свиней и несколько баранов тоже еще не привыкли к новоселью, устроенному для них старым корветским плотником, которого матросы почтительно звали «Федосей Митричем», в виде хлевов из досок, и, несмотря на обильный корм и свежую траву, добытую из Порто-Прайя, беспокойно хрюкали и блеяли. Разнообразная птица: гуси, индюки, утки и куры, рассаженные по клеткам, тоже давали о себе знать гоготаньем, кудахтаньем и петушиным криком... по бортам были развешаны стручья перца, разная зелень, длинные связки незрелых бана-

нов и апельсинов на ветках. Все эти внушительные запасы говорили о продолжительности перехода.

К вечеру корвет был совсем готов к уходу. Стоячий такелаж был давно вытянут, цистерны налиты свежей водой, чтобы по возможности избежать питья океанской опресненной воды, так как эта вода безвкусна; угольные ящики полны; живности и птицы было взято столько, сколько можно было взять, не загромождая слишком верхней палубы, и все расчеты с берегом покончены.

Капитан было хотел сняться вечером, но этот день был днем Нового года, и потому уход был отложен до рассвета.

Прибавился для компании Соньки еще пассажир — вторая обезьяна, купленная мичманом Лопатиным и названная им, к удовольствию матросов, Егорушкой. И Сонька и Егорушка скоро поладили с большим черным водолазом Умным — действительно умным псом, принадлежавшим старшему штурману, настолько умным и сообразительным, что он отлично понимал порядки морской службы и неприкосновенность палубы и ни разу не воз-

буждал неудовольствия даже такого ревнителя чистоты и порядка, каким был старший офицер.

На рассвете, как только озолотились верушки гор С.-Винцента, «Коршун» снялся с якоря и, поставив паруса, вышел из бухты в океан.

Маленький Порто-Гранде уже давно скрылся, и никто не пожалел о нем: такой он несимпатичный.

Глава восьмая В тропиках

I

Плавание в северных тропиках при вечно дующем освежающем пассате — это нечто такое прелестное и благодатное, что и слов не найти. Недаром моряки называют его райским плаванием, и воспоминание о нем никогда не изгладится из памяти. Это, так сказать, казовая сторона морской жизни с ее безмятежностью, покоем и негой ласкового океана, вечно голубого неба и вечного солнца.

Живешь, точно на даче, идеальной даче. Погода прелестная. На высоком голубом небе ни облачка. Солнышко высоко над головой и

заливает своим ослепительным светом водяную степь, на которой то и дело блестит перепрыгивающая летучая рыбка или пускает фонтан кит, кувыркаясь в воде.

Широко раскинулся океан, и будто нет ему конца. Тихий, не перестающий его гул кажется тишиной. Воздух чист и прозрачен. Чисто кругом. На горизонте ни паруска! Только высоко реет красивый фрегат или белоснежный альбатрос и вдруг камнем ринется вниз, чтобы полакомиться рыбкой... Благодатный, ровно дующий пассат умеряет зной тропического дня, и томительной жары не чувствуется.

И идет себе «Коршун» почти без качки под брамселями и бом-брамселями узлов по восьми, по девяти в час, и только вода серебристой лентой стелется по бокам и за кормой, оставляя за нею след.

Хорошо!

Но главное — матросам, этим труженикам в море, спокойно и привольно. Стоят они не на две вахты, как обыкновенно, а на четыре, по отделениям, так как спокойное плавание не требует работы многого числа людей. Работы на вахтах мало, почти никакой. И, стоя на

вахте, в тропиках матросу не приходится быть в нервном напряжении, всегда «начеку». Он не боится отойти от снастей, и ночью над его ухом не раздастся окрика боцмана: «Пошел все наверх...» Можно спать спокойно и даже выспаться. Одним словом, «не жизнь, а малина», как говорили матросы.

Познакомим наших читателей с одним из дней судовой жизни в тропиках.

По одному дню можно судить, до известной степени, об остальных. Несмотря на прелесть этой жизни, она все-таки не особенно богата впечатлениями и в конце концов кажется несколько однообразной, тем более людям, которые равнодушны к великим таинствам природы и совсем глухи к тому, о чем «звезда с звездой говорит».

II

Рассвет близится.

Еще предрассветные сумерки окутывают своей таинственной серой пеленой со всех сторон океан, и горизонт туманен. Еще луна и мириады звезд глядят сверху. Но месяц становится будто бледнее, и звезды мигают слабее и будто стали задумчивее.

Но вот на востоке занимается заря, в первые минуты нежная и робкая, еле пробиваясь розово-лиловой полоской. Цвета меняются быстро. Краски становятся с каждым мгновением ярче, разнообразнее и причудливее. Она расплывается, захватывая все большее и большее пространство, и, наконец, весь горизонт пылает в блеске громадного зарева, сверкая пурпуром и золотом. Небо над ним, подернутое розово-золотистой дымкой, сияет в нежных переливах всех цветов радуги. Луна и звезды становятся еще бледнее и кажутся умирающими.

Что-то величественно могучее и волшебное, не передаваемое даже в гениальных картинах, представляет собой в действительности эта незабываемая картина пробуждения океана, эти снопы пламени, золота и волшебных цветов, предшествующие восходу солнца.

Вот и оно, ослепительное, медленно обнажаясь от своих блестящих риз, величаво выплывает золотистым шаром из-за пылающего горизонта. И все вокруг мгновенно осветилось, все радостно ожило, словно бы преобра-

женное, — и синеющий океан, и небо, высокое, голубое, нежное. Луна и звезды исчезли перед блеском этого чудного, дышащего свежестью, радостного и победоносного утра.

Оно залило ярким светом и маленький «Коршун». Он вдруг потерял свою ночную таинственность, словно бы сделался меньше и, казалось, пошел быстрее. Паруса, мачты, орудия, снасти, человеческие фигуры, — словом, все, что ночью имело какой-то фантастически неопределенный вид и увеличивалось в размерах, теперь мгновенно, словно бы освободившись от волшебных чар ночи, вырезывалось на прозрачном воздухе ясными и рельефными формами и очертаниями. Казавшиеся ночью какими-то темными крыльями гигантской птицы паруса резали глаз своей белизной, и паутина снастей отчетливо выделялась каждой веревкой.

На верхней палубе, на которой спали на разостланных тюфячках матросы, занимая все ее пространство от мостика и до бака, вырисовывались сотни красных, загорелых грубоватых и добродушных лиц, покрытых масляным налетом. Им сладко спалось на возду-

хе под освежительным дыханием благодатного ветерка. Раздавался дружный храп на все лады.

И почти все офицеры и гардемарины спали на юте в подвешенных койках. Спать в душных каютах было томительно.

Бодрствовали только вахтенный офицер, гардемарин на баке да матросы вахтенного отделения.

Дремавшие до восхода солнца у своих снастей или коротавшие вахту, внимая тихой сказке, которую рассказывал какой-нибудь сказочник-матрос, матросы теперь, при наступлении утра, оживились и чаще стали ходить на бак покурить и полясничать. Приятный, острый дымок махорки носился на баке. И разговоры стали громче. И свежий, молодой голос вахтенного мичмана Лопатина как-то веселее прозвучал в воздухе, когда он крикнул:

— Вперед смотреть!

И сам он бодрее зашагал по мостику, то и дело останавливаясь, чтобы взглянуть на выплывающее солнце. Он вдыхал полной грудью этот чудный, насыщенный озоном, мор-

ской воздух, и снова ходил, и снова смотрел на прелесть восхода, и все его существо было полно безотчетной радости.

Как только солнце выглянуло своей золотистой верхушкой, Михаила Бастрюков, бывший на вахте, снял шапку и, глядя на солнышко, три раза истово перекрестился. Затем погладил быков в стойлах, каждого почесал под шеей, сказал им по ласковому слову и, весь как-то радостно улыбаясь, подошел к кадке с водой, закурил свою маленькую трубочку с медным колпачком и, затянувшись раз-другой, протянул своим приятным певучим баском, ни к кому не обращаясь:

— И благодать же господня!

— Превосходно! — промолвил кто-то из кучки курильщиков.

— Чего лучше! — заметил и боцман Федотов, входя в круг. — Дай-ка-сь затянуться трубочки, Бастрюков! — прибавил он, протягивая шершавую, засмоленную руку. — Твоя трубка скусная!

— Российская трубочка, Захарыч, оттого и скусная! А ведь всего за нее два пятака дадено! — весело говорил Бастрюков, протягивая

боцману трубку.

Боровшийся всю первую склянку своей вахты с великим искушением притулиться к борту и вздремнуть, Володя, оживившийся и внезапно возбужденный, глядел на восток. Желания сна как не бывало. И он любовался чудной картиной жадными глазами и мысленно жалел, что никто из его близких на далеком севере не любит вместе с ним. Он ощущал потребность юной, отзывчивой души немедленно поделиться своими ощущениями смутного восторга и оттого, что восход так хорош, и оттого, что ему самому так полно чувствуется и хочется весь мир обнять, и он подошел к своему приятелю — Бастрякову, который, выкурив трубочку, стоял у борта, поглядывая на океан, и проговорил:

— А ведь хорошо, Бастряков? Не правда ли?

Он не объяснил, что именно хорошо, словно бы уверенный, что Бастряков его поймет.

— Еще и как-то хорошо, милый барин! Просто и нельзя сказать, как хорошо! Ишь, ведь оно выходит какое ласковое да приветное. Радуйся, мол, на меня всякая божья

тварь, зла не думай... Пользуйся теплом и благодари господу!

Он проговорил эти слова с подкупающей задушевностью человека, обладавшего редким качеством — не думать зла.

Помолчав, он прибавил:

— Только на море, барин, и увидишь солнышко в таком парате. Сухопутному человеку такого не увидеть.

— Не увидеть, — согласился Ашанин.

— И я так полагаю, ваше благородие, — продолжал пожилой матрос, — что морского звания человеку божий свет наскрозь виднее, чем сухопутному... Только смотри да примечай, ежели глаза есть. Чего только не увидишь!

— Это ты верно говоришь!

— А главная причина, что морской человек бога завсегда должен помнить. Вода — не сухая путь. Ты с ей не шути и о себе много не полагай... На сухой пути человек больше о себе полагает, а на воде — шалишь! И по моему глупому рассудку выходит, милый баринок, что который человек на море бывал и имеет в себе понятие, тот бесприменно должен быть и

душой прост, и к людям жалостлив, и умом рассудлив, и смелость иметь, одно слово, как, примерно, наш «голубь», Василий Федорыч, дай бог ему здоровья!

— Почему ты так думаешь? — спросил Ашанин, несколько удивленный таким философским обобщением.

— А по той причине, добрый барин, — отвечал Бастрюков, по обыкновению тихо улыбаясь и лицом и глазами, — что на море смерть всегда на глазах. Какой-нибудь, примерно, аршин деревянный обшивки, и она тут шумит. Опять же: и бог здесь приметнее и в ласке и в гневе, и эту самую приметность человек чувствует. От этого и совесть в море будто щекотливее. Небось, всю свою грешность вспомнишь, как небо с овчинку покажется... Крышка, мол, всем одна и та же, какая ни будь у тебя напущена фанаберия и какой ни имей ты чин. Капитан ли, офицер ли, хотя бы даже княжеского звания, а все, братец ты мой, тебя акул-рыба сожрет, как и нашего брата матроса. Разбирать не станет! То-то оно и есть, баринок! — добродушно-спокойно заключил Бастрюков.

— Ну, брат, не всегда морская жизнь делает людей добрыми, как ты думаешь! Сам знаешь, какие крутые бывают капитаны да офицеры. Небось, видал таких?

— Всяких, барин, видал... С одним и вовсе даже ожесточенным командиром две кампании на фрегате плавал... Зол он сердцем был и теснил матроса, надо правду сказать...

— И тебе доставалось?

— А то как же? И мне попадало, как другим... Бывало, на секунд, на другой запоздают матросы закрепить марсель, так он всех марсовых на бак, а там уж известно — линьками бьют, и без жалости, можно сказать, наказывали... Я марсовым был. Лют был капитан, а все же и над им правда верх взяла. Без эстого нельзя, чтобы правда не забрала силы... а то вовсе бы житья людям не было, я так полагаю...

— Что же случилось?

— А то и случилось, что он понял свою ожесточенность на людей, и его совесть зазрила... Не понимал, не понимал, да вдруг и понял, как бились мы с фрегатом на камнях и думали, что всем смерть пришла. Тогда-то и

ему, надо полагать, вся его жизнь открылась: «Зачем, мол, я людей безвинно тиранил? Зачем, мол, в жестокости жил и зря матроса наказывал? Зачем совесть забыл?» Небось, не то что человек, а и зверь зря не кусается... А он от непонимания своего зря кусался... Думал: матрос терпит, и никто с него не взыскивает — и шабаш... А как смерть-то в глаза увидел, так совесть и объявилась. Ты ее не ждешь, а она тут как тут: здравия, мол, желаю...

— Что ж дальше?

— Бьет, значит, фрегат о камень, а погода — страсть, до берега далеко... Плохо дело. А он, командир-то, белый-пребелый из лица, скомандовал завозить якоря до верпы, а сам к нам прибежал. «Братушки, — говорит, ребяташки, не выдайте! вызволяйте, моя, „Поспешного!“» Ну, мы изо всех сил стараемся, на всех шпильях ходим... Он тут же, смотрит. А тем временем вкатись волна да и подхватила командира. А матросик один, Кошкиным звали, которого капитан, что ни день, то наказывал, бросился к нему да за шиворот и оттащил; от смерти, значит, спас... «Ты, — говорит, —

Кошкин, меня спас?» «Я, — говорит Кошкин, — вашескобродие». Ни слова не сказал, только взглянул, быдто глазам своим не верит. Тем временем фрегат тронулся с камне-ньев. «Еще понатужьтесь, родимые!» Понату-жились, из сил выбиваемся, и этак через ми-нуту-другую стал наш фрегат на вольной во-де... Бог, значит, спас. «Спасибо, — говорит, — ребятушки, вовек не забуду вашего стара-ния!» Это командир-то нам после, а сам чуть не плачет. «А ты, Кошкин, проси, чего жела-ешь, за то, что меня спас!» А Кошкин ему в от-вет: «Дозвольте, — говорит, — чарку за вас выпить, вашескобродие». Только всего и спро-сил. И что ж бы вы думали, барин? С тех пор зверство его как рукой сняло. Понял он, зна-чит, все и совсем другой человек стал. Нака-зывать — наказывал, но только с рассудком. А Кошкину сто рублей подарил и проник мат-росика этого самого, какой он есть... Прав-да-то свое, небось, взяла. Про то самое я и го-ворю! — заключил Бастрюков, вполне, по-ви-димому, убежденный в истинности своей фи-лософии и в действительности того психоло-гического процесса обращения «ожесточенно-

го» человека, который, быть может, он сам же создал своим художественным чутьем и светлой верой в то, что совесть должна заговорить даже и в самом нехорошем человеке.

— Теперь он в адмиралы вышел, — промолвил после паузы Бастрюков.

В тоне его голоса не было и нотки озлобления. И это заставило Ашанина невольно спросить:

— И ты вспоминаешь о нем без всякой злобы?

— Злоба, милый баринок, не сытит... Богу ему судья! А мы ему давно простили, после самых этих каменьев, что сердце ему смягчили.

— Кто это «мы»?

— Да матросики с «Поспешного». Глядите-ка, барин, ишь, касатки гуляют, видимо их невидимо! Ходко идут!

Ашанин посмотрел за борт.

Громадная стая дельфинов сомкнутой правильной колонной плыла в верхних слоях воды, обгоняя корвет.

Они исчезли из глаз, а Володя все еще раздумчиво смотрел на океан, находясь под сильным впечатлением рассуждений матро-

са. И в голове его проносились мысли: «И с таким народом, с таким добрым, всепрощающим народом да еще быть жестоким!» И он тут же поклялся всегда беречь и любить матроса и, обращаясь к Бастрюкову, восторженно проговорил:

— Какой, брат, ты славный.

В ответ матрос ласково улыбнулся.

— Команду будить! — раздался громкий голос с мостика, как пробило две склянки (пять часов).

Боцман выбежал на середину корвета, просвистал долгим свистом в дудку и гаркнул во всю силу своего могучего, несколько осипшего от береговых попоек, голоса:

— Вставай, ребята, вставай! Койки вязать! Живо братцы! Не копайся!

И, само собой разумеется, Федотов не отказал себе в удовольствии благо капитан спал — закончить свои командные слова блестящей и вдохновенной импровизацией, не имеющей ничего общего со служебными обязанностями и не вызывавшейся никакими сколько-нибудь уважительными, с боцманской точки зрения, причинами. Она скорее

свидетельствовала о привычке и о соблюдении боцманского престижа.

К этому надо прибавить, что воистину затейливые и неожиданные словечки ругательного характера не имели ни малейшего признака раздражения или гнева, а так лились себе из уст Федотова с той же непосредственностью, с какой птица поет, и словно бы для того только, чтобы напомнить и здесь, под голубым небом тропиков, что и он и все корветские находятся на оторванном, плавучем уголке далекой родины.

Зычный боцманский окрик разбудил некоторых офицеров, и они ввиду скорой уборки и чистки корвета пошли досыпать в свои каюты.

Матросы просыпались, будили соседей, потягивались, зевали и крестились, слушая импровизацию боцмана не без некоторого чувства удовольствия знатоков и ценителей, внимающих арии виртуоза-певца. При некоторых пассажирах на заспанных лицах светились улыбки, порой раздавался смех и слышались голоса:

— Ишь ты... Как сегодня Федотов занятно!

— Это он натошак, братцы...

— И глотка же у него!

— Медная и есть!

Но как ни ласкова была импровизация боцмана, матросы тем не менее быстро вскакивали, напяливали штаны и, заворачивая подушку, простыню, подстилку и одеяло в парусные койки, сворачивали их в аккуратные и правильные кульки, похожие на толстую колбасу, и перевязывали крест-накрест просмоленными черными веревочными лентами.

Скоро, минут через пять, палуба свободна. Все поднялись и ждут команды «класть койки». И когда эта команда раздалась, матросы, словно белые муравьи, рассыпались по обоим бортам и стали укладывать по порядку своих номеров эти койки-кульки в бортовые коечные гнезда, в которых койки обыкновенно хранятся в течение дня, прикрытые в случае дождя или ненастной погоды черным, хорошо просмоленным брезентом. Выровненные на диво, эти койки выглядывали из своих неглубоких гнезд, образуя красивую белую кайму вокруг бортов корвета и представляя

собой естественную защиту от неприятельских пуль во время боя.

Матросский незатейливый туалет — мытье океанской соленой водой (пресной дозволяется мыться только офицерам) и прическа — занял несколько минут, и вслед затем вся команда, в своих белых рабочих рубашках с отложными широкими синими воротниками, открывавшими шею, в просмоленных белых штанах, у пояса которых на ремешках висели у многих ножи в черных ножнах, и с босыми ногами, выстраивается во фронт «на молитву».

Громко раздается утренняя молитва стройного хора ста семидесяти человек с обнаженными головами. И это молитвенное пение звучит как-то особенно торжественно при блеске и роскоши чудного утра здесь, вдали от родины, на палубе корвета, который кажется совсем крошечной скорлупкой среди беспредельного, раскинувшегося красавца-океана, ласкового теперь, но подчас бешеного и грозного в других местах.

И, точно понимая, что «с водой шутить нельзя», как говорит Бастрюков, матросы, осо-

бенно старые, поют молитву сосредоточенные и серьезные, осеняя свои загорелые лица широкими крестами.

Молитва окончена. Все покрыли головы и разошлись.

Завтрак уже готов. Два матросских кока (повара) в четвертом часу затопили камбуз (кухню) и налили водой громадный чан для кипятка. Брезенты на палубе разостланы, и артельщики разносят по артелям баки с размазней или какой-нибудь жидкой кашицей, которую матросы едят, закусывая размоченными черными сухарями. После того пьют чай, особенно любимый матросами. Несмотря на жару в тропиках, его пьют до изнеможения.

Полчаса, полагающиеся на завтрак, пролетели незаметно за едой, чаепитием и разговорами. Брезенты убраны. Боцман Федотов, серьезный и нахмуренный, уже обнаруживает признаки нетерпения, глядя, что матросы толпятся у кадки с водой, чтобы покурить трубочки. Пора приступить к «убирке».

И вслед за командой боцмана начинается та обычная ежедневная чистка и уборка всего

корвета, педантичная и тщательная, похожая на чистку в голландских городах, которая является не просто работой, а каким-то священным культом на военных судах и составляет предмет особенной заботливости старшего офицера, искренне страдающего при виде малейшего пятнышка на палубе или медного кнехта, не блестящего, подобно золоту.

Босые, с засученными до колен ногами и до локтей руками, разбрелись матросы по палубе, вооруженные скребками, камнем, ящичками с песком, ведрами, голиками и швабрами. Ползая на четвереньках, они терли ее песком и камнем, потом обильно поливали водой из брандспойта и из парусинных ведер, которые то и дело опускали за борт на длинных концах. После этого палубу проходили голиками и затем швабрами. Пока одни занимались палубой, другие оканчивали борта, предварительно промыв их мылом; вытирали и мыли стекла люков, сами люки и т. д. Повсюду терли, скребли и скоблили; повсюду обильно лилась вода, даже и на быков, свиней и баранов, и разгуливали голики и швабры.

Нечего и прибавлять, что то же самое происходило и внизу: в жилой палубе, на кубрике, в машинном отделении, в трюме, — словом, везде, куда только могла проникнуть матросская рука с голиком и долететь крылатое словечко боцманов и унтер-офицеров.

Когда корвет был выскоблен и вымыт во всех своих закоулках, приступили к его чистке и окончательной «убирке».

Едва ли так тщательно и любовно убирали какую-нибудь барыню-красавицу, отправляющуюся на бал, как убирали матросы свой «Коршун». С суконками, тряпками и пемзой в руках, имея около себя жестянки с толченым кирпичом и мелом, они не без ожесточения оттирали медь люков, компасов, поручней, кнехтов и наводили глянец на чугунные орудия, на болты, крючки, блочки и т. п.

Старший офицер, Андрей Николаевич, вставший в одно время с командой, носился по всему корвету. Его маленькая, коренастая фигурка с выпяченной грудью и волосатым лицом, на котором сверкали небольшие черные глазки, появлялась то тут, то там: и наверху, и в машине, и в подшкиперской. Он

езде, по выражению матросов, «нюхал», везде бегал, там похваливал, там поругивал, употребляя, несмотря на просьбы капитана, «окончания, не идущие к службе», к тайному удовольствию боцманов, и несколько успокоился только перед восемью часами.

В самом деле, пора было успокоиться: все сияло и блестело под ослепительными лучами солнца. Быстро высохшая палуба так и сверкала белизной своих досок, с черными, ровными, вытянутыми в нитку линиями просмоленных пазов. Снасти подвешены правильными гирляндами или лежат в кадках, свернутые в аккуратные «бухты» (круги). Везде, и наверху, и внизу, образцовый порядок, куда ни взгляни. А куда только не заглядывал зоркий глаз старшего офицера! Куда только не пробирался сам он в сопровождении Захарыча, голос которого значительно осип к концу «убирки» от слишком неумеренной импровизации, лившейся из его «медной глотки».

Андрей Николаевич спустился к себе в каюту и, сняв с себя свой рабочий, коротенький бушлатик, основательно занялся туалетом и, приодевшись к подъему флага, вышел на мо-

стик довольный и вполне удовлетворенный.

В самом деле, чистота везде была образцовая. Даже эта оскорбляющая морской глаз старшего офицера «деревня» — как называл он бак, где находились быки, бараны, свиньи и различная птица в клетках, — была доведена до возможной степени чистоты. Везде лежали чистые подстилки, и стараниями матросов четыре уцелевших еще быка (один уже был убит и съеден командой и офицерами), бараны и даже свиньи имели вполне приличный вид, достойный пассажиров такого образцового военного судна, как «Коршун».

Один за другим поднимались наверх офицеры и гардемарины — все в белых кителях, чтобы присутствовать при подъеме флага. Вылез и черный, мохнатый Умный и растянулся в тени у орудия на шканцах. А Сонька и Егорушка уже весело взбегали на ванты, добираясь до самого клотика (верхушка мачты), гонялись друг за другом, проделывая всевозможные штуки, и, стремительно сбежавши вниз и, видимо, заключив между собой перемирие, принялись дразнить солидного и неповоротливого водолаза, подкрадываясь к

нему сзади и дергая его за хвост.

Водолаз сперва не обращал на них внимания или по крайней мере представлялся, что не обращает внимания, но затем раза два лениво воркнул, и когда обезьяны уже чересчур бесцеремонно схватили его за хвост, он с лаем внезапно вскочил и бросился за ними... Но Сонька и Егорушка уже были на вантах и оттуда весело и лукаво смотрели на несколько опешившего умного пса.

Проделки эти повторялись несколько раз, возбуждая веселый смех в наблюдавших за этими сценами, и Умный несколько раз напрасно вскакивал, оставаясь в дураках и чувствуя себя сконфуженным перед зрителями, пока, наконец, не прибегнул к хитрости, несколько неожиданной для его открытого и благородного характера. Притворившись спящим и оставаясь недвижимым все несколько минут, во время которых обе обезьяны самым бессовестным и наглым образом теребили его черный пушистый хвост и, казалось, совсем забыли об осторожности, Умный неожиданно быстрым движением схватил Егорушку за шиворот и задал ему порядочную трепку, за-

ставившую кричать не только самого Егорушку, но и Соньку, успевшую удрать и забраться на борт. Великодушно подержав Егорушку в зубах, Умный опустил его, нагнав на него страха. В конце концов, впрочем, состоялось примирение, и скоро Умный принял участие в игре обезьян, гоняясь за ними с веселым лаем.

Минут за пять до восьми часов наверх вышел капитан и, приветливо пожимая руки офицерам в ответ на их поклоны, поднялся на мостик.

При виде капитана старший офицер снял, по морскому обычаю, фуражку и раскланялся с ним с несколько преувеличенной служебной почтительностью морского служаки. В ней, впрочем, не было ничего заискивающего или унижительного; этим почтительным поклоном старший офицер не только приветствовал уважаемого человека, но и чувствовал в лице его авторитет капитана.

— Доброго утра, Андрей Николаевич! — проговорил капитан, пожимая руку старшего офицера. — Доброго здоровья, Василий Васильевич! — приветствовал он мичмана Лопатина.

тина, обмениваясь с ним рукопожатием. — Что, как идем? Узлов восемь? — спросил капитан, взглянув за борт.

— Восемь с четвертью, Василий Федорович! — весело отвечал мичман Лопатин, прикладывая пальцы к козырьку фуражки.

— Что ж, отлично идем...

— Третьего дня хуже шли... Суточное плавание всего было 160 миль, вставил старший офицер.

— Зато за эти сутки пройдем больше.

Капитан взглянул на сиявшую палубу, на горевшую медь и промолвил:

— А вы уж, по обыкновению, убрались, Андрей Николаевич, и у вас корвет — игрушка.

Старший офицер, необыкновенно чувствительный к похвалам «Коршуна», который он любил той особенной любовью, которой прежде любили моряки свои суда, слегка покраснел от этого комплимента и с преувеличенной скромностью проговорил:

— Управились помаленьку, Василий Федорович... Ничего, кажется, судно в порядке...

— Еще в каком порядке!.. А Федотов сегодня что-то особенно громко и много ругал-

ся, — улыбаясь, заметил капитан. — Не может отстать от этой привычки.

— Ничего с ним не поделаешь, Василий Федорович, — отвечал, слегка краснея, старший офицер, вспомнивший, что и сам он не без греха в этом отношении. — Уж я ему говорил...

— Только не дрался бы по крайней мере...

— Кажется, не дерется... Я не замечал, Василий Федорович.

— Боцман он хороший, что и говорить, но, кажется, не доволен нашими порядками... фрондирует, а? — смеялся капитан. — Привык, бедняга, сам к зуботычинам, ему и странно, что мы плаваем без линьков и без битья... Да, пожалуй, и не одному Федотову это странно, — прибавил капитан с грустной усмешкой.

Он подошел к краю мостика и стал глядеть на океан, вдыхая полной грудью и с видимым наслаждением чудный морской воздух, еще прохладный и свежий. Как и все, он был весь в белом. Из-под расстегнутого кителя виднелась рубашка безукоризненной белизны; отложные воротнички открывали его слегка за-

горевшую шею. Все на нем сидело как-то особенно ловко и свидетельствовало о его привычке одеваться не без некоторого щегольства. Свежий, с налетом загара на щеках, опущенных темно-русыми бакенбардами, статный и хорошо сложенный, он имел необыкновенно симпатичный, привлекательный вид. Чем-то простым, добрым и в то же время мужественно спокойным веяло от всей его фигуры, чувствовалось в выражении лица и особенно глаз, этих серых, вдумчивых и ласковых глаз.

— Андрей Николаевич!

— Что прикажете?

— Какое у нас сегодня по расписанию ученье?

— Артиллерийское, Василий Федорович.

— Так, пожалуйста, чтобы оно было не более четверти часа, много двадцати минут, а то люди утомятся. День будет жаркий.

— Слушаю-с.

— И вот еще что: прикажите, чтобы люди не пили простой воды, а непременно разбавленную вином... Доктор советует.

— Я сделаю распоряжение.

— Флаг поднять! — раздалась веселая команда мичмана Лопатина.

Все обнажили головы.

Начались обычные утренние рапорты начальников отдельных частей о благополучии корвета по вверенным им частям, и все затем спустились в кают-компанию пить чай.

Мичман Лопатин торопливо сдал вахту и побежал вниз, предвкушая удовольствие выпить несколько стаканов чаю со свежими, только что испеченными булками. Мысли о чае занимали и Ашанина, когда он спускался по трапу вниз.

В кают-компании пьют чай и идут довольно оживленные разговоры и воспоминания о прежних плаваниях, о капитанах и адмиралах.

Еще не все воспоминания переданы, еще не все задушевные мнения высказаны, не все споры исчерпаны, не все книги корветской библиотеки прочитаны, и корвет всего неделю только тому назад, как оставил «берег», правда, скучный Порто-Гранде, бедный впечатлениями, но все-таки кое-какие впечатления были, — и потому беседы еще имеют ин-

терес и воспоминания новизну. Еще люди, самых различных взглядов, характеров и темпераментов, скученные вместе на небольшом пространстве кают-компания и волей-неволей принужденные ежедневно видеть друг друга, не надоели один другому до тошноты, — это еще было впереди, к концу долгого перехода. А пока еще люди не были изучены до мелочей один другим, пока еще рассказы и анекдоты не повторялись в бесконечных изданиях, и однообразие долгого плавания не заставляло отыскивать друг в друге слабости, раздувать их и коситься до первого порта, новые впечатления которого снова оживляли кают-компанию, и люди, казавшиеся на длинном переходе несимпатичными, снова делались добрыми и хорошими товарищами, какими они и были на самом деле.

Старший штурман, сухой и старенький человек, проплававший большую часть своей жизни и выдавший всякие виды, один из тех штурманов старого времени, которые были аккуратны, как и пестуемые ими хронометры, пунктуальны и добросовестны, с которыми, как в старину говорили, капитану можно

было спокойно спать, зная, что такой штурман не прозеваает ни мелей, ни опасных мест, вблизи которых он чувствует себя беспокойным, — этот почтенный Степан Ильич торопливо допивает свой третий стакан, докуривает вторую толстую папиросу и идет с секстаном наверх брать высоты солнца, чтобы определить долготу места.

Рядом с ним ловит солнышко и его помощник, младший штурманский офицер, и Володя, обязанный, как стоявший на вахте с 4 до 8 часов, сделать наблюдения и представить капитану после полудня вычисленные по высотам солнца широту и долготу, в которых будет находиться корвет в полдень.

Матросы разведены по работам. Работы неутомительные: плетут веревки, маты, щиплют пеньку, столярничают, плотничают, красят шлюпки, учатся бросать лот, молодые матросы учатся названиям снастей. И почти каждый, строгая какой-нибудь блочек, выскабливая шлюпку или сплетая веревки, мурлыкает про себя какую-нибудь деревенскую песенку, напоминающую здесь, под тропиками, о далеком севере.

Вахтенный офицер шагает себе по мостик, и нечего ему делать — только поглядывай вокруг. Широко, далеко, как степь, раскинулся океан, окруженный со всех сторон чистым голубым небом. Вдали белеют паруса двух судов. Вблизи перелетывает, блестя на солнце, летучая рыбка.

Но вот сбоку, на наветренном горизонте, на самом склоне его, показывается маленькое серое пятнышко. И вахтенный офицер и сигнальщик почти одновременно заметили его и внимательно и напряженно смотрят на него в бинокли.

Оно быстро увеличивается, раздувается в громадную черную тучу, тяжело нависшую над горизонтом. Вода там сереет. Туча эта поднимается выше и выше, отрывается от горизонта, сливается с океаном широким серым дождевым столбом, освещенным лучами солнца, и стремительно несется на корвет. Солнце скрылось. Вода почернела. В воздухе душно. Вокруг потемнело, точно наступили сумерки.

Это приближается тропический шквал с дождем.

— На марса-фалах стоять! — раздается громкий, слегка возбужденный голос вахтенного офицера, не спускающего глаз с бегущей грозной тучи.

Матросы насторожились у своих снастей.

— Фок и грот на гитовы! Брамсели долой! Шквал все ближе и ближе.

— Марса-фалы отдай! Марсели на гитовы!

Все паруса убраны, и корвет готов к встрече внезапного гостя, представляя ему меньшую площадь сопротивления с оголенными мачтами.

Срывая и крутя перед собой гребешки волн, рассыпающихся водяной пылью, шквал с грозным гулом напал на корвет, окутав его со всех сторон мглой. Страшный тропический ливень стучит на палубе и на стекле люков. Яростно шумит он в рангоуте и во вздувшихся снастях, кладет корвет набок, так что подветренный борт почти чертит воду и мчит его с захватывающей дух быстротой несколько секунд. Кругом одна белеющая, кипящая пена.

Прошли эти секунды, корвет приподнялся и пошел тише. Шквал понесся дальше с той

же быстротой, и туча и дождевой столб уже кажутся маленьким серым пятнышком на противоположной стороне горизонта.

Снова поставили паруса. Снова высокое голубое небо. Воздух полон острой свежести, какая бывает после грозы. Вымоченные насквозь матросские рубахи быстро высыхают под ослепительными лучами солнца, и только в снастях еще блестят кое-где, словно брильянты, крупные дождевые капли. Снова поставлен тент, защищающий головы моряков от палящих лучей, и снова матросы продолжают свои работы.

В одиннадцать часов раздается свисток боцмана и вслед затем команда: «Окончить все работы!»

Подмели палубу и наверх вынесли два брандспойта.

Вся палуба полна теперь голыми телами, на которые льются струи воды из двух брандспойтов, шланги которых опущены за борт. Раздается смех и фыркание. Каждый старается попасть под струю теплой (23–24°) океанской воды.

Наконец, окачивание окончено. Матросы

одеваются, и тотчас же раздаются свистки, призывающие к водке и к обеду.

А старший штурман, в своем стареньком люстриновом сюртучке и в сбитой на затылок белой фуражке, уже с секстаном в руке ловит полдень. Ловит его и Ашанин. Помощник старшего штурмана, молодой прапорщик Мурашкин, отсчитывает в это время секунды на часах. То же делает для Ашанина гардемарин Иволгин.

— Стоп!

— Стоп!

Эти восклицания одновременно вылетают из уст обоих наблюдателей.

Степан Ильич машет своей сухой костлявой рукой, и на баке бьют так называемую «рынду». Это частый и долгий звон колокола, возвещающий наступление полдня.

Старший штурман почти бежит вниз в свою каюту, чтобы закончить утренние вычисления. Через пять минут у опытного Степана Ильича все готово: широта и долгота места определены, и сейчас все узнают, в какой точке земного шара находится «Коршун» и сколько он сделал миль суточного плавания.

Степан Ильич торопливо проходит через кают-компанию в капитанскую каюту, чтобы доложить капитану о широте и долготе и нанести полуденную точку на карту. Карты хранятся в капитанской каюте.

— За сутки 192 мили прошли, Василий Федорыч, — весело докладывал Степан Ильич.

— Отлично. А течением нас сколько снесло к осту[70]?

— На 20 миль-с.

Старший штурман обвел кружком точку на карте и собирался было уходить, как капитан сказал:

— Вы ведь знаете, Степан Ильич, что я решил не заходить ни в Рио, ни на мыс Доброй Надежды, а идти прямо в Батавию... конечно, если команда будет здорова и не утомится длинным переходом.

— Как же, вы говорили об этом... Отчего и не сделать длинного перехода. В старину, когда парусники только были, и то делали длинные переходы, а паровому судну и подавно можно.

— То-то и я так думаю.

— Только бы у экватора не встретить боль-

шую штилевую полосу.

— Надеюсь, этого не будет, — отвечал капитан, — мы пересечем его, руководствуясь картами Мори[71], в том месте, где штилевая полоса в этом месяце наиболее узка... Пробежим ее под парами, получим пассат южных тропиков и с ним спустимся как можно ниже, чтобы подняться в Индийский океан с попутным SW... Что вы на это скажете, Степан Ильич?

Капитан, сам отлично знавший штурманскую часть и не находившийся, как большая часть капитанов старого времени, в зависимости от штурманов, прокладывавших путь по карте и делавших наблюдения, тем не менее всегда советовался с Степаном Ильичем, которого ценил и уважал, как дельного и знающего штурмана и добросовестного и усердного служаку.

— Чего лучше... Я по опыту знаю, Василий Федорович... Когда я ходил на «Забияке», так мы тоже низко спускались, льды встречали. Зато, что прогадали на спуске, с лихвой выиграла при подъеме, имея почти постоянный бакштаг[72] до Индийского океана.

В это время вошел Ашанин.

— Ну, как ваша долгота и широта? — спросил капитан, заметив у Ашанина листок.

— Широта N 10°20' и долгота W 20°32', — отвечал Ашанин, поглядывая на старшего штурмана.

— Совершенно верно-с! — подтвердил старший штурман. — Господин Ашанин вообще отлично делает наблюдения и вычисляет... хоть бы штурману!

— Ну, поздравляю вас, господин Ашанин. Степан Ильич скуп на похвалы, а вас хвалит... Очень рад... Хорошему моряку надо быть и хорошим штурманом. К сожалению, многие об этом забывают.

И, отвечая на поклон ушедшего молодого человека, капитан прибавил:

— За обедом увидимся. Ведь вы сегодня у меня обедаете?

Едва только старший штурман показался в кают-компании, как со всех сторон раздались голоса:

— Сколько миль прошли, Степан Ильич? Скоро ли экватор? Какая широта и долгота?

Старший штурман едва успевает отвечать,

но под конец начинает раздражаться и на последнем любопытном срывает свое сердце. Этим последним обыкновенно бывает старший механик, невозмутимый и добродушный хохол Игнатий Николаевич, который как-то ухитрился не замечать недовольного лица старшего штурмана, уже ответившего раз двадцать одно и то же, и, входя в кают-компанию в своем засаленном, когда-то белом кителе, самым хладнокровным образом спрашивает:

— А сколько миль мы прошли, Степан Ильич?

— Да оставьте, наконец, меня в покое! Я уже сто раз говорил! вспыхивает старший штурман. — И к чему вам знать, скажите на милость, Игнатий Николаевич?

Но Игнатий Николаевич так добродушно смотрит своими большими голубыми глазами на старшего штурмана, что тот невольно смягчается и скороговоркой говорит:

— Сто девяносто две мили-с! Сто девяносто две-с!

В половине первого офицеры обедают. Обед, благодаря хозяйственным талантам вы-

бранного содержателя кают-компаний, отличный... Еще живность не вся съедена, еще не пришлось сесть на консервы.

От двенадцати до двух часов пополудни команда отдыхает, расположившись на верхней палубе. На корвете тишина, прерываемая храпом. Отдых матросов бережется свято. В это время нельзя без особенной крайности беспокоить людей. И вахтенный офицер отдает приказания вполголоса, и боцман не ругается.

Не все, впрочем, спят. Улучив свободное время, несколько человек, забравшись в укромные уголки, под баркас или в тень пушки, занимаются своими работами: кто шьет себе рубашку, кто тачает сапоги из отпущенного казенного товара.

В два часа снова свисток и команда:

— Вставать, мыться, грамоте учиться!

Потягиваясь и зевая, поднимаются матросы, обливают свои лица водой из парусинных ведер, и затем начинаются занятия.

От двух до четырех часов палуба корвета представляет собой огромный класс, в котором происходят занятия под главным наблю-

дением гардемаринов. Часть сидит за азбуками и читает по складам; другие читают довольно бегло; третьи занимаются арифметикой.

Несмотря на то, что занятия начались не более месяца и на корвете из 170 человек грамотных было только 50 человек, теперь почти все уже выучились читать. Почти все матросы учатся охотно, вероятно благодаря отсутствию принуждения. Соревнование и награды еще более увеличивают эту охоту, так как в воскресенье матросы, сделавшие за неделю хорошие успехи, получают похвалу от капитана, а лучшие, кроме того, по доллару и по книге для чтения. Только десять человек старых матросов положительно отказались от обучения. В их числе были и оба боцмана.

— Не желаем, ваше благородие!

Их, разумеется, не приневоливали.

По окончании классов на палубу выносятся громадный глобус, на котором крупной чертой был проложен путь «Коршуна» от Кронштадта и на котором ежедневно отмечалось пройденное расстояние. Кто-нибудь из

гардемаринов прочитывал популярную лекцию по географии, и вокруг толпилась масса внимательных слушателей.

На следующий день, вместо географической лекции, читались лекции по русской истории, и интерес еще более возрастал. А на третий день кто-нибудь из молодых людей читал вслух какое-нибудь из подходящих произведений Пушкина, Гоголя, Тургенева, Писемского и Григоровича. Внимали этим чтениям матросы восторженно. Особенно им нравились «Записки охотника» и «Антон Горемыка».

— Это все правда!

— Так оно и есть!

— Верно, братцы, написано!

Так восклицали после чтения матросы.

Нужно ли распространяться о благотворном значении всех этих занятий, вызванных инициативой благороднейшего и образованного капитана? Можно только пожалеть, что чтения эти были единичным явлением, и пожелать, чтобы было побольше таких капитанов, заботящихся о просвещении матросов.

К этому времени дневная истома пропадала

ла. В воздухе веяло прохладой, и матросы, собравшись на баке, слушали песенников, которые почти каждый вечер «играли» песни.

Отлично пели они! Голоса подобрались в хоре все свежие и молодые, и спелись они превосходно.

И песня лилась за песней, то полная шири и грусти, то полная веселья и удали, среди тепла и блеска тропиков, среди далекого океана, напоминая слушателям далекую родину с ее черными избами, морозами, бездольем и убожеством, горем и удалью.

Моряки любят слушать песни. Особенно любил их слушать Бастрюков. Он словно бы замирал в какой-то блаженной истоме. Лицо его бывало полно какой-то тихой задумчивости, и славные, добрые глаза глядели так кротко-кротко и в то же время грустно...

О чем вспоминал он в эти минуты? О чем жалел? Чего хотел?

А бархатный тенорок одного чернявого матросика-запевалы так и просился в душу, так и звенел чистыми, металлическими звуками, чаруя своей задушевностью.

— Вали, ребята, плясовую!

Хор грянул плясовую, и тот же бархатный тенорок так и сверкал удальством и весельем. Невольно даже старики-матросы поводили плечами и притоптывали ногами... А лучшие плясуны уже отплясывали трепака к удовольствию зрителей.

Близилась короткая сумерки. Матросы снова купаются (вернее, обливаются), затем ужинают, пьют чай и после вечерней молитвы берут койки и располагаются спать тут же на палубе.

День матросов кончился.



Так или почти так проходят и все дни. Случаются и развлечения: то в кита стреляют, то за акулой охотятся, то альбатросов ловят.

Раза два охотились за акулой и оба раза неудачно. Как-то сигнальщик заметил за кормой акулу. Она настойчиво плыла за корветом. Все выскочили наверх и сквозь прозрачную синеву воды увидели громадную акулу, весело разгуливавшую у борта корвета со своими адъютантами, двумя прехорошенькими маленькими рыбками-«лоцманами», которых акула, пожирающая все, что ни встретит, не

только не трогает, но еще позволяет питаться крохами со своего стола.

Несколько архангельцев-поморов бросились на сетки корвета с острогами в руках. Тем временем на конце спустили огромный кусок солонины. Немедленно маленькие «лоцмана» обследовали солонину, и вслед затем акула перевернулась, открыла свою ужасную пасть, чтобы взять приманку, как в ту же минуту ловко пущенная острога глубоко вонзилась в бок морской хищницы. Она далеко нырнула, окрасив поверхность воды кровью, затем снова поднялась и стала бешено метаться во все стороны, чтобы освободиться от остроги. Отчаянное движение... и акула освободилась, лишившись куска тела, и тихо-тихо, будто отдыхая, пошла на глубину. «Лоцмана», оставившие своего владыку во время опасности и в смятении плававшие у корвета, теперь снова пустились к ней и исчезли из глаз. Так же неудачна была охота и в другой раз на огромный крюк с солониной.

Альбатросы легко ловились на крюки с приманкой, и когда их поднимали на палубу, они как-то неуклюже ступали, сложив вчет-

веро свои громадные крылья. Их отпускали на волю, и двум из них подвязали на цепочках дощечки с вырезанной на них надписью по-французски «Corchoune. Широта такая-то. Долгота такая-то» и выпустили. Они расправили крылья и взвились с этими дощечками на шеях.

Некоторое развлечение доставляет и встреча на близком расстоянии с каким-нибудь судном. Сейчас же в виде первого приветствия поднимают кормовые флаги (если они не были подняты) на обоих судах, и начинаются разговоры посредством международных сигналов: откуда и куда идет, сколько дней в море, имя судна и т. п. Много повстречал «Коршун» встречных судов, разных «Нимф» и «Духов волны», и «Ивана с Марьей», и «Эмму с Матильдой», и просто «Луиз», «Амалий» и «Каролин», которые ходят себе из Европы в Индию или Австралию и обратно с такой же беззаботностью, с какой мы ездим из Петербурга в Москву.

Иногда приходилось «Коршуну» встречать и спутника. Тут уж на обоих судах не зевают. Морское самолюбие заставляет друг с другом

гоняться. Прибавит соперник парусов, и «Коршун» сделает то же самое. Никому не хочется, чтоб ему показывали «пятку», как говорят англичане. Но в конце концов кто-нибудь да уйдет вперед, или ночь разлучит.

Хороши были в тропиках дни, но ночи были еще прелестнее. Ах, что это были за ночи! Какая нега, какая роскошь!

Однажды Ашанин увидел такое дивное зрелище, которое на всю жизнь осталось у него в памяти.

Это было недалеко от экватора.

Был одиннадцатый час вечера. Ашанин сидел в кают-компании и слушал игру на фортепиано мистера Кенеди, как вдруг сигнальщик прибежал и доложил:

— Просят наверх, посмотреть, как море горит!

Все бросились наверх и были поражены тем, что увидали. Действительно, море точно горело по бокам корвета, вырываясь из-под него блестящим, ослепляющим глаз пламенем. Около океан сиял широкими полосами, извиваясь по мере движения волны змеями, и, наконец, в отдалении сверкал пятнами,

звездами, словно брильянтами. Бока корвета, снасти, мачты казались зелеными в этом отблеске.

Луна сияла в полном блеске, а небо блестяло звездами.

Картина была величественная.

Доктор по этому случаю прочел маленькую лекцию о свечении моря, благодаря присутствию в нем мириад живых организмов — разнообразных инфузорий, монад, дрожалок различных форм и величин, которые отделяют светящуюся жидкость вследствие разряда электричества[73], вызываемого волнами. Подобное яркое свечение объясняется громадным количеством этих организмов, скопленным на сравнительно небольшом пространстве, в которое попал корвет.

Через полчаса зрелище это прекратилось, и хотя по бокам корвета и сзади светило море фосфорическим светом, но это было обыкновенное слабое свечение, и после бывшего блеска все в первую минуту казалось погруженным во мрак, хотя луна и ярко сияла.

«Коршун» приближался к экватору, когда нагнал купеческое судно, оказавшееся ан-

глийским барком «Петрель». Он шел из Ливерпуля в Калькутту. Целый день «Коршун» шел почти рядом с «Петрелью», и на другой день попутчики держались близко друг от друга. Направленные бинокли разглядели на английском судне даму.

Между тем ветер стихал и к полудню стих совершенно. Сделался мертвый штиль, обычный в полосе по обе стороны экватора. Капитан приказал разводиться пары.

В ожидании подъема паров капитан предложил желающим сделать визит на «Петрель». Нечего и говорить, что предложение это было принято с удовольствием.

— Только смотрите, господа, не спрашивайте у американца, какой у него груз. Этим вопросом вы обидите его.

— Почему это, Василий Федорович? — спросил кто-то.

— А потому, что он может подумать, что в нем подозревают негропромышленника.

Спустили на воду катер, и через десять минут дружной гребли по тихому, будто замершему океану, переливающемуся зыбью, несколько офицеров в сопровождении мисте-

ра Кенеди поднимались на палубу «Петрели», имея для дамы в виде гостинца несколько ананасов, бананов и апельсинов, сохранившихся с островов Зеленого мыса.

Гостей встретил капитан, коренастый, приземистый брюнет, американец с окладистой черной бородой, лет за сорок. Все люки были деликатно открыты, и всякий мог видеть, что «Петрель» была нагружена солью. Очевидно, американец предполагал, что русские офицеры приехали затем, чтобы осмотреть его груз.

Когда ему объяснили невинную цель визита, он, видимо, обрадовался и представил гостей высокой, полной и здоровой женщине, лет тридцати, не особенно красивой, но с энергичным, приятным и выразительным лицом.

— Моя жена, миссис Кларк.

Ей подали корзину с фруктами, и американка любезно пригласила всех вниз выпить рюмку вина.

Коренастый янки не замедлил справиться о полуденной широте и долготе. Оказалось, что его наблюдения дали тождественные ре-

зультаты, и он весело проговорил:

— All right[74]. Значит, мои инструменты в порядке.

Мистер Кларк оказался очень общительным человеком и тотчас же познакомил гостей с своей автобиографией. Несколько грубоватый и в то же время крайне добродушный, напоминающий своей внешностью настоящего куперовского «морского волка», для которого море и brandy (водка) сделались необходимостью, он сообщил, что уже пятьдесят раз пересек экватор и вот теперь, как эти проклятые штили донесут его течением до экватора, он пересечет его в пятьдесят первый раз. Моряком он с 16 лет, испробовав до этого несколько профессий, после того как оставил родительский дом в одном из маленьких городков штата Кенектикут, получив от отца три доллара. Капитаном он уже десять лет — диплом получил, выдержав экзамен — и последние три года возит из Англии в Индию соль, а оттуда хлопок. В Бискайском заливе он выдержал трепку и потерял все три брам-стенги.

— Да это не беда, — прибавил он, — на дру-

гой день у меня были готовы новые, и я бежал под брамселями.

— А позвольте спросить, капитан, хорошо ходит ваша «Петрель»? — задал кто-то вопрос.

Предложить подобный вопрос моряку-капитану да еще американцу — значило задеть самую нежную струнку его сердца и поощрить склонность к самому вдохновенному вранью, которым отличаются многие моряки, обыкновенно правдивые, кроме тех случаев, когда дело касается достоинств судов, которыми они командуют.

— «Петрель»? — переспросил янки и на секунду задумался, словно бы соображая, какой цифрой узлов огорошить, сохранив в то же время хотя бы тень правдоподобия. — Да в бакштаг при брамселях узлов 17 бегаёт! — прибавил он с самым серьезным видом.

Никто ему, конечно, не поверил.

— Ну, а ваш корвет, как, хороший ходок? — спросил в свою очередь американец.

Мичман Лопатин поспешил ответить:

— Ничего себе... чуть-чуть лучше «Петрели». В бакштаг идет 18 узлов.

Янки весело расхохотался, лукаво подмиг-

нув глазом. Он понял, что его «утка» не удалась.

Тем временем миссис Кларк принесла вино, варенье и кексы своего изделия и любезно всех угощала.

— А вы не боитесь качки, миссис Кларк? — спросил Володя.

— Нет, привыкла. Я давно плаваю с мужем.

— Моя жена десятый раз пересекает экватор и отличный моряк. В шторм всегда наверху, и если нужно, так и на руле. Миссис Кларк превосходно правит. И курс умеет проложить, и счисление сделать, и пеленги взять. Всему научилась. Мы с женой ни разу не разлучались с тех пор, как поженились, а этому уж пять лет... И сынишка с нами плавал... Он и родился на «Петрели», да умер, бедняжка, в прошлом году в Рио от подлой желтой лихорадки! прибавил янки, бросив ласковый взгляд на свою верную подругу и помощницу.

И все взглянули с невольным уважением на эту женщину-моряка.

Гости просидели с полчаса, осмотрели, по предложению капитана, его «Петрель», удивляясь чистоте и порядку судна, на котором

было всего пятнадцать человек матросов, и распростились с милыми американцами.

Скоро пары были готовы, убраны повисшие паруса, и корвет пошел полным ходом, торопясь скорее миновать штилевую полосу.

Через полчаса одно черное пятно на горизонте указывало присутствие недавнего близкого соседа и напоминало эту мимолетную встречу с американцами вблизи экватора.

В четвертом часу следующего дня «Коршун» пересекал экватор. Это событие было ознаменовано традиционным морским празднеством в память владыки морей Нептуна и обливанием водой всех тех, кто впервые вступал в нулевую широту.

В половине четвертого с бака медленно двигалась процессия: на пушечном станке, везомом вымазанными в черную краску полунагими, изображавшими, вероятно, морских коней, важно восседал марсовый Ковшиков, игравший роль Нептуна. Он был в вывороченном тулупе, с картонной короной на голове, с длинной седой бородой из белой пакли и с трезубцем в руках. Лицо его было раскрашено настолько, насколько нужно бы-

ло, чтобы придать лицу владыки морей строгий и даже устрашающий вид. Сбоку шла супруга его Амфитрида, которая в лице рябого баталера, хотя и изрядно вымазанном суриком, тем не менее не представляла привлекательности и не свидетельствовала о хорошем вкусе Нептуна. По бокам и сзади шла свита, изображавшая наяд, тритонов, nereид. Это все были молодые матросы в «экваториальном» костюме, то есть в простынях, опоясывающих чресла, и с венками из цветной бумаги на головах. Ни охры, ни сурика, ни черной краски подшкипер, видимо, не пожалел, и вся свита Нептуна вымазалась даже более, чем следовало бы в интересах хотя бы отдаленного правдоподобия.

Но что за дело до этого? Похожи или непохожи были матросики на морские божества, они тем не менее двигались с подобающей торжественностью, окруженные довольными зрителями.

Когда колесница с Нептуном подъехала на шканцы и остановилась против мостика, на котором стояли капитан и офицеры, Нептун сошел с нее и, оставив не без внушительно-

сти вперед свою босую ногу, стукнул трезубцем и велел подать список офицеров. Когда одно из лиц свиты подало Нептуну этот список, владыка морей, прочитав имя, отчество и фамилию капитана, обратился к нему с вопросом:

— Какого государства вы люди? Откуда и куда идете, и как зовется ваше судно?

Удерживая улыбку, капитан отвечал:

— Мы русского государства люди. Идем из Кронштадта на Дальний Восток, а зовется наше судно «Коршуном».

— Хорошо, так ответствуйте, господин капитан, — продолжал Нептун в несколько приподнятом театральном тоне, как и подобало владыке морей, угодно ли вам счастливого плавания и попутных ветров?

— Конечно, угодно.

— Так я могу вам все сие даровать, но только надо вас окатить водой, ежели не желаете от меня откупиться.

Капитан согласился и сказал, что дает ведро рома.

За это Нептун обещал попутные ветры вплоть до Зондского пролива.

Подобным же образом откупились и все офицеры и гардемарины, только, разумеется, за меньшую цену.

Тогда Нептун снова сел на колесницу и приказал крестить морским крещением прочих российских людей.

И при общем смехе свита Нептуна хватала матросов, мазала им лица сажей, сажала в большую бочку с водой и после окачивала водой из брандспойта. Особенно доставалось «чиновникам».

Не избежали, несмотря на взятку, окачивания и офицеры, бывшие наверху. После того как все матросы были вымазаны и выкупаны, Нептун велел направить брандспойт на офицеров, и все, кроме капитана, были вымочены до нитки при дружном и веселом смехе матросов.

Вслед затем процессия двинулась на бак. После переодевания вынесена была ендова рома, и матросы выпили за счет капитана по чарке. А вечером, когда спал томительный зной, на баке долго раздавались песни и шла пляска.

Так отпраздновали на «Коршуне» первый

переход через экватор.

Через день, к общей радости, корвет прошел штилевую полосу и, вступив в область юго-восточного пассата, окрылился парусами и понесся далее на юг.

Быстро пробежал корвет южные тропики, и чудное благодатное плавание в тропиках кончилось. Пришлось снять летнее платье и надевать сукно. Относительная близость южного полюса давала себя знать резким холодным ветром. Чем южнее спускался корвет, тем становилось холоднее, и чаще встречались льдины. Ветер все делался свежее и свежее.

«Коршун» уже не шел спокойно, а часто вздрагивал. На бак снова попадали брызги сердитых волн, обдавая с ног до головы часовых. Опять стояли матросы на вахте не отделениями, а разделившись половинными сменами, и, стоя у своих снастей, уже не лясничали, как прежде, доверяясь тропикам, а находились постоянно начеку. Все чаще и чаще приходилось убирать брамсели и брать рифы. Ветер ревел, разводя громадное волнение. Небо часто заволакивалось тучами, и налета-

ли шквалы. Вокруг вертелись альбатросы, глупыши, и маленькие штормовки летали, словно скользя, над волнами.

Корвет стонал от тяжелой качки и опять заскрипел. Снова пришлось все в каютах принайтывать. Опять для матроса началась тяжелая жизнь, и нередко ночью вызывались все наверх.

Все быки, свиньи и бараны были съедены, и птицы осталось очень мало. Приходилось довольствоваться консервами.

Скоро «Коршун» должен был подняться в Индийский океан.

Глава девятая **В Индийском океане**

I

Недаром про Индийский океан бежит худая слава. Самые опытные, поседевшие в плаваниях «морские волки» и те относятся к нему с почтительным уважением и даже с некоторым суеверным страхом, особенно в известные времена года, когда на нем свирепствуют жестокие, наводящие трепет ураганы. И горе пловцу, который по несчастью или по неосторожности попадает в центр циклона. В

этом крутящемся вихре, в этом беснующемся водовороте нет кораблю спасения. Словно малую щепку, закрутит его среди разъяренных, стеной поднявшихся волн, и бездонная водяная могила поглотит судно со всеми его оцепеневшими от отчаяния обитателями.

Немало купеческих судов ежегодно пропадает таким образом без вести, и немало слез проливается о безвестно погибших тружениках моря.

Грозен Индийский океан даже и тогда, когда он не раздражается бешенством урагана. Он постоянно сердито ворчит, точно угрожая смелым морякам. Но, несмотря на эти угрозы, они все-таки бесстрашно попирают его на своих судах и, по мере успехов знания и техники, все менее и менее его боятся, умея выдерживать знаменитые ураганы в отдалении от губельного его центра. Только оплошность или ветхость судна грозят опасностью.

Суеверные купеческие моряки, входя в пределы Индийского океана, бросают, как говорят, для его умилоствления золотые монеты, а как только «Коршун» влетел, словно белоснежная чайка, во владения грозного ста-

рика, под всеми парусами, имея брамсели на верхушках своих мачт, так отдано было капитаном приказание отслужить молебен.

Престарелый отец Спиридоний, проводивший большую часть времени в маленькой душной каюте и порядочно-таки скучавший и от безделья и в не совсем подходящем для него обществе моряков-офицеров, облачился в епитрахиль, и, едва держась на ногах от сильной качки, торопливо прочитывал молитвы о благополучном плавании.

Матросы, не бывшие на вахте, толпой стояли в жилой палубе и усердно молились.

Молебен окончен. Все приложились к кресту, разошлись и принялись за обычные свои дела. Распоряжение капитана, видимо, удовлетворило душевной потребности матросов, и они хвалили своего «голубя».

— Это он правильно, — говорили они.

К вечеру уже начало свежить, так что пришлось убрать верхние паруса и взять рифы у марселей и у фока.

И под этой уменьшенной парусностью, оберегавшей целость мачт, «Коршун» несся со свежим попутным муссоном по десяти узлов

[75] в час, легко и свободно вспрыгивая с волны на волну, и, словно утка, отряхиваясь своим бушпритом от воды, когда он, рассекая гребни волн, снова поднимается на них.

С этого дня почти не прекращалось беспокойное плавание с постоянной качкой, с вечным суровым напевом ветра, то гудящего, то жалобно насвистывающего в снастях и в рангоуте. По временам «трепало» порядочно, но все-таки пловцы на «Коршуне» урагана еще не встречали. Встреча с ним, и довольно серьезная, была впереди.

Качка по временам жестокая, но уж все к ней привыкли. Не пугают и водяные горы, среди которых несется маленький корвет, — и к ним давно присмотрелись. Досадно только, что приходится обедать с сеткой на столе и проделывать самые ухищренные движения, чтобы донести до рта ложку супа. И моряки торопятся скорее проглотить суп, съесть жаркое и пирожное. Обед в такие дни проходит без обычных разговоров, без шуток и смеха... Да, кроме того, почти обо всем и переговорили... Все анекдоты рассказаны, и повторение их вызывает протесты. Чувствуется,

что начинается уж то взаимное раздражение и недовольство друг другом, которое нередко бывает на длинных переходах.

Тридцать дней уже «Коршун» в море, не видавши берегов; тридцать дней ничего, кроме неба да океана, — это начинает надоедать, а до Батавии еще так далеко!

И недовольные, раздраженные офицеры торопливо расходятся после обеда по своим каютам, стараясь заснуть под скрип переборок, заняв возможно более удобное положение в койке, чтобы не стукнуться лбом в каютную стенку. А эти деревянные стенки продолжают скрипеть. Они точно визжат, точно плачут и стонут. В каюте с задраенным (закрытым) наглухо иллюминатором, то погружающимся, то выходящим из пенистой воды, душно и жарко. Сон бежит от глаз нервного человека и гонит его наверх, на свежий воздух...

Но наверху не лучше.

Ходить по палубе не особенно удобно. Она словно выскакивает из-под ног. Ее коварная, кажущаяся ровной поверхность заставляет проделывать всевозможные эквилибристиче-

ские фокусы, чтобы сохранить закон равновесия тел и не брякнуться со всех ног. Приходится примоститься где-нибудь у пушки или под мостиком и смотреть на беснующеся море, на тоскливое небо, на притулившихся вахтенных матросов, на прижавшегося у люка Умного и на грустно выглядывающих из-за люка Егорушку и Соньку.

Все знакомые картины, уже надоевшие своим однообразием. А косой назойливый дождик так и хлещет в лицо. А ветер так и воет!

Невольно в такие минуты вспоминается берег и дразнит какой-то особенной прелестью теплых уютных комнат, где ничто не привязано и ничто не качается и где можно ходить, не заботясь о равновесии, видами полей и лесов и вообще разнообразием впечатлений. Вспоминается и далекая родина, родные и близкие, приятели и знакомые, и так хочется увидеть их.

Точно такие же впечатления переживал и Володя. Несмотря на то что он старался не поддаваться скуке и добросовестно занимался, много читал и не оставлял занятий с мат-

росами, все-таки находили минуты хандры и неодолимого желания перелететь в Офицерскую и быть со своими... Длинный переход с вечно одними и теми же впечатлениями, в обществе одних и тех же лиц казался ему под конец утомительным. И ему, как и всем, хотелось берега, берега.

Некоторое нетерпение замечается и среди матросов, и они все чаще и чаще спрашивают: «Долго ли еще плыть до места?» Им, видимо, хочется, как говорят моряки, «освежиться», то есть погулять и выпить на берегу. Эти дни, которые тянутся теперь с томительным однообразием беспокойных вахт, становятся несколько тяжелыми для людей, и матросы заметно стали скучнее и уже реже пели песни и плясали под конец этого долгого перехода. «Свежинки» давно уж нет... Приходится сидеть на щях из солонины, из консервованного мяса и на горохе.

Дружно жившая молодежь в своей небольшой гардемаринской каюте начинает чувствовать некоторую тяжесть этого тесного сожительства. Появляются беспричинные ссоры, полные такого же беспричинного озлоб-

ления друг против друга. За недостатком впечатлений извне каждый начинает придираться к другому, копать в чужой душе, подмечать слабости и недостатки и, преувеличивая их, относиться несправедливо и с какой-то мелочной придирчивостью и мнительностью к тем самым людям, которые еще недавно казались такими милыми и хорошими. Отношения между всеми становились хуже, и уже некоторые, поссорившись, не разговаривали между собой и считали друг друга врагами.

Берега всем хотелось, берега и новых впечатлений![76]

II

До Батавии оставалось всего 600 миль, то есть суток трое-четверо хорошего хода под парусами. Бесконечный переход близился к концу. Все повеселели и с большим нетерпением ждали Батавии. Уже в кают-компании толковали о съезде на берег, назначая день прихода, и расспрашивали об этом городе у одного из офицеров, который бывал в нем в прежнее свое кругосветное плавание. Все то и дело приставали к старому штурману с во-

просами: как он думает, верны ли расчеты?

Несколько суеверный, как многие старые моряки, старый штурман отвечал, что он «ничего не думает».

— В море не очень-то можно рассчитывать. Придем, когда придем! прибавил он не без значительности.

— Ну, уж вы всегда, Степан Ильич, чего-нибудь да боитесь...

— Стар, потому и боюсь... Мало ли что может случиться.

— Уж не ураган ли встретим, Степан Ильич? — шутя заметил мичман Лопатин.

— Типун вам на язык... Встретим, так встретим, а нечего о нем говорить! — промолвил старший штурман.

Замечание Степана Ильича о том, что в море нельзя точно рассчитывать, оправдалось на другой же день. Часов в десять утра почти внезапно стих ветер. Весь горизонт справа обложило, и там нависли тяжелые грозные тучи, изредка прорезываемые молнией. Сделалось вдруг необыкновенно душно в воздухе. Паруса повисли и шлепались. Глупыши, петрели и штормовки стремительно

неслись в одном и том же направлении, противоположном тучам. Это внезапное затишье имело в себе что-то жуткое.

И капитан, и старший штурман, и вахтенный офицер, стоявшие на мостике, напряженно смотрели в бинокли на горизонт, который становился темнее и темнее, и эта чернота захватывала все большее и большее пространство, распространяясь вширь и медленно поднимаясь кверху.

— Скверный горизонт. И барометр быстро падает, Степан Ильич, проговорил капитан, отводя глаза от бинокля.

— Чем-то нехорошим пахнет, Василий Федорыч, — ответил штурман.

— Судя по всему, ураган идет!.. Заметили в трубу это громадное облако?[77]

— Видел-с...

— По счастью, оно далеко... Вызовите всех наверх, — обратился капитан к вахтенному офицеру, — убирать паруса и спускать брам-стеньги и стеньги, ставить штормовые паруса и лечь на левый галс[78].

Через минуту уже вся команда была наверху, и минут через десять корвет уже был под

штормовыми триселями и бизанью и лежал на левом галсе.

Ветер вдруг задул сильными порывами, меняя свое направление, и стремительно обходил все румбы компаса, вращаясь по направлению солнца, то есть по стрелке часов.

— Так и есть ураган!.. Андрей Николаевич, осмотрите, все ли хорошо принайтовлено, как следует, да осмотрите, хорошо ли закреплены орудия! приказывал капитан старшему офицеру.

Он был серьезен и казался спокойным и то и дело посматривал на горизонт.

Там все чаще и ярче сверкала молния, и оттуда долетали глухие раскаты грома. Низко нависшие тучи неслись со стремительной быстротой, застилая небосклон. Стало темно, словно в сумерки. Ветер крепчал, задувая порывами страшной силы, и волнение было громадное.

Но все это были только «цветочки».

Не прошло и получаса, как с ревом, наводящим ужас, ураган напал на корвет, срывая верхушки волн и покрывая все видимое пространство вокруг седой водяной пылью. Гро-

мады волн с бешенством били корвет, вкатываясь с наветренного борта и заливая бак. Стало совсем темно. Лил страшный ливень, сверкала ослепительная молния, и, не переставая, грохотал гром. И вой урагана, и рев моря, и грохот — все это сливалось в каком-то леденящем кровь концерте.

Среди водяных стен бедный «Коршун» метался во все стороны и вздрагивал, точно от боли. Все люки были наглухо закрыты, чтобы перекатывающиеся волны не могли залить судна, и на палубе были протянуты леера.

Все матросы и офицеры были наверху и с бледными испуганными лицами смотрели то на бушующий океан, то на мостик. Многие крестились и шептали молитвы. Смерть, казалось, смотрела на моряков из этих водяных громад, которые, казалось, вот-вот сейчас задавят маленький корвет.

Слегка побледневший, необыкновенно серьезный и напряженный стоял на мостике капитан в дождевике и зюйдвестке, уцепившись руками за поручни и отрывисто командуя восьми человекам, поставленным на руль, как править, вглядываясь возбужден-

ным, лихорадочным взором вперед, в эти бушующие волны. По-видимому, он спокоен, но кто знает, что происходит у него на душе в эти минуты. Он ясно видит серьезность положения, и все его нервы напряжены до последней степени. Весь он жил всеми фибрами своего существования в одной мысли: спасти корвет и людей. И он зорко следит за каждой волной, направляя корвет в ее разрез. Боже сохрани поставить судно поперек такого жестокого волнения!

Володя Ашанин, обязанный во время авралов находиться при капитане, стоит тут же на мостике, страшно бледный, напрасно стараясь скрыть охвативший его страх. Ему стыдно, что он трусит, и ему кажется, что только он один обнаруживает такое позорное малодушие, и он старается принять равнодушный вид ничего не боящегося моряка, старается улыбнуться, но вместо улыбки на его лице появляется страдальческая гримаса.

Гром грохочет, не останавливаясь, и с неба падают огненные шары и перед тем, как упасть в океан, вытягиваются, сияя ослепительным блеском, и исчезают... Ураган, каза-

лось, дошел до полного своего апогея и кладет набок корвет и гнет мачты... Какой-то адский гул кругом.

Сердце Володи невольно замирает в тоске... Ему кажется, что гибель неизбежна. «Господи!.. Неужели умирать так рано?» И в голове его проносятся мысли о том, как хорошо теперь дома, о матери, о сестре, о брате, о дяде-адмирале. Ах, зачем он послушал этого адмирала?.. Зачем он пошел в плавание?..

Между тем многие матросы спускаются вниз и с какой-то суровой торжественностью переодеваются в чистые рубахи, следуя традиционному обычаю моряков надевать перед гибелью чистое белье. В палубе у образа многие лежат распростертые в молитве и затем поднимаются и пробираются наверх с каким-то покорным отчаянием на лицах. Среди молодых матросов слышны скорбные вздохи; многие плачут.

— Не робей, ребята! Ничего опасного нет! — громовым голосом кричит в рупор капитан.

Но его голос не долетает, заглушаемый ревом урагана. Однако спокойный его вид как

будто вселяет надежду в сердцах этих испуганных людей.

Корвет все чаще и чаще начинает валить набок, и это капитану очень не нравится. Он оборачивается и, подозвав к себе старшего офицера, кричит ему на ухо:

— Топоры чтоб были готовы... Рубить мачты в случае нужды.

— Есть! — отвечает старший офицер и, спускаясь с мостика, торопливо пробирается, держась за леер, исполнять приказание.

У фок- и грот-мачт стали люди с топорами. Но ураган распорядился сам.

Грот-мачта вдруг закачалась и, едва только успели отбежать люди, повалилась на подветренный борт, обрывая в своем падении ванты и такелаж и валя корвет еще более набок... Волны, громадные волны, были совсем близко и, казалось, готовы были залить корвет.

Все невольно ахнули и в ужасе крестились.

— Мачту за борт... Скорей рубить ванты! — крикнул в рупор капитан, и лицо его побелело...

Прошло несколько ужасных мгновений. Корвет почти лежал на боку.

Ашанин невольно зажмурил глаза и бессмысленно шептал:

— Господи! да за что же... за что?..

Наконец ванты были обрублены, и грот-мачта исчезла в волнах. Корвет поднялся, и лицо капитана оживилось.

В этой борьбе прошел час, другой, третий... Эти часы казались веками. Наконец ураган стал стихать, вернее, корвет все более и более удалялся от него. Страшное облако, в середине которого виднелось синее небо, которое моряки называют «глазом бури», значительно уменьшилось... Гром уже грохотал в стороне, и молния сверкала не над «Коршуном». Волны были меньше.

Все облегченно вздохнули, взглядывая на мостик, точно этим взглядом благодарили капитана.

К вечеру корвет был уже вне сферы урагана, искалеченный им таки порядочно. Он потерял грот-мачту и несколько шлюпок, смытых волнением. В нескольких местах были проломаны борты. Тотчас же было приступ-

лено к починке повреждений, и готовилась так называемая «фальшивая»[79] мачта.

Ввиду незнания точного места корвета на ночь корвет привели в бейдевинд под зарифленными марселями, и он шел самым тихим ходом.

— Ну, Ашанин, сегодня вы настоящий ураган видели, один из тех ураганов, которые не забываются во всю жизнь! — проговорил капитан, когда вечером Ашанин был послан к капитану в каюту с каким-то докладом с вахты.

Ашанин вспыхнул, вспомнив, как он струсил.

А капитан продолжал:

— Прочтите об ураганах, и вы увидите, какие они страшные... Судно, попавшее в центр его, неминуемо гибнет... Там хоть и полное безветрие, но зато волны так ужасны и так сталкиваются между собой со всех сторон, что образуют водоворот... По счастью, всегда возможно избежать центра и встретить ураган, стараясь держаться по касательной его... Потом зайдите за книгой, познакомьтесь с теорией ураганов... А жутко было? — спросил ка-

питан.

— Очень, Василий Федорович, — виновато проговорил Володя. — Один только вы не испугались! — прибавил Ашанин, восторженно глядя на капитана.

— Вы думаете? — улыбнулся капитан. — Напрасно вы так думаете. Я тоже испытывал страх...

— Вы?! — воскликнул юноша.

— И, пожалуй, еще больше вашего. Вы боялись за себя, а я за всех... И не думайте, что есть люди, которые не боятся опасности... Все ее боятся и совершенно естественно боятся... Надо только капитану уметь владеть собой и не показывать этого, чтобы не навести панику на матросов и, главное, не растеряться и бороться до последней возможности... Вот в чем обязанность моряка! А тем, кто говорит, что ничего не боится, и щеголяет своей храбростью, не верьте, Ашанин, и не стыдитесь того, что вам было жутко! ласково прибавил капитан, отпуская молодого человека.

И Ашанин ушел, значительно успокоенный насчет своего, как он думал, «позорного малодушия» после этих слов капитана.

На утро снова с голубого неба сверкало ослепительное солнце. Дул довольно слабый ветер. Фальшивая мачта была уже поставлена. Все моряки теперь словно бы ожили, пережив вчерашнюю бурю, словно больные опасную болезнь, грозившую смертью.

К полудню узнали точное место «Коршуна». Оказалось, что ураган унес его на сто миль назад, и до Батавии оставалось семьсот миль.

Капитан приказал развести пары, и «Коршун» взял курс в Зондский пролив.

III

У всех веселые, праздничные лица. Корвет прибирается, чистится, подкрашивается, чтобы показаться в чужие люди, как следует военному судну, хотя и помятому ураганом, но с честью выдержавшему его нападение. Уже достали якорные цепи, долго лежавшие внизу, и приклепали к якорям.

— Берег скоро... Скоро придем! — весело говорят матросы.

— Завтра в Батавии будем! — радостно повторяют в кают-компании. — Не правда ли, Степан Ильич! Уж теперь урагана нечего бо-

яться?

Старый штурман весело улыбается.

Какой ураган?! На океане мертвый штиль. Бирюзовое небо без облачка. Раскаленным шаром сверкает солнце. Барометр стоит высоко.

— Когда должен открыться берег, Степан Ильич?

— Около полудня.

— Как придем, сейчас же на берег съеду, — замечает мичман Лопатин.

— Надеюсь, Андрей Николаевич, — обращается кто-то к старшему офицеру, вахты на рейде будут суточные?..

— Вероятно, капитан разрешит...

— Ну, батюшка, — обращаются к ревизору, — раздавайте-ка сегодня жалованье.

— Сейчас, господа, буду раздавать.

Ревизор достал из денежного сундука, находящегося в капитанской каюте, мешок, набитый золотом (английскими фунтами), и вместе со списком принес в кают-компанию. Жалованья приходилось за два месяца. Было на что погулять на берегу.

И — странное дело — близость берега и но-

вых впечатлений производит внезапную перемену в отношениях. Все снова дружелюбно разговаривают между собой, раздаются смех и шутки. Раздражение друг против друга исчезло словно каким-то волшебством, и люди, которые вчера еще казались один другому врагами, сегодня кажутся совсем другими — теми же добрыми товарищами и порядочными людьми. Происходит какое-то безмолвное общее примирение, и все ссоры, все недоразумения забыты.

— И с чего это мы с тобой целую неделю не говорили? — обращается худой гардемарин Кошкин к красивому брюнету Иволгину, протягивая руку.

— А черт знает с чего! — весело отвечает Иволгин.

— По глупости! — выпаливает здоровый рыжий Быков и смеется.

И Ашанин сердечно протянул руку одному штурманскому кондуктору, с которым поссорился в одном горячем споре, и спросил:

— Вы не сердитесь?

— Нисколько. А вы?

— Как видите.

— А вы тогда не поняли меня в споре... Я вовсе не ретроград, как вы думали...

— Я этого и не думаю...

Уже одиннадцатый час. Попыхивая дымком, «Коршун» идет полным ходом, узлов по десяти в час, по штилевшему океану. Близость экватора дает себя знать нестерпимым зноем. Тент, стоящий над головами, защищает мало. Жара ужасающая, и жажда страшная. Капитан любезно прислал гардемаринам несколько бутылок сиропа и аршада, и все с жадностью утоляют жажду.

Бедные кочегары, стоявшие у вахты по два часа, едва выдерживают и эти часы в пекле кочегарной, и многих без чувств выносят наверх и обливают водой.

Несколько охотников-матросов сидят на всех марсах и салингах, сторожа открытие берега. Первому, кто увидит берег, обещана была капитаном денежная награда — пять долларов.

И вот в исходе двенадцатого часа с форсалинга раздался веселый окрик:

— Берег!

С мостика посмотрели в трубу. Действи-

тельно, впереди на горизонте серелась тонкая полоска земли.

— Берег! берег! — разнеслось по всему корвету. Все офицеры выскочили наверх и направили бинокли на эту желанную полоску.

В эту минуту Ашанину невольно вспомнилось, какую сумасшедшую радость должны были испытать колумбовы спутники, когда услышали этот крик и, полные счастья, стали молиться.

— Берег, братцы, берег! — повторяли и матросы.

В четыре часа корвет вошел в Зондский пролив.

Чудная картина открылась перед глазами, особенно ночью, когда взошла луна. Корвет шел между островами, освещенными серебристым светом. Кругом стояла тишина. Штиль был мертвый. Мириады звезд смотрели сверху, и между ними особенно хорошо было созвездие Южного Креста, лившее свой нежный свет с какой-то чарующей прелестью. Вода сверкала по бокам и сзади корвета брильянтовыми лентами.

На утро Ашанин увидел нечто сказочное

по своей красоте. Корвет шел точно среди сада, между бесчисленных кудрявых островов и островков, сверкавших под лучами ослепительного солнца своей яркой густой зеленью тропических лесов... Точно громадные зеленые купы были разбросаны среди изумрудной воды, которая нежно лизала их... Эти плавающие сады, манящие своей листвой, среди которых шел «Коршун», казались какой-то волшебной декорацией, и Ашанину, впервые увидавшему могучую роскошь тропической природы, казалось, будто он во сне, и не верилось, что все это он видит...

Направо забелел маленький городок на Яве. Это Анжер. Корвет проходил близко, и Ашанин увидал громадные баобабы, стоявшие у самого берега и покрывающие своей могучей листвой огромное пространство; под каждым деревом-великаном могло бы укрыться от солнца несколько сотен людей...

— Самый тихий ход! — раздался голос вахтенного офицера.

С берега несло к корвету несколько малайских лодок с провизией и фруктами, и капитан разрешил замедлить ход.

Первые две лодки приблизились, и им бросили концы... Корвет еле подвигался.

Содержатель кают-компаний, тот самый красивый блондин, который ушел в плавание, оставив на родине молодую жену, спустился по трапу к малайским лодкам и, держась за фалреп, стал смотреть, что такое привезли. Он торговался, желая купить подешевле кур и ананасы.

Увлеченный торгом и объясняясь с малайцами на всех диалектах, которых они не понимали, он вдруг выпустил из своих рук фалреп и очутился в воде. Немедленно остановили ход, бросили спасательные круги и стали спускать катер. Малайские шлюпки спешили к упавшему.

Он совершенно спокойно плыл с кругом в руках, улыбающийся и веселый в своем белом кителе, высоко подняв свою белокурую красивую голову. Но у всех стоявших на мостике лица были полны ужаса. Еще десять минут тому назад за кормой видели несколько громадных акул, плывших за корветом. Что если они где-нибудь близко?..

Прошло несколько минут, пока не подо-

спела малайская шлюпка и не вытащила лейтенанта благополучно из воды.

Он уже больше не торговался и купил у малайцев несколько десятков кур и ананасов, давши вытащившему его человеку еще фунт в придачу, и, весь отряхиваясь, пошел переодеваться. По счастью, он не думал об акулах, когда был в воде.

После долгого сиденья на консервах жареные куры за обедом показались всем необыкновенным лакомством, а чудные сочные ананасы — превосходным десертом.

Целый день корвет продолжал идти между островов. Наконец он повернул в залив и в сумерки бросил якорь на батавском рейде, верстах в пяти от города.

Как только что якорь грохнул в воду, все радостно поздравили друг друга с приходом на рейд после шестидесятидневного плавания. Совершенно позабыв об акулах и кайманах, некоторые из молодежи тотчас же стали купаться, и только на другое утро, когда из Батавии приехали разные поставщики, объяснившие, что рейд кишит акулами и кайманами, молодые моряки поняли, какой они под-

вергались опасности, и уж более не повторяли своих попыток.

В тот же вечер многие отправились на берег, Ашанин, оставшийся на вахте целые сутки, собирался уехать на другой день и пробыть в Батавии неделю.

За ужином было свежее мясо, к чаю сливки и множество фруктов, и моряки вознаградили себя после консервов...

А старший офицер, Андрей Николаевич, озабоченный постановкой новой грот-мачты, долго беседовал с боцманом насчет ее вооружения и уже просил ревизора завтра же прислать из Батавии хорошее крепкое дерево и присмотреть шлюпки. На берег он не собирался, пока «Коршун» не будет совсем готов и снова не сделается прежним красавцем, готовым выдержать с честью новый ураган.

Глава десятая

Батавия

I

— Ну, едемте, Ашанин, — проговорил доктор на следующий день. — Уж я оставил малайскую лодку. К чему беспокоить даром людей и брать с корвета шлюпку! — при-

бавил милейший доктор, обычный спутник Ашанина при съездах на берег, так как оба они любили осматривать посещаемые ими места основательно, а не знакомиться с ними только по ресторанам да разным увеселительным местам, как познакомились многие (если не большинство) из их товарищей.

У каждого было по небольшому чемоданчику. Одеты они были во все белое. На головах были соломенные шляпы.

В пятом часу они сели в небольшую узконосую малайскую шлюпку. Шоколадный полуголый малаец, красиво сложенный, с шапкой черных, как смоль, жестких курчавых волос, поставил парус, Ашанин сел на руль, и шлюпка ходко пошла с попутным ветром к Батавии, которая издали, если смотреть в бинокль, казалась непривлекательным серым пятном на низменном, сливающимся с водой берегу. Большой рейд был мало оживлен, и судов на нем стояло немного: не особенно красивый парусный военный голландский фрегат под контр-адмиральским флагом, три паровые канонерские лодки да с десятков купеческих судов — вот и все.

Малайская шлюпка быстро неслась под одним своим парусом, слегка накренившись. Город уже виднелся своими низкими постройками среди куп зелени. Вода становилась желтей и мутней. Длинные песчаные отмели тянулись от берега.

Доктор перекидывался словами с Ашаниным. Желая попробовать температуру воды, он опустил руку за борт, как вдруг малаец, сидевший у мачты, что-то заговорил на своем гортанном языке и, показывая на руку, серьезно и внушительно покачал головой.

— Он вам советует убрать руку, доктор.

Действительно, малаец, видимо, успокоился, когда доктор последовал его совету и, конечно, хорошо сделал, потому что в тот же вечер слышал рассказ о том, как один неосторожный капитан купеческого корабля на днях лишился кисти руки, схваченной и отгрызенной кайманом. Этими отвратительными хищниками полна вода, особенно у берегов, и днем они отдыхают на отмелях.

И доктор и Ашанин обратили невольное внимание на малайца. Он вдруг как-то молитвенно сложил свои руки у груди, устре-

мив почтительный взгляд на воду. Наши путешественники взглянули в ту сторону и совсем близко увидели на поверхности воды большую голову каймана со светящимися глазами, плывшего не спеша к берегу... Через минуту он нырнул и выплыл уже значительно впереди. Чем ближе приближалась шлюпка к городу, тем чаще встречались эти гады.

Тем удивительнее показалось двум туристам, когда они, приблизившись к берегу, увидели темнокожих туземцев, свободно разгуливающих в воде моря и каналов, прорезывающих город по всем направлениям.

Женщины полоскали белье; голые ребятишки весело играли около.

— Как они не боятся? — изумлялся Ашанин.

После уже ему объяснили, что кайманы относительно редко трогают людей темной кожи, предпочитая мясо белых, и этим объясняется то некоторое суеверно-почтительное и благодарное отношение туземцев Явы к хищным чудовищам. Малайцы почти уверены, что их пожирают сравнительно мало, благодаря особому благоволению гг. кайманов.

А между тем дело, по объяснению голландцев, разъясняется проще. По их словам, кайманы в воде плохо различают предметы темного цвета, и, таким образом, черных жертв их алчности является менее, чем бы следовало ввиду неосторожности суеверных туземцев.

Шлюпка свернула в широкий канал с грязной и мутной водой — один из рассадников смертоносных разных болезней в этой низкой болотистой почве — и пристала к пристани, около которой возвышается внушительное здание таможни.

Небольшие ручные чемоданы были пропущены без осмотра, и стая шоколадных людей, голых до чресл, с яркими цветными поясами и в зеленых тюрбанах на головах, бросилась на чемоданы, чтобы отнести к коляске, которая была запряжена парой маленьких лошадок и на козлах которой с ленивой важностью восседал старый коричневый метис, в шляпе в виде гриба, покрытой золоченой желтой краской, в полосатой кобайо (нечто вроде кофточки) и соронго (кусок материи, обмотанный вокруг бедер). Этот костюм —

обычный костюм и мужчин и женщин.

Возница то и дело отплевывался, жуя, по общей туземной привычке, бетель, вследствие чего рот его с толстыми губами и выкрашенными черными зубами казался окровавленным. Если прибавить к этому приплюснутый нос, плоское, скуластое, почти безрастительности лицо и темные апатичные глаза, то в общем получится наружность весьма непривлекательная.

Благодаря тому что зной спадал, у пристани былолюдно и оживленно. Малайцы, метисы и китайцы в кофточках и легких шароварах толпились здесь, продавая зелень и фрукты матросам с купеческих судов. Китайцы разгуливали с большими коробами, полными всевозможных товаров, которые они носили на коромыслах, перекинутых через плечи. Это — разносчики-коробейники, которых здесь множество, и все они — китайцы, у которых в руках вся мелкая уличная торговля. Малаец слишком ленив, неподвижен и горд, чтобы заниматься торговлей, и предпочитает по возможности менее работать, довольствуясь самым малым. Тут же бродили и женщины-

ны с распущенными волосами и со специфическим запахом кокосового масла, которым они умащивают и свою шевелюру, и свое тело.

Неподалеку от пристани ютится ряд нескольких красивых зданий: это конторы, банки и разные правительственные здания, помещающиеся в нижнем городе, где сосредоточена вся торговая деятельность и в котором живут исключительно туземцы. Европейцы только являются сюда в свои оффисы, то есть конторы, канцелярии и пр., но не живут в этом некрасивом вонючем рассаднике всяких болезней.

Нижний город непривлекателен, и наши путешественники были разочарованы, проезжая по улицам среди маленьких невзрачных малайских домишек, лепившихся один около другого. Зелени мало, если не считать деревьев по бокам улиц.

— Так вот она — хваленая Батавия! — воскликнул Ашанин.

— Не торопись, Ашанин, — возразил доктор. — Мы ведь в туземном квартале... Европейский город — дальше.

Коляска поднимается все выше и выше в гору несколькими отлогими подъемами и въезжает в какой-то волшебный сплошной громадный сад, среди которого широкие аллеи вымощены отличным шоссе, покрытым песком. Роскошь могучей тропической растительности этого парка развернулась во всем своем блеске перед глазами очарованного Володи видом высоких стройных разнообразных пальм с густыми зелеными кронами, с громадными кокосами наверху, или ветвистых с сочной листвой и невиданными плодами. Он глядел, не зная, чем восхищаться, и на банианы с их бесчисленными ветвями, склоняющимися к земле, и на раскидистые тамаринды, и на приземистые бананы с их яркой листвой, и на гиганты-кактусы... Повсюду прелесть, повсюду сочная, пышная зелень, среди которой сверкают ярко-пунцовые цветы алоэ и кактусов.

После жары и духоты внизу — здесь, в этих аллеях, по которым бесшумно катилась коляска, было нежарко. Солнце близилось к закату, и лучи его не так палили. Чистый воздух напоен был ароматом. Высокое небо цве-

та голубой лазури глядело сверху, безоблачное, прелестное и нежное.

— Какая прелесть! — невольно воскликнул Володя, подавленный восторгом. — Но где же город? Куда мы заехали?.. Послушайте, — обратился он к вознице по-английски, — скоро город?

Метис понял вопрос и ломаным языком отвечал:

— Мы в верхнем городе.

Действительно, наши путешественники были в европейской Батавии, которая составляет такой резкий контраст с нижним городом и поражает своей красотой.

Сквозь густую листву деревьев, и справа, и слева, кокетливо выглядывали небольшие одноэтажные белые, точно мраморные, дома или, вернее, дворцы-виллы, с большими верандами, уставленными цветами. Боковые аллеи вели к ним.

В этих-то роскошных домах европейского города и живут хозяева острова голландцы и вообще все пребывающие здесь европейцы, среди роскошного парка, зелень которого умеряет зной, в высокой, здоровой местности,

окруженные всевозможным комфортом, при-
норовленным к экваториальному климату,
массой туземцев-слуг, баснословно дешевых,
напоминая своим несколько распущенным
образом жизни и обстановкой плантаторов
Южной Америки и, пожалуй, богатых бар
крепостного времени, с той только разницей,
что обращение их с малайцами, несмотря на
презрительную высокомерность европейца к
темной расе, несравненно гуманнее, и сцены
жестокости, подобные тем, какие бывали в
рабовладельческих штатах или в русских по-
мещичьих усадьбах былого времени, здесь
немыслимы: во-первых, малайцы свободный
народ, а во-вторых, в них развито чувство соб-
ственного достоинства, которое не перенесет
позорных наказаний.

Климатические особенности создали и осо-
бые условия жизни, не совсем похожие на ев-
ропейские.

Белые работают здесь рано утром. Вставши
до рассвета, взявши ванну и напившись кофе,
они уезжают в колясках, кабриолетах или
двухколесных индийских каретках, в кото-
рых сиденье устроено спиной к кучеру, в

нижнюю часть города — в свои банки, конторы и присутственные места, и работают там до десяти часов утра, когда возвращаются домой и, позавтракав, ложатся спать. В такую нестерпимую жару европейцы положительно не в состоянии работать, предоставляя это только привычным туземцам. Занятия в офисах возобновляются после заката солнца, но, кажется, исключительно только для младших служащих.

Повернув в одну из аллей, прорезывающих парк по всем направлениям, коляска остановилась у красивых ворот одной из лучших гостиниц «Hotel des Indes»[80].

Тотчас же выбежали малайцы-слуги, одетые в белые кобайо и пестрые соронго, опускающиеся красивыми складками от бедер до ступней ног, обутых в плетеные туфли, с тюрбанами на головах, и, взяв багаж, провели приехавших в ворота гостиницы, представляющей собой обширное здание в один этаж, расположенное в виде буквы «П». Средний фасад, как раз против ворот, с большим балконом, уставленным цветами, занят был огромной столовой, бильярдной, читальней,

курительной комнатой и конторой гостиницы, а соединенные с ним два больших крыла здания представляли собой ряд номеров, выходявших на крытую веранду. У каждого номера стоял бамбуковый *longue chaise* (длинное кресло-качалка) и столик, и многие жильцы в самых легких костюмах, с туфлями на босые ноги (местными «бабушами», мягкими, плетеными из какой-то травы), полулежали в ленивом *far niente*.

Посредине большого двора, вымощенного гладким широким белым камнем, возвышалось куполообразное здание с ваннами и душами, и наши русские были очень удивлены, увидавши дам-европеек, которые выходили из своих номеров, направляясь в ванны, в легких кобайо, широких шароварах и в бабушах на босую ногу. Оказалось, что это обычный костюм во все часы дня, кроме обеда, к которому мужчины являются в черных сюртуках, а то и во фраках, а дамы — в роскошных туалетах и брильянтах.

Нашим путешественникам отвели две комнаты рядом. Володя с удовольствием моряка, пробывшего долгое время в море, уви-

дал большую, полутемную, чисто выбеленную комнату, с двумя окнами, выходящими в сад, удобную, комфортабельно убранную, с большой кроватью под пологом (мустикеркой) для защиты от moskitов. Плетеная циновка во всю комнату сияла своей чистой желтизной.

Пока Володя умывался, в комнату к нему с шумом ворвались несколько гардемарин и наперерыв рассказывали, какая прелесть в Батавии и как хорошо кормят в гостинице.

— Сейчас прозвонят к обеду. Смотрите, Ашанин, надевайте черный сюртук, а то вчера, когда мы явились в пиджаках, все голландцы пялили на нас глаза... Зато утром и днем можете ходить в чем угодно... Завтра купите себе подходящий костюм... Китайцы принесут... а то, в самом деле, в сукне невозможно...

Компания русских моряков с «Коршуна» уселась рядом за огромным, роскошно убраным, сверкавшим хрусталем столом, на котором стояли громадные вазы с вычищенными ананасами, мангустанами и другими плодами... Лампы и канделябры со свечами ярко

освещали столовую. За столом сидело много разодетых дам и мужчин в черных сюртуках. Все молча и чинно ели многочисленные блюда, запивая вином и пивом. За каждым стулом стоял слуга-малаец, готовый по первому знаку подать вино или замороженную воду. Несмотря на отворенные двери, было невыносимо жарко, и слуги-малайцы опахивали сидящих большими веерами с какой-то молчаливой и сосредоточенной важностью.

Наконец долгий и длинный обед кончен, и все вышли на балкон пить кофе и ликеры.

Небо зажглось мириадами звезд. В темноте быстро опустившейся ночи шумно влетали на балкон летучие мыши и по стенам шуршали отвратительные, похожие видом на маленьких крокодильчиков ящерицы, вполне, впрочем, безопасные.

Моряки спросили замороженного шампанского и шумно говорили за отдельным столом, обращая на себя внимание чопорных голландцев. Скоро голландцы разошлись и моряки остались одни.

— Едем, господа, кататься, — предложил кто-то.

Несколько человек приняло предложение. Остальные собирались в офицерский клуб, куда все моряки получили любезное приглашение быть почетными гостями на все время стоянки «Коршуна» в Батавии.

Доктор и Ашанин решили прокатиться и сели в одну из колясок, стоявших у ворот гостиницы. Экипаж быстро поехал по аллеям, освещенным газовыми фонарями.

Среди темной листвы то и дело показывались мраморные домики, залитые огнями. Катающихся было множество. Встречались и кавалькады. Мужчины в экипажах и верхами были без шляп — так здесь принято по вечерам. Экипажи были элегантные, с роскошной упряжью и красивыми лошадьми. Почти у каждого экипажа было заднее сиденье, в котором полулежал малаец-слуга с тоненькой, тлеющей огоньком палочкой в руках из местного сухого дерева. На обязанности этого человека лежало подавать эту палочку, когда господин в коляске махнет рукой, желая закурить сигару или папиросу.

Часто попадались и торгоши-китайцы с коробами на плечах и с большими бумажными

фонарями, укрепленными на высокой бамбуковой палке. Они шли не спеша, тихо позванивая в колокольчики, давая знать о себе и предупреждая о своих мирных намерениях. На перекрестках стояли освещенные палатки из зелени с фруктами и прохладительным питьем, и шоколадные продавцы-малайцы дремали у своих лавчонок.

Где-то раздавалась музыка, но скоро прекратилась... Возница объяснил, что это играл военный хор музыкантов на одной из площадок парка.

Ночь была теплая, благоухающая, прелестная.

— Хорошо, — протянул задумчиво Володя.

— Хорошо, — согласился и доктор.

— Но только для очень немногих... Здесь, на этом благодатном острове, людское неравенство как-то особенно бьет в глаза... Не правда ли, доктор? Для одних, каких-нибудь тысячи-другой голландцев все блага жизни... они живут здесь, как какие-нибудь цари, а миллионы туземцев...

— Обычное явление...

— Что не мешает ему быть неприятным...

Когда-нибудь да это изменится... Не так ли, Федор Васильевич? Этот контраст между тем, что там, в нижнем городе, и здесь, наверху, слишком уж резок и должен сгладиться... Иначе к чему же цивилизация? Неужели только затем, чтобы горсть людей теснила миллионы незащитных по своему невежеству?.. Ведь это несправедливо...

Володя замолчал, задумался и вспомнил почему-то далекую родину под этим брильянтовым небом, среди этой волшебной, точно сказочной, обстановки.

— Я бы здесь все-таки не хотел жить, как здесь ни хорошо! — вдруг проговорил он.

— Отчего?..

— Слишком уж здесь, как бы выразиться... слишком напоминает что-то древнеазиатское — с безумной роскошью одних и с нищетой и рабством целых народов... Да и невольно обленишься в таком климате!.. — рассмеялся Володя.

— Обленишься и примешь все привычки белых?

— То-то и есть...

Володя достал из кармана папироску, и в

ту же минуту у него под носом очутился тлеющий деревянный фитиль.

— И у нас сзади человек с палочкой? — удивился Володя, закуривая папироску.

— И у нас... Таковы здесь, видно, обычаи...

— Совсем барские... Небось, голландцы у себя дома совсем другие и сами закуривают свои сигары...

Аллеи начинали пустеть. Все разъезжались по домам. Скоро и доктор с философствующим юнцом, купив по дороге несколько мангустанов и полакомившись освежающими нежными белыми плодами, вернулись в одиннадцать часов в гостиницу.

Сговорившись насчет завтрашнего дня, они распростились и разошлись по своим комнатам, предвкушая удовольствие хорошо выспаться на берегу, на мягкой неподвижной постели.

Едва Володя вошел в комнату, как в дверь бесшумно вошел слуга-малаец и предложил свои услуги, чтобы раздеть молодого господина, объясняясь более знаками, чем словами. Но Володя, к удивлению малайца, отказался от услуг.

Тогда малаец открыл полог и стал размахивать его полами, изгоняя moskitov. Затем он тщательно подвернул концы полога под тюфяк и собирался уйти, как Володя показал ему рукой на шуршавших по потолку маленьких ящерок.

Малаец ласково улыбнулся своими большими черными глазами и успокоительно замахал головой в тюрбане.

— Не укусят?.. — все-таки спросил Володя поочередно на двух языках.

И так как малаец ничего не понимал, то Ашанин прибегнул к пантомиме, указав пальцем на шуршащих ящерок и затем укусив себя за руку.

Малаец понял, отрицательно замахал головой и добродушно засмеялся. Затем, указав рукой на звонок, слегка наклонил голову и вышел.

Володя подошел к растворенному окну, прикрытому плотной кисейной рамкой, взглянул на залитую серебристым лунным светом листву и простоял так несколько минут в каком-то раздумье. Тысячи мыслей и воспоминаний пронеслись в его голове, сли-

ваясь с представлением о роскошной природе.

Наконец он торопливо разделся, задул свечку, быстро юркнул в кровать, осторожно раздвинув полог, тщательно затянул отверстие, чтобы не проникли москиты, и сладко потянулся на широкой мягкой постели с безукоризненно чистым бельем, ощущая давно не испытанное наслаждение спать на берегу в такой роскошной кровати, не думая о вахте. После долгих дней плавания с постоянной качкой Володе даже казалось странным, что кровать стоит себе неподвижно, ничто вокруг не вертится перед глазами, не скрипит, и можно растянуться как угодно. Не надо опираться ногами в переборку, чтобы не слететь, и как удобно поворачиваться с бока на бок без опаски.

— Эка, как хорошо, в самом деле! — невольно прошептал Ашанин, сбрасывая с себя легкое одеяло и оставаясь под одной простыней.

Мягкий таинственный полусвет, лившийся из окон, наполнял комнату. Серебристый узкий снопик лунного света захватил часть

стены и уперся в углу. Кругом царила мертвая тишина. Только маленькие ящерики тихо шуршали, разгуливая по потолку.

В усталом мозгу Володи бродили неясные, бессвязные мысли. И Петербург, и ураган, и катание в парке, и крокодил — все как-то перепуталось. Ему хотелось вспомнить маленькую квартиру на Офицерской: как-то там поживают?.. Здоровы ли все? — но голова его не слушала, глаза точно сквозь дымку смотрели через полог, и Володя через минуту уже спал крепким сном.

II

Снопы яркого света заливали комнату, когда Володя проснулся. Было нестерпимо жарко, а между тем часы показывали только семь.

Ашанин торопливо выпрыгнул из кровати, поспешил опустить жалюзи и запереть ставни и стал одеваться, изнемогая от зноя. Белье словно прилипало к телу; летняя пара из тонкого трико казалась тяжелой шубой.

Скорее в ванну!

Володя захватил с собой мохнатое полотенце и вышел на веранду. Она уже была пол-

на жильцами. Каждый сидел в своем лонгшезе у столика, и все счастливцы! — были в самых легких тропических костюмах: мужчины — в блузах и широких шароварах из тонкой ткани, надетой прямо на тело, и в бабушах на босую ногу, а дамы — в просторных кобайо и соронго. Почти все давно уже отпили свой кофе или какао и полулежали в лонгшезах с газетами и книгами в руках или дремали.

Заспавшиеся дамы проходили по двору с распущенными волосами, направляясь в купальню. Отправился туда и Володя.

Прохладная вода в большой мраморной ванне и затем душ освежили Володю, но ненадолго. Довольно было одеться и пройти несколько шагов до веранды, чтобы облиться потом. Солнце, палящее солнце, повисшее каким-то огненным шаром с безоблачного, голубого неба, так и накаливало. Чувствовалась какая-то истома... Хотелось освободиться от одежды...

А длинноносый торгаш-китаец, с желтым оплывшим лицом и узкими глазами, в белой кофте и широких штанах, уже стоял у комна-

ты Володи и разложил свой товар, и чего-чего только не предлагал он на ломаном английском языке, выкладывая ящик за ящиком.

— Люсиан... люсиан! (русский... русский!) — говорил он, обращаясь к Володе и откуда-то узнавши о национальности Ашанина. — Гуд... люсиан.

Он улыбался и все вынимал, все вынимал...

Чего только у него не было: и разные китайские вещи из черепахи и слоновой кости — шахматы, ящики, портсигары, брошки, браслеты, и материи, и бумага, и конверты, и веера, и трости, и разные поделки из кокосовых орехов, и драгоценные камни — рубины и алмазы с Борнео, и пуговицы, и спички, и готовое платье, и шляпы из бамбука.

Окинув своими маленькими, казалось, совсем бесстрастными, глазами Володин костюм, китаец первым делом достал широкую блузу из тонкой светло-желтой ткани и такие же шаровары и стал вертеть ими под носом у Володи.

Володя тотчас же решил купить этот местный костюм из волокон ананасных стеблей

и после долгого торга купил его втридорога вместе с легкими туфлями-бабушами. Он немедленно переоделся, согласно местным обычаям, надел на босые ноги плетеные туфли и сразу почувствовал себя как-то бодрее и приятнее: жара не так изнуряла его.

А китаец не уходил, терпеливо поджидая на корточках возвращения Володи из номера, и когда тот вернулся и, растянувшись в лонгшезе, потребовал себе кофе у одного из бесчисленных слуг-малайцев, ходивших по веранде, китаец молча вынимал и подносил Володе разные вещицы и в конце концов соблазнил-таки его. Володя купил несколько вещей для матери и сестры и между прочим малайский «крис» — большой, совсем кривой, кинжал, весь точно изъеденный на своей поверхности: на ней были мельчайшие дырочки и впадинки. По словам соседа, обитателя номера рядом, молодого голландца, который любезно помог Володе не быть вконец одуроченным китайцем-торгашом, рана, нанесенная таким кинжалом, очень опасна, так как во впадинах, которыми усеяна поверхность его, находится ядовитое вещество. С такими

кинжалами малайцы охотятся на тигров.

Наконец, показался и доктор. И он задышался от жары и приобрел себе такой же костюм и тоже не удержался и от других покупок.

В десять часов колокол прозвонил к завтраку. Наши путешественники не решились идти в столовую в дезабилье и переоделись. И хорошо сделали, так как все мужчины явились в пиджаках и кургузых вестонах из чеченчи или ананасовых волокон и в крахмальных рубашках. Девицы, по местному этикету, тоже были в европейских платьях и затянуты в корсеты, и только дамы явились в своих легких одеждах.

Завтрак начался с так называемой «рисовой» закуски — это нечто вроде винегрета из разной снеди, стоявшей на тарелках на столе: мяса, рыбы, дичи, яиц, пикулей, анчоусов и т. д. Каждый накладывал себе на тарелку всего понемногу, прибавлял к этому рису и, смешав все вместе, поливал обильно перечным керри (соусом) и ел ложкой.

Володя последовал примеру голландцев и нашел, что блюдо это очень вкусное. За «рисо-

вой закуской» подавалось множество блюд, за ними фрукты, и затем все торопливо разошлись, чтобы снова облачиться в райские одежды и «делать сиесту», то есть спать в постелях или лонгшезах. В эти часы гостиница представляла собой сонное царство.

Действительно, жара была такая, что малейшее движение утомляло... Физическая слабость чувствовалась в членах; во рту пересыхало; накаленный воздух ослеплял глаза. Хотелось «забыться и уснуть».

Нечего было и думать о какой-нибудь поездке для осмотра достопримечательностей Батавии. Доктор и Володя решили сделать это завтра, поднявшись до рассвета, а пока предаться *far nienty*, попивая замороженную воду с сиропом.

Перед обедом снова ванна, потом прогулка в экипаже на музыку, игравшую на одной из площадок парка, и затем обед с разряженными дамами, затянутыми в корсеты, в платьях декольте...

III

В эти несколько дней, что Володя провел в Батавии, им было осмотрено с доктором все,

что стоило осмотреть.

Они были в музее, где собрано все достопримечательное с островов Зондского архипелага в историческом, бытовом и культурном отношении: тут и оружия в богатой оправе, и одежда древних царей, и разные древности, и материи, и земледельческие орудия, и модели жилищ и старинных храмов, словом, целая наглядная энциклопедия, дающая понятие о прошлом и настоящем Борнео, Суматры и Явы.

Ездили наши путешественники и в Бютензорг — роскошную резиденцию генерал-губернатора, чтобы побывать в знаменитом ботаническом саду, считающемся по богатству в нем экземпляров тропических растений и по группировке их первым в мире. Это что-то волшебное этот гигантский сад со всевозможными видами могучей растительности, с гигантскими баобабами, пальмами, тамариндами, с хинными и кофейными плантациями, с бесчисленными цветниками, с чудными коллекциями орхидей и *Victoria regia*, которые тут растут в воде во множестве. Глаз просто утомлялся от разнообразия красоты, от этой

роскоши листвы и цветов, от этой высоты деревьев, от их громадных стволов, и Володя, обращаясь за разъяснениями к доктору, только жалел, что сам ничего не смыслит в ботанике.

На возвратном пути в Батавию они заехали в одну малайскую деревню, спрятавшуюся в ограде кактусов, бананника и манговых деревьев. Рисовые мокрые поля с маленькой светлой зеленью тянулись на большое пространство за оградой. Построенные из бамбука и скрепленные известью хижины имели далеко не привлекательный вид. В маленьком домике, куда ввел наших путешественников возница, было довольно опрятно. Почти голые хозяева встретили гостей любезно и принесли плодов.

Из этих мимолетных наблюдений, конечно, нельзя было вывести каких-либо заключений, но Володя еще раньше из книг узнал, что малайцы, особенно сельские жители, народ тихий, смирный, вежливый и трудолюбивый, возделывающий свою землю, имея при себе верного помощника — буйвола. Главная пища малайца — рис с зеленью и копченой

рыбой, которую он ловит в реках. Мяса он почти не ест и только в редких, исключительных случаях позволяет себе полакомиться «буйволятиной». Короткий визит подтвердил наблюдения знающих людей и заставил Володю всю остальную дорогу философствовать на тему о бессовестной эксплуатации горсточкой людей двадцатимиллионного населения...

Пора, однако, и на корвет. Пять дней отпуска кончились, и на следующее раннее утро, после возвращения из Бютензорга, доктор и Ашанин, заплатив изрядную сумму по счету в гостинице, уехали из Батавии. Они побродили по нижнему городу, побывали в китайских лавках и, наконец, подъехали к пристани. Лодочники-малайцы наперерыв предлагали свои услуги.

Ходкая лодка под парусом часа через полтора доставила их на «Коршун».

На корвете во время отсутствия Володи были почти окончены все работы по исправлению повреждений, сделанных свирепым ураганом. Проломленные борты заменены новыми; купленный в Батавии катер, выкрашен-

ный в белую краску, с голубой каемкой, висел на боканцах взамен смытого волной; новая грот-мачта, почти «вооруженная», то есть с вантами, снастями, стеньгами, марсом и реями, стояла на своем месте. «Коршун» снова имел свой прежний внушительный и красивый вид, и старший офицер, хлопотавший все эти дни на корвете, любовным взором своих маленьких черных глазок ласкал почти готовую грот-мачту, с довольным видом пощипывая свои длинные, густые черные бакенбарды... Еще день-другой, и все будет окончено. Можно и ему будет съездить на берег и отдохнуть. И то давно пора!

Наконец, все готово. Уголь нагружен малайскими рабочими, которым, казалось, было нипочем таскать на палящем зное корзины, полные угля, с большой шаланды (барка), стоящей у борта корвета, на палубу и укладывать его в угольные ящики.

— Небось, привык к пеклу-то! — дивились матросы.

Пополнены были запасы провизии, и водяные цистерны налиты водой, и масса разных фруктов — ананасов, бананов и мангуста-

нов — лежит наверху в корзинах... Скоро «Коршун» уйдет из Батавии.

Матросы еще не съезжали на берег. Только «шлюпочные» (гребцы на шлюпках), отвозившие офицеров, да баталер и буфетчик, ездившие за провизией, рассказывали товарищам и о красоте малаек, и о крепости арака в многочисленных кабачках у пристани, и о дешевой визне фруктов. Впрочем, фрукты уже матросы пробовали, покупая их у приезжавших торговцев. Сперва ананасы не понравились, когда матросики принялись было их есть с кожей, нечищеными, и покололи губы; однако вскоре, когда недоразумения были отстранены, то есть кожа снята, они вошли во вкус и лакомились вволю чудными сочными и крупными батавскими ананасами, которые продавались очень дешево.

И вот в одно утро боцман Федотов, получив приказание с вахты, просвистал в дудку и весело гаркнул в люк жилой палубы:

— Первая вахта на берег! Живо собирайся, ребята!

И вслед затем сам спустился вниз и побегал в свою каютку принарядиться для съезда

на берег.

Веселые и довольные матросы первой вахты мылись, брились и стригли друг друга, доставали из своих сундучков завернутый в тряпичку доллар-другой, вынимали новое платье и переодевались в чистые белые матросские рубахи с откидными воротниками, открывающими загорелые, бронзовые шеи, в белые штаны, опоясывая их ременными поясами, с которых на ремешках висели матросские ножи, запрятанные в карманы, и обували новые сапоги, сшитые из отпущенного им русского товара. Некоторые — люди хозяйственные, не пропивавшие жалованья и «заслуги»[81] на берегу, — надевали собственные щегольские рубахи с передом из голландского полотна, купленные в Копенгагене и Бресте, и, несмотря на жару, повязывали шею шелковыми, тоже собственными, платками, пропуская концы их в медные или бронзовые кольца.

В палубе шел веселый говор, раздавался смех... Соглашались, кто с кем будет на берегу гулять, кто пойдет сперва в лавки, а кто прямо пробовать, какой на «скус» арак.

— Вали, ребята, наверх... Становись во фронт...

Все выходили на палубу и становились во фронт расфранченные, с веселыми лицами. Еще бы! Почти два месяца не видали берега! Всем хочется погулять, посмотреть на зелень, повидать чужой город и... выпить вволю.

Особенно щеголяли своим франтовством так называемые на военных судах «чиновники». Этой, несколько презрительной в глазах матросов, кличкой зовут всех нестроевых нижних чинов, исполняющих обязанности, не относящиеся непосредственно к тяжелому матросскому делу, а именно: фельдшера, артиллерийского унтер-офицера, подшкипера, баталера и писаря. Эти «чиновники» составляют, так сказать, «аристократию» бака, держатся особняком, гнушаясь водить компанию с матросами. В свою очередь и матросы относятся к ним не особенно дружелюбно, считая их лодырями, которым только и дела, что спать да «жрать», отрачивая брюхо.

Не лишен был некоторого великолепия и боцман Федотов. Он вышел наверх тщательно вымытый, подстриженный и несколько

торжественный в своей собственной рубаше с голландским передом, повязанной у шеи черным шелковым платком, в необыкновенно скрипучих сапогах и в новой фуражке, надетой на затылок. В своей жилистой руке, пропитанной настолько смолой, что никакое на свете мыло не могло смыть этой черноты, боцман держал развернутый клетчатый носовой платок, впрочем более для вида (нельзя же: боцман), так Захарыч никогда им не пользовался и сморкался, несмотря на платок, при помощи двух своих корявых пальцев.

Захарыч предвкушал удовольствие «треснуть» на берегу, но удовольствие это несколько омрачалось боязнью напиться, как он выражался «вовсю», то есть до полного бесчувствия (как он напивался, бывало, в прежнее время), так как командир «Коршуна» терпеть не мог, когда матросы возвращались с берега в виде мертвых тел, которые надо было поднимать на веревке со шлюпки. И старший офицер, покровительствующий Захарычу, как лихому и знающему боцману, не раз предупреждал его, чтобы он не «осрамился» перед капитаном, и Захарыч выдерживал ха-

рактер. Хотя он обыкновенно и возвращался с берега сильно пьяный, иногда и с подбитым глазом после драки с кем-нибудь из иностранных матросов (Захарыч был во хмелю задорен и необыкновенно щекотлив в охране национального достоинства) и обязательно без носового платка, тем не менее всегда на своих ногах и даже способный отпартовать: «Честь имею явиться!»

— Первая вахта во фронт!

Отправляющиеся на берег матросы выстроились. Вышел капитан и, ставши перед фронтом, произнес маленькое напутствие. Он объяснил, как вредно в жарком климате напиваться без меры и как легко от этого серьезно заболеть и даже умереть, и просил матросов быть воздержаннее.

— Смотрите же, ребята, помните, о чем я вас прошу!

— Будем помнить, вашескобродие! — отвечали матросы.

— Дайте мне слово, что вы будете смотреть друг за другом и что никто из вас не вернется на корвет в свинском бесчувственном виде. Это недостойно порядочного матроса. Обеща-

ете своему командиру?

— Обещаем, вашескобродие.

— Я вам верю, братцы. Ну, с богом, отправляйтесь погулять! Андрей Николаевич, прикажите сажать людей на баркас, — обратился капитан к старшему офицеру.

Скоро баркас и катер, полные матросов, отвалили от борта. С командой отправились офицер и гардемарин.

К вечеру шлюпки вернулись с берега с гулявшими матросиками. Многие были сильно выпивши и почти все навеселе, но ни одного не пришлось поднимать на горденеке.

— Соблюли себя, значит, как следует, милый баринок, — говорил значительно подвыпивший Михаила Бастрюков, обращаясь к Ашанину. — Нельзя, «голубь» просил... Небось, помнил всякий и пил с рассудком... Даже и Захарыч может лыко вязать... То-то оно и есть, Владимир Миколаич, добрым словом всего достигнешь... А ежели, примерно сказать, страхом... все бы перепились, как последние свиньи... Но только, я вам доложу, эта самая арака ничего не стоит против нашей водки...

— А город понравился?

— Непутевый город... дикий быдто какой-то... И все черномазые, барин... арапы как есть... И жалко глядеть на них...

— Отчего жалко?

— Тоже и у их беднота... по всему видно... Терпят... И везде, видно, который ежели простой народ, то терпит... Во всех царствах одно им положение! — философически прибавил Бастрюков. — Разве вот что англичане да французы быдто с форцом... Там и простой народ, а с понятием... И с большим понятием! Как вы полагаете?.. Небось не то что мы, чумазые...

На другое утро командир благодарил матросов и велел отпустить на берег вторую вахту. И ей он сказал то же напутствие и взял то же обещание. С рассветом следующего дня предположено было сняться с якоря.

Вторая вахта сплеховала. В числе гулявших матросов четверо возвратились мертвецки пьяными. Их подняли из баркаса на гордях.

— Осрамили вовсе себя, — говорил в тот же вечер на баке Бастрюков. Свиньями оказа-

лись перед «голубем». Что-то он с ними сделает?

— А прикажет всыпать, вот что сделает! — заметил кто-то.

— Ни в жисть!.. Голубь драть не станет! — уверенно возразил Бастрюков.

— Во всяком случае накажет...

— Наказать их следует, это положим, — согласился Бастрюков, — но какое он наказание придумает?.. Разве в трюм посадит...

Вопрос о том, что будет с четверья матросами, не сдержавшими обещания, сильно занимал команду. Интересовало это и офицеров, и особенно Ашанина.

В самом деле, как поступит в данном случае Василий Федорович?..

Некоторые офицеры, так называемые «дантисты», далеко не разделявшие гуманных взглядов своего командира, втайне негодовавшие, что он запретил бить матросов, и, случалось, все-таки бившие их тайком, когда капитана не было наверху, — эти господа находили, что капитану ничего не остается сделать, как приказать высечь этих четырех пьяниц для примера прочим. И они уже злорад-

ствовали, что «филантропу» — так называли в насмешку Василия Федоровича господина «дантисты» — придется впасть в противоречие со своими взглядами на телесное наказание.

Но, разумеется, этого не случилось, и капитан придумал провинившимся такую кару, которая повергла решительно всех на корвете в изумление — до того она была оригинальна и не соответствовала тем обычным наказаниям, которые в те времена практиковались во флоте.

Корвет уже был на ходу, когда после подъема флага велено было поставить команду во фронт. Когда команда выстроилась, капитан, поздоровавшись с людьми, проговорил:

— Ребята! все вы исполнили обещание, данное вами своему командиру, и только четверо из вас не сдержали слова и вернулись вчера с берега мертвецки пьяными... Выходи вперед, пьяницы!

Четверо матросов, среди которых был и марсовой Ковшиков, вышли, несколько смущенные, вперед.

— Вам так нравится водка, что вы не сдер-

жали своего слова?.. Эй, баталер!

Баталер вышел вперед.

— Вынеси сюда водку и поставь перед этими пьяницами... Пусть опять напьются, если у них совести нет!

И, обращаясь к старшему офицеру, прибавил:

— Андрей Николаевич! прикажите сделать загородку и велите посадить туда этих пьяниц!

— Слушаю-с! — отвечал старший офицер, не показывая вида, как удивляет его такое странное наказание.

— Пусть сидят там перед водкой... Пусть налижут, как свиньи, если водка им дороже чести. По крайней мере, я буду тогда знать, что они не достойны моего доверия!

С этими словами капитан ушел. Команда разошлась, недоумевающая и пораженная.

Через пять минут четыре матроса уже сидели в отгороженном пространстве на палубе, около бака, и перед ними стояла ендова водки и чарка. Матросы любопытно посматривали, что будет дальше. Некоторые выражали завистливые чувства и говорили:

— Вот-то наказание... Пей до отвалу!

— Малина, одно слово!

— Эх вы... бесстыжие люди!.. чего здря языком мелете! — промолвил Бастрюков, тоже несколько сбитый с толка придуманным наказанием. — Надобно вовсе совесть потерять, чтобы прикоснуться теперь к водке.

— Уж очень лестно, Михаила Иваныч! — смеялись матросы.

Посмеивались, и не без злорадства, и некоторые офицеры над этой выдумкой «филантропа» и полагали, что он совсем провалится с нею: все четверо матросов перепьются — вот и все. Слишком уж капитан надеется на свою психологию... Какая там к черту психология с матросами! — перепьются и будут благодарны капитану за наказание. То-то будет скандал!

Особенно злорадствовал ревизор, лейтенант Степан Васильевич Первушин, любивший-таки, как он выражался, «смазать» матросскую «рожу» и уверявший, что матрос за это несколько не обижается и, напротив, даже доволен. Злорадствовал и Захар Петрович, пожилой невзрачный артиллерийский офи-

цер, выслужившийся из кантонистов и решительно не понимавший службы без порки и без «чистки зубов»; уж он получил серьезное предостережение от капитана, что его спишут с корвета, если он будет бить матросов, и потому Захар Петрович не особенно был расположен к командиру. Он то и дело выходил на палубу, ожидая, что наказанные перепьются, и весело потирал руки и хихикал, щуря свои большие рачьи глаза.

— Ну, что, не перепились еще, Захар Петрович? — встретил его вопросом ревизор, когда артиллерист возвращался в кают-компанию.

— Нет еще... Пока, можно сказать, ошалели от неожиданного счастья... Как это ошалевание пройдет, небось натрескаются...

В кают-компании составлялись даже пари. Молодежь — мичмана утверждали, что разве один Ковшиков напьется, но что другие не дотронутся до вина, а ревизор и Захар Петрович утверждали, что все напьются.

Капитан в это время ходил по мостику.

Ашанин, стоявший штурманскую вахту и бывший тут же на мостике, у компаса, заме-

тил, что Василий Федорович несколько взволнован и беспокойно посматривает на наказанных матросов. И Ашанин, сам встревоженный, полный горячего сочувствия к своему капитану, понял, что он должен был испытать в эти минуты: а что, если в самом деле матросы перепьются, и придуманное им наказание окажется смешным?

— Господин Ашанин! Подите взглянуть, пьет ли кто-нибудь из наказанных, — сказал капитан.

— Есть! — ответил Володя и пошел на бак.

Все четверо матросов были видимо сконфужены неожиданным положением, в котором они очутились. Никто из них не дотрагивался до чарки.

Серьезное лицо капитана озарилось выражением радости и удовлетворения, когда Ашанин доложил ему о смущении наказанных.

— Я так и думал, — весело промолвил капитан. — Только на Ковшикова не надеялся, думал, что он станет пить.

И, помолчав, прибавил:

— А еще у нас во флоте до сих пор убежде-

ны, что без варварства нельзя с матросами. Вы видите, Ашанин, какое это заблуждение. Вы видите по нашей команде, как мало нужно, чтобы заслужить расположение матросов... Самая простая гуманность с людьми — и они отплатят сторицей... А это многие не в состоянии понять и обращаются с матросами жестоко, вместо того, чтобы любить и жалеть их... И знаете ли что, Ашанин? Я почти уверен, что эти четверо матросов никогда больше не вернутся с берега мертвецки пьяными... Наказание, которое я придумал, действительно всяких линьков... Им стыдно...

Нечего говорить, с каким восторженным сочувствием слушал Володя капитана.

Испытание длилось около двух часов.

К изумлению ревизора, артиллерийского офицера и нескольких матросов, расчет капитана на стыд наказанных оправдался: ни один не прикоснулся в водке; все они чувствовали какую-то неловкость и подавленность и были очень рады, когда им приказали выйти из загородки и когда убрали водку.

— Будь это с другим капитаном, я, братцы, чарок десять выдул бы, хвалился Ковшиков

потом на баке. — Небось не смотрел бы этому винцу в глаза. А главная причина — не хотел огорчать нашего голубя... Уж очень он добер до нашего брата... И ведь пришло же в голову чем пронять!.. Поди ж ты... Я, братцы, полагал, что по крайней мере в карцерь посадит на хлеб, на воду да прикажет не берег не пускать, а он что выдумал?!. Первый раз, братцы, такое наказание вижу!

— Чудное! — заметил кто-то.

— И вовсе чудное!.. Другой кто, прямо сказать, приказал бы отполировать линьками спину, как следует, по форме, а наш-то: «Невгодно ли? Жри, братец ты мой, сколько пожелаешь этой самой водки!» — проговорил с видом недоумения один пожилой матрос.

— Знает, чем совесть зазрить! — вставил наставительно старый плотник Федосей Митрич. — Бог ему внушил.

— То-то и оно-то! Добром ежели, так самого бесстыжего человека стыду выучишь! — с веселой ласковой улыбкой промолвил Бастрюков.

И, обращаясь к Ковшикову, прибавил:

— А уж ты, Ковшик, милый человек, смот-

ри, больше не срамись... Пей с рассудком, в препорцию...

— Я всегда могу с рассудком, — обидчиво ответил Ковшиков.

— Однако... вчерась... привезли тебя, голубчика, вовсе вроде быдто упокойничка.

— Главная причина, братцы, что я после этой араки связался с гличанами джин дуть... Вперебой, значит, кто кого осилит... Не хотел перед ними русского звания посрамить... Ну, и оказалось... с ног и сшибло... А если бы я одну араку или один джин пил, небось... ног бы не решился... как есть в своем виде явился бы на конверт... Я, братцы, здоров пить...

И Ковшиков, желая хвастнуть, стал врать немилосердным образом о том, как он однажды выпил полведра — и хоть бы что...

IV

— Ну, господа, две бутылки шампанского за вами. Велите буфетчику к обеду подать! — воскликнул веселый и жизнерадостный мичман Лопатин, влетая в кают-компанию. — Ваши приятные надежды на свинство матросов не оправдались, Степан Васильевич и Захар Петрович!

И ревизор и артиллерист были несколько сконфужены. Зато молодежь торжествовала и, к неудовольствию обоих дантистов, нарочно особенно сильно хвалила командира и его отношение к матросам.

А в гардемаринской каюте Ашанин сцепился с долговязым и худым, как щепка, гардемаринном Кошкиным, который — о, ужас! — находил, что капитан слишком «гуманничает», и, несмотря на общие протесты, мужественно заявил, что когда он, Кошкин, будет командиром, то... сделайте одолжение, он разных этих поблажек давать не будет... Он будет действовать по закону... Ни шага от закона... «Закон, а я его исполнитель... и ничего более». И в доказательство этого Кошкин усиленно бил себя в грудь.

В свою очередь и Ашанин не без азарта размахивал руками, доказывая, что не всегда можно применять законы, если они очень суровы, и что совесть командира должна сообразоваться с обстоятельствами.

Хотя все и обозвали Кошкина «ретроградом», которому место не в русском флоте, а где-нибудь в турецкой или персидской ар-

мии, тем не менее он ожесточенно отстаивал занятое им положение «блюстителя закона» и ничего более. Оба спорщика были похожи на расходившихся петухов. Оба уже угостили друг друга язвительными эпитетами, и спор грозил перейти в ссору, когда черный, как жук, Иволгин, с маленькими на смешливыми глазами на подвижном нервном лице, проговорил:

— Да, бросьте, Ашанин, спорить... Кошкина не переспоришь... А главное никогда ему и не придется применять суровых законов.

— Это почему? — обратился к Иволгину Кошкин.

— А потому, что тебя за твое бурбонство еще в лейтенантском чине выгонят в отставку... будь спокоен.

— Посмотрим!

— Увидишь!.. К тому времени и законы переменятся и таких ретроградов, как ты, будут выгонять со службы... Лучше, брат, теперь же переходи на службу к турецкому султану... Там тебе будет ход!.. Командуй башибузуками!

Это предложение, сделанное Иволгиным

самым серьезным тоном, было столь неожиданно-комично, что вызвало не только общий смех, но заставило улыбнуться и самого Кошкина.

— Сам поступай к турецкому султану, — огрызнулся он.

— А ты разве не желаешь?

— Не желаю.

— Решительно?

— Да убирайся ты к черту с твоим турецким султаном! Турок я, что ли?..

— У тебя самые турецкие понятия...

— И врешь! Ты, значит, не понимаешь, что я говорю... Я говорю, что буду строгим блюстителем закона во всей его полноте, а ты посылаешь меня в самую незаконную страну... Это вовсе не остроумно... просто даже глупо...

— Не лучше ли, господа, прекратить споры, пока Кошкин не перешел на турецкую службу, и садиться обедать? Эй, Ворсунька! Подавай, братец! Да скажи коку, чтобы окурков в супе не было! — смеясь проговорил толстенный, кругленький и румяный, рыжеволосый гардемарин Быков.

Не особенно экспансивный, ленивый и

мешковатый, он довольно равнодушно относился к спору и, покуривая папироску, мечтал об обеде, а не о том, каковы во флоте законы. Бог с ними, с законами!..

— Ну, господа, садитесь... Кошкин, довольно спорить... ей-богу, надоело слушать!..

— А ты не слушай.

— И хотел бы, да не могу... Ты так орешь, что тебя в Батавии, я думаю, слышно...

Появление Ворсуньки с миской и другого вестового с блюдом пирожков несколько умиротворило спорщиков, и все проголодавшиеся молодые люди с волчьим аппетитом принялись за щи и пирожки и потом оказали честь и жаркому, и пирожному, и чудным батавским ананасам и мангустанам.

Глава одиннадцатая **Гонконг и китайские пираты**

I

Только что «Коршун», отсалютовав английскому флагу, успел бросить якорь на величественном рейде, полном военных и коммерческих судов и китайских неуклюжих джонок, и стать против живописно расположенного по склону высокой горы Гонконга, сияю-

щего под лучами солнца своими роскошными постройками и купами зелени, как со всех сторон корвет был осажден «шампуньками» большими и малыми китайскими лодками, необыкновенно ловко управляемыми одним гребцом, вертящим веслом у кормы.

С вахты дано было разрешение пустить на корвет нескольких торговцев, но этими несколькими каким-то чудом оказались все. С шампунек китайцы поднимались с самыми умильными физиономиями, как-то ловко проскальзывали мимо вахтенного унтер-офицера, и так как они, по выражению его, были все «на одну рожу», то он поневоле находился в затруднении: кого пускать и кого не пускать. Все приседали, кланялись, сюсюкали, делали умильные рожи и необыкновенно ласково говорили: «Люсиан, люсиан, холосий люсиан!» — и не прошло и пяти минут, как вся палуба корвета была запружена китайцами всевозможных профессий. Тут были и торговцы с разнообразной «китайщиной», уже разложившие свои товары и на палубе и в кают-компании, и портные, и шапочники, и коммиссионеры, и прачки, и живописцы с карти-

нами, и мозольные операторы... Они шмыгали наверху, пробирались вниз, заглядывали в каюты. Каждый что-нибудь да предлагал, суя в руки удостоверения и тыча в глаза образчики своих искусств.

Среди матросов ходило несколько китайцев с русскими фуражками и форменными матросскими рубахами и выкрикивали:

— Фуляски... любахи... люсиан!

— Эка длиннокосые... По-нашему брежут! — смеялись матросы и трогали китайцев за косы.

— Настоящая, братцы?

— Настоящая.

— Желторожие какие... И глаза у их узкие... И шельмоватый народ, должно быть...

— Вороватый народ! — подтвердил кто-то из матросов, ходивший в кругосветное плавание и знакомый с китайцами.

— Всякие между ими есть, надо полагать! — вставил Бастрюков, которому было не по сердцу огульное обвинение.

Матросы осматривали фуражки и рубахи с той придирчивой внимательностью, с какой обыкновенно осматривают вещи простолю-

дины, у которых копейки на счету.

— Ничего себе... крепко сшито. Почему продаешь фуражку, землячок, а? обращались к плутоватому торговцу.

Тот понял вопрос и, показывая один палец, говорил:

— Один доллари.

— Половину хочешь?

И в пояснение матрос предъявлял китайцу полпальца и клал на ладонь полдоллара.

Обе стороны торговались до изнеможения, и, наконец, китаец уступил, и многие матросы примеряли обновки.

В кают-компании толкотня была страшная. Кто только и чего только не предлагал! Некоторые счастливицы уже успели продать офицерам разной китайщины, портные снять мерку, чтобы сшить летние сюртуки... Кто-то заказал снять копию масляными красками с фотографии «Коршуна», а в каюте старшего штурмана старик-китаец с большими круглыми очками уже разложил свои инструменты и, опустившись на колени, с самым глубокомысленным видом, как-то нежно присюсюкивая губами, осторожно буравил маленьким

буравчиком мозоль на ноге почтенного Степана Ильича.

— Что это он делает тут у вас, Степан Ильич? — спросил кто-то, заглядывая в каюту старшего штурмана.

— Мозоль снимает. Рекомендую, если нужно. Отлично они производят эту операцию. Правда, долго копаются, но зато с корнем извлекают мозоль, и ни малейшей боли.

Толпа китайцев между тем все прибывала да прибывала, и вокруг корвета стояла целая флотилия шампунек, в которых под навесом нередко помещались целые семьи и там же, на лодках, варили себе рис на маленьком очажке и лакомились жареными стрекозами и саранчой.

— Ишь, дьяволы, всякую нечисть, прости господи, жрут! — возмущались матросы.

— От бедноты, братец ты мой... Народу тьма тьмуцая, а земли мало. Рисом да вот всякой дрянью пробавляются. Тоже есть что-нибудь надо, — заметил Бастрюков.

— Сказывают, они и мышей и крыс жрут?

— Жрут — это верно... А что ж? тоже божья тварь. Свинья, пожалуй, и грязнее будет, а мы

же едим!

Старший офицер начинал сердиться, что китайцев набралось так много, и разнес вахтенного унтер-офицера, зачем он так много напустил.

— Ничего с ними не поделаешь, ваше благородие... так и лезут... А главное дело, все на одно лицо... никак не отличишь.

— Ну, довольно им тут быть... Очистить корвет от китайцев! Гони их всех, кроме тех, что в кают-компании... Да передай об этом боцману!

— Есть!

Но приказать это было легче, чем исполнить, тем более что нельзя пустить в ход линьков. И боцман и унтер-офицеры выбивались из сил и ругались что есть мочи, выпроваживая китайцев с корвета. Те собирались очень копотливо и как-то ухитрялись перебежать с места на место, пока, наконец, внушительная ругань Федотова и других унтер-офицеров, сопровождаемая довольно угрожающими пантомимами, не побудила китайцев покинуть негостеприимных «варваров» и перебраться на шампуньки и оттуда предлагать

свои товары и делать матросам какие-то таинственные знаки, указывая на рот. Особенно были подозрительны шампуньки, вертевшиеся под самым носом и соблазнявшие матросов бутылками с водкой.

Один из офицеров, прежде бывавший в китайских портах, советовал осторожнее пускать торгашей в каюты и закрыть иллюминаторы.

— Зачем закрывать?

— Чтоб не удили разных вещей из каюты.

Этот совет был нелишний, и Ашанин чуть было не лишился своих часов, подаренных дядей-адмиралом.

Он переодевался в своей каюте в штатское платье, чтоб ехать на берег, и положил на маленький столик, бывший под иллюминатором, свои часы, как вдруг увидел в каюте тонкое удилице и на нем лесу с привязанными крючками. Крючки скользнули по столу и захватили часы с цепочкой, но Ашанин вовремя схватил тонкую и гибкую бамбуковую жердь и таким образом спас свое достояние. Заглянув в иллюминатор, он увидел маленькую лодчонку, быстро удаляющуюся от борта

и скоро скрывшуюся среди тесно стоявших джонок.

Ашанин сообщил об этом на вахту, и тогда старший офицер приказал прогнать все шампуньки от борта.

Но ни ругань, ни угрожающие пантомимы боцманов и унтер-офицеров не действовали. Китайцы смеялись и, отъехавши на несколько сажен от борта, останавливались и, если не видали освирепевших от своего бессилия боцманов, снова приставали к борту.

— Как вам будет угодно, ваше благородие, а добром ничего не поделаешь с этими желторожими дьяволами. Извольте сами посмотреть, ваше благородие. Один отъедет, а другой, шельма, пристанет. Никак их, каналиев, словом не отогнать. Дозвольте припужать их, ваше благородие, — докладывал осипшим от ругани баском Федотов старшему офицеру.

— Как припугнуть?

— Брандспойтами, ваше благородие. Небось, разбегутся...

Старший офицер дал согласие. Тотчас же были вынесены брандспойты, и толстые струи воды пущены в китайские шампуньки.

Этот сюрприз заставил удалиться их на благородную дистанцию. Но они еще несколько времени держались вблизи корвета в ожидании, что их позовут, и только под вечер удалились в город.

В ту же ночь китайцы дали о себе знать своей необыкновенно ловкой и дерзкой вороватостью. Недаром же китайский квартал Гонконга считается притоном всякого сброда и гнездом пиратов, плавающих в Китайском море и нападающих на парусные купеческие суда.

Было за полночь, и на корвете все спали глубоким сном, кроме часового и отделения вахтенных с гардемаринном, когда кто-то из матросов услышал какой-то странный шум около корвета, точно где-то работали над чем-то металлическим. Матрос сообщил вахтенному унтер-офицеру, тот доложил вахтенному гардемарину. Прислушались. Действительно, совсем близко раздавались тихие удары и вслед за ними слышался лязг меди.

Немедленно осмотрели внимательно за бортом с фонарями в руках. Никого не было, и шум прекратился.

Но не прошло и четверти часа, как снова послышался подозрительный шум.

Вахтенный унтер-офицер перегнулся за корму и тогда услышал удары молотка по меди.

— Это они медную обшивку обдирают, шельмецы, и как раз под кормой, так что их не видать, ваше благородие... Дозвольте изловить длинноколых и накласть им в косу, ваше благородие, чтоб помнили.

— Что ж, излови! — согласился вахтенный гардемарин.

Унтер-офицер спустился с двумя матросами в двойку, и, чуть слышно гребя, они подошли под корму и увидели китайцев, работающих над обшивкой. Уже значительная часть ее была отодрана.

— Ах вы, черти!

И с этими словами матросы кинулись на китайцев. Захваченные врасплох, они без сопротивления были взяты на двойку, и унтер-офицер уже торжествовал, что везет двух пленников, и крикнул об этом на корвет, как вдруг среди тишины раздались всплески воды и вслед затем унтер-офицер стал громко

ругаться.

— Что такое? — окликнул гардемарин.

— Бросились в воду, ваше благородие, и поплыли... Теперь их, подлецов, и не видать!.. Ну ж, и народец! — ворчал унтер-офицер, поднимаясь на палубу.

— А где их шлюпки?

— Унесло, должно...

Испытал в эту же ночь довольно сильные ощущения и Володя Ашанин.

Он был вечером в цирке, а потом зашел в гостиницу поужинать в надежде, что встретит там офицеров с «Коршуна» и вместе с ними вернется на корвет. Но офицеров не было — они только что ушли.

Поужинав, Ашанин отправился на пристань. Шлюпки с «Коршуна» не было, но зато было несколько вельботов с гребцами-китайцами, которые на ломаном английском языке предлагали свезти господина на судно.

— Мне на русский корвет...

— Знаем, сегодня пришел... Пожалуйста, сэр...

При тусклом свете фонаря Ашанин увидел весьма подозрительную физиономию китай-

ца-рулевого, предлагавшего свезти Володю на корвет.

— Что стоит?

— Два доллара, но господин, верно, прибавит...

Ашанин хотел уже было садиться, как в эту минуту на пристани появился какой-то господин в европейском костюме и, увидав Ашанина, бесцеремонно дотронулся до его плеча и спросил по-английски:

— Извините, сэръ... вы на рейд?

— На рейд.

— На какое судно?

— На русский военный корвет.

— Который сегодня пришел? Жаль, что ваш корвет стоит далеко, а то я доvez бы вас на своей маленькой шлюпке... Я — капитан английского купеческого парохода «Nelli»... Он тут близко стоит... Если угодно переночевать у меня, койка к вашим услугам.

Ашанин поблагодарил и сказал, что торопится на вахту.

— Отойдите-ка в сторону, — неожиданно проговорил «каптэйн».

И когда несколько изумленный Ашанин

отошел от пристани вместе с англичанином, тот задал ему вопрос:

— Вы первый раз в Гонконге?

— В первый.

— У вас есть с собой револьвер?

— Есть.

— Отлично... Так держите его наготове, когда поедете к своему корвету с этими разбойниками... И, главное, — не давайте рулевому править рулем, а правьте сами, и пусть старшина шлюпки гребет. Таким образом, все гребцы будут у вас на глазах, и, в случае чего, вы пустите пулю в лоб первому... Это на китайцев действует.

— Но разве на шлюпках опасно ездить?

— На этих, не на шампуньках, очень опасно, особенно по ночам. Они оберут и кинут в воду — здесь это не редкость. Ну, счастливого пути...

Они оба подошли к длинному вельботу, в котором было пять гребцов, и «каптэйн» внимательно поглядел на рулевого.

— Как зовут? — спросил он.

Китаец проговорил какое-то имя.

— Черт его знает... Он может быть сказал и

не свое имя!.. Ну, да все равно... Теперь они поняли, что их опасаются, и не нападут... Они слишком трусы для этого... Прощайте!

Ашанин поблагодарил доброго человека за предостережение, сел на руль, и шлюпка отвалила.

Одной рукой Ашанин правил, а другой нащупывал в кармане револьвер. Нервы его были напряжены до последней степени, и он не спускал глаз с первого гребца (загребного), предложившего было править.

Скоро шлюпка миновала ряд судов, стоявших близ города, и ходко шла вперед по довольно пустынному рейду. Ночь была темная. Ашанин испытывал не особенно приятные ощущения. Ему казалось, что вот-вот на него кинется загребной, здоровенный детина с неприятным подозрительным лицом, обратившим на себя внимание еще на пристани, и он зорко следил за ним и в то же время кидал взгляды вперед: не покажутся ли огоньки «Коршуна», стоявшего почти у выхода в море.

Китайцы навалились изо всех сил, и вельбот шел отлично.

Но вдруг гребцы о чем-то заговорили. Аша-

нину показалось, что заспорили. Ему сделалось жутко, и он вынул револьвер и взвел курок.

Должно быть загребной увидал и револьвер и услышал щелканье курка. Он что-то сказал резким отрывистым голосом, и все вдруг смолкли. Только среди ночной тишины раздавались всплески воды да стук весел об уключины.

И Ашанин несколько успокоился.

Наконец блеснули и огоньки «Коршуна». Еще несколько минут дружной гребли, и силуэт корвета вырисовался в ночной темноте.

— Кто гребет? — раздался с корвета обычный оклик часового.

— Матрос с «Коршуна», — отвечал Володя.

И голос его, слегка вздрагивающий от волнения, звучал радостными нотами.

Шлюпка пристала к борту. Фалрепные с фонарями освещали трап. Тогда Володя при свете фонарей еще раз взглянул на гребцов-китайцев. Действительно — лица, не обещающие ничего доброго.

Когда он подал загребному условленную плату, вынув кошелек, туго набитый сереб-

ром, у загребного, показалось Володе, сверкнули глаза.

— Не прибавите ли бедным гребцам, сэр? — проговорил китаец самым умильным голосом.

Володя кинул еще доллар, поднялся на корвет и почувствовал себя необыкновенно счастливым.

После уж он узнал, что возвращаться ночью из Гонконга на этих гичках и вельботах, ожидающих на пристани запоздавших моряков, довольно опасно.

Гонконг, блестящий город дворцов, престных зданий и превосходных улиц, этот город, высеченный в скале острова и, благодаря предприимчивости и энергии своих хозяев-англичан, ставший одним из важнейших портов Востока и по военному значению, и по торговле, — этот Гонконг в то же время является «gendes vous»[82] китайских пиратов, и в его населенном, многолюдном и грязном китайском квартале, несмотря на английскую полицию, живут самые отчаянные разбойники, скрывающиеся от китайских властей.

Пираты в то время еще водились, да и те-

перь едва ли перевелись в Китайском море, и нападают они, конечно, не на военные суда и не на паровые купеческие, а на парусные... Заштилет какой-нибудь корабль с медной одной пушчонкой и с восемнадцатью или двадцатью человеками матросов, как, откуда ни возмись, на горизонте появляется десяток больших джонок, наполненных людьми, и медленно на веслах приближаются к заштилевшему кораблю. И горе бывает экипажу, если в это время не задует ветер и не даст возможности уйти от этих неуклюжих посудин. Расправа короткая и жестокая!

Случается, что и частные пароходы, содержащие сообщение между Гонконгом и близлежащими Макао (португальским городом) и Кантоном, находящимся на Жемчужной реке, подвергаются дерзкому нападению. Такой случай был как раз за месяц до прихода «Коршуна» в Гонконг, и о нем много писалось в местных газетах и говорилось среди англичан.

В самом деле, дерзость поразительная. Хорошо организованная шайка китайцев явилась на пароход в качестве палубных пасса-

жиров, и когда пароход, выйдя из Гонконга в море, был на полпути до Макао, китайцы-разбойники бросились на капитана и его помощника, связали их и затем при содействии китайцев-матросов (бывших в заговоре) отобрали пассажиров-европейцев и благополучно высадились с награбленным грузом и пассажирскими вещами на подошедшую джонку, предварительно испортив машину парохода.

Несмотря на энергично веденное следствие, так концы и канули в воду.

II

Дней через пять по приходе «Коршуна» в Гонконг Володе пришлось сидеть за табльд'отом рядом с одним англичанином. У него была повязка на голове и рука на перевязи. Разговорились. Оказалось, что это мистер Смит, почтенный старик, капитан купеческого трехмачтового барка, сделавшегося неделю тому назад жертвой нападения пиратов. Бедняга-капитан потерял судно (которого он был пайщиком) с грузом, и — главное — на злополучном корабле были убиты все, за исключением его, капитана, и плотника, — они спаслись каким-то чудом.

Ашанин, взволнованный этим трагическим происшествием на море и полный участия к бедному капитану, в конце обеда стал просить старика познакомить его с подробностями, если только передача их не будет ему неприятна.

— Что ж, я вам расскажу... Отчего не рассказать своему же брату моряку... Охотно расскажу, как эти подлецы лишили нас «Джека»... Ах, если бы мне встретить кого-нибудь из этих мерзавцев пиратов... Они гнездятся здесь, в Гонконге! — неожиданно воскликнул старик-каптэйн.

И его зоркие темные глаза блеснули злобытым выражением, и толстая красноватая рука с изображением якоря сжалась в кулак.

— О, с каким восторгом посмотрел бы я, как бы их вздернули на виселицу, — прибавил он.

Когда обед был кончен, старик и Ашанин вышли на террасу, уселись в лонгшезы и оба закурили сигары.

— Не позволите ли, капитан, предложить вам рюмку портвейна? — спросил Володя.

— Не прочь, сэр...

Подали бутылку. Ашанин налил рюмки, и они чокнулись.

Сделав два-три глотка, капитан начал:

— Вы, конечно, знаете, сэр, что моряки — народ с предрассудками... Не знаю, как у вас, у русских моряков, но думаю, что и они... не любят понедельников... Что вы на это скажете?

— Есть такие, что не любят! — ответил, улыбаясь, Ашанин.

— Ну, так вы поймете, сэр, что в тот проклятый понедельник, когда я в шесть часов утра вышел наверх и увидел, что паруса на «Джеке» повисли, словно старые тряпки, и сам «Джек», — а «Джек», сэр, был отличный барк, вставил капитан, — неподвижно покачивается на зыби, точно сонная черепаха, я был не в духе... Будь это в океане — не беда, а то в Китайском море... И знаете ли — какое-то предчувствие, что что-нибудь да случится скверное, невольно закрадывалось в сердце... Бывают такие предчувствия... Не улыбайтесь, молодой джентльмен... Посмотрел я кругом... На небе ни облачка... горизонт чист... жара адская... Вышел и Дженкинс, мой помощ-

ник... Тоже смотрит, и тоже бедняга не в духе... «Мертвый, — говорит, — штиль, мистер Смит!» — «Мертвый, — говорю, — штиль, Дженкинс!» Ну, мы, знаете ли, по морской привычке, начали насвистывать ветер... Толку нет... Бросили свистать, и я велел юнге варить кофе... Ходим мы с Дженкинсом по палубе и оба молчим. И вдруг Дженкинс говорит: «А сегодня понедельник, мистер Смит!» — «Ну, что ж такое, что понедельник? Разве вы старая баба, Дженкинс?» А сам я тоже недоволен, что понедельник, но зачем же вслух об этом говорить? Не правда ли?..

Старик-капитан отпил вина и продолжал:

— К полудню жара стала такая, что хоть бросайся в воду... Наши матросы дремали... Хотел было и я спуститься в каюту, как вдруг Дженкинс подает мне бинокль и говорит, указывая головой на горизонт: «Посмотрите!» Посмотрел. Вижу штук двадцать джонок на веслах. «Зарядите-ка нашу пушку картечью, — а у нас, сэр, одна маленькая каронадка была, — да скажите ребятам, чтобы на всякий случай зарядили ружья да приготовили топоры, Дженкинс!» Дженкинс махнул головой и

ушел делать распоряжения, а я пошел в каюту и на всякий случай спрятал на грудь корабельные бумаги, положил в карман деньги и зарядил оба револьвера... Эти джонки внушали мне большое подозрение... Давно знаю я их, каналов... долго я плавал в этих местах... Вышел опять наверх... Взял бинокль... Джонки идут прямо на «Джек». Гребут... О, сэр! вы поймете, как горячо я молил в эти минуты милосердного бога, чтобы задул ветер, хотя бы легонький, брамсельный ветерок...

Почтенный старик примолк на минуту. Ашанин на полнил его пустую рюмку.

— Благодарю, сэр... Хорошее вино! — проговорил моряк, отпивая вино.

И, поставив рюмку, продолжал:

— Не всегда, видно, бог исполняет наши молитвы... Штиль продолжал быть мертвым, а эти подлецы приближались. В бинокль можно было видеть, что на каждой джонке было по десяти человек, а джонок было двадцать... Нас же всех семнадцать человек... Я уж не сомневался, что это пираты, и говорю матросам: «Надо, друзья, их принять как следует. Живыми не дадимся!» Все обещали уго-

стит их из пушки и из ружей... Все мы стоим наготове, ждем, что будет дальше... А они все приближаются... «Не угостить ли их, Дженкинс?» — «Рано, мистер Смит... пусть подойдут»... Они наваливаются изо всех сил... Тогда я кричу им, чтоб не подходили... показываю револьвер... Ответил кто-то на ломаном нашем языке, чтобы мы сдались и отдали им судно... Ну, тут Дженкинс не вытерпел: навел пушку и... бац!.. Картечь так и осыпала китайцев... Послышались крики... Однако подлецы приближались к борту, не обращая внимания на наши выстрелы... Как сейчас вижу первых взобравшихся на борт, их лиц я никогда не забуду... Один из этих дьяволов бросился на меня и хватил меня небольшим топором по голове... Я упал без чувств и очнулся только в воде по другую сторону борта... По счастью, около меня был люк, и я держался... а тем временем подлецы сгружали груз в свои джонки и грабили судно... Сколько прошло времени, не знаю, но знаю только, что бедный «Джек» стал опускаться и скоро пошел ко дну... Только его я и видел... А джонки торопливо загребли по направлению к берегу... Меня, видно,

считали убитым... А я держусь на воде... Смотрю, и плотник жив... держится за спасательный круг... Подплыл ко мне и говорит, что разбойники всех убили... Он только отделался раной в ногу и бросился в воду... Пробыли мы так в море часа, я думаю, три или четыре, как на наше счастье идет пароход... и держит на нас... Увидали, значит, с парохода обломки... Ну, нас подобрали и привезли в Гонконг.

— Что ж вы здесь будете делать? — спросил Ашанин.

— Что делать? Написал в Лондон хозяевам и своим компаньонам, чтобы прислали денег на возвратный путь — деньги-то из карманов подлецы вытащили, а пока живу у одного старого приятеля, капитана, судно которого стоит здесь в ожидании груза... Спасибо — приютил, одел и дал денег. Сегодня вот съехал на берег... был у доктора. Пора и на корабль. Милости просим ко мне в гости... Очень рад буду вас видеть! — прибавил старик. — «Маргарита», большой клипер, стоит на рейде недалеко от вашего корвета... Приезжайте...

Ашанин обещал навестить злополучного капитана, и старик, выпив на прощанье еще

рюмки две, простился с Володей.

III

Дня через три после этой встречи Ашанин взял «двойку» и отправился на «Маргариту».

Нечего и говорить, что и капитан «Маргариты», и особенно гостивший у него старик-капитан встретили молодого человека с душевной приветливостью и той простотой, которой отличаются вообще моряки.

Так как время было послеобеденное, то Ашанину предложили выпить рюмку хереса. Все трое прошли из просторной капитанской каюты на балкон и уселись там. На балконе было не так жарко: довольно ровный ветер, дувший с моря, веял прохладой. Перед глазами расстилался рейд и видны были входившие с моря суда и джонки.

Оба капитана, довольно усердно потягивающие херес и покуривавшие свои пенковые трубочки, расспрашивали своего гостя о России, о тамошних порядках и сами в свою очередь рассказывали различные эпизоды из своей морской жизни. Так прошел час, и Ашанин было уже думал распрощаться с гостеприимными моряками, но старик-капитан

снова стал рассказывать о своем недавнем несчастье, и уйти было неловко.

В то время, когда капитан Смит проклинал подлецов-пиратов и жаловался на свое правительство, находя, что оно недостаточно круто обращается с Китаем, к корме «Маргариты» приближались одна за другой три джонки под парусами, шедшие с моря. Они, видимо, собирались, как выражаются моряки, «резать корму» стоявшего на пути судна. Первая джонка прошла, не обратив на себя ничьего внимания, но когда вторая джонка, слегка накренившись, проходила мимо, старик капитан случайно взглянул на нее... и вдруг глаза его словно бы застыли, устремленные на китайца, правившего рулем. Бледный, с лицом, выражавшим и изумление и злобную радость, капитан схватил руку своего приятеля и прошептал задыхающимся голосом:

— Они... они...

— Кто они?

— Они... Я его узнал... мерзавца... Это те пираты, которые напали на меня... Шлюпку, скорей шлюпку... Я сейчас дам знать нашему

станционеру, чтоб их за держали.

— Да вы не ошиблись ли, Смит?

— Ошибся? Я эту рожу никогда не забуду...

Он первый вошел на «Джека» и первый хватил меня топором... Шлюпку... Вот-то счастливая случайность, сэр! — обратился старик к Ашанину. — Не сиди я в эту минуту на балконе... Видно, сам бог захотел наказать злодеев.

Через несколько минут оба капитана отправились на вельботе на английскую военную канонерскую лодку, а Володя поехал на корвет.

На другой день он опять был на «Маргарите» и старик-капитан с радостью сообщил, что все три джонки арестованы, и люди с них заключены в тюрьму. Улики были налицо: на джонках нашли часть награбленного груза и вещей с «Джека» и несколько китайцев были ранены огнестрельным оружием.

— Сознались они?

— Сперва и не думали, но когда я был у следственного судьи и меня увидел этот дьявол, ранивший меня, он... испугался, точно встретил привидение, и тогда рассказал все. И я не ошибся... он был один из начальников.

Дня за два до ухода «Коршуна» из Гонконга, рано утром, пятеро главных пиратов были повешены. Остальные приговорены к каторжным работам.

Мистер Смит приезжал на корвет звать Ашанина посмотреть, как вздернут пятерых злодеев на виселицу, но Володя отказался от такого зрелища, к крайнему удивлению старика-капитана.

Из газет Ашанин узнал, что все пятеро шли на казнь с покорным равнодушием, обычным, впрочем, в такой стране, как Китай, где жизнь человеческая не очень-то ценится и нередко находится в зависимости от вопиющего произвола.

* * *

Во время двухнедельной стоянки в Гонконге пришлось одному матросу с «Коршуна» познакомиться с английским судом.

Молодой, добродушный матросик Ефремов во время гулянки на берегу выпил лишнее и, возвращаясь на пристань к баркасу, горланил песни... Уж он был недалеко от шлюпки, когда полисмен (из сипаев) сделал Ефремову замечание, что кричать на улице не годится. Ра-

зумеется, матрос этого не понял и выругал полисмена на родном диалекте. В свою очередь и полисмен, по счастью, не догадался, каким оскорблениям подверглась в его лице власть, но, увидав, что матрос продолжает петь песни, заговорил решительнее и серьезнее и взял матроса за руку... Пьяный, вероятно, обиделся и, ни слова не говоря, съездил по уху полисмена, повергнув почтенного блюстителя порядка в изумление, которым матрос не преминул воспользоваться: он вырвался из крепкой руки полисмена и в минуту уже был на баркасе. Объяснение полисмена с гардемаринном, сопровождавшим команду, не удовлетворило полисмена. Он требовал ареста виновного при полиции до разбора дела, но гардемарин не согласился, и баркас отвалил.

На другой день капитан получил официальную бумагу, в которой просили прислать виновного к судье для разбирательства дела.

Ашанин, как знающий английский язык, был послан в качестве переводчика и защитника.

В довольно большой судейской камере на возвышении восседал толстый и румяный

джентльмен-судья и произнес:

— Дело об оскорблении действием полисмена Уйриды русским матросом Ефремовым.

В немногочисленной публике, сидящей на скамьях, легкое волнение. Все не без любопытства смотрят на белобрысого, курносого матроса Ефремова, сконфуженное лицо которого дышит добродушием и некоторым недоумением. Он сидит отдельно, сбоку, за черной решеткой, рядом с Ашаниным, а против них, за такой же решеткой, высокий, стройный и красивый сипай, с бронзово-смуглым лицом и большими темными, слегка навывкате глазами, серьезными и не особенно умными.

— Полисмен Уйрида, расскажите, как было дело. Помните, что по закону вы обязаны показывать одну только правду.

Полисмен Уйрида начал довольно обстоятельный рассказ на не совсем правильном английском языке об обстоятельствах дела: о том, как русский матрос был пьян и пел «более чем громко» песни, — «а это было, господин судья, в воскресенье, когда христианину надлежит проводить время более прилично», — как он, по званию полисмена, просил

русского матроса петь не так громко, но русский матрос не хотел понимать ни слов, ни жестов, и когда он взял его за руку, надеясь, что русский матрос после этого подчинится распоряжению полиции, «этот человек, — указал полисмен пальцем на „человека“, хлопавшего напротив глазами и дивившегося всей этой странной обстановке, — этот человек без всякого с моей стороны вызова, что подтвердят и свидетели, хватил меня два раза по лицу... Вот так, господин судья».

И полисмен наглядно показал, как русский матрос «хватил» его.

— Синяк до сих пор есть. Не угодно ли взглянуть, господин судья... Вот здесь, под левым глазом...

— Ну, однако, небольшой, кажется? — заметил серьезно судья.

— Небольшой, господин судья.

— Советую примачивать арникой... скоро пройдет.

— И так пройдет, господин судья! — добродушно проговорил сипай.

Тогда судья повернул голову в сторону, где сидел русский матрос, и проговорил, обраща-

ясь к Ашанину:

— Потрудитесь сообщить обвиняемому показание истца.

Ашанин изложил Ефремову сущность показания и спросил:

— Верно он показывает, Ефремов?

— Должно, верно, ваше благородие... Помню, что вдарил арапа, ваше благородие!

Володя поднялся и сказал судье, что перевел показание истца.

Тогда судья обратился к Ефремову и сказал:

— Подсудимый, встаньте!

— Встань, Ефремов!

— Есть, ваше благородие! — ответил, вскакивая, Ефремов.

— Подсудимый, расскажите по чистой совести, как было дело... Согласны ли вы с обвинением истца или не согласны?..

— Рассказывай, Ефремов.

Ефремов моргал глазами и молчал.

— Да говори же что-нибудь, Ефремов! И смотри на судью, а не на меня...

— Слушаю, ваше благородие, но только доказывать мне нечего, ваше благородие.

— Да ты не доказывай, а расскажи, как все случилось.

Ефремов тогда обратился к судье и, глядя на него, словно бы на старшего офицера или на капитана, начал:

— Шел я это, вашескобродие, на пристань из кабака и был я, вашескобродие, выпимши... Однако шел сам, потому от капитана приказ — на корвет являться как следует, на своих ногах... А этот вот самый арап, вашескобродие, привязался... Лопотал, лопотал что-то по-своему — поди разбери... А затем за руку взял... я и подумай: беспрерменно в участок сволокет... За что, мол?.. Ну, я и треснул арапа, это точно, вашескобродие... Отпираться не буду... А больше нечего говорить, вашескобродие, и другой вины моей не было.

Ашанин перевел речь матроса с некоторыми изменениями и более связно и прибавил, что Ефремов не отрицает показания полисьмена и сознает свою вину...

— Свидетелей, значит, можно и не допрашивать! — обрадовался судья.

И вслед за тем, выразив сожаление, что русский матрос употребил напитков более

чем следовало, приговорил Ефремова к трем долларам штрафа в пользу потерпевшего.

Тем дело и кончилось. Штраф Ашанин немедленно же внес, получил квитанцию и вместе с обрадованным матросом отправился на корвет.

— Ну, что, доволен судом? — спрашивал Ашанин.

— Очень далее доволен, ваше благородие... А я сперва, признаться, струсил, ваше благородие, — прибавил матрос.

— Чего?..

— Полагал, что за полицейского арапа беспрременно отдерут, ваше благородие.

— У англичан, брат, людей не дерут.

— То-то, значит, не дерут... Обходительный народ эти гличане.

— А почему ты полагал, что тебя высекут?

— А по той причине, ваше благородие, что я выучен.

— Как выучен?

— Точно так, выучен, еще когда на службу не поступал, а в крестьянах состоял. За такое же примерно дело, меня, ваше благородие, форменно отполировали в участке-то, в на-

шем городе. И, окромя того, осмелюсь доложить, ваше благородие, всю морду, можно сказать, вроде быдто теста сделали... А здесь только штраф... Во всякой, значит, стране свои порядки, ваше благородие!

Вернувшись на корвет, Ефремов долго еще рассказывал, как его судили за арапа и как правильно рассудили.

— Понял, братцы, судья, что я пьяный был... А с пьяного что взять!

Глава двенадцатая **Адмиральский смотр и экзамены в** **Печелийском заливе**

I

Пока в кают-компании и среди гардемарин-нов шли горячие толки и разнообразные предположения о том, куда пойдет из Гонконга «Коршун» и где начальник эскадры Тихого океана, в состав которой назначался корвет, английский почтовый пароход, привезший китайскую почту, привез и предписание адмирала: идти в Печелийский залив, где находился адмирал с двумя судами эскадры.

Не очень-то обрадовало моряков это известие. Стоянка в глухом Печелийском заливе,

где не было даже открытых для европейцев китайских портов, куда можно было бы съехать на берег, не представляла ничего привлекательного, да и близость встречи с адмиралом, признаться, не очень-то радовала. О нем ходили слухи, как об очень строгом, требовательном и педантичном человеке, и притом заносчивом и надменном, держащем себя с неприступностью английского лорда.

Особенно смущала эта встреча, то есть близость смотра, старшего офицера Андрея Николаевича. Ему, ревниво заботившемуся о любимом им «Коршуне», все казалось, что «Коршун» вдруг да как-нибудь осрамится на адмиральском смотре, и Андрей Николаевич со времени получения предписания сделался очень нервен и еще с большей педантичностью, — если только возможно было допустить большую, — во все время перехода из Гонконга в Печелийский залив осматривал все уголки корвета и во время разных учений обнаруживал нетерпеливость и даже раздражительность. Несмотря на то что матросы лихо работали и вообще знали свое дело отлично, Андрей Николаевич, этот добровольный

мученик своего долга и притом трусивший всякого начальства, не мог успокоиться, хотя и старался скрыть это от посторонних глаз.

Через несколько дней «Коршун» после полудня входил под всеми парусами на Печелыйский рейд, салютуя контр-адмиральскому флагу, поднятому на крюйс-брам-стенъге[83] внушительного флагманского фрегата «Роксана», около которого стоял небольшой, стройный красавец клипер «Чайка» с своей белой полоской вокруг черного борта и белоснежной трубой.

Лихо пролетев под нормой фрегата, где на юте, с биноклем в руке, затянутой в перчатку, стоял небольшого роста, худощавый адмирал в свитском сюртуке, с аксельбантом через плечо, и мимо клипера, под жадными взглядами моряков, зорко смотревшими на нового товарища, «Коршун», положив руль на борт, круто повернул против ветра, и среди мертвой тишины раздавался звучный, слегка вздрагивающий голос Андрея Николаевича:

— По марсам и салингам! Паруса долой! Отдай якорь!

И не прошло и пяти минут, как все паруса,

точно волшебством, исчезли, якорь был отдан, катер и вельбот спущены, и «Коршун» с закрепленными парусами недвижно стоял рядом с «Чайкой», возбуждая восторг моряков и своим безукоризненным видом щегольского военного судна и быстротой, с какой он стал на якорь и убрал паруса.

Еще минута — и капитан Василий Федорович, по обыкновению спокойный, не суетливый и, видимо, не испытывавший ни малейшего волнения, в полной парадной форме уже ехал на своем щегольском шестивесельном вельботе к флагманскому фрегату с рапортом к адмиралу, а старший офицер Андрей Николаевич, весь красный, довольный и сияющий, спускался с мостика.

— А ведь ничего, а, Степан Ильич? Кажется, недурно стали на якорь? обратился он к старшему штурману, словно бы ища одобрения.

— Уж чего лучше. Превосходно, Андрей Николаич. Паруса так и сгорели.

— Сгорели?.. Да, недурно, недурно, слава богу... Надо будет по чарке дать марсовым... А как-то смотр пройдет, Степан Ильич! — с тре-

вогой в голосе прибавил старший офицер.

И его мужественное, заросшее волосами лицо приняло испуганное выражение школьника, который боится экзамена. Распорядительный, энергичный и находчивый во время штормов и всяких опасностей, Андрей Николаевич обнаруживал позорное малодушие перед смотрами начальства.

— Да что вы волнуетесь, Андрей Николаевич! — успокаивал его старший штурман, относившийся к высшему начальству с философским равнодушием человека, не рассчитывающего на карьеру и выдавшего на своем долгом веку всяких начальников, которые тем не менее не съели его. Он тянет служебную лямку добросовестно и не особенно гоняется за одобрениями: все равно из них шубы не сошьешь; все равно для штурмана нет впереди карьеры.

— Да как же не волноваться, Степан Ильич? Разве вы не слышали об адмирале?

— Ну, так что же?

— Он хоть и вежливый и любезный, никогда не разносит, а, я вам скажу, такая заноза... строгий и взыскательный.

— Ну и пусть себе взыскательный. Что ему взыскивать? «Коршун», слава богу, у нас в порядке, Андрей Николаич.

— Так-то так, а вдруг...

— Что вдруг? — переспросил, улыбаясь, Степан Ильич.

— А вдруг, батенька, на смотрю что-нибудь да выйдет.

— Ничего не выйдет, Андрей Николаич. Вы, право, мнительный человек и напрасно только расстраиваете себя... Все будет отлично, и адмирал останется доволен. Он хоть и заноза, как вы говорите, а умный человек и не придирается из-за пустяков. Да и не к чему придираться... Пойдемте-ка лучше, Андрей Николаич, обедать... И то сегодня запоздали... А есть страх хочется...

— Нет, я после пообедаю... Мне надо еще самому посмотреть, как реи выправлены и не ослаб ли такелаж, а потом поговорить с боцманом.

И маленькая приземистая фигурка старшего офицера понеслась на бак.

Через полчаса капитан вернулся от адмирала и сообщил старшему офицеру, что на

другой день будет смотр и что корвет простоит в Печелийском заливе долго вследствие требования нашего посланника в Пекине.

Последняя весть очень смутила кают-компанию и гардемарин.

В тот же день капитан объявил Володе, что он будет держать экзамен на флагманском фрегате для производства в гардемарин в сравнение со сверстниками, которые, как Володя уже знал, были произведены к Пасхе.

— Надеюсь, вы готовы к экзамену? — спросил капитан.

— Готов, Василий Федорыч.

— Ну и отлично. Когда хотите экзаменоваться?

— Чем скорее, тем лучше. Если можно, через неделю... Я кое-что еще посмотрю.

— Хорошо. Через неделю вас начнет экзаменовать комиссия, назначенная адмиралом... Будете ездить на фрегат... С этого дня вы освобождаетесь от служебных занятий на корвете, скажите старшему офицеру... Да если надо вам помочь в чем-нибудь, обращайтесь ко мне... Я кое-что помню! — скромно прибавил капитан.

Ашанин поблагодарил и сказал, что он занимался и надеется выдержать экзамен по всем предметам.

— А главное, не бойтесь, Ашанин. К вам придираться не будут. Экзаменаторы ведь не корпусные крысы, — улыбался Василий Федорович. — А адмирал понимает, что такое экзамен, — одобряюще промолвил капитан, отпуская Ашанина.

II

На другой день, к девяти часам утра, вся команда была в чистых белых рубашках, а офицеры в полной парадной форме.

Бедный Андрей Николаевич с раннего утра носился по корвету и вместе с боцманом Федотовым заглядывал в самые сокровенные уголки жилой палубы, машинного отделения и трюма. Везде он пробовал толстым волосатым пальцем: чисто ли, нет ли грязи, и везде находил безукоризненную чистоту и порядок. Наверху и говорить нечего: реи были выправлены на диво, палуба сверкала белизной, и все сияло и горело — и пушки, и медь люков, поручней, компаса, штурвала и кнехтов[84].

И Андрей Николаевич, красный, вспотев-

ший и напряженный, несколько комичный в сбившейся назад треуголке и узковатом мундире, стоял теперь на мостике, то посматривая беспокойным взглядом на флагманский фрегат, то на палубу и на мачты.

Вдруг лицо его выразило ужас. Он увидел двух обезьян — Егорушку и Соньку, которые, видимо, нисколько не проникнутые торжественностью ожидания адмирала, с самым беззаботным видом играли на палубе, гоняясь друг за другом, и дразнили добродушнейшего и несколько неуклюжего водолаза, проделывая с ним всевозможные обезьяньи каверзы, к общему удовольствию команды.

Обо всем вспомнил сегодня Андрей Николаевич, а о них-то и забыл!

— Боцмана Федотова послать! — крикнул он.

— Боцмана Федотова послать! — раздался окрик вахтенного унтер-офицера.

— Есть! — отвечал уже на ходу боцман Федотов, несшийся на рысях к старшему офицеру и выпучивший вопросительно глаза, когда остановился перед мостиком.

— Надо убрать на время куда-нибудь обе-

зьян и собаку, а то черт знает что может случиться во время смотра! — проговорил старший офицер.

— Есть, ваше благородие... Куда прикажете их посадить?

— Куда? — задумался старший офицер. — Привязать их в гардемаринской каюте! — внезапно решил он.

— Слушаю, ваше благородие... Только осмелюсь доложить насчет обезьянов...

— Ну, что еще? — нетерпеливо перебил старший офицер.

— Трудно будет поймать их... Лукавое животное, ваше благородие.

— Как-нибудь да поймать и посадить... Да живо! — прибавил Андрей Николаевич.

И с этими словами он тревожно взглянул на фрегат и спросил у сигнальщика, не спускавшего подозрительной трубы с фрегата:

— Что, отвалил адмирал?

— Никак нет, ваше благородие. Катер у борта.

Федотов был прав. Действительно, исполнить приказание старшего офицера и поймать обезьян было трудно. С водолазом дело

обошлось просто: его взяли за шиворот и, к немалому его изумлению, отвели в гардемаринскую каюту и привязали на веревку, а обезьяны решительно не давались, несмотря даже на куски сахара, которые поочередно и Федотов и другие матросы протягивали и Егорушке и Соньке с коварным намерением захватить их. Но они, видимо, отнеслись к такому неожиданному со стороны матросов угощению подозрительно, предвидя какой-нибудь подвох, и приближались на такое расстояние, что при каждой попытке схватить их они успевали задавать тягу и садиться в места, более или менее гарантирующие их безопасность. Долго продолжалась эта травля к общему смеху команды. Боцман и несколько других ловцов измаялись, гонявшись за ними по всему корвету.

— Подожди уж, шельмы! — погрозил боцман обезьянам, сидевшим на вантах и, казалось, насмешливо скалившим зубы, и послал матроса за сеткой, а сам отвернулся, будто не обращая более на них никакого внимания.

Сетка принесена. Матрос осторожно приблизился и только что сделал движение, как

Егорушка и Сонька бросились по вантам наверх и в мгновение ока уже были на брам-рее и поглядывали вниз.

— Эка дьяволы, чтоб вас! — пустил им вслед боцман и хотел было бежать доложить старшему офицеру, что «обезьянов» никак нельзя поймать, как в эту минуту раздался взволнованный голос старшего офицера:

— Караул, наверх!.. Команда во фронт!..

Все мгновенно затихло на корвете.

По обе стороны палубы, от шканцев до бака, стояла, выстроившись в две шеренги, команда; на левой стороне шканцев выстроился караул, а на правой офицеры, имея на правом фланге старшего офицера, а на левом кадета Ашанина.

Капитан и вахтенный начальник ожидали у трапа.

— Шабаш! — раздался молодой окрик гардемарина, сидевшего на руле адмиральского катера, и через минуту на палубу «Коршуна» вошел небольшого роста человек, лет сорока с небольшим, в сюртуке с адмиральскими погонами и с аксельбантами через плечо, со своим молодым флаг-офицером.

Когда капитан и вахтенный начальник отрапортовали адмиралу о благополучном состоянии «Коршуна», адмирал, протянув руку капитану, тихой походкой, с приложенной у козырька белой фуражки рукой, прошел вдоль фронта офицеров, затем прошел мимо караульных матросов, державших ружья «на караул», и, в сопровождении капитана и флаг-офицера, направился к матросам.

— Здорово, молодцы! — чуть-чуть повысил свой тихий скрипучий голос адмирал, приблизившись к фронту.

«Р-ра-аздва-ай!», раздавшееся звучно и весело, должно было означать «здравия желаем, ваше превосходительство!».

Адмирал медленно обходил по фронту, и матросы провожали адмирала глазами, взглядывая на его умное серьезное лицо.

Обойдя команду, адмирал обратился к капитану с изысканной, но холодной вежливостью:

— Попрошу вас удалиться на минуту, Василий Федорович.

И когда капитан удалился, он, несколько более повысив голос, спросил, обращаясь к

матросам:

— Всем ли довольны, ребята?

— Всем довольны, ваше превосходительство! — так же весело, как и раньше, отвечали матросы.

— Нет ли у кого претензии?

Ни звука в ответ.

— Если есть у кого претензия, выходи, не бойся!

Никто не шелохнулся.

— Так ни у кого нет претензий?

— Никак нет, ваше превосходительство! — в один голос ответили матросы.

По тонким губам адмирала пробежала удовлетворенная улыбка и снова скрылась в серьезном выражении лица.

Вслед затем команду распустили, и начался осмотр корвета в сопровождении капитана и старшего офицера. Осмотр был самый тщательный. Адмирал, минуя показательные, так сказать, места, заглядывал в такие укромные уголки, на которые обыкновенно меньше всего обращается внимания. Он был на кубрике, в помещении команды, приказал там открыть несколько матросских чемоданчиков,

спускался в трюм и нюхал там трюмную воду, заглянул в подшкиперскую, в крьюйт-камеру, в лазарет, где не было ни одного больного, в кочегарную и машинное отделение, и там, не роняя слова, ни к кому не обращаясь с вопросом, водил пальцем в белоснежной перчатке по частям машины и глядел потом на перчатку, возбуждая трепет и в старшем офицере и старшем механике. Но перчатка оказывалась чистой, и адмирал шел далее, по-прежнему безмолвный. Наконец, когда решительно все было осмотрено, он вышел наверх и, поднявшись на мостик, проговорил, обратившись к капитану:

— Считаю долгом заявить, что нашел корвет в примерном порядке.

Капитан ни слова не сказал в ответ.

— Ну, а теперь посмотрим, как у вас подготовлена команда. Потрудитесь вызвать сюда барабанщика.

— Боевую тревогу! — тихо приказал адмирал, когда явился барабанщик.

Барабанщик стал отбивать тревожную, несмолкаемую трель, и через несколько минут корвет готов был к бою.

Смотр продолжался очень долго. Были и парусное учение, и артиллерийское, и пожарная тревога, и посадка на шлюпки десанта, и стрельба в цель — и все это не оставляло желать ничего лучшего. Матросы, сразу поняв, что адмирал занозистый и «скрипка», как почему-то внезапно окрестили они его превосходительство (вероятно вследствие скрипучего его голоса), старались изо всех сил и рвались на учениях, как бешеные, чтобы не подвести любимого своего капитана, «голубя», и не осрамить «Коршуна».

Наконец все окончено, и адмирал благодарит капитана.

Капитан принимает эти похвалы с чувством собственного достоинства, без того выражения чрезмерной радости, которая столь нравится начальникам и потому довольно обыкновенна среди подчиненных, и адмирал, как будто удивленный этой малой отзывчивостью к его комплиентам, к тому же весьма редким и не особенно расточительным, взглядывает на капитана пристальным взглядом умных своих глаз и, словно бы угадывая в нем рыцаря долга и независимого человека,

чувствует к нему уважение.

Андрей Николаевич так растерялся, когда адмирал обратился лично к нему с благодарностью, его лицо имело такое страдальческое выражение, и пальцы, приложенные к треуголке, так тряслись, что адмирал, видимо не желая продолжать агонии подчиненного, поспешил отойти.

Когда катер с адмиралом отвалил от борта, все весело и радостно бросились в кают-компанию. Сияющий и радостный, что «Коршун» не осрамился и что адмирал нашел его в полном порядке, Андрей Николаевич угощал всех шампанским, боцманам и унтер-офицерам дал денег, а матросам до пяти чарок водки и всех благодарил, что работали молодцами.

* * *

Экзамены прошли благополучно. Даже сам адмирал, присутствовавший на экзаменах из астрономии, навигации и морской практики, слушая ответы Ашанина, одобрительно качнул головой. Наконец последний экзамен сдан, и Володе объявили, что у него баллы хорошие и что они вместе с представлением о

производстве будут немедленно посланы в Петербург в Морской корпус.

Теперь Володе оставалось только ждать приказа, и тогда он будет стоять офицерскую вахту, то есть исполнять обязанности вахтенного начальника под ответственностью капитана, как исполняли уже другие гардемаринны. Тогда он и получит сразу целую кучу денег — во-первых, жалованье со времени производства его товарищей и, кроме того, экипировочные деньги. А деньги будут весьма кстати, так как золото, подаренное дядей-адмиралом, уже было совсем на исходе.

Зато теперь и тратить денег было некуда на этой скучной стоянке в Печелийском заливе. На берег некуда было и съезжать. Целые дни проходили в разных учениях, делаемых по сигналам адмирала.

Так прошло полтора месяца — всем опротивело это печелийское сидение, как вдруг однажды адмирал потребовал капитана к себе, и вернувшийся капитан поздравил всех с радостной вестью о том, что корвет на следующее утро идет в С.-Франциско. Нужно ли прибавлять, как обрадованы были моряки

этой приятной новостью. Вместе с нею капитан сообщил и другую: адмирал по болезни скоро уезжает в Россию. Кого назначат на смену, никому, конечно, не было известно; но и капитан и многие офицеры почему-то думали, что, вероятно, будет назначен лихой адмирал Корнев, известный в те времена во флоте под разными кличками и между прочим под кличкой «беспокойного адмирала».

— Действительно беспокойный, господа, — заметил Андрей Николаевич. — Я с ним плавал, когда он первый раз ходил начальником отряда. У-у... бедовый! — прибавил старший офицер и почему-то вздохнул.

— Он всех в христианскую веру приведет, — вставил и старый штурман, смеясь.

— А что, разве свирепый? — спрашивал мичман Лопатин.

— А вот увидите, если он к нам явится... Он тут всех перетормошит... Кипучая натура. Недаром все его боятся, особенно с первого раза, пока не узнают хорошо. В лоск, батенька, разносит! — прибавил Степан Ильич.

— Ну, это мы еще посмотрим! — вызывающе заметил мичман Лопатин.

— То-то посмотрите! — засмеялся старый штурман.

Глава тринадцатая Сан-Франциско

I

Красные обрывистые берега уже открылись, и Володя жадно, с лихорадочным любопытством всматривался в берега этой почти сказочной страны, заселившейся с необыкновенной скоростью. Он еще недавно много слышал о ней от одного из первых золотоискателей, шведа, капитана небольшого купеческого брига, который стоял рядом с «Коршуном» в Печелийском заливе.

В 1848 году, когда по всему миру пронеслась весть об открытии золота в Калифорнии, этот швед был штурманом на купеческом судне. Он соблазнился желанием быстро разбогатеть и, охваченный золотой горячкой, бежал со своего корабля и добрался до только что возникавшего С.-Франциско, тогда еще беспорядочного поселка, или, вернее, лагеря, куда со всех стран стекались разные авантюристы, жаждавшие быстрой наживы, разный сброд, надеявшийся на свои мускулистые руки.

Рассказы шведа дышали чем-то фантастичным и вместе с тем страшным и жестоким о первых временах поисков золота в Калифорнии, где в одну неделю, в один день, люди, случалось, делались богатыми. Но швед, как и масса других золотоискателей, горько разочаровался. Он не разбогател, хотя и находил золото, он отдавал его за провизию, за обувь и платье, за инструменты, за вино. Наживались главным образом поставщики и торгаши, нахлынувшие вслед за пионерами, а не самые пионеры.

И что за страшное общество это было! Каких только лиц не попадалось среди золотоискателей, начиная с разорившегося аристократа и кончая беглым каторжником!.. Поневолу это разношерстное общество выработало суровые законы в своем беспорядочно раскинутом громадном лагере, около которого происходили раскопки. Довольно было без позволения войти в чужую палатку, чтобы хозяин ее имел право уложить на месте вошедшего выстрелом из револьвера. Малейшая кража наказывалась виселицей. Никто не расставался ни на один миг с револьвером.

По рассказам шведа, только такими суровыми законами, выработанными на месте золотоискателями, и мог сохраняться до известной степени порядок, и не было частых преступлений. Но зато жизнь была самая отчаянная. После дня работы золотоискатели проводили ночи в кабаках и за игрой спускали все золото, собранное за день. И пока эта беспорядочная жизнь приняла другой, более нормальный характер, масса пришлецов ушла из Калифорнии, и в числе их было немного, увозивших деньги. Некоторые лишь сберегли кое-что на переезд в Европу, а большинство поступало матросами на суда. В числе таких был и швед, рассказывавший Володе свою одиссею.

«Коршун» подходил все ближе и ближе к калифорнийскому берегу, попыхивая дымком из своей трубы. Океан почти заштилел, и корвет легко рассекал синеватую воду, делая по десяти узлов в час.

День стоял превосходный — нежаркий, солнечный, мягкий сентябрьский день. У входа в залив хорошо была видна белая башня маяка. Все чаще и чаще «Коршун» обгонял за-

штилевшие парусные суда и встречал их, буксируемых из залива маленькими сильными парходиками.

Все — и офицеры, и матросы, и даже отец Спиридоний, редко покидавший каюту, — были наверху и жадно всматривались в глубину залива, чтобы поскорей увидеть «жемчужину Тихого океана», как не без основания называют калифорнийцы Сан-Франциско, или «Фриски», по их фамильярно-ласковому сокращению, пока старший штурман не объяснил, что напрасно «пялят» глаза все равно города не увидеть: он в глубине бухты, скрытый горами.

Офицерам после долгой и скучной стоянки в Печелийском заливе и после длинного, только что совершенного перехода, во время которого опять пришлось несколько дней посидеть на консервах, хотелось поскорее побывать в интересном городе, о котором много рассказывали в кают-компании и Андрей Николаевич и Степан Ильич, бывшие в нем во время прежних плаваний, познакомиться с новой страной, оригинальной, совсем не похожей на Европу, с американскими нрава-

ми, побывать в театре, послушать музыку, узнать, наконец, что делается на свете, получить весточки из России.

Уже давно Володя не получал писем от своих — последнее было получено в Гонконге, и это его беспокоило. Здоровы ли все близкие?

Матросам тоже очень хочется «берега». Положим, их требования от него скромнее, их развлечения грубее: помотаться по городу и провести время в каком-нибудь кабачке за стаканом водки, но и это отвлечение от однообразной судовой жизни громадное удовольствие, не говоря уже о том, что даже и беглое мимолетное знакомство с чужой стороной, с другими порядками и нравами, конечно, интересует матросов и невольно производит впечатление, действуя развивающим образом. Вот отчего матрос, побывавший в кругосветном плавании, совсем не похож на товарища, плававшего только в наших морях: он кое-что видел, кое-что понял и далеко уже не столь невежествен, как был прежде.

И на баке большая толпа слушает Бастрюкова. Он был во «Францисках», когда ходил в дальнюю на «Ласточке», и теперь делится с

товарищами вынесенными им впечатлениями, рассказывая, что город большой и содержится в аккурате, что кабаков в нем много, но, надо правду сказать, пьяных, которые чтобы валялись, совсем не видать.

— Они, эти самые мериканцы, пьют, братцы вы мои, по-благородному, продолжал Бастрюков своим мягким приятным голосом, — до затмения рассудка не напиваются, понимают плепорцию. Разве которые матросы разных наций с кораблей, ну те, случается, шибко натрескамшись, а чтобы коренные мериканцы — ни боже ни!.. И живут, сказывали про их, вольно: делай, что знаешь, запрету нет, коли ты худого не делаешь... И все там, братцы, ровны между собой, и нет ни господ, ни простых... Какой ты ни на есть человек, богатый ли, бедный, а все мистер да мистер — господин, значит. Всем одни права дадены... И ходят чисто: в пинджаках и при штиблетках; что хозяин, что мастеровщина — все одинаково одеты... А женского сословия народ так и вовсе, можно сказать, не отличишь, какая из них барыня, а какая, примерно, служанка. Все сквозь мамзели и гордого обраще-

ния, и ежели ты сидишь в конке и вошла женщина, а места нет, ты встань и уступи место... Учливый к бабам народ! А харч у их, братцы, первый сорт, и народ хорошо живет...

Матросы жадно внимают Бастрюкову и удивляются, почему это в этой стороне такое хорошее житье народу, и Бастрюков старается объяснить, почему.

Тем временем к «Коршуну» несется маленький пароходик с большим, бросающимся в глаза, ярким лоцманским флагом. На минуту «Коршун» замедляет ход, и, быстро поднявшись по веревочному трапу, на палубу высккивает высокий, худой калифорниец с нервным, загорелым лицом, опущенным густой черной бородой. Он в длиннополом сюртуке, в высоких сапогах и в цилиндре. Самоуверенною, спешною походкой поднялся он на мостик, протянул руку капитану, старшему штурману и вахтенному офицеру, сунул несколько новых газет и стал у компаса.

Между двумя вдавшимися мысами — небольшой пролив, называемый «Золотыми воротами» (Golden Gate). Корвет вошел в него и очутился в большом, глубоко вдавшемся за-

ливе, с несколькими на нем островами, среди зелени которых белели постройки. У входа в залив форты, защищающие вход, и из амбразур выглядывают орудия. Эти воинственные атрибуты обыкновенно мирного города объяснялись бывшей в то время междоусобной войной между северными и южными штатами за освобождение негров от невольничества[85]. Калифорнийцы были на стороне северян и зорко охраняли свой «Фриски» от набега какого-нибудь крейсера южан.

Отсалютовав американскому флагу и получив ответный салют, корвет, руководимый лоцманом, шел в глубину залива. Темное, большое серое облако, видневшееся вдали, указывало на близость города.

Володя не отрывал глаз.

Крутой поворот корвета вправо — и громадный город засверкал на солнце среди зелени садов и парков, в глубине бухты, с лесом мачт. Чем ближе подходил корвет, тем яснее вырисовывались красивые здания, раскинувшиеся по холмам, над которыми вдали возвышались пики гор.

На рейде и в гавани С.-Франциско была

масса судов всевозможных форм и конструкций, начиная с пузатого, неуклюжего «китобоя» и кончая длинными, стройными американскими быстроходными клиперами, которые, несмотря на то что они парусные, на срок возят грузы из Калифорнии в Китай и обратно. Несколько военных судов различных наций выделялись своим более изящным видом и выправленным рангоутом.

И что за оживление на рейде! Каждую минуту раздавались то пронзительные, то гудящие свистки с пароходов, пересекавших бухту в различных направлениях. Маленькие буксирные пароходики с сидящими в будках рулевыми, словно бешеные, снуют по рейду, предлагая свои услуги большим парусным кораблям, которые, несмотря на все поставленные паруса, еле подвигаются к выходу из залива, благодаря совсем тихому, еле дующему ветерку. Клубы дыма стелются над рейдом. Вот один пароход, так называемой американской конструкции, трехэтажный, весь белый, как снег, пролетел мимо корвета, полный пассажиров и пассажирок. С палубы несутся звуки музыки. Вот еще другой такой пароход,

третий... и опять музыка. Красивые яхты и шлюпки с парусами, окрашенными в разнообразные яркие цвета, то и дело проходят под носом или скользят сбоку корвета с катающимися мужчинами и дамами. Встречаются яхточки с одними дамами.

И над всей этой веселой оживленной картиной рейда — высокое, прозрачное голубое небо, откуда ласково светит солнце, заливая блеском и город, и бухту, и островки, и окружающие бухту возвышенности.

— Прелесть! — невольно шептал Володя.

Глядя на большой город, на лес мачт в гавани, на оживление рейда, на всю эту кипучую деятельность, он не верил своим глазам, не верил, что вся эта жизнь создавалась со сказочной быстротой. И он невольно вспомнил рассказы капитана-шведа, припоминал то, что читал о Калифорнии, и ему казалось невероятным, что всего лишь пятнадцать лет тому назад места эти были пустынно и безлюдны; тишина их нарушалась только криком белоснежных чаек, носившихся, как и теперь, над заливом, да разве выстрелами каких-нибудь смелых охотников-мексиканцев,

забредших в эти места.

— Из бухты вон, отдай якорь! — раздалась команда.

Корвет стоял недалеко от города.

Не прошло и пяти минут, как уже на корвет явились разные комиссионеры, поставщики, портные, китайцы-прачки, и весь стол кают-компании был завален объявлениями всевозможных магазинов. Не замедлили явиться и репортеры калифорнийских газет за сведениями. Они осматривали корвет во всех подробностях, расспрашивали о России, записали все фамилии офицеров и, выпив по бокалу шампанского, уехали.

На другое утро любезные американцы прислали всем именные билеты на право свободного входа во все клубы, библиотеки, музеи и т. д., а репортеры прислали номера газет, в которых были напечатаны подробные отчеты о корвете с более или менее правдоподобными сведениями о России и с перевранными фамилиями офицеров. Вообще, по случаю сочувственного отношения России к северянам, калифорнийцы встретили русских моряков очень тепло. Приглашения так и сы-

пались со всех сторон, и русские моряки были везде желанными гостями.

Это, однако же, не помешало появиться дня через два забавной карикатуре на русских моряков. Они представлялись входящими в магазин готового платья (конечно, адрес магазина и его владельца были пропечатаны самым крупным шрифтом) оборванными, в помятых шляпах и выходили оттуда щегольски одетыми с иголки франтами, в цилиндрах набекрень и с тросточками в руках. А внизу подпись: «Вот что значит побывать в знаменитом магазине готового платья Джеффри Уильстока и К°, Монгомерри Стрит, 14».

Когда кто-то из офицеров купил на улице за 5 центов карикатуру и привез в кают-компанию, все весело смеялись над рекламой, ловко придуманной по случаю прихода русского корвета Джеффри Уильстоком и К°, о магазине которого никто не имел ни малейшего понятия. Тем не менее по этому поводу приезжали представители двух влиятельных в С.-Франциско газет и просили не сердиться на эту глупую карикатуру-рекламу.

— Мы, американцы, любим рекламу и ши-

роко пользуемся ею, но, конечно, тогда, когда она не обидна ни для кого.

Разумеется, в кают-компании поспешили успокоить журналистов уверением, что никто не обиделся.

II

«Коршун» простоял в С.-Франциско более месяца, и все время стоянки было сплошным праздником для русских офицеров. Им давали обеды и от города, и в частных домах, их приглашали на пикники, на прогулки, на балы, которые сменялись один за другим. Они познакомились со многими семейными домами, и везде русских моряков принимали с радушием и гостеприимством, отличающими калифорнийцев; везде русский гость был предметом овации в благодарность за то, что Россия, готовящаяся освободить своих крепостных, протянула братскую руку северянам, освобождавшим негров.

Володя успел хорошо ознакомиться с городом и первое время с особенным интересом наблюдал американские нравы и на улицах, и в конках, и в ресторанах, и в театрах, пока не потерял своей головы и сердца в семье од-

ного почтенного доктора, черноглазая дочь которого, хорошенькая семнадцатилетняя мисс Клэр, являлась магнитом для Ашанина.

С первого же дня, как Володя съехал на берег и вместе с обычным своим спутником, доктором, осматривал город, его поразила не столько деятельная жизнь города — он ведь видел Лондон — и не громадные, многоэтажные отели, не роскошные здания школ и училищ, не невиданное прежде зрелище переносных деревянных домов, не роскошь парков, садов и извозчичьих колясок, — его поразили люди в Америке: их упорная энергия, независимость и какая-то лихорадочно торопливая жажда завоевать жизнь, несмотря ни на какие препятствия. Все это казалось Володе таким непохожим на то, что он видел на родине, точно он из сонного вялого царства перескочил прямо, так сказать, в трепещущую жизнь, к людям, полным сил, выносливости и какой-то необыкновенной энергии.

Эти качества сказывались и в лицах мужчин и женщин и даже детей, в их манерах, подчас резких и шокирующих европейца, в походке, нервной и торопливой, с какой аме-

риканцы ходят по улицам, обмениваясь со знакомыми на ходу лаконическими, как телеграмма, словами, и в этой простоте отношений, и в бесцеремонности, подчас наивной.

И Володя, проверяя все то, что читал об Америке и американцах, наблюдал их нравы, гуляя долгие часы по улицам и слушая уличных ораторов, выхваляющих новые бритвы и мозольные пластыри или призывающих сограждан в лоно такой-то секты, посещал митинги, бывал в камерах судей. Все его поражало. Многие нравились, но многое было несимпатичным — именно то всеобщее стремление к богатству во что бы то ни стало, которое, казалось, придавало всей жизни слишком низменный характер и оставляло слишком мало времени для духовных потребностей. Но люди как «характеры» приводили его в тот восторг, который потом словно бы оживал при чтении прелестных рассказов Брет Гарта.

В первый же день, как Володя съехал на берег и после прогулки по городу зашел в так называемый «устричный салон», то есть маленький ресторан, где специально ели устри-

цы и пили пиво, разносимое молодой чешской, — почти вся прислуга и в отелях и частных домах была в то время из представителей славянского племени (чехов) и чернокожих — и среди ряда стульев у столиков вместе с доктором за один столик, Володя просто-таки ошалел в первое мгновение, когда, опершись на спинку своего стула, увидел по бокам своей головы две широкие грязные подошвы сапог. Он обернулся, но какой-то приличный с вида господин, вытянувший ноги на спинку Володиного стула, не моргнув глазом, и Ашанин предпочел более не облакачиваться.

— Не ваша одна голова в рамке, — улыбнулся доктор. — Смотрите.

И действительно, несколько джентльменов бесцеремонно протянули ноги на чужие стулья. Потом к этим обычаям Ашанин привык, но в первый раз ему очень хотелось обидеться.

Но — боже! — как обидно было ему в тот же вечер в театре. Пела какая-то молодая красивая певица, и пела отлично, так что Ашанин был в восторге и мысленно был далек от

этой залы, где в задних рядах тоже бесцеремонно поднимались ноги на спинки чужих кресел, — как вдруг по окончании акта, когда певица, вызванная бурными рукоплесканиями, вышла на сцену, вместо букетов на сцену полетели монеты — и большие (в пять долларов), и доллары, и маленькие золотые... Американцы как-то ловко бросали их с ногтя большого пальца на далекое расстояние, и певица раскланивалась и собирала...

— Доктор! Да что же это? — воскликнул до глубины души возмущенный Ашанин.

— Америка! — смеясь ответил доктор.

— Да разве так можно оскорблять певицу?

— Как видите, она не только не оскорбляется, но очень рада... Такие нравы!

— Отвратительные нравы!

Вечер был испорчен, и та же самая певица — казалось теперь Володе пела уж не так и не уносила его своим пением в мир неопределенных грез и мечтаний.

И многое, очень многое оскорбляло подчас Володю.

Но зато каким ангелом показалась ему две недели спустя мисс Клэр, с которой он встре-

тился на балу и, представленный ей русским консулом, танцевал с нею все вальсы согласно обычаю американцев танцевать с одной и той же дамой все танцы, на которые она приглашена: с одной все кадрили, с другой все польки и т. д. Он решительно обомлел, пораженный ее красотой, и долгое время не находил слов в ответ на бойкие вопросы молодой американки, а после бала сочинял на корвете стихи, на другой день поехал с визитом к родителям мисс Клэр и затем зачастил, зачастил...

Его в доме обласкали, как родного, сама мисс Клэр что-то очень подробно стала спрашивать о России, о том, как там живут, о родных Володи.

И родители мисс Клэр испугались, что она может уехать в Россию... И Ашанин что-то часто говорил, что он скоро будет мичманом, и уж собирался сделать предложение, как, вовремя предупрежденный, хороший знакомый этой семьи, русский консул в свою очередь предупредил капитана, как бы молодой человек не свершил серьезной глупости.

И вот однажды, когда Володя, отстояв вах-

ту, собирался было ехать на берег, его потребовали к капитану.

— Садитесь, Ашанин, — по обыкновению приветливо проговорил капитан. Извините, что я вас потревожил... Вы, кажется, собирались на берег?

— Да, Василий Федорович...

— И... простите за нескромность... вероятно, к Макдональдам?

— Да, Василий Федорович, — отвечал Ашанин, краснея до корней волос.

— Вот по этому-то поводу я и хотел с вами поговорить — не как капитан, конечно, а как искренний ваш друг, желающий вам добра... Надеюсь, вы позволите коснуться щекотливой темы и дать вам маленький совет?

Еще бы не позволить ему, Василию Федоровичу! И Ашанин порывисто ответил:

— Я с благодарностью постараюсь исполнить всякий ваш совет, Василий Федорович.

— Ну, спасибо за доверенность... Так я вот какой вам дам дружеский совет; не бывайте слишком часто у Макдональдов.

Володя зарделся, как маков цвет. Он никак не ожидал, что его «тайна» известна кому-ни-

будь — недаром же он тщательно скрывал от всех свои частые посещения.

А капитан между тем продолжал, отводя взгляд от смущенного лица Ашанина:

— Я, конечно, не сомневаюсь, что вы ни на минуту не думали о женитьбе на хорошенькой мисс Клэр... Думать об этом в ваши годы, в семнадцать лет, было бы безумием... согласитесь. Впереди у вас еще целая жизнь... Перед вами служба... плавание... Вы имеете все данные быть дельным, образованным моряком... и вдруг все это променять на пару хорошеньких глаз?.. Не правда ли, смешно?.. А слишком частые посещения ваши могут, пожалуй, внушить молодой девушке, что вы совсем потеряли голову и имеете серьезные намерения жениться на ней, когда будете мичманом. А вы не имеете, да и не можете иметь таких намерений.

Володя совсем растерялся. Именно он их имел, но после слов капитана ему совестно было в этом признаться.

— Совсем перестану бывать у Макдональдов! — с отвагой отчаяния произнес он.

— Отчего же? Изредка навещайте... За что

быть невежливым с людьми, которые вас обласкали... Непременно побывайте, но только... Ну, да вы понимаете...

И, пожав руку Ашанину, капитан прибавил:

— Вероятно, скоро придет приказ о вашем производстве, и вы будете стоять офицерскую вахту...

Тем не менее в первые дни после этого разговора С.-Франциско потерял в глазах Володи всю свою прелесть, и он целую неделю не съезжал на берег.

Наконец не выдержал, и первый визит его был к Макдональдам.

Толстая негритянка, отворившая ему двери, ласково улыбаясь своими большими глазами, объявила, что мистрис и мистера нет дома.

— А мисс Клэр?

— Мисс вчера уехала из города.

— Уехала? Куда?

— О, далеко, мистер, на север, к тетке — погостить на месяц... А вы что же долго не были?

Володя отошел от подъезда с поникшей го-

ловой. Медленно шагал он по тротуару, грустный и обиженный, что мисс Клэр уехала и даже не простилась. Занятый этими мыслями, он как-то невольно вслух обмолвился словом досады.

— Мое нижайшее почтение, ваше благородие! — раздалось вдруг около него по-русски.

Володя поднял голову и увидел перед собой молодого человека лет тридцати, в черном сюртуке, поверх которого был передник, в чистом белье и цилиндре, держащего в руке трубку, из которой струя воды обливала улицы. Это был поливальщик улиц, и с первого взгляда Володя принял его за американца.

— Вы говорите по-русски?

— Как же не говорить, коли я русский, ваше благородие, — радостно улыбаясь, говорил незнакомец, заворачивая кран водопроводной трубы и вытряхивая трубку. — Коренной русский, Иван Рябков, а по-здешнему так Джон Ряб... Так и зовут меня: Ряб да Ряб вместо Рябкова... Очень уж обрадовался, услышав русское слово... Давно не слышал.

— Да вы как же попали в Америку?

— Не обессудьте, ваше благородие. Два го-

да тому назад бежал с клипера «Пластуна»... Очень уж боем обижал капитан. Может, слышали барона Шлигу?

— Вы были матросом?

— Точно так, ваше благородие. Фор-марсовым.

— Ну, и что же... хорошо вам здесь?

— Очень даже хорошо, ваше благородие... По крайности я вольный человек, и никто меня по здешним правам не смеет вдарить. Сам по себе господин... И зарабатываю, слава богу! Вот за это самое занятие три доллара в день платят, а как скоплю денег, так я другим делом займусь. Очень я здесь доволен, ваше благородие; вот только по России иной раз заскучишь, так и полетел бы на родную сторону... Ну, да что делать... Нарушил присягу, так придется в американцах оставаться...

— Вы, конечно, научились по-английски?

— А то как же? В полном аккурате могу говорить. За два года-то выучился... А вы, должно, с конверта «Коршуна?»

— Да.

— То-то в газетах читал. Очень даже хорошо принимают здесь русских... Страсть мне

хочется повидать землячков, ваше благородие. Уж я по вечерам, когда должность свою отправлю, несколько раз ходил в гавань, думал, встречу матросиков, да все как-то не приходилось...

— А отчего вы не приедете на корвет?

— Боюсь, ваше благородие, как бы не задержали да не отправили в Россию... А там за мое бегство не похвалят, небось...

— Все-таки приходите на пристань. Завтра после полудня команду спустят на берег... Прощайте, Рябков. Дай вам бог счастья на чужбине! — проговорил Володя.

— Спасибо на ласковом слове, ваше благородие! — с чувством отвечал Рябков. — Счастливого оставаться!..

И он снова стал поливать улицу.

* * *

Прошла еще неделя, и образ мисс Клэр понемногу затягивался дымкой. Новые встречи и новые впечатления охватили юного моряка, нетерпеливо ждавшего приказа о производстве в гардемарины и обещанной капитаном офицерской вахты. А пока он, в числе нескольких офицеров, принимал деятельное

участие в приготовлениях к балу-пикнику, который собирались дать русские моряки в ответ на балы и обеды радушных и милых калифорнийцев. Предполагалось пригласить гостей на целый день: сходить на корвете на один из островов и к вечеру вернуться.

Приглашенных было множество, и все американцы, и в особенности американки, с нетерпением ждали дня этого, как они называют, «экскуршен» (экскурсия) и изготовляли новые костюмы, чтобы блеснуть перед русскими офицерами.

Володя часто ездил к консулу справляться, нет ли на его имя письма, ожидая найти в нем приказ и быть на балу в красивой гардемаринской форме с аксельбантами; но хотя письма и получались, и он радовался, читая весточки от своих, но желанного приказа все не было, и, к большой досаде, ему пришлось быть на балу в кадетском мундирчике.

Бал-пикник удался на славу.

К назначенному дню все приготовления были окончены, и палуба корвета, от кормы до грот-мачты, представляла собой изящную залу-палатку, украшенную по бортам красиво

повешенными ружьями, палашами и топорами, перевитыми массой зелени и цветов. Сверху был тент из разнообразных флагов. Орудия были убраны, и для танцев оставалось широкое пространство. Кают-компания и капитанская каюта были обращены в столовые, и столы с вазами цветов были уставлены разнообразными закусками и яствами и бутылками. Фруктовый буфет был в гардемаринской каюте, и несколько офицерских кают были обращены в прелестные дамские уборные.

Главный распорядитель, лейтенант Невзоров, хлопотавший несколько дней, вызывал общие похвалы. Все находили, что корвет убран изящно и что «Коршун» не ударит лицом в грязь.

С одиннадцати часов чудного, почти летнего дня все шлюпки «Коршуна» были на пристани и привозили гостей. Многие приезжали и на своих шлюпках. При входе на палубу каждой даме вручался букетик, перевитый белыми и голубыми лентами (цвета русского военного флага). К двенадцати часам палуба корвета была полна разряженными дамами и

мужчинами, в числе которых были и губернатор штата, и шериф, и все почетные лица города. Но дам, и особенно молодых, было больше, и каждому из офицеров приходилось водить целую группу дам, показывая им корвет.

После роскошного завтрака, с обильно лившимся шампанским и, как водится, со спичками, корвет тихо тронулся из залива, и на палубе раздались звуки бального оркестра, расположенного за грот-мачтой. Тотчас же все выбежали наверх, а палуба покрылась парами, которые кружились в вальсе. Володя добросовестно исполнял свой долг и танцевал без устали то с одной, то с другой, то с третьей и, надо признаться, в этот день ни разу даже не вспомнил о мисс Клэр, хотя отец ее, доктор, и был на корвете.

Часа через полтора корвет пристал к зеленому острову, прямо к берегу, вблизи которого был большой барак, нанятый и приготовленный для пикника. Музыканты перешли первые, а за ними вся молодежь, и тотчас же возобновились танцы, танцевали до семи часов, гуляли, бегали по острову, а в семь часов, вернувшись на корвет, сели за столы, устав-

ленные на палубе, ярко освещенные фонарями и разноцветными фонариками, и сели обедать... Тостам в честь американцев и русских не было конца, и когда корвет возвратился в десять часов на рейд, столы были убраны и снова танцевали... Только в третьем часу разъехались гости, рассыпаясь в благодарности за радушный прием и блестящий бал.

Нечего и прибавлять, что в этот день русские и американцы наговорили друг другу много самых приятных вещей, и Володя на другой день, поздно проснувшись, увидел у себя на столике пять женских перчаток и множество ленточек разных цветов, подаренных ему на память, и вспомнил, как он горячо целовался с почтенным шерифом и двумя репортерами, когда пил вместе с ними шампанское в честь освобождения негров и в честь полной свободы во всем мире.

Такие же атрибуты, то есть перчатки и ленточки, были в каютах и у других молодых офицеров и гардемарин, и подобные же воспоминания о поцелуях и тостах проносились и в их головах.

III

Счастливая стоянка в С.-Франциско близилась к концу. Все делали прощальные визиты — через три дня «Коршун» собирался уходить; а между тем на корвете не досчитывались одного матроса — забулдыги и пьяницы Ковшикова, который, съехавши с первой вахтой на берег, не явился и словно бы в воду канул, несмотря на энергические розыски консула и полиции.

Многие были уверены, что Ковшиков дезертировал, но капитан отрицал такое предположение.

— Зачем ему бежать? У нас матросам, кажется, недурно живется, и я почти уверен, что никто не захочет убежать. Вернее, что его напоили, свезли куда-нибудь ночью на купеческий корабль, и он проснулся в океане среди чужих людей невольным матросом чужого судна. Жаль беднягу...

Оставалось два дня до отхода, как вдруг рано утром на корвет приезжает Ковшиков в отчаянном оборванном виде, бледный, изможденный... При виде «Коршуна», при виде товарищей он заплакал от радости...

— Вызволил-таки господь, братцы... Довелось своих повидать, а то я думал, совсем пропаду, — взволнованно говорил он.

Все обрадовались возвращению Ковшикова. Предположения капитана оказались верными — Ковшиков и не думал бежать.

Вот что рассказывал он капитану о своих злоключениях:

— Зашел я это, вашескобродие, в салун виски выпить, как ко мне увязались трое мериканцев и стали угощать... «Фрейнд», говорят... Ну, я, виноват, вашескобродие, предела не упомянул и помню только, что был пьян. А дальше проснулся я, вашескобродие, на купеческом бриге в море, значит, промеж чужих людей и почти голый, с позволения сказать... И такая меня тоска взяла, вашескобродие, что и обсказать никак невозможно. А только понял я из ихнего разговора, что бриг идет в Африку.

— Как же ты ушел с судна?

— А я, вашескобродие, на отчаянность пошел. Думаю: пропаду или доберусь до своих и явлюсь на корвет, чтобы не было подозрения, что я нарушил присягу и бежал... Увидал я,

значит, раз, что близко судно идет, близко так, я перекрестился да незаметно и бултых в море... На судне, значит, увидали и подняли из воды. На счастье оно шло сюда, и сегодня, как мы пришли, отвезли меня на корвет... Извольте допросить французов.

Действительно, два француза-гребца на шлюпке подтвердили, что подняли Ковшикова из воды.

— Хоть ты и виноват, а все-таки молодец, Ковшиков... Надеюсь, вперед не будешь напиваться до бесчувствия, а то во второй раз не так-то легко выпутаешься из беды... Ну, ступай, да оденься, как следует.

— В рот больше не возьму этой водки, вашескобродие! — говорил Ковшиков, несколько удивленный, что ему не вышло никакого наказания.

Накануне ухода из С.-Франциско на «Коршуне» праздновали годовщину выхода из Кронштадта, и в этот день капитан был приглашен обедать в кают-компанию. Перед самым обедом Володя получил письмо от дяди-адмирала и приказ о производстве его в гардемарины. Он тотчас же оделся в новую

форму и встречен был общими поздравлениями. За обедом капитан предложил тост за нового гардемарина и просил старшего офицера назначить его начальником шестой вахты.

Володя сиял от удовольствия и в тот же вечер получил от ревизора кучу денег.

А на другой день, когда корвет уже был далеко от С.-Франциско, Ашанин первый раз вступил на офицерскую вахту с 8 до 12 ночи и, гордый новой и ответственной обязанностью, зорко и внимательно посматривал и на горизонт, и на паруса и все представлял себе опасности: то ему казалось, что брам-стенги гнутся и надо убрать брамсели, то ему мерещились в темноте ночи впереди огоньки встречного судна, то казалось, что на горизонте чернеет шквалистое облачко, — и он нервно и слишком громко командовал: «на марс-фалах стоять!» или «вперед смотреть!», посылая за капитаном и смущался, что напрасно его беспокоил.

Но капитан ободрял новичка ласковым словом и велел будить себя, не стесняясь, при каждом сомнительном случае.

— Лучше грешить осторожностью, чем

быть беспечным или самонадеянным... Ведь вам, как вахтенному начальнику, доверена жизнь всех людей на корвете, прибавил капитан.

И Володя, сознававший всю святость долга, лежащего на нем, был весь внимание.

К концу вахты, после того как он вовремя убрал брамсели вследствие засвежевшего ветра, за что получил одобрение капитана, Ашанин уже несколько свыкся с новым своим положением и волновался менее. Когда в полночь его сменил начальник первой вахты и, взглянув на паруса, нашел, что они стоят превосходно, Володя был очень польщен и спустился в свою каюту, как бы нравственно возмужавший от сознания новых своих обязанностей.

Лежа в койке, он долго еще думал о том, как бы оправдать доверие Василия Федоровича, быть безукоризненным служакой и вообще быть похожим на него. И он чувствовал, что серьезно любит и море, и службу, и «Коршуна», и капитана, и товарищей, и матросов. За этот год он привязался к матросам и многому у них научился, главное — той простоте

отношений и той своеобразной гуманной морали, полной прощения и любви, которая поражала его в людях, жизнь которых была не из легких.

И Ашанин заснул, полный бодрости и надежд на будущее... Еще два года, и он мичманом и лихим моряком вернется домой к своим горячо любимым родным и за самоваром будет рассказывать им о всем том, что пережил, что перевидал...

Часть вторая

Глава первая В Тихом океане

I

Великий, или Тихий, океан этот раз словно бы хотел оправдать свое название, которое совершенно несправедливо дали ему моряки-португальцы, впервые побывавшие в нем и не встретившие ни разу бурь. Обрадованные, они легкомысленно окрестили его кличкой «Тихого», остающейся за ним и поныне, но уже никого не вводящей в заблуждение, так как этот океан давным-давно доказал неверность слишком торопливой характери-

стики, сделанной первыми мореплавателями, которые случайно застали старика в добром расположении духа.

Моряки «Коршуна», знавшие, какой это коварный «тихоня», и познакомившиеся уже с ним на переходе из Печелийского залива в С.-Франциско, тем не менее были им теперь решительно очарованы. Не знай они его коварства, то, пожалуй, и русские моряки «Коршуна», подобно португальским морякам, назвали бы его тихим.

Еще бы не назвать!

Во все время плавания от берегов Калифорнии до Гонолулу — столицы Гавайского королевства на Сандвичевых[86] островах — океан был необыкновенно милостив и любезен и рокотал, переливаясь своими могучими темно-синими волнами, тихо и ласково, словно бы добрый дедушка, напевающий однообразно-ласкающий мотив. Ни разу он не изменял ему, не разразился бешеным воем шторма или урагана и не бил в слепой ярости бока корвета, пытаясь его поглотить в своей бездне.

И солнце, ослепительно яркое, каждый

день приветливо смотрит с голубой высокой прозрачной выси, по которой стелются белые, как только что павший снег, кудрявые, причудливо узорчатые перистые облачка. Они быстро движутся, нагоняют друг друга, чтобы удивить наблюдателя прелестью какой-нибудь фантастической фигуры или волшебного пейзажа, и снова разрываются и одиноко несутся дальше.

Горячие лучи солнца переливаются на вершухах волн золотистым блеском, заливают часть горизонта, где порой белеют в виде маленьких точек паруса кораблей, и играют на палубе «Коршуна», нежа и лаская моряков. Ровный норд-ост и влага океана умеряют солнечную теплоту. Томительного зноя нет; дышится легко, чувствуется привольно среди этой громадной волнистой морской равнины.

И «Коршун», слегка и плавно раскачиваясь, несет на себе все паруса, какие только у него есть, и с ровным попутным ветром, дующим почти в корму, бежит себе узлов[87] по девяти, по десяти в час, радуя своих обитателей хорошим ходом.

Степан Ильич особенно доволен, что «сол-

нышко», как нежно он его называет, всегда на месте и не прячется за облака. И не потому только рад он ему, что не чувствует приступов ревматизма, а главным образом потому, что можно ежедневно делать наблюдения, брать высоты солнца и точно знать в каждый полдень широту и долготу места корвета и верное пройденное расстояние.

И он все время находится в отличном расположении духа — не то что во время плавания у берегов или в пасмурную погоду; он не ворчит, порою шутит, посвистывает, находясь наверху, себе под нос какой-то веселый мотивчик и по вечерам, за чаем, случается, рассказывает, по настоятельной просьбе молодежи, какой-нибудь эпизод из своих многочисленных плаваний по разным морям и океанам. Много на своем веку повидал Степан Ильич, и его рассказы, правдивые и потому всегда необыкновенно простые, интересны и поучительны, и молодежь жадно внимает им и остерегается перебивать Степана Ильича, зная, что он в таком случае обидится и перестанет рассказывать.

Старый штурман любил молодежь и снис-

ходительно слушал ее даже и тогда, когда она, по его мнению, «завиралась», то есть высказывала такие взгляды, которые ему, как старику, служаке старого николаевского времени, казались чересчур уже крайними.

И хотя Ашанин тоже нередко «завирался», и даже более других, объясняя старому штурману, что в будущем не будет ни войн, ни междоусобиц, ни богатых, ни бедных, ни титулов, ни отличий, тем не менее он пользовался особенным расположением Степана Ильича — и за то, что отлично, не хуже штурмана, брал высоты и делал вычисления, и за то, что был исправный и добросовестный служака и не «зевал» на вахте, и за то, что не лодырь и не белоручка и, видимо, рассчитывает на себя, а не на протекцию дяди-адмирала.

«Маменькиных сынков» и «белоручек», спустя рукава относящихся к службе и надеющихся на связи, чтобы сделать карьеру, Степан Ильич терпеть не мог и называл почему-то таких молодых людей «мамзелями», считая эту кличку чем-то весьма унижительным.

— Есть-таки и во флоте такие мамзели-с, —

говорил иногда ворчливо Степан Ильич, прибавляя к словам «ерсы». — Маменька там адмиральша-с, бабушка княгиня-с, так он и думает, что он мамзель-с и ему всякие чины да отличия за лодырство следуют... Небось, видели флаг-офицера при адмирале? Егозит и больше ничего, совершенно невежественный офицер, а его за уши вытянут... эту мамзель... Как же-с, нельзя, племянничек важной персоны... тьфу!

И старик, сердито крикнув, умолкал и неистово курил папироску, не замечая, что Ашанин любуется им, радостно слушая эти слова и мысленно давая себе зарок никогда не пользоваться протекцией.

Расположение Степана Ильича к Ашанину выражалось в нередких приглашениях «покалякать» к себе в каюту, что считалось знаком большой милости, особенно для такого юнца. И там старик и юноша спорили и, несмотря на то что никак не могли согласиться друг с другом насчет «будущего», все более и более привязывались друг к другу. Старику нравилась горячая, светлая вера юнца, а Володя невольно проникался уважением к этому

скромному рыцарю долга, к этому вечному труженику, труды которого даже и не вознаграждаются, к этому добряку, несмотря на часто напускаемую им на себя личину суровости. И Володя всегда охотно откликался на зов Степана Ильича, а гостеприимный старый штурман всегда предлагал какое-нибудь угощение: или стаканчик эля, до которого он сам был большой охотник, или чего-нибудь сладенького, к которому Володя, в свою очередь, был далеко не равнодушен и давным-давно проел и проугощал изрядный запас варенья, которым снабдила его мать. А у Степана Ильича еще сохранилось вкусное русское варенье, которым он нередко угощал Володю в своей аккуратно прибранной, чистой, уютной каюте, с образком Николая Чудотворца в уголке и фотографиями жены и взрослых детей над койкой, где все было как-то особенно умело приспособлено и где пахло запахом самого Степана Ильича — табаком и еще чем-то неуловимым, но приятным.

После капитана старый штурман и доктор пользовались самым большим уважением Ашанина. Нравились Володе и мичман Лопат-

тин, жизнерадостный, веселый, с открытой, прямой душой, и старший офицер, как ретивый служака и добрый человек, и мистер Кенеди, и лейтенант Невзоров, меланхолический блондин, сильно грустивший о своей молодой жене. К остальным офицерам Володя был равнодушен, а к двоим — к ревизору, лейтенанту Первушину, и старшему артиллеристу — питал даже не особенно дружелюбные чувства, главным образом за то, что они дантисты и, несмотря на обещание, данное капитану, дерутся и, видимо, не сочувствуют его гуманным стремлениям просветить матроса. И если бы не капитан, то они еще не так бы дрались. Недаром же обоих их матросы называют «мордобоями» и не любят их, особенно артиллериста, который, сам выслужившись из кантонистов, отвратительно обращался с нижними чинами.

Среди гардемарин у Ашанина был большой приятель — Иволгин, красивый брюнет, живой увлекающийся сангвиник, несколько легкомысленный и изменчивый, но с добрым отзывчивым сердцем. С ним они нередко читали вместе и спорили. Но в Печелийском за-

ливе Иволгин и еще один гардемарин были переведены на клипер, где недоставало офицеров. На корвете остались Кошкин и Быков и два кондуктора-штурмана.

Володя, давно уже перебравшийся от бабюшки Спиридония в гардемаринскую каюту, где теперь было просторно, жил мирно со своими сожителями, но близко ни с кем из них не сошелся и друга не имел, которому бы изливал все свои помыслы, надеясь на сочувствие, и потому он писал огромные письма домой, в которых обнажал свою душу.

С тех пор как число гардемаринов уменьшилось, они и кондукторы, по предложению капитана, пили чай, обедали и ужинали в кают-компании, сделавшись ее равноправными членами. Случалось иногда, что между молодежью и «ретроградами» происходили стычки, грозившие принять острый характер, если бы Андрей Николаевич, как старший член кают-компаний, с присущим ему тактом не давал разгораться страстям, останавливая споры о щекотливых вопросах служебной этики, раздражавших дантистов, в самом начале. И мало-помалу обе враждующие партии

перестали касаться этих вопросов, и, таким образом, мир в кают-компании не нарушался даже и на длинном переходе.

Занятия с матросами продолжались по-прежнему. Успехи бросались в глаза. В год почти все матросы, за исключением нескольких, не желавших учиться, умели читать и писать, знали четыре правила арифметики и имели некоторые понятия из русской истории и географии — преимущественно о тех странах, которые посещал корвет. Они с охотой продолжали слушать чтения гардемарин и кондукторов, и для многих из них книжка теперь была потребностью. Экзамен, сделанный капитаном вскоре по выходе из С.-Франциско, видимо, порадовал капитана, и он горячо благодарил молодых людей, учителей, за сделанные учениками успехи.

Почти всегда занятый то службой, то чтением, то с матросами, Володя как-то втянулся в занятия и благодаря этому не чувствовал однообразия судовой жизни и не скучал на длинном переходе. В свободные вечера, когда не нужно было высыпаться перед ночными вахтами, он после чая довольно часто беседо-

вал с мистером Кенеди, и не только ради практики в английском языке. Они сошлись, и Володе был очень симпатичен этот образованный, милый и умный молодой ирландец, который, несмотря на молодость, пережил много тяжелого в жизни. Но лишения и даже нужда, испытанные им в первые годы после окончания курса, не озлобили его, как это часто бывает, против людей. Он оставался верующим энтузиастом и ирландским патриотом и недолюбливал англичан.

Нередко в чудные теплые ночи вели они долгие разговоры и, отрываясь от них, чтобы полюбоваться прелестью притихшего океана, серебрившегося под томным светом луны, и прелестью неба, словно усыпанного брильянтами, вновь возобновляли беседу и в конце концов оба приходили к заключению, что во всяком случае на земле наступит торжество правды и разума.

Мистер Кенеди надеялся, что Ирландия освободится из-под английского ига, а Володя верил горячей верой семнадцатилетнего юнца, что всем обездоленным на свете будет лучше. После такого решения они расходились.

лись по каютам, чтобы лечь спать.

II

Утро, по обыкновению, было прелестное. Только что пробило четыре склянки — десять часов.

Ашанин, стоявший на вахте с восьми часов до полудня, свежий, румяный и несколько серьезный, одетый весь в белое, ходил взад и вперед по мостику, внимательно и озабоченно поглядывая то на паруса — хорошо ли стоят они и вытянуты ли до места шкоты[88], то на горизонт — чист ли он и нет ли где подозрительного серого шквалистого облачка, то останавливался у компаса взглянуть, правильно ли по назначенному румбу правят рулевые. Каждую склянку, то есть полчаса, сигнальщик уходил бросать с подручными лаг и неизменно докладывал Ашанину, что хода девять узлов.

Обычная утренняя чистка давно была окончена, подвахтенные матросы были разведены по работам: кто плел веревки, кто чинил паруса, кто скоблил шлюпки, кто смолил новые блочки, кто щипал пеньку, кто учился бросать лот[89], и почти каждый из матросов,

занимаясь своим делом, мурлыкал про себя заунывный мотив какой-нибудь песенки, напоминавшей далекую родину.

В машине тоже шла работа. В открытый люк доносился стук молотков и лязг пилы. Вымытые, чистые кочегары весело перебрасываются словами, пересматривая колосники в топках.

Теперь им раздолье — корвет уж десять дней идет под парусами, и они отдыхают от своей, воистину тяжелой, работы у жерла топок в раскаленной атмосфере кочегарной, которую они, смеясь, называют «преисподней». Особенно тяжело им в жарком климате, где никакие виндзейли[90] не дают тяги, и кочегары, совсем голые, задыхаясь от пекла и обливаясь потом, делают свое тяжелое дело и нередко падают без чувств и приходят в себя уж на палубе, где их обливают водой. Более двух часов вахты они не выдерживают в южных широтах.

Зато как они довольны, когда дует ветер и корвет идет под парусами. Дела им почти никакого — только во время авралов, то есть работ, требующих присутствия всего экипажа,

они должны выбежать наверх и помогать «трекать» (тянуть) снасти, исполняя роль мускульной силы, да во время некоторых учений. В кочегары преимущественно выбирают крепкие, выносливые люди из новобранцев флота, и служба их хотя и тяжелая, все-таки не такая, полная опасностей и риска, как служба матроса, и потому новобранцы очень довольны, когда их назначают кочегарами.

Все офицеры в кают-компании или по каютам, Степан Ильич со своим помощником и вахтенный офицер, стоявший вахту с 4 до 8 часов утра, делают вычисления; доктор, осмотревший еще до 8 ч. несколько человек слегка больных и освободивший их от работ на день, по обыкновению, читает. В открытый люк капитанской каюты, прикрытый флагом, видна фигура капитана, склонившаяся над книгой.

Из кают-компании долетают разговоры и звуки игры на фортепиано мистера Кенеди. Он любит играть и играет недурно. Один только старший офицер, хлопотун и суета, умеющий из всякого пустяка создать дело, по

обыкновенно, носится по корвету, появляясь то тут, то там, то внизу, то на палубе, отдавая приказанья боцманам, останавливаясь около работающих матросов и разглядывая то блок, то сплетенную веревку, то плотничью работу, и спускается в кают-компанию, чтобы выкурить папироску, бросить одно-другое слово и снова выбежать наверх и суесться, радея о любимом своем «Коршуне».

Володя уже не испытывал волнения первых дней своего нового положения в качестве вахтенного начальника. Уж он несколько привык, уж он раз встретил шквал и управился, как следует: вовремя увидал на горизонте маленькое серое пятнышко и вовремя убрал паруса, вызвав одобрение капитана. Ночью ему пришлось расходиться огнями со встречным судном, проходившим очень близко, и тут он не сплюшал. Теперь уж он не беспокоил из-за всяких пустяков капитана, различая важное от неважного и умея принимать быстрые решения.

— Ваше благородие, будто островок справа видать! — доложил ему сигнальщик.

Ашанин взглянул в бинокль. Действитель-

но, малое серое пятно острова виднелось на горизонте.

— Поди доложи капитану и старшему штурману, что остров виден.

Через минуту на мостик поднялись капитан и Степан Ильич.

— Видно, нас течением подало, Степан Ильич, — заметил капитан. Курс-то был проложен так, что острова не следовало увидеть...

— То-то и я удивился... Конечно, течением миль на десять сбило, отвечал штурман.

— Ну, да это все равно... Океан ведь не Финский залив, — засмеялся Василий Федорович и, обращаясь к Ашанину, прибавил: — а вы знаете, Ашанин, как называется этот маленький необитаемый островок?

— Нет, Василий Федорович.

— Именем вашего дядюшки, открывшего этот островок в 1824 году, когда он на шлюпе «Верном» шел из Ситаи на Сандвичевы острова... Он вам никогда об этом не говорил? Да и я ничего не знал и только что сейчас прочел в английской лоции... Вероятно, и ваш дядюшка не знает, что его именем назван островок в

английских лоциях... Напишите же вашему дядюшке об этом и скажите, что мы проходили мимо этого островка...

— Когда-нибудь и вы откроете новый остров какойнибудь, — шутливо проговорил Степан Ильич, обращаясь к Ашанину.

— Теперь уж нечего открывать: все открыто, Степан Ильич.

— Ну, не говорите этого, — вступился капитан. Моря у северного и в особенности у южного полюсов далеко не исследованы и сулят еще много открытий. Да и наши моря на Дальнем Востоке разве описаны как следует? Не правда ли, Степан Ильич? Вы ведь плавали в Охотском море?

— Как же-с, плавал, и мы чуть не разбили шхуну из-за неверности наших карт.

— И здесь еще возможно набрести на какойнибудь остров вулканического происхождения, выброшенный на поверхность воды.

— А затем ураган перенесет на такую скалу семена и цветочную пыль с ближайшего материка или острова и, смотришь, через десяток лет островок покроется зеленью! — добавил старый штурман. — Однако мне пора

дело кончать... Вот в полдень узнаем, сколько течением отнесло нас к осту, заметил Степан Ильич и, несмотря на свои почтенные годы — он говорил, что ему пятьдесят пять, но, кажется, чуть-чуть убавлял — сбежал с мостика с легкостью молодого мичмана.

Скоро ушел и капитан, приказав Володе не забыть занести в шканечный журнал о том, что «Коршун» проходил мимо острова капитана Ашанина, и Володя, взглянув еще раз на «дядин» остров, вспомнил милого, доброго старика, которому так обязана вся его семья, и представлял себе, как обрадуется дядя-адмирал, узнавши, что в английских лоциях упоминается об островке его имени.

Время приближалось к одиннадцати часам, к концу работ, как вдруг со шканцев раздался чей-то отчаянный голос:

— Человек за бортом!

И в ту же секунду несколько тревожных голосов повторило тот же страшный окрик:

— Человек за бортом!

Ашанин почти одновременно с криком увидал уже сзади мелькнувшую фигуру матроса, упавшего со шлюпки, и буюк, брошен-

ный с кормы. Он успел бросить в воду спасательный круг, висевший на мостике, и, внезапно побледневший, охваченный ужасом, дрожащим от волнения голосом крикнул во всю мочь здоровых своих легких:

— Всех наверх в дрейф[91] ложиться! Топселя[92] долой! Фок и грот на гитовы[93]! Баркас к спуску!

Капитан, старший офицер и все офицеры стремглав выскочили наверх, услышав взволнованно-громкую команду Ашанина. Взоры всех устремились за корму. Среди белой пенистой ленты, оставляемой ходом корвета, виднелась голова человека на поверхности волн и тотчас же исчезла из глаз. Тем временем Степан Ильич успел запеленговать[94] направление, в котором был виден человек.

Нервным, громким, отрывистым голосом командовал старший офицер, продолжая начатые Ашаниным распоряжения к маневру, называемому на морском языке «лечь в дрейф», то есть поставить судно почти в неподвижное положение.

Матросы работали, как бешеные, понимая, как дорога каждая секунда, и не прошло со

времени падения человека за борт пяти-шести минут, как «Коршун» почти неподвижно покачивался на океанской зыби, и баркас, вполне снаряженный, полный гребцов, с мичманом Лопатиным на руле, спускался на шлюпочных таях на воду.

Но в эти пять-шесть минут корвет успел отойти на целую милю, и за кормой ничего не было видно, кроме плавно вздымающихся и опускающихся волн.

— Держите на SSW! — крикнул с борта Лопатину Степан Ильич.

— С богом! Постарайтесь отыскать и спасти человека! — говорил капитан и снова приставил бинокль к глазам, стараясь разглядеть в волнах упавшего. Кто это упал за борт, Андрей Николаевич? — спрашивал он, не отрывая глаз от бинокля.

— Артемьев... Скоблил шлюпку... Верно, перегнулся и упал.

Несколько десятков биноклей было обращено по направлению, в котором должен был находиться упавший, но все молчали. Никто не хотел первый сказать, что не видать матроса.

На палубе царило гробовое угрюмое молчание. Матросы толпились на юте, взлезали на ванты и напряженно и сердито глядели на океан. Каждый из них, быть может, думал, что и ему возможно очутиться в океане и погибнуть, а русский человек, храбро умирающий на земле, очень боится перспективы быть погребенным в морской бездне и съеденным акулами. И многие снимают шапки и крестятся. По всем этим загорелым сурово-напряженным лицам видно, что матросы уже считают Артемьева погибшим и не надеются на спасение. Еще поймал ли он круг? И хорошо ли плавает? Да и как поплывешь при такой волне?

Но никто не решается высказать свои мрачные опасения по какому-то общему всякой толпе чувству деликатности в подобных случаях. Только молодой первогодок, круглолицый матросик с глуповатым выражением своих больших добрых тюленьих глаз, громко говорит, обращаясь к Бастрюкову:

— А ведь не найдут, Михаила Иваныч. Наверно, Артемьев уже ко дну пошел!.. Бедный! — жалобно проговорил он.

— А ты почему знаешь, что не найдут? Не знаешь, так попусту и не мели языком! — внушительно проговорил Бастрюков.

И, заметив, что молодой матросик совсем смутился, получив в ответ на свое простодушное излияние такой строгий окрик, Бастрюков проговорил уже обычным своим мягким и добродушным тоном:

— А может, бог даст, и разыщут. Мичман Лопатин башковатый человек и знает, где искать... А Артемьев, небось, не дурак — не станет против волны плыть... Он лег себе на спину, да и ждет помощи с корвета. Знает, что свои не оставят... А как увидит баркас, голосом крикнет или какой знак подаст... Тоже у нас вот на «Кобчике» один матросик сорвался и на ходу упал... Так волна куда сильнее была, а вызволил господь — спасли. И акул-рыба не съела! Вот видишь ли, матросик. А ты говоришь: не найдут. Еще как ловко найдут!

Этот покойно-уверенный тон, звучащий надеждой, действует на матросов гораздо успокоительнее, чем слова Бастрюкова о башковатости мичмана Лопатина и чем рассказанный факт спасения матроса с «Кобчика». И

вера Бастрюкова в спасение, как бы вытекающая из его любви к людям, невольно передается и другим; многие, только что думавшие, как и первогодок-матросик, что Артемьев уже потонул, теперь стали повторять слова Бастрюкова.

Между тем баркас, ныряя между волн, ходко шел вперед, удаляясь от корвета. Гребцы наваливались изо всех сил, так что пот градом катил с их раскрасневшихся лиц.

Цепко ухватившись за румпель руля, Лопатин с напряженным вниманием, прерывисто дыша, смотрит перед собой, направляя баркас в разрез волне. Подавшись всем корпусом вперед, точно этим положением ускорялось движение шлюпки, он всей фигурой своей и возбужденным лицом с лихорадочно блестящими глазами олицетворял нетерпение. Он обернулся: корвет уже казался маленьким суденышком, точно от него отделяло необыкновенно большое пространство, а не верста или полторы. Он взглянул на компас и умоляющим голосом произнес:

— Милые... голубчики... теперь должно быть близко... Навались!

Теперь он привстал и, еле держась на ногах на стремительно качающейся шлюпке, оглядывал океан и прислушивался.

Ничего не видно. Ничего не слышно, кроме гула перекатывавшихся волн.

— Артемьев! О-о-о-о! Артемьев! — надсаживался молодой мичман, весь поглощенный в эту минуту одной мыслью: найти и спасти Артемьева.

Ни звука в ответ. Только рокочут волны.

— Бук, ваше благородие! — вскрикивает матрос.

Баркас гребет к буйку. Увы! он одиноко качается на волнах.

— Он тут где-нибудь поблизости, ребята... Бог даст, спасательный круг у него... Смотри, не видать ли?..

Вдруг на лице Лопатина безумная радость.

— Ребята, навались... Он здесь... Он машет рукой... Гляди... Братушки, навались!

Еще несколько дружных гребков весел — и баркас подплывает к Артемьеву, который, словно бутылка, вертелся в волнах.

— Братцы... а я уж и не ждал! — проговорил Артемьев.

Когда его подняли на баркас, он в первое мгновение от радостного волнения не мог говорить и только глядел на своих благодарных, полными слез глазами.

— Дай, ребята, ему чарку рома... Вали другую. Клади вот сюда, около меня, да накрой одеялами! — говорил счастливый Лопатин.

После двух чарок рома Артемьев пришел в себя и стал было рассказывать, как оступился со шлюпки, как упал и схватился за спасательный круг и как думал, что его не увидят со шлюпки, и ему придется помирать... Но Лопатин, занятый управлением шлюпки, слушал его рассеянно.

— Расскажешь на корвете, голубчик, — сказал он и снова вытянулся весь вперед и снова глаза его лихорадочно блестели, когда к баркасу приближался грозный вал.

На корвете переживали в этот час томительное ожидание. Когда баркас скрылся из глаз, бинокли устремились за ним, то скрывавшимся за волнами, то появлявшимся на их гребнях... Наконец и его потеряли из вида... Капитан напрасно искал его и, несколько побледневший и напряженно серьезный, вы-

давал свое тайное беспокойство за благополучие баркаса и людей на нем тем, что одной рукой нервно пощипывал бакенбарду, и, словно бы желая рассеять свои сомнения, проговорил, обращаясь к старшему офицеру:

— Лопатин, надеюсь, сумеет управиться с баркасом...

— Еще бы... Он отличный офицер...

— То-то... я знаю... Да и волнение не очень уж большое... Только с неумелым рулевым может захлестнуть.

Прошло полчаса томительного ожидания.

Наконец Степан Ильич, глядевший в подзорную трубу, проговорил:

— Баркас вижу!

Через некоторое время простыми глазами можно было видеть приближающийся баркас. Вот он совсем близко, и Лопатин машет белым платком.

— Спасли, значит, Артемьева! — радостно говорит капитан, и на его лице светится чудная улыбка.

— Везем Артемьева! — кричит Лопатин изо всех сил.

Матросы радостно крестятся. У всех про-

светлели лица.

— То-то и есть, братцы... Вот Артемьев опять с нами! — говорит Бастрюков. — Небось, напередки будет опасливее... не упадет со шлюпки! весело прибавляет он.

Через несколько минут баркас поднят, и из него выходят Лопатин, вспотевшие гребцы и мокрый Артемьев. Капитан крепко жмет руку Лопатину, благодарит гребцов и приказывает Артемьеву скорее выпить чарку рома.

Минут через пять корвет опять шел под всеми парусами, и Ашанин, радостный, что матрос спасен, как-то особенно весело командовал свистать к водке.

Корветская жизнь пошла своим чередом. Матросы стали обедать и слегка захмелевший от нескольких чарок Артемьев повторял потом на баке среди толпы матросов, как он сорвался со шлюпки и как ждал смерти и, главное, боялся, что его акул-рыба съест.

Глава вторая

Гонолулу

I

Роскошный тропический день оканчивался. Палящий зной спадал, и от притихшего

океана веяло нежной прохладой.

Солнце быстро катилось к закату и скоро зажгло пылающим заревом далекий горизонт, расцвечивая небо волшебными переливами всевозможных красок и цветов, то ярких, то нежных, и заливая блеском пурпура и золота и полосу океана и обнаженные вершины вулканических гор высокого зеленеющего острова, резко очерченного в прозрачной ясности воздуха.

Пуская черные клубы дыма из своей белой трубы, «Коршун» полным ходом приближается к пенящимся бурунам, которые волнистой серебристой лентой белеются у острова. Это могучие океанские волны с шумом разбиваются о преграду, поднявшуюся благодаря вековой работе маленьких полипов из неизмеримых глубин океана, — об узкую надводную полосу кольцеобразного кораллового рифа у самого острова.

Замедлив ход, «Коршун» через узкий проход рифа оставил океан сзади и очутился в затишь лагуны, гладкой, как зеркало, и голубой, как бирюза. Эта лагуна, окруженная со всех сторон, представляет собой превосход-

ную тихую гавань или рейд, в глубине которого, утопая весь в зелени и сверкая под лучами заходящего солнца красно-золотистым блеском своих выглядывавших из-за могучей листвы белых хижин и красных зданий набережной, приютился маленький Гонолулу, главный город и столица Гавайского королевства на Сандвичевых островах.

Володя глядел, как очарованный.

Пока корвет встал на якорь вблизи города, недалеко от нескольких купеческих судов, преимущественно пузатых и неуклюжих «китобоев», стоявших на рейде, лиловатые тени сумерек пронеслись, словно дымки, над островом, и вслед затем почти мгновенно наступила ночь.

Прелестный остров скрылся от глаз, и только замелькавшие огоньки указывали на близость города. Кругом царила тишина, нарушаемая лишь тихим гулом океана из-за полосы барьерного рифа да порой гортанными звуками канацкой песни, раздававшимися с невидимых шлюпок, сновавших по рейду в виде огоньков, около которых сыпались с весел алмазные брызги насыщенной фосфором

[95] воды. Стоявшие на рейде суда казались какими-то силуэтами с огненными глазами на мачтах, верхушки которых исчезали во мраке.

Небо вдруг засверкало миллионами ярких звезд и среди них особенно хороша была красавица южного полушария — звезда Южного Креста[96], которая тихо лила свой нежный свет с высоты потемневшего неба и казалась задумчивой. В воздухе была прохладная нега чудной тропической ночи.

— Господи! Какая прелесть! — вырвалось у Володи, и он побежал вниз, чтобы переодеться в штатское платье и скорее ехать на берег.

— Что, Ворсунька, видел, как здесь хорошо? — говорил он Ворсуньке, который уже догадался приготовить своему барину пару из тонкой чечунчи и шляпу в виде шлема, обмотанную кисеей.

— То-то хорошо, ваше благородие. Красивый островок. И город, говорил Бастряков, довольно даже приятный, и все купить можно... И народ ласковый, доверчивый, даром что темнокожий. Должно, арапы будут, ваше благородие?

— Не арапы, то есть не негры, которых ты называешь арапами, а канаки. И они, брат, не черные, а темно-коричневые.

— Вроде малайцев, значит, ваше благородие?

— Да. Канаки от малайцев и произошли, одного племени.

— А вера их какая будет, ваше благородие? Язычники?

— Есть и христиане, а есть и язычники...

— И, подумаешь, много всяких народов, ваше благородие, живет на свете. Каких только не повидаешь наций... Домой, коли на побывку после плавания пустят, придешь — так в деревне и не поверят, что такие народы есть... Пожалуйста, ваше благородие, пинджак.

— Да ты не подавай, я сам надену. А, небось, ты соскучился по деревне?

— Еще как соскучился, ваше благородие... Служить ничего, грех жаловаться, никто не забиждает, а при вас, что и говорить... Но только все-таки... Главная причина: бабу свою жаль! — прибавил Ворсунька.

— Еще около двух лет нам плавать, Ворсунька, а там и в побывку пойдешь...

— Пустят?

— Наверное, пустят на полгода. Можешь тогда и с женой вернуться в Кронштадт.

— То-то я так и полагал, ваше благородие! — обрадованно воскликнул Ворсунька.

— А я тебя денщиком к себе возьму. С женой у меня будешь жить.

Ворсунька окончательно повеселел.

— Дай вам бог всякого благополучия! Очень уж вы добрый барин, ваше благородие... И все матросы очень вами довольны... А уж я буду стараться, чтобы ходить за вами в полной исправности... Уж как буду стараться!..

— Да ты и так ходишь за мной, чего лучше. Без тебя все бы я растерял... Поди-ка узнай, Ворсунька, готов ли катер.

Вернувшийся через минуту вестовой смущенно доложил, что катер только что отвалил.

— Отвалил?! Как же не дали знать, что катер готов? Это свинство! воскликнул Володя, мгновенно вспыхивая, как порох. — Это черт знает что такое! И как он смел, скотина! Верно, ревизор поехал на катере?

При мысли о ревизоре, лейтенанте Первущине, злобное чувство овладело Володей, и глаза его засверкали, как у волчонка.

— Точно так, левизор, ваше благородие.

— Я так и знал... Это его штуки... Подожди! Я так этого не оставлю! кипятился Ашанин, порывисто выбрасывая слова и совершенно забывая о присутствии вестового.

— Но только, осмелюсь доложить, ваше благородие, я им докладывал на катер, что вы изволите ехать.

— Что же он? — нетерпеливо спросил Володя.

— Некогда, говорит, ждать... Я, говорит, еду за свежей провизией, а не гулять. И приказали отваливать, хоть все офицеры и просили левизора подождать.

— Ну да... ну да... это он нарочно.

Володя рвал и метал и, словно разъяренный зверек в клетке, ходил взад и вперед по маленькой гардемаринской каюте в чечунчевой паре, в шлеме на голове и тросточкой в руке... Его поэтическое настроение, вызванное красотой природы и прелестью чудной ночи, и все его мысли были теперь сосредото-

чены на ненавистном ему лейтенанте Первущине. Уж не в первый раз строит ему разные пакости этот завзятый дантист и крепостник за то, что Володя не скрывает своего негодования к таким людям и не раз в кают-компании произносил грозные филиппики по этому поводу и удивлялся, что некоторые офицеры, несмотря на приказание капитана, тихонько, спрятавшись за мачту, бьют по зубам матросов, пользуясь тем, что они не жалуются капитану. А ведь закон не разрешает офицерам собственноручной расправы.

Ревизор хорошо понял, конечно, кто эти «некоторые», и, злопамятный и мстительный, с тех пор невзлюбил Ашанина, и старался, по возможности, делать ему всякие неприятности исподтишка, не ссорясь открыто и избегая всяких споров, зная, что на стороне Володи большинство кают-компании. Раз Первущин после обеда на берегу шепнул старшему офицеру, как будто в порыве откровенности, что Ашанин позволял себе неуважительно отозваться о нем; другой раз — будто Ашанин заснул на вахте; в третий раз говорил, что Ашанин ищет дешевой популярности между

матросами и слишком фамильярничают с ними во вред дисциплине, — словом, изо всех сил своей мелкой злобной душонки старался очернить Володю в глазах старшего офицера. Но это ему не удавалось.

Старший офицер, Андрей Николаевич, недаром был одним из тех честных моряков старого времени, который сам действовал всегда честно и открыто, не мог терпеть фальши и неискренности в других и грубо обрывал всякие сплетни и нашептывания, считая недостойным делом их слушать. Несмотря на то что после обеда на берегу вдвоем с ревизором Андрей Николаевич, попробовавший и портвейна, и хереса, и лафита, и портера, и шампанского, и, наконец, ликеров за кофе, был краснее обыкновенного и не совсем ясно и членораздельно произносил слова, тем не менее с нескрываемой брезгливостью обрывал ревизора, сказавши, что ему нет ни малейшего дела до того, как отзывается о нем Ашанин, но что он считает его порядочным и честным молодым человеком и усердным по службе... Что же касается до Степана Васильевича, то, вероятно, он... того... чересчур много

выпил и не понимает, какие пакости врет... на Ашанина. Наверное, Ашанин ничего дурного за глаза не скажет... «Не скажет... у-ве-ре-н...», — заключил Андрей Николаевич заплетаящимся языком и вскоре, как он выразился, «снялся с якоря» и вышел из гостиницы.

Таковыми же неудачными были и другие попытки Первушина, и он, еще более озлобленный, мстил Ашанину разными мелочными неприятностями вроде той, которую сделал в этот вечер.

Володя хотел было идти жаловаться к старшему офицеру, но тотчас же оставил эту мысль. К чему поднимать историю и жаловаться? Он еще с корпуса имел отвращение к «фискальству» и всяким жалобам. Нет, он лучше в кают-компании при всех выскажет Первушину всю гнусность его поведения. Этак будет лучше; пусть он знает, что даром ему пакости не пройдут. Ему теперь нельзя будет прибегать к уловкам и заматать хвостом свои фокусы.

А пока надо идти к старшему офицеру и попросить двойку[97].

Ворсунька, с полным сочувствием следив-

ший за Володей, и, пожалуй, возмущенный не менее, если не более его самого за то, что ревизор не подождал Ашанина, в свою очередь мысленно награждал весьма нелестными эпитетами этого «рыжего кобчика», как звали втихомолку матросы лейтенанта Первушина. Прозвище это не лишено было меткости, которой вообще отличаются прозвища матросов, даваемые офицерам. Действительно, лицо рыжеволосого маленького лейтенанта, с за гнутым носом и круглыми злыми глазами, напоминало птицу ястребиной породы.

— Ваше благородие, шлюпку, если угодно, можно сейчас спроворить, сказал Ворсунька.

— Какую шлюпку?

— А вольную... Здесь их много близ конверта шнырит, шлюпок-то... Дозвольте вскричать.

— Не надо, Ворсунька. Я на двойке поеду. Старший офицер где?

— В кают-компани... Чай кушают... А деньги с собой изволили взять?

— Нет... достань-ка из шифоньерки.

— Сколько прикажете?

— Долларов десять.

— А то пять разве? Пожалуй, хватит вам?

Сам необыкновенно бережливый, почти скупой, копящий деньги и редко съезжавший на берег, чтобы не потратиться на себя, Ворсунька не менее ревниво оберегал и интересы молодого барина.

— Нет, достань десять! — улыбнулся уже начинавший «отходить» Володя и спросил: — А ты и здесь не съедешь на берег?

— Съезжу, ваше благородие, коли команду отпустят. Во Францисках только раз съезжал. Любопытно погулять... Ну, и бабе своей что купить, — прибавил Ворсунька.

— Уж ты и без того много накупил!

— То-то нельзя без гостинцев. Привезу — рада будет... И денег привезу... Все вот говорят: скупой ты, Ворсунька...

— Конечно, скупой! — поддразнил Володя.

— Вот и вы, ваше благородие, говорите: скупой! А я не зря скупой. Дома-то у нас в деревне беднота... Надо что отцу с матерью привезти...

— Я шучу, Ворсунька! — проговорил Володя; слова вестового напомнили ему, что и он

собирался послать денег матери. — Ты, брат, славный парень! прибавил он и вышел из каюты.

— А вы что не на берегу, Ашанин? — удивился старший офицер, увидав в кают-компании Володю.

— Катер прозевал, Андрей Николаевич.

— Да ведь он только что отвалил... Могли бы успеть...

— То-то не знал, что катер отваливает. Позвольте, Андрей Николаевич, двойку.

— Сделайте одолжение.

— Очень вам благодарен.

— А то стакан чайку не выпьете ли со мною?.. Или торопитесь посмотреть людей, прадеды которых Кука съели[98]?

— Пожалуй, выпью...

— Вот и отлично... Эй, вестовой! Стакан!

Андрей Николаевич был большой любитель чая и пил собственный, большой запас которого был взят им из Петербурга. Он сам заваривал и как-то особенно настаивал чай и любил угощать им.

— Ну, что, каков чаек-то? — спросил он, когда Ашанин отпил несколько глотков.

— Ничего себе...

— Ничего себе! — с укором заметил Андрей Николаевич. — Это, батюшка, нектар, а не чай... Вы, значит, — извините, батенька, — толку не знаете в чае.

— Признаться, мало, Андрей Николаевич.

— То-то и видно... А вы вот внюхайтесь... Аромат-то каков... Эй, вестовой!

— Есть! — отозвался вбежавший вестовой.

— Скажи на вахте, чтобы приготовили двойку... Вижу, вам не ждется, Ашанин...

Через пять минут доложили, что двойка готова.

— Ну, погуляйте на здоровье... Может, и его величество гавайского короля Камеамеа IV увидите. Он не особенно чванный король и любит поиграть с капитанами китобойных судов на бильярде и выпить с ними бутылочку-другую... А послезавтра вы его увидите во дворце...

— Как так?

— Капитан будет представляться его величеству и, конечно, возьмет с собой всех желающих. Вы, разумеется, захотите посмотреть и дворец и королевскую чету.

— Еще бы!

— Прелюбопытно! Я представлялся королевской чете три года тому назад, когда был здесь на «Голубчике»... Король в шитом мундире, черномазая и очень недурненькая королева в модном платье, министры, — одним словом, все как следует; вот увидите... А подумаешь, давно ли эти короли ходили, в чем мать родила! — засмеялся Андрей Николаевич.

— Дядя мне рассказывал, что когда он в 1825 году был со своим шлюпом в Гонолулу, и полуголый король обедал у дяди, доложили, что какие-то две женщины подплыли к борту и непременно желают видеть капитана... Оказалось, что это была королева и ее фрейлина... Они настоятельно требовали и жестами и несколькими ломаными английскими словами, чтобы их пригласили к столу, и дядя был в затруднении, как быть с ее величеством... Но король разрешил недоразумение: он велел обеим дамам плыть назад, и они после протестов поплыли назад.

— Ну, теперь ничего подобного нет... Вы вот сообщите вашему почтенному дядюшке,

какая разница между тем, что он видел в 1825 году, и что вы увидите в 1861[99]...Ну, до свидания. Желаю весело провести время... На набережной есть хороший отель... Прежде его держал один француз...

II

Минут через двадцать маленькая двойка пристала к пристани, у которой толпилось несколько шлюпок с судов, и Володя ступил на набережную, довольно светлую, оживленную и шумную, против пристани, вблизи которой было несколько кабачков и где под зелеными навесами, освещенными цветными фонариками, темнокожие каначки в своих живописных ярких одеждах продавали овощи и фрукты.

На этом небольшом пространстве толпилось много народа, шел говор на разных языках и раздавался веселый, подчас пьяный смех. Тут были и темнокожие канаки и каначки — одетые, полуодетые и очень мало одетые, и матросы с купеческих кораблей в белых рубашках и штанах, особенно выделяющихся на этом пестром фоне канацких одежд. Канаки в этой толпе, как видно, менее заботи-

лись о полноте и красоте своих костюмов, но зато каначки положительно были интересны в своих легких, преимущественно ярких, тканях, надетых прямо на тело. Все они, и мужчины и женщины, отличались необыкновенно добродушными лицами, веселыми и оживленными, черты которых, довольно правильные, были гораздо красивее, чем у малайцев.

Глядя на этих симпатичных канаков, Володя невольно припомнил рассказы путешественников о том, как европейцы — и преимущественно моряки познакомили этот кроткий народ с дурными сторонами цивилизации и, главное, с водкой, прежде неизвестной среди канаков, а теперь довольно-таки ими любимой. И мало ли чего еще дурного не принесли европейцы вместе с хорошим со школами, с просвещением, с христианством. Прежде на благодатном острове, климат которого, благодаря его положению среди океана, один из лучших в мире, не было никаких болезней, и люди умирали от старости, если преждевременно не погибали в пастях акул, на ловлю которых они отправлялись в океан и там, бросившись с лодчонки в воду, ныряли

с ножами в руках, храбро нападая на хищников, мясо которых незаслуженно прежде ценили. А теперь уж есть разные болезни, правда, излечивающиеся целебным чудным воздухом даже без докторов, но все-таки уж прежней долговечности нет.

Несколько гребцов с катера, любопытно озираясь, толкались в этой толпе, над которой сверху смотрело брильянтовое небо и которую ласкала нега волшебной тропической ранней ночи. Человека три матросов с «Коршуна» стояли у лавчонки с фруктами, несколько смущенные тем, что торговка, сделав рукой какой-то знак и улыбнувшись ласковой улыбкой, открывая ряд ослепительно белых зубов, внезапно исчезла. И много было таких лавчонок без присмотра. Хозяйки их с беспечной доверчивостью оставляли товар, чтобы поболтать с соседкой или даже сбегать домой: как видно, здесь не имеют европейских понятий о воровстве. Недаром же Володя потом видел, что запоров почти нигде нет в канацких домах.

Но вот молодая каначка вернулась, и матросы начали торговать большие апельсины.

Они ухитрились объясниться и за маленькую серебряную монетку получили десяток апельсинов, да еще каначка дала каждому матросу по апельсину в придачу и спросила, ломая английский язык:

— Инглиш сейлор? (английский матрос?)

— Русс, милая, русс! — отвечал матрос. — Нет инглиш! — прибавил он, ожесточенно махая головой.

Очевидно, каначка не имела никакого представления или, быть может, весьма смутное о русских матросах; тем не менее она любезно кивнула головой, словно бы вполне удовлетворенная ответом, и предложила матросам маленькую связку бананов и не взяла платы, когда матросы ей предложили.

— Ну, спасибо, мерси, тэнк-ю, мадам!

Матросы галантно приложили руки к шапкам и ушли.

— И ласковый же народ, братцы! — проговорил один из них, уписывая банан.

— Обходительный...

— И как же здесь привольно... Воздух-то какой легкий...

— И спать вовсе не охота, а, поди, десятый,

должно, час...

— Не меньше.

Володя, с любопытством поглядывавший вокруг на эту оживленную толпу, заметил, что очень пьяными были только европейцы-матросы, которые буянили и лезли в драку. Среди же туземцев он не видал пьяных; были подгулявшие и вели себя очень тихо и прилично.

Побродив минут десять в толпе, Ашанин вышел из нее, чтобы отправиться в город и побродить по полутемным, слабо освещенным редкими фонарями улицам-аллеям, по бокам которых мигали огоньки домиков, скрытых в листве, как увидел перед собой старшину катера, унтер-офицера, вместе с гребцом, которые только что вышли из кабачка и вытянулись перед Володей, приложив свои пятерни к шапкам.

— Доброго вечера, ваше благородие! — проговорил унтер-офицер. — Очень приятное здесь место, ваше благородие. Очень даже лестно прогуляться.

— И водка хороша? — улыбнулся Володя.

— Мы, ваше благородие, малость только

самую попробовали, потому как... с катера, значит... Виски прозывается, но только против нашего рома не сустоять... Уж вы, ваше благородие, будьте добры, не обсказывайте, значит, господину левизору, что мы заходили в заведение, а то... левизор...

— С чего ты взял? Будь спокоен... не обскажу.

— Мы всего по стаканчику, ваше благородие, — говорил унтер-офицер, хотя некоторая развязность и оживление едва ли соответствовали такому незначительному количеству виски.

— Что, катеру велено дожидаться?

— Точно так, левизора, а затем мы обернем к полу ночи за господами офицерами.

— А ты не знаешь, куда они пошли?

— Должно быть, в гостиницу, ваше благородие... вот сюда, прямо, если идтить по набережной... такой большой дом, очень даже хороший... я с левизором ходил...

— Ну, ладно, до свидания.

— Счастливо оставаться, ваше благородие.

Володя не хотел идти в гостиницу в такую чудную ночь и пошел наугад в первую ал-

лею... Ах, как хорошо было! Как приятно дышалось среди темневшей зелени и пальм и низких раскидистых бананов, среди благоухания цветов в маленьких садиках у освещенных фонариками маленьких домишек, крытых той же листвой бананов.

Судя по скромным домикам, улица эта была не из главных, и жители, видимо, не стеснялись любопытными чужими взорами, предоставляя кому угодно смотреть сквозь раскрытые двери на то, что делалось внутри. Целые семьи темнокожих канаков сидели живописными группами у порога или лежали, не стесняясь костюмами, на циновках внутри домов. Матери слишком откровенно кормили грудных детей или искали насекомых в головах более взрослых ребятшек, а то и в курчавой, покрытой жестковатыми, черными, как смоль, волосами, голове почтенного хозяина. И везде слышался гортанный говор, прерываемый веселым смехом, который лучше всяких слов говорит, что люди довольны и даже счастливы.

Эти идиллические семейные картины как-то отвечали и этой чудной ночи, и этой див-

ной природе и переносили Володю в мир первобытных людей, счастливых в своем наивном неведении ни войны, ни болезней, ни нужды, греющихся под горячим солнцем тропиков и довольствующихся кокосами, ананасами, бананами.

А на улице то и дело встречались полутемные фигуры гуляющих. Тихий говор и смех как-то таинственно разносятся в воздухе, словно бы говоря о людском счастье. По временам раздавался мягкий, слегка звякающий по крупному жесткому песку улицы шум копыт, и мимо Володи проносились с веселым смехом стройные фигуры амазонок-каначек, сидящих по-мужски на маленьких лошадаках.

Володя повернул в другую улицу, потом в третью — все те же хижины, все те же идиллические картины в домах, все те же встречи гуляющих и катающихся верхом — и вышел, наконец, в лучше освещенную улицу с несколькими лавками и ресторанами, в которых капитаны с купеческих судов играли на бильярде, и многие канаки в более или менее европейских костюмах потягивали водку или пиво. Вокруг таких ресторанов непременно

стояли кучки канаков, одетых по-туземному, то есть прикрытые слегка, с голыми ногами и обнаженной грудью, и глазели на игроков.

Его величества, однако, не было в числе игравших на бильярде. Какой-то англичанин, вероятно офицер с английского военного фрегата, стоявшего на рейде, на вопрос Володи, нет ли короля в числе играющих, отвечал, что он уже сыграл несколько партий и ушел, вероятно, прогуляться среди своих подданных, и советовал Володе идти к большому освещенному, открытому со всех сторон зданию на столбах в конце улицы, на площадке, окруженной деревьями, откуда доносились звуки, напоминающие скрипку.

— Там канаки танцуют свой национальный танец «уле-уле». Вероятно, и его величество там! — прибавил англичанин.

Володя пошел по указанному направлению и скоро подошел к большому сараю. Звуки музыки, не особенно гармоничной, с быстрым все учащающимся темпом, раздавались громко и резко. Огромная толпа канаков и каначек наполняла сарай, окружив тесным кольцом танцующих.

Володя пробрался вперед и увидел молодую каначку, обмотанную кусками яркой ткани. Она стояла неподвижно на одном месте, но все ее тело изгибалось направо и налево, назад и вперед, причем голова почти касалась земли; движения танцовщицы становились все быстрее и быстрее; канаки-музыканты все учащали темп на своих маленьких, похожих на балалайки инструментах, которым аккомпанировала флейта; наконец, туловище танцовщицы совсем закружилось в стремительном движении... Но вдруг звуки сразу оборвались, и каначка стояла неподвижная, не шелохнувшись. Пот градом катил с ее лица, глаза как-то дико блестели.

Это и есть танец «уле-уле».

Темнокожая публика разразилась громкими криками восторга.

Вслед затем из публики вышел молодой человек, ведя за руку молодую женщину, и начал тот же танец, но только вдвоем. Но Володе не особенно понравился и первый танец, и он собирался уже выходить, как в числе зрителей первого ряда увидел нескольких корветских офицеров, и в том числе своего

любимца — доктора Федора Васильевича, и он подошел к своим.

Вскоре русские офицеры отправились целой гурьбой на набережную, где среди большого темного сада сияло своими освещенными окнами большое здание лучшего отеля в Гонолулу. Высокий горбоносый француз, хозяин гостиницы, один из тех прошедших огонь и воду и перепробовавших всякие профессии авантюристов, которых можно встретить в самых дальних уголках света, любезно приветствуя тороватых моряков, ввел их в большую, ярко освещенную общую залу и просил занять большой стол.

В зале было прохладно. В настезь открытые большие окна врывался чудный аромат от цветника, разбитого в саду. Все шумно стали рассаживаться и заказывать себе блюда. Так как вкусы у моряков были разнообразные, то хозяину-французу пришлось обходить каждого и запоминать, кто чего желает. Расторопные лакеи-канаки в своих белых куртках и шароварах бесшумно выходили, получая приказания хозяина на канацком языке.

В ожидании ужина на столе, по русскому

обычаю, появилась закуска: маринованные сельди, анчоусы и сыры и, разумеется, джин, абсент и виски. Все чокались друг с другом, веселые и довольные, что находятся на берегу. Скоро стол был уставлен всевозможными кушаньями, какие только могли дать в гостинице, и множеством бутылок. Пили и шампанское, и кларет, и портвейн, и эль, и портер. Доктор и Володя, сидевшие рядом, потягивали через соломинки «cherry soblar», вкусный прохладительный американский напиток, смесь хереса, ликера и воды с толченым льдом.

За столом становилось шумно. Почти все офицеры и гардемарины с «Коршуна», исключая старшего офицера, ревизора, батюшки и вахтенного, собрались здесь. Менялись впечатлениями, составляли программы экскурсий, делали предположения, куда «Коршун» пойдет с Сандвичевых островов, — этого никто не знал. Затем много разговоров было о том, кто будет назначен начальником эскадры и скоро ли он приедет. Если назначат «беспокойного адмирала», то беда... Он был хорошо всем известен во флоте по своей репутации.

ции бешеного человека и отчаянного «разносителя» и вместе с тем превосходного адмирала, знающего, решительного и отважного. Лейтенант Поленов, плававший с этим адмиралом три года, передавал неутешительные сведения о его вспыльчивости, о его «разносах» и требовательности по службе и о его внезапных переводах офицеров с судна на судно даже среди океана. Особенно он школил гардемарин.

— Небось, он всю эскадру подтянет! — прибавил лейтенант.

— «Коршун» нечего подтягивать... «Коршун» и без адмирала в отличном порядке! — вступился за честь «Коршуна» мичман Лопатин.

— Знаю; но у него, господа, и не ждешь, что ему вдруг не понравится.

Молодежь слушала, несколько смущенная, но старый штурман подбодрил всех, заметив с улыбкой:

— Не так страшен черт, как его малюют. Я знаю Корнева. Тоже плавал с ним.

— Ну и что? — спрашивали со всех сторон.

— Горячка — это верно... Лодырей не лю-

бит — это тоже верно; но зато добрейший человек, в сущности... Я, по крайней мере, знаю, что из-за него никто не пострадал.

— Он, верно, на флагманском корвете, который идет сюда, будет плавать? — спросил кто-то.

— Он-то? — и Степан Ильич усмехнулся и прибавил: — Не таковский! Он на всех судах эскадры переплывает, чтобы поближе ознакомиться с судном и с офицерами... Наверное, месяц-другой посидит и на «Коршуне».

Ашанин разговаривал с доктором, мало обращая внимания на толки о «беспокойном адмирале». Он передавал свои впечатления о канаках и каначках, о прелестной прогулке вечером, и они условились на следующее утро съехать вдвоем на целый день: Федор Васильевич был свободен — ни одного больного у него не было в лазарете, и Володя тоже — на якорь, с разрешения капитана, офицеры стояли вахты посуточно. Они сперва осмотрят город, а потом отправятся за город — в знаменитые апельсиновые рощи, а потом в живописное ущелье, оканчивающееся обрывом над океаном, откуда вид восхитительный. По

крайней мере так говорили местные жители.

Ужин уже приходил к концу, как в залу вошел ревизор и, присевши к столу, заказал себе ужин и велел подать шампанского.

При виде ревизора веселое настроение Ашанина исчезло. Он вдруг сделался мрачный и бросал свирепые взгляды на ревизора.

— Что с вами? — спросил доктор.

— Вы разве не знаете, что сделал со мной этот отвратительный дантист?

— Какой дантист? У нас не один! — улыбнулся Федор Васильевич.

— Первушин.

— Ничего не знаю.

— Вы разве не на катере съехали на берег?

— Нет, на вельботе вместе с капитаном...

— Ну, так слушайте, Федор Васильевич!

И Володя, снова взволнованный при воспоминании об обиде, рассказал, что сделал с ним ревизор.

— Плюньте, Владимир Николаич.

— Нет, я так этого не оставлю, Федор Васильевич. Такого нахала надо проучить: он не в первый раз устраивает мне пакости. Я не обращал прежде внимания, а больше не могу.

— Что же вы хотите делать?

— Я ему при всех скажу, что так порядочные люди не поступают.

— Бросьте. Охота вам поднимать историю. Он пожалуется на вас капитану, скажет, что вы дерзки со старшим... Точно вы не знаете Первушина?

Но возбуждавшийся все более и более Володя не слушал Федора Васильевича и, чувствуя неодолимое желание «оборвать» ревизора, вздрагивавшим голосом крикнул ему через стол:

— Степан Васильевич!

— Что вам угодно, господин Ашанин?

— Мне угодно узнать, отчего вы не подождали меня минутку на катере, несмотря на то что вестовой доложил, что я готов! — вызывающим тоном продолжал Володя, внезапно бледнея.

Наступило общее молчание.

— Я не обязан всех ждать... Вольно вам было опаздывать!

— Одну минуту не могли подождать? Значит, не хотели?

— Хотя бы и не хотел. Это не ваше дело, и я

попрошу вас прекратить этот разговор! — проговорил ревизор, возвышая голос.

— Вы не имели права не хотеть. Катер для всех офицеров, не для одного вас...

— Прошу не забываться, господин гардемарин Ашанин. Вы — дерзкий мальчишка!

— А вы — невежа, господин Первушин! — крикнул Володя. — И я знаю, почему вы стараетесь при всяком случае сделать мне неприятность: потому что я вас считаю дантистом... Вы бьете матросов, да еще не имеете доблести делать это открыто и бьете исподтишка...

— Молчать! Как вы смеее так говорить со старшим в чине! — крикнул, зеленея от злости, Первушин.

— Молчите сами! Мы здесь на берегу, а не на корвете! — крикнул в свою очередь и Володя.

Первушин видел со всех сторон несочувственные взгляды, видел, что большинство офицеров на стороне Ашанина, и примолк, усиленно занявшись едой.

— Ну, так и знайте, он теперь на вас рапорт подаст! — тихо заметил доктор.

— Черт с ним, пусть подает!

Старший штурман, Степан Ильич, не терпевший никаких ссор, хотел было примирить поссорившихся и с этой целью уговаривал и ревизора и Володю, но оба они решительно отказались извиниться друг перед другом. Ревизор даже обиделся, что Степан Ильич сделал ему такое унижительное предложение: извиниться перед гардемаринном.

— Отлично вы его осадили, Владимир Николаевич, — сочувственно говорил Ашанину мичман Лопатин, когда все офицеры в полночь возвращались на катер.

— Ловко вы задали ему «ассаже»! — одобрял и гардемарин Кошкин, — а то эта скотина слишком много воображает о себе!

На следующее утро, когда доктор с Ашаниным собрались ехать на берег, старший офицер подошел к Ашанину и позвал к себе в каюту.

— Садитесь, — проговорил он, указывая на табуретку.

И когда оба они уселись, Андрей Николаевич, видимо озабоченный и огорченный, проговорил:

— Лейтенант Первушин подал на вас рапорт капитану. Что там у вас вышло?

Ашанин рассказал, как было дело и из-за чего все вышло. Старший офицер внимательно выслушал Володю и заметил:

— Положим, ревизор был неправ, но все-таки вы не должны были так резко говорить с ним, хотя бы и на берегу... Худой мир лучше доброй ссоры, а теперь вот и открытая ссора... и этот рапорт... Признаюсь, это очень неприятно...

— Но я был вызван на ссору, Андрей Николаич. Лейтенант Первушин не в первый раз делает мне неприятности...

— Знаю-с... Он вас не любит... А все-таки... надо, знаете ли, на судне избегать ссор... На берегу поспорились — и разошлись, а здесь никуда не уйдешь друг от друга, и потому следует жить по возможности мирно... Я вам об этом говорил — помните? — еще когда вы поступили на корвет.

— Я помню это, Андрей Николаевич, и никогда ни с кем не затевал ссоры.

— А вот теперь ссора вышла... И этот рапорт! — поморщился Андрей Николаевич,

взглядывая на лежавший у него на столике сложенный лист белой бумаги. — Я должен его представить командиру... Знаете ли что, Ашанин?

— Что, Андрей Николаевич?

— Не лучше ли вам извиниться перед Первушиным, а? А я бы уговорил и его извиниться. Тогда бы и рапорт он взял назад... Я вас прошу об этом... Я понимаю, что вам неприятно извиняться первому, тем более что виноват во всем Первушин, но пожертвуйте самолюбием ради мира в кают-компании... А я даю вам слово, что Первушин больше не позволит себе неприличных выходок... Я с ним серьезно поговорю... Сделайте это для меня, как старшего вашего товарища... И, наконец, к чему беспокоить капитана дрызгами? У него и без дрызг дела довольно.

Андрей Николаевич был, видимо, огорчен этой историей. Он боялся всяких «историй» в кают-компании и умел вовремя прекращать их своим вмешательством, причем влиял своим нравственным авторитетом честного и доброго человека, которого уважали в кают-компании. До сих пор все шло хорошо... и

вдруг ссора.

И Андрей Николаевич так убедительно и так мягко просил, что Володя, наконец, уступил и проговорил:

— Извольте, Андрей Николаевич. Ради вас я готов первый извиниться...

— Вот спасибо, голубчик! Вот это по-товарищески!

И, просиявший, он крепко пожал руку Ашанина.

— Но только я извинюсь, так сказать, формально, а в сущности я все-таки не могу уважать Первушина...

— Это ваше дело. Быть может, многие его не уважают... Но только не следует показывать этого... Бог с ним. Он, вероятно, и сам понимает, что не ко двору у нас, и, может быть, уйдет... А пока не надо ссор... не надо...

Через полчаса после того, как Андрей Николаевич поговорил наедине и с Первушиным, Володя извинился перед ревизором и тот перед Ашаниным. Они пожали друг другу руки, хотя оба в душе остались непримиренными. Но зато Андрей Николаевич сиял и, вернувшись в свою каюту, изорвал на мелкие

кусочки рапорт и бросил их в иллюминатор.

С этого дня Володя стал пользоваться особенным расположением Андрея Николаевича.

Двойка уже с четверть часа как дожидалась у борта, и доктор с Володей, наконец, уехали на берег.

III

Небольшая двухместная коляска, заказанная еще накануне в гостинице, запряженная парой небольших, крепких лошадок, дожидалась у пристани.

К некоторому изумлению доктора и Ашанина, на козлах сидел весьма приличный господин пожилых лет — по наружности англичанин или американец — в цилиндре на голове и с сигарою в зубах.

— Странный кучер! — проговорил Ашанин.

И, сомневаясь, за ними ли приехал экипаж, он по-английски спросил:

— Вы за нами приехали?

— Да, за двумя русскими офицерами, если только вы, господа, заказывали экипаж, — проговорил кучер, слегка кивнув головой.

В эту минуту к коляске подошел какой-то господин, по-видимому капитан купеческого судна, и, протягивая руку кучеру, проговорил:

— Доброго утра, капитан. Как дела?

— Доброго утра. Ничего себе...

Когда седоки хотели было садиться, этот кучер, которого называли капитаном, сказал:

— Извините, господа... Я не люблю недоразумений. Условия вам известны?

— Нет, — отвечал доктор.

— Экий дурак этот Лагранж. Так и видно, что француз! — засмеялся кучер и спросил: — Вы ведь берете экипаж на целый день?

— Да.

— Так, приблизительно, часов до семи вечера? Позже — темно ездить, особенно за городом.

— Пожалуй, до семи часов.

— Так я беру за это десять долларов. Согласны?

— С большим удовольствием.

— Ну, значит, дело в порядке. Садитесь, и куда прикажете вас везти: прямо за город, в ущелье или сперва хотите покататься по городу?..

— Прежде по городу.

Кучер тронул вожжами, и коляска покати-лась по усыпанной песком шоссированной набережной, на которой были красивые европейские дома, окруженные садами, несколько магазинов, отелей и церковь и здание парламента[100].

— Это лучшая часть города, — говорил кучер, указывая бичом на дома, здесь живут консулы и более или менее богатые европейцы. Впрочем, и канаки нынче строят порядочные дома и перебираются из своих лачуг! — прибавил он.

— А где дворец короля?

— Немного подальше, в гору... Хотите взглянуть? Ничего интересного... Самый обыкновенный дом, каких много в С.-Франциско, если вы там были.

Доктор и Володя решили не смотреть дворца, тем более что завтра придется быть в нем и, проехав всю набережную, просили ехать в город, где живут канаки.

Коляска катилась по роскошным аллеям, усаженным тропическими деревьями, и по бокам этих аллей ютились в листве бананов

маленькие белые дома, крытые зеленью тех же бананов. Около домиков были садики, огороды и маленькие полянки, засеянные маисом, — совсем деревенский вид.

— Скверно живут эти канаки! — заговорил кучер-капитан. — И страна бедная... Только долины и родят что-нибудь, а горы бесплодны. Впрочем, зато канаки и неприхотливы, довольствуются малым: банан, кокос, маис — больше ему и не нужно... А народ хороший, честный и добрый народ... Вот только виски любят. И то европейцы их научили пить водку... прежде, говорят, они ее не знали... И на правительство жаловаться нельзя: не притесняет и налоги назначает очень маленькие, да и то берет их только с состоятельных людей... И способный народ. Давно ли были дикими, а теперь в парламенте сидят.

— Любопытно было бы побывать в парламенте у канаков. Теперь есть у них заседания?

— Нет, парламент закрыт! — сообщил капитан.

— А нельзя ли побывать у них в домах? — спросил Володя.

— Конечно, можно... В любой заедем.

Кучер остановил коляску, окликнул по-канацки, и через минуту вышел молодой канак и знаками попросил в дом.

Там наши туристы были встречены целой семьей темнокожих хозяев: мужчинами, женщинами и детьми, и приняты самым радушным образом. Тотчас же на столе появились бананы и апельсины. В большой комнате, пол которой был устлан циновками, было тесно, но относительно чисто; стены были выбелены, кое-какая мебель имела приличный вид. В боковые комнаты, вероятно, спальные, ни доктор, ни Володя не заглядывали.

Посидев несколько минут, они хотели было доставать портмоне, но кучер-капитан остановил их.

— Они не возьмут и обидятся. Лучше купите у них апельсинов и бананов.

Володя так и сделал.

Объехав весь город и побывав в нескольких канацких домиках, наши путешественники позавтракали в гостинице — и кучер уехал завтракать, предупредив, что завтрака-

ет час, — и затем поехали за город.

Солнце палило невыносимо. Лошади тихо поднимались в гору.

Но вот, наконец, через час езды показался лесок, и оттуда донесся острый аромат апельсинов. Скоро коляска въехала в роскошную большую рощу апельсиновых и лимонных деревьев; аромат от зеленых еще плодов и листвы сделался еще сильнее. Здесь остановились и вышли погулять, но долго гулять не пришлось: у наших путешественников начинали болеть головы и от жары и от этого душистого запаха, и они поторопились сесть в экипаж.

Роща или, вернее, лес этих плантаций кончился, начался спуск, и коляска въехала в дикое ущелье между отвесно поднимающимися горами. По бокам, на этих отвесах, гордо поднимали свои верхушки высокие пальмы различных видов, преимущественно кокосовые, развесистые тамаринды, пихты и великаны секвойи. В ущелье было прохладно. Коляска двигалась медленно по узкой дороге, загроможденной камнями. И доктор и Володя были в восторге, любуясь этой роскошью расти-

тельности и мрачным видом ущелья.

Но вот коляска остановилась, и кучер сказал:

— Выходите, джентльмены.

Джентльмены вышли и ахнули от восторга.

Они были над кручей, над которой громоздились камни и среди них деревья, казавшиеся крошечными, а прямо перед ними расстилалась беспредельная даль океана, красивого, голубого. Кругом царила тишина, и только тихий гул прибоя нарушал эту торжественную тишину.

— Прелесть! — воскликнул Володя.

— Хорошо! — ответил Федор Васильевич.

Они уселись на камне. Через несколько минут кучер, повернув коляску назад и привязав лошадей к дереву, подошел к ним, уселся на другом камне и проговорил:

— А знаете, господа, какую историю рассказывают канаки об этом месте?

— Не знаем. Расскажите, пожалуйста.

И кучер рассказал, что много лет тому назад здесь, на острове, была междоусобная война, против короля восстали и объявили коро-

лем другого. Это самое ущелье решило участь прежней династии. После победоносного сражения инсургенты загнали своих врагов к этому обрыву, и все они были сброшены вниз.

— До сих пор еще груды костей валяются внизу у берега! — заключил рассказчик и снова засосал свою сигару.

Этот странный извозчик, которого называли капитаном и который, по всем признакам, занимался своей теперешней профессией случайно, давно уже интересовал и доктора, и Ашанина. И Володя осторожно спросил:

— А вы давно здесь живете?

— Да уж лет пять, — отвечал кучер в цилиндре и прибавил: — с тех самых пор, как погибла моя бедная «Нита».

— Ваша супруга? — спросил Володя.

— Нет, молодой джентльмен, не супруга — я тогда еще не был женат, — а превосходный китобойный барк «Нита», которым я командовал пятнадцать лет и в последний год купил у владельцев и стал полным собственником. И как удачен был последний лов!.. «Нита» имела полный груз, даже палуба была полна бочками... и я рассчитывал положить в

карман, по крайней мере, тысяч пятнадцать долларов, а вместо того... А главное, сам виноват: не застраховал «Ниту»... Ну, да мы, американцы, не падаем духом... Теперь я вот извозчик, а скоро опять заведу новую «Ниту» и пойду китобойничать! — вызывающе прибавил янки.

— А где ваша «Нита» погибла, капитан? — осведомился Ашанин.

— Недалеко отсюда, недалеко отсюда, милях во ста... Шторм был отчаянный, я вам скажу, господа, и продолжался, подлец, целые сутки... Думал: «Нита» выдержит, не в первый раз она бывала в передрыгах...

— Отчего же она не выдержала, капитан?.. Не угодно ли вам сигару? предложил доктор.

— Благодарю, сэр... Сигары у вас, кажется, хорошие! — проговорил он, понюхав сигару, и тотчас же закурил ее, швырнув свой окурок. — Хорошая сигара! Гаванская и высшего сорта! — прибавил он, потянув носом дым. Отчего «Нита» не выдержала? Да опять-таки по моей самонадеянности и жадности... Да... «Нита» была перегружена, а я жалел бросить за борт часть драгоценного груза... Все ждал

до последней минуты... И когда мы побросали бочки с палубы, было поздно... Волны залили «Ниту», и она с моими долларами пошла ко дну...

— И многие спаслись?

— Всего трое из двадцати пяти человек экипажа: плотник, юнга и я... Сутки держались на обломках марса-реи... Целые сутки... Не особенно приятно... Проходивший китобой заметил наши сигналы и спустил вельбот, снял нас и довез до Гонолулу. С тех пор я и застрял здесь. Ну, да нечего жаловаться... делишки здесь идут хорошо с тех пор, как я вздумал завести здесь первую коляску...

— А до вас их не было?

— Были только у короля да у богатых европейцев, а для публики ничего не было, кроме безобразных канацких экипажей, в которых все ваши внутренности выворотит. Спасибо товарищам-китобоям: дали денег в долг для начала, и я выписал из Фриско первую коляску. Теперь у меня четыре! — не без горделивого чувства прибавил предприимчивый янки.

— И работаете хорошо, капитан?

— Недурно, особенно когда приходят воен-

ные суда и почтовые пароходы из Фриско и из Японии... Тогда и я и три моих кучера-канака целый день заняты... Впрочем, недавно конкурент явился. Тоже янки.

— И вы все-таки думаете завести китобойное судно и опять в море?

— Непременно... На будущий год продам все свое заведение и закажу хорошее суденышко... Надоело сидеть на козлах, когда привык стоять на палубе. И китов набью, и разбогатею, ну, тогда вернусь домой в Калифорнию... А пока прошу вас, джентльмены, рекомендовать мои экипажи вашим товарищам. Они не ездили еще сюда, а непременно следует... Не правда ли, отличная прогулка?.. Пожалуйста, посоветуйте, и вот моя карточка!

С этими словами американец достал из бокового кармана с десяток карточек-объявлений и подал их доктору и Ашанину.

На карточках значилось:

Капитан А.Э.Куттер

содержит лучшие экипажи в Гонолулу, знает лучшие места для экскурсий.

Коляски и кабриолеты

отпускает и верховых лошадей
Внизу стоял адрес.

— И пусть господа моряки за экипажем прямо ко мне обращаются, а не через отель. Меня здесь все знают, и каждый мальчик-канак за монету в 5 центов с удовольствием сбегает за мной, только скажите ему два слова: капитан Куттер, так как и от меня он получит свои десять центов.

Разумеется, и доктор, и Ашанин обещали рекомендовать капитана Куттера и выразили уверенность, что все офицеры непременно совершат эту интересную прогулку.

К вечеру они вернулись в город и после обеда в отеле вернулись на корвет.

А там их ждали важные новости. Утром пришел пароход из С.-Франциско и привез из России почту. В числе бумаг, полученных капитаном, был приказ об отмене телесных наказаний и приказ о назначении контр-адмирала Корнева начальником эскадры Тихого океана. Он уже в Гонконге на корвете «Витязь», и от него получено предписание: идти «Коршуну» в Хакодате и там дожидаться адмирала.

Все это им сообщил мичман Лопатин, бывший на вахте, и весело прибавил:

— Теперь дантистам и любителям порки окончательный капут!

— Да... Слава богу! — радостно воскликнул и Володя.

— Наконец-то! — проговорил доктор.

— Воображаю, как рад Василий Федорович...

— Сияет! — ответил Лопатин. — Да и как же не радоваться всякому порядочному человеку? — прибавил мичман.

— Матросы знают о приказе?

— Нет, завтра капитан им торжественно объявит об этом... Офицерам велено к подъему флага быть в мундирах... Ну, а затем торопитесь, господа, вниз... И вам, доктор, и вам, Владимир Николаевич, есть письма!

IV

И капитан и все офицеры вышли к подъему флага в полной парадной форме, и как только флаг и гюйс были подняты, велено было гг. офицерам остаться и команду построить во фронт.

Веселый и радостный подошел командир к

офицерам и поздравил их с отменой телесных наказаний.

— У нас их, господа, не было по нашей доброй воле, но теперь не будет по закону! — сказал капитан. — И, конечно, никто не позволит себе нарушить закон; никто не позволит себе и собственноручной расправы. Надеюсь, господа! — прибавил Василий Федорович, обращаясь почему-то к Первушину. — По крайней мере я, господа, буду строго преследовать нарушителей за кона, благодаря которому во флоте теперь наступает новая эра. С высоты трона матрос признан человеком, который имеет права... Не сомневаюсь, что все рады этому так же, как и я.

Затем капитан в сопровождении старшего офицера подошел к фронту и проговорил, слегка возвышая голос:

— Здорово, молодцы!

— Здравия желаем, вашескобродие! — громко и радостно отвечали матросы, глядя на своего «голубя» теми веселыми взглядами, которые лучше слов говорили о расположении матросов к капитану.

Остановившись у середины фронта, капи-

тан продолжал:

— Я пришел поздравить вас, ребята, с большой царской милостью. Вчера я получил из России приказ, которым отменяются телесные наказания... Поняли, ребята?

— Поняли, вашескобродие!

— Отныне никто, слышите ли — никто, не смеет вас наказывать розгами или линьками и бить вас... Поняли, ребята? — снова спросил капитан слегка возбужденным голосом.

— Поняли, вашескобродие! — еще веселее и радостнее отвечали матросы.

— Эти позорящие наказания пока оставлены только для тех матросов, которые за дурное поведение могут быть переведены в разряд штрафованных, но не иначе, как по суду. Уверен, у нас ни одного штрафованного не будет... Не так ли, ребята?

— Рады стараться, вашескобродие! — раздался дружный окрик ста пятидесяти человек среди торжественной тишины чудного тропического утра на гонолульском рейде.

Командир приказал матросам стать вокруг него и, когда очутился в центре, проговорил:

— Я прочту вам царский приказ. Слушайте

внимательно. Шапки долой! скомандовал капитан, снимая треуголку.

Все обнажили головы, и капитан прочел приказ, который матросы слушали с благоговейным вниманием, жадно вникая в каждое слово. После этого был отслужен благодарственный молебен, и затем капитан приказал объявить отдых на целый день и разрешил выпить перед обедом по две чарки за здоровье государя, отменившего телесные наказания. Все офицеры были приглашены на завтрак к капитану.

Среди матросов было в это утро необыкновенное оживление. Разбившись на кучки, все говорили о только что прочитанном приказе и обсуждали его на разные лады. Особенно горячо говорили молодые матросы, но среди стариков находилось и несколько скептиков, не вполне веривших в применение нового положения.

Более других проявлял недоверие старый баковый матрос Гайкин, прослуживший во флоте пятнадцать лет и выдавший всякие виды, сделавшие его большим скептиком.

— Чудно что-то, братец ты мой, — говорил

он такому же старику, матросу Артамонову, — право, чудно!

— Чудно и есть! — подтвердил Артамонов.

— Оно, конечно, приказ, но только я так полагаю: ежели который командир попадетя не нашему голубю чета, он форменно отшлифует.

— Сделайте ваше одолжение! — усмехнулся Артамонов с таким видом, будто он был некоторым образом доволен возможностью «форменно отшлифовать».

— Не под суд же отдавать за каждую малость... Матрос, примерно, загулял на берегу и пропил, скажем, казенную вещь... Что с ним делать? Взял да и отодрал как Сидорову козу. А чтобы было как следует по закону, переведут его в штрафованные, и тогда дери его, сколько вгодно.

— Никак это даже невозможно, Гайкин, — вмешался в разговор третий матрос, помоложе, до сих пор молчаливо слушавший этот разговор. — Никак невозможно, — повторил он.

Гайкин насмешливо взглянул на плотного, довольно видного блондина Копчикова, мат-

роса из кантонистов, порядочного таки лодыря, но речистого и бойкого, любившего употреблять ни к селу ни к городу разные мудреные словечки, и проговорил:

— Почему это ты полагаешь?

— А потому, что очень даже хорошо понял, что читал сейчас капитан.

— Что же ты такого понял? — с прежней насмешливостью допрашивал Гайкин, значительно взглядывая на Артамонова и будто говоря этим взглядом, что будет потеха.

— А понял я в тех смыслах, что вовсе без всякого предела телесно обескураживать человека по новому закон-положению нельзя, хотя бы даже самого штафного матроса. Положен, значит, предел, чтобы никого не доводить до отчаянности души, — говорил Копчиков, видимо сам упиваясь цветами своего красноречия. — Получи законную препорцию и уходи. Мол, мерсите вам: больше препорции нет по закон-положению. Но самая главная, можно сказать, загвоздка нынче, что ежели ты что-нибудь свиноватил, так сейчас будут судом судить.

— Так-таки за всякую малость и судом? —

не без иронии задал вопрос Гайкин.

— За все судись! — категорически и с апломбом отрезал Копчиков, как видно усвоивший только что прочитанный приказ так же мало, как и оба старика-матроса.

Гайкин посмотрел на Копчикова и после паузы проговорил не без некоторого презрения:

— И ловок же ты врать. Недаром из кантонинщины!.. По-твоему выходит, что я, примерно, на берегу напился, и меня судить? Или тоже и отодрать нельзя без закон-положения? Небось ежели тебя да за твое лодырство перевели бы в разряд штрафованных, так форменный командир мог бы по закон-положению каждый день законную плепорцию тебе прописывать... А то туда же: закон-положение!

Копчиков обиделся и за то, что именно к нему Гайкин вздумал применить новый закон-положение, и за то, что его покорили в лганье, до которого он, впрочем, был большой охотник.

— Это пусть врут, которые ежели не могут по своему необразованию понимать законов,

а я, слава богу, могу все понять! — проговорил он и отошел с видом человека, убежденного в своем превосходстве и который только напрасно разговаривал с необразованной матросней.

— Тоже: понятие! Лодырь ты этакий! — пустил ему вслед с прибавкой крепкого словечка старый Гайкин и, обращаясь к Артамонову, проговорил: — И все-то он брешет. Видное ли дело, чтобы за всякую малость судиться?

И оба они, привыкшие к прежним порядкам во флоте, вполне были уверены, что хотя и вышел приказ, но все-таки без порки не обойдется, если на судне будет, как они выражались, «форменный» командир.

— Ну, да нам, братец ты мой, все равно. Вернемся в Рассею-матушку, нас в бессрочный отпустят. Слава богу, послужили.

— А разве пустят? — усомнился Артамонов.

— За восемнадцать-то лет? Пустят... Писарь сказывал: беспременно. И слышно, что нонче и сроку службы перемена будет.

— Вольней, значит, стало?

— То-то вольней. Потому ежели как хре-

стьянам волю дали, надо и прочего звания людям дать льготу... и солдату, и матросу... Послужи, мол, царю недолго, да и айда назад в деревню, пока в силе-возможности... А то нам, примерно, с тобой, куда уж в деревню... Так, разве, на побывку, а то ищи себе на стороне пропитания.

И оба старика заговорили о будущем. Гайкин надеялся получить какое-нибудь место в Кронштадте, а товарищ его мечтал о ларьке на рынке. Первый решительно прогуливал на берегу все, что получал, а второй, напротив, копил деньги и скрывал даже от своего товарища, что у него уж прикоплено двадцать пять долларов, которые хранятся у лейтенанта Поленова.

Бастрюков в это утро находился в умирительно праздничном, проникновенном настроении. Он не рассуждал о приказе и едва ли запомнил его подробности, хотя слушал, затаив дыхание, но он чувствовал всем своим существом, что случилось что-то очень значительное и хорошее, что правда взяла свое, и радовался за «людей», что им станет легче жить, радовался, что бог умудрил царя, и на

молебне особенно горячо за него молился.

Он то и дело подходил то к одной, то к другой кучке матросов, слушал, что там говорили, и, улыбаясь своей славной светлой улыбкой, замечал:

— То-то оно и есть. Сподобились и матросики, братцы... Теперь пропадет эта лютость самая на флоте. Про-па-дет! И матрос, братцы, правильный станет... Хорошо будет служить. На совесть, значит, а не из-за страха.

Увидав Володю, который пришел на бак и, тоже веселый и радостный, давал разъяснения приказа многим матросам, которые, видимо, не совсем его поняли, Бастрюков подошел к нему и проговорил:

— Здравия желаю, ваше благородие! Небось к нам пришли? И вам, по вашему доброду сердцу, лестно, как, значит, матросиков русских обнадежили.

— Еще бы! Теперь, Бастрюков, совсем другая жизнь пойдет во флоте. У нас вот капитан прелесть, а на других судах всякие бывают.

— Это точно, что всякие, ваше благородие... И очень даже многие, которые совесть забыли и утесняют матроса.

— А теперь не смеют.

— Может, и посмеют, да с опаской, ваше благородие... А по времени и матрос поймет, что и ему права дадены, не позволит беззаконничать над собою.

— Боцмана вот только все-таки у нас дерутся.

— Дерутся... Тоже им отстать сразу нельзя, ваше благородие... Временем и они отстанут. Они, глупые, и вовсе недовольны теперь приказом.

— Слава богу, недовольных-то мало.

Ашанин был прав. В общей радости обитателей корвета не принимали участия лишь несколько человек: два или три офицера, боцмана и некоторые из унтер-офицеров. Последние собрались в палубе около боцманской каюты и таинственно совещались, как теперь быть — неужто так-таки и не поучи матроса? В конце концов они решили, что без выучки нельзя, но только надо бить с рассудком, тогда ничего — кляуза не выйдет.

Видимо, недовольны были приказом и Первушин, и артиллерийский офицер. Не особенно сочувствовал ему и лейтенант Поле-

нов, но все они старались скрыть это ввиду того, что большинство в кают-компании восторженно говорило о новой эре во флоте. К тому же капитан, как известно, был враг всяких телесных наказаний, и потому все офицеры-дантисты, бывшие матросов потихоньку, поневоле скрывали свое недовольство, не имея доблести открыто высказывать свои мнения, что без линьков пропадет и дисциплина, и матросы не будут хорошими.

В те отдаленные времена немало было моряков, выражавших такие опасения. Но время показало, что и дисциплина не пропала, и матросы добросовестно и усердно исполняют свое дело, и едва ли не лучше прежнего, и без тех ужасных сцен варварских расправ былого времени. И главное — матрос перестал работать из-под палки, перестал быть машиной и сделался человеком.

Завтрак у капитана прошел оживленно. Василий Федорович был, как всегда, радушен и гостеприимен, держал себя так просто, потоварищески, что каждый чувствовал себя свободно, не думая, что находится в гостях у своего начальника. В нем было какое-то осо-

бенное умение не быть им вне службы.

За шампанским было много тостов и пожеланий. Капитан снова говорил о великом значении отмены телесного наказания, и молодежь восторженно внимала его словам. Потом зашла речь о новом начальнике эскадры, и капитан сказал, что эскадра должна радоваться такому назначению, так как Корнев — один из тех редких начальников, которые беззаветно преданы своему делу и вносят в него дух живой. Он превосходный моряк и не формалист. Правда, он вспыльчив, и подчас даже очень, но в нем это вспыльчивость горячей страстной природы моряка. За это ему можно извинить многое.

— Вы с ним служили, Василий Федорович? — спросил кто-то.

— Служил еще в Черном море и в Севастополе... Я был мичманом на пароходе, на котором Корнев во время войны, когда неприятельский флот был уже в Черном море, ходил на разведки, ежеминутно подвергаясь опасности попасться в руки неприятеля... Потом я видел его кипучую деятельность по постройке и изготовлению к плаванию клиперов тот-

час после войны. При многих его недостатках это благороднейший человек, и — что особенно редко — умеет сознавать свои ошибки и первый готов извиниться хотя бы перед мичманом, если считает себя виноватым... Я это испытал на себе.

И капитан рассказал, как однажды в ответ на дерзость Корнева он ответил такой же дерзостью и был уверен, что после этого вся карьера его кончена: Корнев отдаст молодого мичмана под суд и его по меньшей мере исключат из службы, а вместо этого Корнев первый извинился перед мичманом на шканцах в присутствии всех офицеров.

— Надо, господа, быть очень хорошим человеком, чтобы поступить так, как поступил Корнев. Очень немногие способны на это! — заключил капитан.

После завтрака почти все офицеры вместе отправились на берег на аудиенцию к его величеству Камеамеа IV, назначенную в три часа. Разумеется, и Володя был в числе желающих взглянуть на короля и королеву Сандвичевых островов и потом описать то, что видел, в письме к своим. То-то дядя-адмирал

удивится разнице, происшедшей в 35 лет: к нему на шлюпке подплывала голая королева, а теперь королева была одета и, как говорят, очень хорошенькая каначка, щеголявшая в платьях из С.-Франциско. Но в настоящее время королева была в трауре: за неделю до прихода «Коршуна» в Гонолулу королевская чета потеряла единственного ребенка и наследника, маленького мальчика: он внезапно умер от солнечного удара.

V

Толпа любопытных канаков уже собралась на пристани, когда из катера и вельбота вышли русские офицеры в шитых мундирах, в саблях и треуголках на голове. И мужчины и женщины глазели на прибывших во все глаза, видимо восхищаясь блеском мундиров, а мальчишки просто-таки без церемонии трогали сабли и улыбались при этом своими добродушными ласковыми глазами.

Несколько колясок дожидалось русских офицеров. На козлах одной из них восседал с сигарой во рту и капитан Куттер. Он кивнул головой своим вчерашним седокам и, когда они подошли к нему, чтобы сесть в его эки-

паж, протянул руку и крепко пожал руки Володи и доктора.

Минут через десять экипажи остановились у решетки двора или, вернее, лужайки, полной цветов, в глубине которой возвышался двухэтажный, не особенно большой дом, похожий на дом какого-нибудь зажиточного европейца. Это и был дворец, на крыше которого развевался гавайский флаг.

Двое часовых у ворот решетки — небольшого роста солдаты армии его величества, состоящей из трехсот человек, в светло-синих мундирах, с оголенными ногами, так как штаны доходили только до колен, и в штиблетах, похожие скорее на обезьян, взяли ружья на караул, когда все двинулись во двор. Там тоже ждала офицеров торжественная встреча в виде десятка-двух таких же солдатиков, стоявших шпалерами по бокам широкой, посыпанной песком дорожки, которая вела к подъезду дворца. Забил барабан, и солдатики, совсем не имевшие никакой военной выправки, вскинули ружья, пожирая офицеров своими большими, несколько выкаченными глазами.

При входе русских встретил какой-то господин во фраке и белом галстуке, провел их в большую комнату рядом с большой передней и, попросив подождать минутку, скрылся. Это был первый министр его величества короля гавайского, мистер Вейль, пожилой, довольно красивый шотландец, с седыми курчавыми волосами, карьера которого, как потом рассказывал капитан со слов самого мистера Вейля, была довольно разнообразная и богатая приключениями. Мистер Вейль окончил курс в Оксфорде, долго не мог приискать себе хорошего места на родине и отправился завоевывать счастье на океан. Он был и в Индии, занимался торговлей в Китае, но неудачно; потом поехал в Гаванну служить на одной сигарной фабрике, оттуда перебрался в Калифорнию, был репортером и затем редактором газеты и — авантюрист в душе, жаждущий перемен, — приехал на Сандвичевы острова, в Гонолулу, понравился королю и скоро сделался первым министром с жалованьем в пять тысяч долларов и, как говорили, был очень хороший первый министр и честный человек.

— Однако дворец-то не очень важный! — заметил кто-то из офицеров, разглядывая комнату, в которой все дожидались и убранство которой совсем не напоминало европейцу, что он находится во дворце. Все было комфортабельно, как в американских домах, но о той роскоши, какая бывает во дворцах, и помина, конечно, не было.

— Это доказывает только, что его величество знает поговорку: «По одежке протягивай ножки», — заметил, улыбаясь, капитан, — и не грабит своих подданных, как грабят разные магараджи Индии, позволяющие себе безумную роскошь... Страна небогатая, и король получает на свое содержание очень скромные суммы, назначенные парламентом...

— Пойдемте, капитан! Пойдемте, господа! — проговорил снова появившийся мистер Вейль. — Король и королева ждут вас в тронной зале.

Все двинулись гуськом за первым министром: сперва капитан, а за ним по старшинству офицеры. Володя замыкал шествие.

Пришлось только пройти прихожую, и за-

тем русские офицеры вошли в большую просторную и светлую комнату, одну из таких, какую можно увидеть в любом богатом доме и которую мистер Вейль слишком торжественно назвал тронной залой. Посредине этой залы, на некотором возвышении впрочем, стояли троны: большие кресла, обитые красной кожей, и у них стояли король и королева Сандвичевых островов.

Высокий, стройный, совсем молодой, с курчавыми волосами и очень реденькой бородкой, его величество, несмотря на некоторую одутловатость своего темнокожего лица, был очень недурен собой и производил приятное впечатление добродушным выражением лица и особенно глаз. По случаю торжественного приема он был в шитом мундире, с золотым аксельбантом через плечо и генеральских эполетах — форма эта несколько напоминала форму английских генералов — и, казалось Володе, несколько стеснялся этой формой, как обузой, которую надо было нести человеку поневоле.

Королева — стройная молодая женщина маленького роста, с выразительным, прият-

ным лицом, цвет кожи которого был несколько светлее, чем у супруга (говорили, что она была не чистокровная каначка), и с большими черными глазами, в которых светилась скорбь, — была положительно недурна и вызвала невольную симпатию. Ее величество одета была вся в черном. Шелковое, отлично сидевшее на ней платье, видимо сшитое искусными руками, показывало умение молодой королевы одеваться со вкусом. Длинная траурная креповая вуаль ниспадала до ног. На маленьких темных руках сияли кольца. Глубокий траур и скорбное выражение лица королевы объяснялись ужасной потерей, которую она и ее муж понесли неделю тому назад.

Все офицеры с «Коршуна» подходили сперва к королеве, а затем к королю. Первый министр называл фамилии офицеров, безбожно их коверкая с невозмутимым апломбом, и в ответ на поклоны королева не без грации наклоняла свою головку, стараясь приветливо улыбнуться.

Капитан между тем сказал уже приветствие его величеству, и король, крепко пожав

руку капитана, довольно правильным английским языком выразил удовольствие, что видит в своих владениях военное судно далекой могущественной державы, обещал на другой же день посетить вместе с королевой «Коршун» и пригласил вечером обедать к себе капитана и трех офицеров. Всем офицерам он пожимал руки с добродушным видом доброго малого, не особенно чванящегося своим королевским саном, и спрашивал: понравился ли им Гонолулу. Заметно было по его лицу, несколько истомленному и помятому, — вероятно от кутежей, которые он, как рассказывали, довольно-таки любил и которые подтачивали его не особенно крепкий организм, — что эта торжественная обстановка не особенно ему нравится. В глазах его засветилось радостное выражение, когда он пожал руку последнему представлявшемуся — Ашанину.

Аудиенция кончилась. Общий поклон их величеств — и все офицеры, задышавшиеся от жары в суконных застегнутых мундирах, кажется, не меньше любезных хозяев обрадовались окончанию представления и в сопровождении все того же мистера Вейля доволь-

но поспешно вышли из тронной залы в приемную, где были расставлены прохладительные напитки: сельтерская вода, лимонад, аршад и обыкновенный американский напиток «cherry soblar» — херес с водой и с толченым льдом. Нечего и говорить, как рады были все этому угощению и с каким усердием утоляли жажду.

Опять жидко задребезжал барабан при появлении на крыльце наших офицеров, опять десятка два солдат гавайской армии взяли ружья «на караул». Проходя по двору, Ашанин обернулся и увидел на балконе их величества уже в домашних костюмах: король был во всем белом, а королева в капоте из какой-то легкой ткани. Оба они провожали любопытными глазами гостей далекого Севера и оба приветливо улыбались и кивнули головами Ашанину, который в свою очередь, сняв шляпу, поклонился.

В тот же вечер Володя писал дяде-адмиралу; он сообщал ему, между прочим, и об островке капитана Ашанина, мимо которого проходил «Коршун», о своих впечатлениях на Сандвичевых островах и об аудиенции при

дворце.

«Как удивились бы вы, дорогой дядя, увидав вместо полуголого короля, которого, мертвецки пьяного после обеда у вас на шлюпке, вы приказали свезти на берег, и вместо нескольких королев, подплывавших к судну, только одну, одетую со вкусом и принимавшую в тронной зале, и короля в красивом шитом мундире, побывавшего в Европе, получившего кое-какое образование и правящего своим добродушным народом при помощи парламента. А ведь всего прошло 26 лет между вашим посещением и моим и лет шестьдесят с того времени, как предки этих добродушных канаков съели Кука!» — писал между прочим Володя.

На другой день король и королева, приглашенные капитаном к обеду, приехали на корвет в сопровождении своего дяди, губернатора острова, пожилого, коротко остриженного канака с умным и энергичным лицом, который потом, после смерти Камеама IV, года через три после пребывания «Коршуна» в Гонолулу, вступил на престол, и неизбежного первого министра, мистера Вейля, которого

король очень любил и, как уверяли злые языки, за то, что умный шотландец не очень-то обременял делами своего короля и непрочь был вместе с ним распить одну-другую бутылку хереса или портвейна, причем не был одним из тех временщиков, которых народ ненавидит.

Король Камеама IV был очень доступен, и Володя не раз потом видел, как к нему на улицах обращались канаки с разными просьбами и заявлениями, и он сам, случалось, подходил к кому-нибудь и разговаривал со своими подданными с той добродушной простотой, которая так очаровывала их. Вообще Камеама IV был популярен и любим — это чувствовалось, а мистер Вейль не особенно обременял канаков налогами, изыскивая средства на покрытие небольших нужд государства главным образом из определенного сбора с приходящих китобойных судов, для которых Гонолулу служит главной станцией, и из пошлин со всяких привозных товаров. Налоги же, платимые канаками, были в ту пору незначительными, и, таким образом, маленькое Гавайское королевство благоденствовало,

и жители его, довольствующиеся более чем скромными жилищами, почти одной растительной пищей и не нуждающиеся благодаря чудному климату в обилии одежд, могли бы считаться одним из счастливейших народов в подлунной, если бы европейцы, особенно в лице матросов с китобойных кораблей, не познакомили их и с изнанкой цивилизации, и в особенности с ромом и виски.

Несмотря на то, что король и королева обещали приехать запросто и просили не делать официальной встречи и, действительно, приехали в летних простых костюмах, так же, как и дядя-губернатор и мистер Вейль, тем не менее их встретили салютом из орудий, поднятием на грот-мачте гавайского флага и вообще с подобающими почестями: все офицеры в мундирах были выстроены на шканцах, вызван караул, и команда стояла во фронте. Его величество, видимо, был доволен приемом и благодарил капитана.

Гостей провели по корвету, затем, когда все поднялись наверх, пробили артиллерийскую тревогу, чтобы показать, как военное судно быстро готовится к бою, и потом

повели в капитанскую каюту, где был накрыт стол, на котором стояло множество бутылок, видимо обрадовавших племянника, дядю и руководителя внешней и внутренней политикой Гавайского королевства. И капитан и приглашенные офицеры, уже переодетые в кителя, поспешили обратить внимание гостей на отдельный столик с закуской и несколькими графинчиками водки различных сортов.

По-видимому, русский обычай выпить рюмку-другую перед закуской очень понравился гостям, за исключением, впрочем, королевы, и пока гости пробовали водку разных сортов, похваливая, однако, вероятно, из чувства стыдливости, более закуски, чем напитки, Володя Ашанин имел честь угощать икрой ее величество и занимать ее разговором, насколько это было возможно, ввиду не особенно близкого знакомства королевы с английским языком. Однако разговор кое-как шел и, верно, продолжался бы долее ввиду решительного нежелания гостей отойти от стола с закуской, если бы капитан не пригласил их садиться за стол и не усадил королеву

между собой и доктором Федором Васильевичем, чем вызвал, как показалось Володе, быть может, и слишком самонадеянно, маленькую гримаску на лице королевы, не имевшей, по всей вероятности, должного понятия о незначительном чине Володи, обязывающем его сесть на конце стола, который моряки называют «баком», в отличие от «кормы», где сидят старшие в чине.

Капитан, не любивший пить, занимал больше королеву, предоставив его величество в распоряжение старшего офицера, Андрея Николаевича, который находил время и говорить и подливать вина и его величеству, и соседу с другой стороны — дяде-губернатору, и самому себе. А мистер Вейль, сидевший рядом со старшим штурманом, Степаном Ильичом, посвящал его в тайны гавайской политики, взамен чего Степан Ильич с непоколебимым постоянством и с самым серьезным видом наполнял рюмки и стаканы мистера Вейля, не забывая и своих, продолжая в то же время слушать болтливую шотландца.

К жаркому разговоры особенно оживились, и его величество уже приятельски по-

хлопывал по плечу старшего офицера и приглашал его запросто зайти во Дворец и попробовать хереса, который недавно привезен ему из «Фриско» (С.-Франциско), а дядя-губернатор, сквозь черную кожу которого пробивалось нечто вроде румянца, звал к себе попробовать портвейн, причем уверял, что очень любит русских моряков и вспоминал одного русского капитана, бывшего в Гонолулу год тому назад на клипере «Голубчик», который он перекрестил в «Гутчика», причем главную роль в этих воспоминаниях играло чудное вино, которым угощал его капитан.

При столь приятном воспоминании пожилой губернатор громко и весело хохотал, скаля свои ослепительно белые зубы, сверкавшие из-за толстых красных губ. Он, впрочем, не отрицал и достоинства наливаемых ему вин и чистосердечно похваливал и кларет, и мадеру, и портвейн, добросовестно выпивая и то, и другое, и третье.

Не отставал и молодой король, так что королева бросала украдкой тревожные взгляды на супруга и отводила их, несколько успокоенная. Видимо, привыкший и умевший пить,

его величество хотя и был весел, но достоинства своего не терял, и если выказывал особое благоволение старшему офицеру несколько фамильярно, то в этом еще большой беды не было.

И капитан, в свою очередь, не без некоторой дипломатической осторожности, глядя на быстро опоражниваемые стаканы и рюмки, стоявшие перед его величеством, счел долгом сказать Андрею Николаевичу по-русски:

— Не очень подливайте королю. Как бы он не напился пьян, Андрей Николаевич!

И, предоставив королеву, тоже несколько оживившуюся после двух рюмок рейнвейна, доктору, принялся занимать короля рассказами о С.-Франциско, умышленно забывая угощать гостя вином.

Когда по бокалам розлито было шампанское, капитан встал и торжественно провозгласил тост за их величеств и за благоденствие их королевства. Король провозгласил тост за государя императора и русский флот. Мистер Вейль, значительно покрасневшийся, с подернутыми маслом глазами, несколько заплетая языком, произнес спич, в котором

превозносил русских моряков и провозгласил тост за капитана. Затем тосты шли за тостами, шампанское лилось рекой, и все были в самом хорошем настроении духа, а некоторые — и в том числе король и дядя-губернатор — даже в таком, можно сказать, мечтательном, что выражали желание бросить Голулу и, сдав бразды правления Вейлю, поплавать некоторое время на «Коршуне» — так гостеприимны русские моряки. Без сомнения, почтенные гости предполагали, что празднества, подобные настоящему, бывают каждый день. Ликеры, поданные к кофе, и хорошие сигары окончательно утвердили их в этом намерении, и король даже заговорил что-то в этом роде, обращаясь к капитану, на что капитан любезно ответил, что «Коршун» в полном распоряжении его величества.

Королева тем временем сидела на диване, и около нее был Володя Ашанин. В петлице его сюртука уже была белая роза, которую королева вынула из букета, поднесенного ей на корвете капитаном, и отдала молодому человеку. Они разговаривали, и разговор их после обеда был несколько оживленнее. Казалось,

королева понимала больше и сама находила более слов в своем лексиконе, и эти слова, произносимые мягкими, несколько гортанными звуками, были ласковы и задушевные. Она спрашивала веселого, зарумянившегося Володю, далека ли страна, из которой он пришел, и правда ли, что в этой стране очень холодно. Она спрашивала, все ли там такие белые, как он, и есть ли у него жена, и красива ли она. Она интересовалась, сколько ему лет и живы ли у него отец и мать, и есть ли братья и сестры.

Ашанин с такой же задушевностью юнца, да еще выпившего несколько бокалов шампанского, отвечал на вопросы молодой королевы и между прочим сказал, что он не женат.

— У нас такие молодые не женятся.

— А у нас женятся! — отвечала молодая женщина. И, внезапно задумавшись, точно вспомнив о чем-то тяжелом, спросила:

— А в вашей стране бывают солнечные удары?

— Нет, ваше величество, не бывают.

— Счастливые! А в нашей стране быва-

ют, — тихо проронила она, и ее оживившееся было лицо снова сделалось грустно. — У нас здесь очень хорошо, если бы не это безжалоственное солнце! — прибавила она.

— Здесь превосходно! — отвечал и Володя.

— Но вы не остались бы здесь?

— О, конечно, нет! Хоть на моей родине и не так хорошо, как здесь, но я ее люблю, как любите и вы, ваше величество, свою...

— Да, да... И у вас там близкие... они ждут вас...

— Ждут, ваше величество...

— И я бы ждала своего сына, если бы он ушел от меня... Но он ушел так далеко, что я его никогда не дождусь! — говорила королева, не особенно заботясь о правильном построении речи и не стесняясь дополнять речь пантомимами.

Володя с искренним сочувствием глядел на бедную мать, и, вероятно, это-то участливое отношение к ней, которое она, быть может, почувствовала своим чутким сердцем женщины еще на официальном приеме, когда Ашанин так участливо взглянул на нее, и расположило ее сразу к этому пришельцу с

далекого Севера, с белым безбородым лицом, свежим и жизнерадостным, со светлыми волосами и добрыми глазами. Он так же внезапно уйдет из ее страны, как внезапно появился, и она никогда его больше не увидит, но воспоминания о нем, вероятно, сохранятся. Недаром же темная королева подарила Володе розу и так задушевно говорит. Бывают такие встречи людей, совершенно незнакомых, разных национальностей и рас, и между тем эти люди почему-то сразу чувствуют друг к другу симпатию, точно открывая что-то родственное и близкое один в другом. Володя испытал не раз такие чувства во время скитальческой жизни моряка, у которого все встречи так мимолетны и обнимают чуть ли не все страны света.

Между тем разговоры в капитанской каюте становились шумнее, и не только король и его дядя, но даже и мистер Вейль не прочь был оставить Гонолулу и пост первого министра и поступить на «Коршун» хотя бы помощником милейшего мистера Кенеди, ирландца, учителя английского языка, который, в свою очередь, кажется, с большим удоволь-

ствием променял бы свои занятия и свое небольшое жалованье на обязанности и пять тысяч долларов содержания первого министра гавайского короля. Оба они — и Вейль, и Кенеди — уже менялись по этому поводу мыслями, потягивая рюмку за рюмкой душистый мараскин.

Капитан, любезно подходивший к гостям и тщетно старавшийся отвлечь их разговором от ликеров, решил, что пора принять более решительные меры, и приказал вестовому незаметно убрать бутылки со стола и взамен их принести сельтерскую и содовую воды. И это распоряжение было сделано как раз вовремя, по крайней мере для того, чтобы в лице его величества Камеамеа IV не была скомпрометирована королевская власть. Содовая вода значительно помогла ее престижу и вместе с тем напомнила и мистеру Вейлю, что пора королю во дворец и ему самому в свой хорошенький домик неподалеку от дворца.

Темная, чудная ночь помешала видеть не совсем твердые шаги гостей, да и капитан предусмотрительно не приказал устраивать торжественных проводов и, кажется, был

очень доволен, когда гости после многократных пожатий его руки, наконец, уехали на катере, на руле которого сидел Володя. Он все время почти должен был отвечать на разные вопросы королевы, тогда как остальные пассажиры сладко дремали и проснулись только тогда, когда Ашанин, слегка дернув за плечо его величество, доложил, что катер у пристани.

Король и его спутники в лице Володи еще раз поблагодарили русских офицеров за прием, а королева дала ему еще розу, вторую в этот день. Затем они уселись в дожидавшиеся их коляски и скрылись в одной из аллей, а Ашанин вернулся на корвет в несколько мечтательном настроении.

Когда эту розу увидели в кают-компании, Ашанина подняли на зубок, и мичман Лопатин, смеясь, спрашивал, не мечтает ли Владимир Николаевич свергнуть с престола Камеа-меа IV и царствовать на Сандвичевых островах под именем Вольдемара I.

Прошла еще неделя стоянки в Гонолулу. Володя почти каждый вечер съезжал на берег то с доктором, то один, катался верхом по

этим чудным таинственным аллеям, наслаждался дивным воздухом, вдоволь лакомился сочными апельсинами и душистыми бананами и просиживал долгие часы на террасе отеля, любуясь прелестью ночи. Королеву он так более и не видел, но зато накануне отхода «Коршуна» из Гонолулу получил в подарок неизвестно от кого целый ящик апельсинов и громадную связку бананов, благодаря чему Ашанину долго в кают-компании не давали покоя.

Глава третья Новый адмирал I

Есть порты симпатичные, с которыми просто-таки жаль расставаться, как жаль бывает подчас расставаться с недавним знакомым, к которому вы, несмотря на короткое знакомство, успели уже привязаться, и есть порты несимпатичные, откуда моряки уходят с тем же приятным чувством, с каким вы оставляете злых и вздорных людей. К таким симпатичным портам принадлежал и Гонолулу, и когда ранним прелестным утром «Коршун» тихим ходом выбрался из лагуны,

проходя мимо стоявших на рейде судов, все — и офицеры и матросы — смотрели на этот маленький городок, утопавший в зелени и сверкавший под лучами солнца, с нежным чувством, расставаясь с ним не без сожаления. Так уж нежны и приветливы были там и солнце, и небо, и зелень, и эти добрые простодушные канаки, предки которых хотя и скушали Кука, но зато потомки скорее позволят себя скушать, чем съесть кого-нибудь...

Долго еще смотрели моряки на этот городок. Уже корвет вышел из лагуны и, застопорив машину, оделся всеми парусами и под брамсельным ветерком, слегка накренившись, пошел по Тихому океану, взяв курс по направлению южных островов Японии, а матросы все еще нет-нет да и оторвутся от утренней чистки, чтобы еще раз взглянуть на приютившийся под склонами городок... Вот он уменьшается, пропадает из глаз и на горизонте только виднеется серое пятно острова.

А на баке среди матросов, прибежавших покурить, все еще идут толки про Гонолуль, как успели уже переделать на свой лад название города матросы, ухитрившиеся обрусить,

так сказать, всякое иностранное название. Всем понравился Гонолулу. Даже сам боцман Федотов, уже на что всегда лаявший на все иностранные порты, хотя он в них дальше ближайшего от пристани кабака никогда и не заглядывал, и находивший, что чужим городам против российских не «выстоять», и что только в России водка настоящая и есть бани, а у этих «подлецов», под которыми Федотов разумел представителей всех наций без разбора, ни тебе настоящей водки, ни тебе бань, — и тот даже находил, что в Гонолуле ничего себе и что народ даром что вроде арапов, а обходительный, приветливый и угостительный.

— Все простой народ! — пояснял боцман свои впечатления боцману Никифорову, отдыхая после ругани во время утренней уборки на якорной лапе. Намедни зашел я в один ихний домишко... Прошу воды испить. Так и воды дали, да еще апельсинов нанесли. «Ешь, мол!» Я им, значит, монету предлагаю за апельсины... Ни за что! Обиделись даже. Все простой народ! — снова повторил Федотов.

— Да-да... хороша Гонолуль... — подтвердил и Никифоров. — И гулять в ней способно как-то... Иди куда глаза глядят... Небось, не заблудишься... Эти самые канаки приведут тебя к пристани.

— То-то приведут... Только вот у них король какой-то, прямо сказать, замухрыжный. Совсем звания своего не соблюдает. Только слава, что король! недовольно заметил Федотов и внушительно прибавил: — Ты ежели король хоть и черного народа, а все должен себя соблюдать, а то шляется по улицам, и никто его не боится... А короля должно бояться!

— Главная причина, Захарыч, — выпить любит... От того и форцу в ем нет.

— Ты пей, коли любишь, по времени... От чего не выпить и королю? И он, братец ты мой, хоть и помазанник божий, а после трудов и ему в охоту погулять, — возразил Федотов, очевидно допуская, чтобы и король напивался до такого же бесчувствия, как, случалось, напивался и он сам, боцман «Коршуна». — Но главная причина — держи себя настоящей. Соблюдай свое звание... Не шляйся в народе... Помни, что ты какой ни на есть, а

король... Напускай страху, чтобы, значит, поджилки тряслись... И чем выше дано человеку звание, тем больше следует напускать страху, чтобы народ понимал и боялся! философствовал Федотов, державшийся самых непоколебимых принципов насчет спасительности страха и очень недовольный новыми порядками, которые заведены на «Коршуне» благодаря командиру.

Но, кажется, больше всех восхищался бывшей стоянкой Бастрюков. Чуткая поэтическая душа его, воспринимавшая необыкновенно сильно впечатления, даваемые природой, и умевшая как-то одухотворять эту самую природу и, так сказать, проникаться ею, словно бы он сам составлял частичку ее, казалось, нашла на этом прелестном острове что-то вроде подобное райскому жилищу. И он говорил своим несколько певучим голосом Ашанину, когда тот спросил его о том, понравился ли ему Гонолулу:

— Как же не понравиться, ваше благородие, добрый баринок... Изю всех местов, где мы были, нет лучше этой самой Гонолули... Кажется, господь лучшего места и не созда-

вал... Хорош островок... Ах, и как же хорош, ваше благородие! И так он хорош, что и сказать невозможно. И воздух, и это всякое растение зеленое, сады эти... благодать да и только... Тут, глядячи вокруг себя, богато и почувствуешь... Живи, мол, человек, смотри и не делай никому зла... Оттого-то, ваше благородие, и эти самые канаки такой ласковый народ, никого не забижают, и все у него по-простому. Хрещеный он или не хрещеный, этот самый черный канак, а бога по-своему чует, может быть, лучше хрещеного, потому вокруг себя видит, можно сказать, одну ласку господню. И нет у них утеснений друг от дружки. Король-то у них простенький и пьяненький, а добер, сказывают, со своим народом, не утесняет. Верно это, ваше благородие?

— Говорят, что добрый.

— То-то и я так полагаю. Сейчас приметно, коли где людям неспособно жить. А здесь этого не видно. И я так полагаю, что для здешнего народа простенький-то король лучше какого-нибудь важного да с форцом, ваше благородие! — убежденно прибавил Бастрюков.

— Это почему?

— А потому, ваше благородие, что, по моему матросскому понятию, народ здесь вовсе кроткий, и, значит, королю надо быть кротким, а то долго ли этих самых канаков обидеть... Они все стерпят... бунтовать не станут, хоть расказни их...

Бастрюков примолк и затем неожиданно проговорил, словно бы отвечая на свои мысли.

— Господь-то вот всем солнышко посылает и всем хлебушко дает. Живи, мол, всякий человек, грейся, ешь хлеб да помни бога, а на поверку-то, ваше благородие, совсем не по божескому распоряжению выходит...

Володя не совсем понимал, что этим хочет сказать Бастрюков, и спросил:

— Как же выходит?

— Вовсе даже нехорошо, ваше благородие. Сколько на свете этого самого народу, который, значит, заместо того, чтобы жить способно, прямо сказать терпит... Вот хоть бы китайца взять или негру эту самую... Вовсе собачья жизнь. Однако и за работу пора, ваше благородие! — промолвил Бастрюков, улыбаясь своей славной улыбкой, и снова принялся

за прерванную разговором работу — сплести-
вать веревку.

Володя постоял около, глядя, как ловко Ба-
стриуков перебирает расщипленную пеньку
своими толстыми шершавыми пальцами, и,
наконец, произнес с той уверенностью, какой
отличаются юные годы:

— Будет время, непременно будет, Бастрю-
ков, когда всем станет лучше жить!..

— А то как же! Не все же по-собачьи
жить!.. — И в голосе старого матроса звучала
такая же вера в лучшее будущее людей, какой
был проникнут и юный Володя.

А «Коршун» между тем удалялся от остро-
ва. Скоро он скрылся из глаз. Кругом была во-
дяная пустыня.

«Прощай, симпатичный остров!» — мыс-
ленно произнес Володя, спускаясь в каюту.

II

Во все время перехода из Гонолулу в Хако-
дате старший офицер, Андрей Николаевич,
был необыкновенно озабочен и с раннего
утра до вечера хлопотал о том, чтобы все на
«Коршуне» было в самом совершенном поряд-
ке и чтобы новый адмирал, имевший репута-

цию лихого моряка и в то же время строгого и беспокойного адмирала, и не мог ни к чему придраться и увидал бы, что «Коршун» во всех отношениях образцовое военное судно.

Андрей Николаевич решительно был мучеником во весь этот переход в ожидании встречи с адмиралом. Старшему офицеру, и без того педанту по части порядка и чистоты, все казалось, что «Коршун» недостаточно в «порядке», и он носился по всему корвету, заглядывая во все его закоулки. Несколько раз были осмотрены им и подшкиперская каюта, и крьюйт-камера, и машинное отделение, и провизионное помещение, и трюм, — везде он находил образцовый порядок и все-таки... беспокоился. Различные учения происходили каждый день: то артиллерийское, то стрелковое, то абордажное, то внезапно раздавалась пожарная тревога, то вызывался десант... И все эти учения, казалось, не оставляли желать ничего лучшего, но Андрей Николаевич все-таки продолжал быть озабоченным и за обедом, и за чаем, и когда он показывался в кают-компании, непременно заводил речь о близости адмиральского смотра.

— Да что вы так беспокоитесь, Андрей Николаевич? Уж, кажется, «Коршун» в идеальном порядке! — не раз успокаивал старшего офицера доктор Федор Васильевич...

— Вы думаете, доктор? — иронически спрашивал старший офицер.

— Да, и все так думают.

— Все?.. А он, быть может, этого не подумает.

— И он подумает, Андрей Николаевич, — вступился старший штурман, Степан Ильич, — верьте, что не только что подумает, а и выскажет.

— Не слепой же адмирал! — воскликнул мичман Лопатин.

— То-то не слепой! Он, батенька, увидит то, что мы с вами и не увидим! — тревожно заметил Андрей Николаевич. — И не предвидишь, за что он разнесет. Готовьтесь к этому, Василий Васильевич.

— Что ж, я готов! — рассмеялся веселый мичман.

— Да и ко всяким сюрпризам готовьтесь и имейте вещи свои всегда наготове.

— Это почему?

— А потому, что адмирал в океане переводит офицеров с судна на судно... Бывали, говорят, примеры... Вы, например, думаете, что проведете приятно время, положим, в С.-Франциско и будете себе плавать на «Коршуне», как вдруг сигнал с адмиральского судна: перевести мичмана Лопатина на клипер «Ласточка»... Ну, и собирайте живо потрохи...

— Однако! Это не очень-то приятно! — заметил Лопатин.

— Приятно — не приятно, а в полчаса должны быть готовы.

— Неужели он это делал?

— Делал. Меня так раз перевел с клипера! — отозвался первый лейтенант Поленов, плававший с беспокойным адмиралом.

— За что он это вас перевел, Петр Николаевич? — спросил кто-то.

— Да ни за что. Просто хотел показать, что офицер должен быть всегда готов. У него и в мирное время всегда бывало как бы на войне!

— И вы были готовы?

— В двадцать минут! — отвечал лейтенант Поленов, пощипывая, по обыкновению, свои густые пушистые усы, которыми он тщательно-

но занимался. Ну, разумеется, вы можете вообразить, господа, какой винегрет представляли вещи в двух моих чемоданах: треуголка лежала вместе с сапожной щеткой, ботинки с сорочками. Тут некогда было укладываться. Как только наш клипер по сигналу лег в дрейф вместе с другими двумя судами эскадры, баркас был на боканцах и ждал меня... Насилу выгребали. Ветер был свежий, и океанская волна гуляла здоровая.

— Куда же вас перевели, Петр Николаевич?

— На флагманский корвет. Год я плавал с адмиралом... Ну, я вам скажу, и задавал он нам страху... Умел заставить служить по-настоящему, надо правду сказать... Знал, чем пронять каждого!

Вообще новый начальник эскадры — этот хорошо известный в то время во флоте контр-адмирал Корнев, которого моряки и хвалили и бранили с одинаковым ожесточением, — был главным предметом разговоров в кают-компании за время перехода. О его вспыльчивом до бешенства характере, о его плясках на палубе во время гнева и топтании

ногами фуражки, о его «разносах» офицеров и о том, как он школит гардемаринов, рассказывались чуть ли не легенды. Но вместе с тем говорилось и о неустрашимости и отваге лихого адмирала, о его справедливости и сердечном отношении к своим подчиненным, о его страсти к морскому делу и о его подвигах во время Крымской войны, в Севастополе.

Ашанина заинтересовала и, признаться, пугала эта оригинальная личность, соединявшая в себе, судя по рассказам, так много и положительных и отрицательных качеств. Привыкший к постоянному ровному и всегда вежливому обращению своего капитана, Василия Федоровича, юный гардемарин не без страха думал о возможности какого-нибудь столкновения между адмиралом и им. А что, если этот бешеный адмирал да вдруг скажет ему что-нибудь оскорбительное? И при одной этой мысли кровь прилиwała к его лицу, сердце билось тревожно, и всего его охватывало то острое чувство оскорбленного достоинства, готового постоять за себя, которое особенно сильно в молодые годы, когда человек не настолько еще приобрел житейского опыта и

выносливости, чтобы думать о последствиях, защищая свои права человека.

И Ашанин решил по возможности не попадаться на глаза адмиралу, если тот вздумает плавать на «Коршуне», чтобы не очутиться в положении того мичмана, о котором рассказывали при воспоминаниях об адмирале. Рассказ этот произвел впечатление на Володю и возбудил в нем даже некоторую симпатию к адмиралу, показавшему редкий в начальнике пример — сознание своей вины перед подчиненным. В бешенстве обругавший мичмана и получивший от оскорбленного молодого человека в ответ еще большую дерзость, адмирал, в первую минуту готовый расстрелять дерзкого, одумавшись, не только не преследовал нарушителя дисциплины, но еще первый извинился перед ним, понимая, что нарушение дисциплины вызвано им самим.

«Все это, конечно, показывает благородство адмирала, но все-таки лучше, если бы таких выходов не было!» — думал Ашанин, имея перед глазами пример капитана. И, слушая в кают-компании разные анекдоты о «глазастом дьяволе», так в числе многих кли-

чек называли адмирала, — он испытывал до некоторой степени то же чувство страха и вместе захватывающего интереса, какое, бывало, испытывал, слушая в детстве страшную нянину сказку.

Оставалось, по расчетам Степана Ильича, три дня хода до Хакодате, если только ветер будет по-прежнему попутный и все будет благополучно. Степан Ильич, немножко суеверный, никогда не выражался о днях прихода положительно, а всегда с оговоркой, и когда Лопатин стал рассчитывать, что он будет через три дня на берегу, Степан Ильич заметил:

— Рано, батенька, на берег собираетесь. Прежде дайте якорь бросить.

— Ну, вы уж всегда, Степан Ильич, вроде Фомы неверного. Отчего бы нам в три дня и не прийти? Стих нет ветер, мы пары разведем.

— А помните, как вы тоже надеялись на Батавию? Тоже три дня оставалось... Небось, ураганик забыли?

— Тут нет урагаников, Степан Ильич.

— Штормяги зато бывают... Тоже, я вам доложу, не особенно приятные...

Однако ничто не предвещало «штормяги», как выражался старший штурман, и «Коршун» благополучно приближался к берегам Японии. И чем ближе было Хакодате, тем озабоченнее становился старший офицер.

За два дня до предполагаемого прихода «Коршуна» стали окончательно убирать, словно какую-нибудь красавицу на бал. Его мыли, скоблили, подкрашивали и подбеливали. Офицеры, заведующие мачтами и шлюпками, тоже стали как-то нервнее по мере приближения к Хакодате. И гардемарины прибрались в своей каюте, стараясь устроить в ней возможно больший порядок, чему, впрочем, способствовал главным образом Ворсунька. Всем, видимо, не хотелось ударить лицом в грязь, а показаться адмиралу, если уж он пришел, в самом лучшем виде. На всех лицах сказывалась одна и та же забота, соединенная с некоторым страхом перед адмиралом, который «все видит» и «разносит вдребезги».

Один только капитан по обыкновению был совершенно спокоен, и, по-видимому, его нисколько не пугала встреча с начальством.

И, видя всю эту чистку и суету, он замечал старшему офицеру, желая его успокоить:

— Все у нас, Андрей Николаевич, в порядке. Напрасно вы так хлопочете.

— Нельзя, Василий Федорович. Может быть, адмирал уже в Хакодате...

— Да ведь мы и без адмирала, кажется, в порядке? — улыбался капитан. Не для адмирала же мы служим и исполняем свой долг!

Андрей Николаевич и сам это знал и исполнял свой долг безупречно, но все-таки полагал, что лишняя чистка перед адмиральским смотром дела не испортит, как лишняя ложка масла в каше. И он ответил:

— Совершенно верно, Василий Федорович: мы и без адмирала, слава богу, заботимся о «Коршуне».

— Да еще как вы, Андрей Николаевич, заботитесь! У вас корвет — игрушка.

— Ничего, кажется, в порядке суденышко, — скромно проговорил старший офицер, довольный комплиментом и хорошо знавший, что капитан вполне ценит такого служаку, как он. — А все-таки... Адмирал ведь дока и строгий... Так чтобы не к чему было при-

даться, Василий Федорович, чтобы он увидел, каков «Коршун».

И старший офицер любовным и ласковым взглядом доброго пестуна окинул сиявшую чистотой палубу, и пушки, и рангоут, и снасти. В этом взгляде чувствовалась та любовь к своему судну, которой отличались в прежнее время моряки. И, помолчав, он прибавил:

— А по мне, Василий Федорович, лучше, если бы адмиральских смотров совсем не было. И вообще подальше от начальства... Оно спокойнее...

— Корнев к пустякам не придирается... На этот счет не беспокойтесь, Андрей Николаевич.

— Я, Василий Федорович, вообще... Другие вот любят, знаете ли, быть на виду у начальства, а я этого не люблю... Не такой характер. Что делать! застенчиво усмехнулся Андрей Николаевич. — А пожалуй, адмирал к нам сядет? вдруг тревожно спросил он.

— Весьма возможно. Он любит лично знакомиться с чинами эскадры и с офицерами. Но вам-то тревожиться нечего, Андрей Николаевич. К вам самому строгому адмиралу не

за что придраться, хотя бы он и искал случая. Вы ведь знаете, что я не комплименты вам говорю, и знаете, что я считаю за счастье служить с вами, Андрей Николаевич! — прибавил с чувством капитан.

Тронутый Андрей Николаевич горячо благодарил, и его заросшее волосами бородатое лицо светилось радостной улыбкой. Он сам глубоко уважал командира, и ни разу у него не было с ним никаких столкновений и даже недоразумений, обычных между командиром и старшим офицером. Они дополняли друг друга. Капитан был, так сказать, душой этого пловучего уголка, оторванного от родины, душой и распорядителем, а старший офицер — его руками.

III

Часов в девять утра «Коршун» входил под парусами в проливчик, соединяющий море с рейдом. Все были вызваны наверх «становиться на якорь». На палубе царила мертвая тишина.

Слегка накренившись, корвет пробежал пролив и взял влево в глубину бухты, где, в числе нескольких военных судов под ино-

странными флагами, стояла и маленькая русская эскадра: корвет под контр-адмиральским флагом и два клипера. Красивый белеющийся город с маленькими домами раскинулся среди зеленых пятен у бухты, поднимаясь по склону небольшой возвышенности.

Но почти никто не смотрел на город. Глаза всех были устремлены на красивый флагманский корвет, к которому направлялся «Коршун». Вот он прорезал кормы английской канонерки и французского авизо, миновал несколько «купцов» и летел теперь прямо на адмиральский корвет.

— Начинайте салют! — скомандовал старший офицер, стоявший на мостике.

Там же стояли капитан и старший штурманский офицер. Остальные офицеры стояли по своим местам у мачт, которыми заведывали. Только доктор, батюшка, оба механика и единственный «вольный», то есть штатский, мистер Кенеди, стояли себе «пассажирами» на шканцах.

— Первое пли... Второе пли... Третье пли... — командовал замирающим голосом артиллерийский офицер, Захар Петрович,

вращая своими круглыми, слегка выкаченными глазами и отсчитывая про себя: раз, два, три, четыре... до десяти, чтобы промежутки были правильные и чтобы салют был, как выразился Захар Петрович, «прочувствованный».

И он действительно его «прочувствовал» и даже «просмаковал», этот коренастый пожилой человек, далеко неказистый собой, с лицом, похожим, если верить сравнению, сделанному втихомолку кем-то из гардемарин, на медную кастрюльку. Теперь эта медная кастрюлька полна сосредоточенного, немного страдальческого выражения. Перебегая от орудия к орудию, старый артиллерист, казалось, весь, всеми фибрами своего существования поглощен в салют. В эту минуту он забыл все на свете, даже своего маленького сынка-сиротку, которого он оставил в Кронштадте и ради которого отказывает себе в удовольствиях, редко съезжает на берег и копит деньги. Ради него, вероятно, он — старый бурбон и дантист — серьезно воздерживается от желания «расквасить кому-нибудь рожу» ввиду предупреждения капитана, что он бу-

дет списан с корвета, если не перестанет драться.

Одиннадцать выстрелов салюта контр-адмиральскому флагу гулко раздаются один за другим, отдаваясь эхом на берегу. Облачка белоснежного дыма, вылетая из жерл орудий, быстро относятся ветром и тают в воздухе.

Салют окончен, и Захар Петрович, сияющий, довольный и вспотевший, полный сознания, что салют был «прочувствованный», с аффектированной скромностью отходит от орудий на шканцы, словно артист с эстрады. Ему никто не аплодирует, но он видит по лицам капитана, старшего офицера и всех понимающих дело, что и они почувствовали, каков был салют.

Выскочил первый дымок с адмиральского корвета. Раздался выстрел — один, другой, и на седьмом выстрелы прекратились. Ответный салют русскому военному флагу был окончен.

До адмиральского корвета уже было недалеко, и зоркие глаза капитана и старшего офицера меряют расстояние, отделяющее «Коршун» от адмиральского корвета. В сби-

той на затылок шапке, с расставленными фертом ногами, слегка возбужденный, с горящими маленькими глазками, Андрей Николаевич совсем не похож теперь на того суетливого и трусящего начальства человека, каким он бывает на смотрах. Теперь он лихой моряк, позабывший и адмирала и думающий только о том, как бы щегольски прорезать корму «адмирала» и стать на якорь, как следует доброму судну. Он чувствует, что со всех судов эскадры и с иностранных судов на «Коршун» устремлены глаза моряков, осматривающие нового гостя такими же ревнивыми взорами, какими смотрят на балу дамы на вновь прибывшую красавицу. И Андрей Николаевич, словно бы отец или муж этой красавицы, стоит на наветренной стороне мостика, посматривая вперед с горделивым чувством в душе, уверенный, что его красавица не осрамится. Он только изредка вскрикивает рулевым:

— Лево... Больше лево... Так держать!..

Адмиральский корвет совсем близко, а «Коршун» летит прямо на его корму, где стоит кучка офицеров с адмиралом во главе. Все на

«Коршуне» словно бы притаили дыхание. Вот, кажется, «Коршун» сейчас налетит на адмирала, и будет общий позор. И капитан, спокойно ходивший по мостику, вдруг остановился и вопросительно-тревожно взглянул на старшего офицера, уже готовый крикнуть рулевым положить руля на борт. Но в это самое мгновение Андрей Николаевич уже командовал:

— Право на борт!..

Рулевые быстро заворочали штурвалом, и «Коршун» пронесся совсем под кормой адмирала и, круто повернув, приостановился в своем беге.

— Паруса на гитовы! По марсам и салингам! Из бухты вон, отдай якорь! командовал старший офицер.

Якорь грохнул в воду. Марсовые, точно кошки, бросились по вантам и разлетелись по реям.

Прошло много-много пять минут, как все паруса, точно волшебством, исчезли, убранные и закрепленные, и от недвижно стоявшего недалеко от адмиральского корвета «Коршуна», красивого и внушительного, с выправ-

ленным рангоутом и реями, со спущенными на воду шлюпками, уже отваливал на щегольском вельботе капитан в полной парадной форме с рапортом к адмиралу.

Глядя на «Коршун», можно было подумать, что он давно стоит на рейде, так скоро на нем убрались. И все на нем — и офицеры и матросы — чувствуя, что «Коршун» не осрамился и стал на якорь превосходно, как-то весело и удовлетворенно глядели. Даже доктор проговорил, обращаясь к Андрею Николаевичу, когда тот, четверть часа спустя, вбежал в кают-компанию, чтобы наскоро выкурить папироску:

— А ведь славно стали на якорь, Андрей Николаевич!

— Да, ничего себе, — отвечал старший офицер и, снова озабоченный, не докурив папироски, выбежал из кают-компанияи наверх...

Прошло полчаса. Капитан не возвращался с флагманского корвета.

— Долго же его адмирал исповедует! — заметил лейтенант Поленов.

— Еще дольше почты не везут! — воскликнул белокурый и красивый лейтенант Невзо-

ров, нетерпеливо ожидавший с берега почты из консульства, рассчитывая получить от своей молодой жены одно из тех писем-монстр на десятках страниц, какие он получал почти в каждом порте, и раздраженно прибавил: — И что это за консул скотина! Не знает, что ли, что мы пришли... Ведь это свинство с его стороны!

И многие, ожидавшие весточек с родины, находили, что это свинство и что надо сказать об этом капитану.

Старший офицер снова вбежал в кают-компанию.

— Эй, Егоров! рюмку водки и сыру! Да живо.

— Есть! — отвечал на бегу вестовой.

Встававший вместе с командой в пятом часу утра, старший офицер имел обыкновение до завтрака замаривать червяка. Два стакана чаю, которые он выпивал утром, не удовлетворяли его.

— А долго что-то капитан у адмирала! — озабоченно проговорил и он, выпивая рюмку водки и закусывая куском сочного честера, любимого своего сыра, запас которого он сде-

лал еще в Лондоне. — Господа! Кому угодно? любезно приглашал он. — Степан Ильич... рюмочку!

— Разве что рюмочку.

И старший штурман проглотил рюмку и, закусив маленьким кусочком сыра, промолвил:

— Славный у вас джин, Андрей Николаевич... Да, долгонько что-то капитан.

— Быть может, адмирал оставил его завтракать! — заметил кто-то.

— Адмирал завтракает в полдень, а теперь всего десять часов... Верно, расспрашивает о плавании... об офицерах.

— Верно, и день смотра назначит! — вставил Ашанин.

— Ну, батенька, он дней не назначает, не таковский! — засмеялся Степан Ильич.

— У него, что ни приезд, все смотр! — заметил и Поленов.

В эту минуту сквозь открытый люк кают-компании раздался голос стоявшего на вахте мичмана Лопатина:

— Караул и фалрепные! Свистать всех наверх!

И вслед затем в кают-компанию вбежал сигнальщик и доложил:

— Адмирал и капитан едут!

Старший офицер опрометью бросился в каюту, захватил кортик и, на ходу прицепляя его, выбежал наверх. Вслед за ним, надевши кортики, вышли и все офицеры и выстроились на шканцах.

Команда стояла во фронте.

Катер, в котором сидели адмирал, капитан и флаг-офицер, быстро приближался к парадному трапу «Коршуна». За катером шел капитанский вельбот.

Как только что катер подошел к борту, старший офицер и вахтенный начальник стояли у входа, готовые рапортовать адмиралу. Андрей Николаевич был несколько взволнован и почему-то все оправлял свой кортик. Мичман Лопатин, напротив, был в обычном своем жизнерадостном настроении.

Взбежав по трапу мимо фалрепных с живостью молодого человека, на палубу выскочил небольшого роста, плотный, коренастый, широкоплечий человек лет за сорок, в черном люстриновом сюртуке, с аксельбантами свит-

ского адмирала, с отложным неформенным воротником, открывавшим белоснежные воротнички сорочки. И его фигура и его лицо — круглое с мясистыми, гладко выбритыми щеками, с небольшими короткими усами и круглыми, слегка выкаченными большими глазами дышали энергией кипучей природы; некрасивое лицо невольно обращало на себя внимание своей оригинальностью. В нем чувствовалось что-то сильное, властное и вместе с тем простодушное.

Выслушав рапорты, адмирал, веселый, видимо уже расположенный к «Коршуну», снял фуражку, обнажив свою круглую голову с коротко стриженными черными, слегка серебрившимися волосами, и, крепко пожав руку старшего офицера, приветливо проговорил, слегка заикаясь:

— Очень рад познакомиться с достойным старшим офицером... Э-э-э... Очень рад... Мне Василий Федорович говорил о вас... И я должен вам сказать, Андрей Николаевич, что «Коршун» щегольски вошел на рейд и стал на якорь... Приятно видеть такие суда-с!

И вслед затем он протянул руку Лопатину

и спросил:

— Ваша фамилия, молодой человек?

— Лопатин, ваше превосходительство!

— Приятно познакомиться. Должно быть, вы бравый офицер... Не так ли, Василий Федорович?

И, не дожидаясь ответа, вполне уверенный, вероятно, что ответ будет утвердительный, адмирал направился быстрой походкой к фронту офицеров и, снова сняв фуражку, сделал общий поклон. Капитан называл фамилию каждого, и адмирал приветливо пожимал всякому руку. Поленова и Степана Ильича, с которыми раньше плавал, он приветствовал, как старых знакомых.

Наконец он подошел к Володе и, протянув ему руку, остановил на нем взгляд своих выкачанных глаз, улыбаясь при этом с самым любезным видом. Видимо, ему понравился Володя.

— Гардемарин Ашанин! — представлял капитан.

— Якова Ивановича сын? — спросил адмирал.

— Племянник, ваше превосходительство.

— Старайтесь быть таким же моряком, как ваш достойный дядюшка... Да, мой любезный друг. Надеюсь, вы хорошо служите?

— Отлично, ваше превосходительство! — доложил капитан.

— И мне так кажется. Мы поближе с вами познакомимся.

И с этими словами, не особенно, впрочем, приятными для Володи, вообразившего, что его переведут с «Коршуна» на адмиральский корвет, адмирал круто повернулся и пошел к команде, попросив капитана остаться на шканцах.

Веселый, дружный ответ команды на приветствие адмирала и добрые веселые лица матросов не оставляли никаких сомнений, что претензий никаких не будет. И точно, когда адмирал, обходя по фронту, спрашивал, нет ли каких претензий, царило глубокое молчание.

— Ну, теперь покажите-ка мне ваш корвет, Василий Федорович, — весело говорил адмирал, возвратившись на шканцы. — Да распустите господ офицеров и команду.

Адмирал в сопровождении капитана и

старшего офицера спустился вниз осматривать корвет. Разумеется, все найдено в безукоризненном порядке, и адмирал то и дело выражал свое удовольствие и повторял:

— Видно, что настоящее военное судно!

На кубрике он обратил внимание на глобус, и когда капитан объяснил ему, что гардемарины и некоторые офицеры устраивают для матросов чтения, воскликнул:

— Пример, достойный подражания! Надо на всех судах эскадры завести то же самое... Вы образцовый командир, Василий Федорович!

Пока адмирал осматривал корвет, несколько офицеров и гардемарин, обязанности которых не призывали быть внизу, передавали друг другу свои первые впечатления об адмирале.

— Он вовсе не такой страшный, как говорили. Напротив, необыкновенно прост и приветлив! — говорил Ашанин.

— Это потому, что он «штилюет»... Доволен «Коршуном»... А посмотрели бы вы, когда адмирал «штормует»! — проговорил Степан Ильич.

— И сильно?

— Мое вам почтение... Да, впрочем, сами увидите, если он будет у нас сидеть... Кому-нибудь да попадет... А уж Быкову не сдобровать.

Толстый, пухлый, рыжеватый гардемарин, большой-таки лодырь, с сонным выражением лица, обидчиво спросил:

— Это почему, Степан Ильич?

— А потому, батенька, что вы, нечего-таки греха таить, с ленцой... Ну, и ходите с перевальцем.

— Ну так что ж, что с перевальцем... Такая походка.

— При нем советую изменить аллюр, батенька... непременно изменить... И если он позовет, бегите к нему рысью... Да вот еще что, господа гардемаринны милые, знаете ли вы приказ Нельсона перед Трафальгарской битвой?

— Это еще к чему? — спросили одновременно Быков и Кошкин.

— Советую знать, если не знаете... И вообще морскую историю повторите. Он требует, чтобы ее знали.

— Я знаю, я читал, — вставил Володя.

— Ну, вам меньше шансов на разнос! — засмеялся старый штурман.

Скоро наверху показался адмирал и поднялся на мостик. Все ждали, что он прикажет сделать какое-нибудь учение, но он вместо того приказал снарядить баркас и два катера и велел отправить гардемаринцов кататься под парусами. Приказано было делать короткие галсы и проходить под кормой «Коршуна».

Ветер был порывистый и довольно свежий. Часто налетали шквалики. Кошкин отправился на баркасе, а Быков и Ашанин на катерах. Как только что шлюпки отвалили от борта и понеслись по рейду, Кошкин и Быков взяли по одному рифу у парусов, но Ашанин находил, что рифы еще рано брать, и понесся на своем катере впереди всех. Какое-то жуткое и вместе с тем приятное чувство охватило Володю, когда катер, накренившись, почти чертя бортом воду, летел по рейду под парусами, до места вытянутыми, хорошо вздувшимися, послушный воле Ашанина, который сидел на наветренном борте на руле. Все греб-

цы, как обыкновенно водится, сидели не на банках, а внизу, так что видны были одни их белые шапки. Шкоты были на руках у двух матросов. По временам налетали порывы, и надо было держать ухо остро, чтобы не перевернуло катер. И Ашанин, весь нервно приподнятый, полный задора юного моряка, словно бы тешил себя этими сильными ощущениями близости опасности и точно играл ею, вовремя приводя к ветру, когда налетали порывчики. Он сделал большой галс, дал поворот оверштаг и неся к «Коршуну» далеко впереди двух своих товарищей.

— Смелый этот юноша! — отрывисто проговорил адмирал, любуясь катером Ашанина и обращаясь к стоявшему около капитану. — Только, того и гляди, перевернется... Рифы надо брать... Пора рифы брать. Ветер все свежеет... И чего он не берет рифов! — вдруг крикнул адмирал, словно бы ужаленный, и глаза его метали молнии, и лицо исказилось гневом. — Он с ума сошел, этот мальчишка! Набежит шквал, и его перевернет!

И в гневном голосе его звучали тревожные ноты.

Еще минута-другая... и катер, совсем лежащий на боку и чертя бортом воду, пронесся под кормой.

— Рифы... Два рифа взять! — рявкнул адмирал таким голосом, что все на «Коршуне» вздрогнули, и при этом взмахнул своей рукой, указывая на паруса катера.

Ашанин только слышал какой-то рев, но не разобрал, в чем дело, и рифов не брал. Катер его несся дальше, и он, весь возбужденный, зорко смотрел по сторонам, сторожа порывы.

— Сигнал... Катер к борту! — крикнул адмирал.

Подняли позывные катера.

— Нас требуют, ваше благородие, — доложил Ашанину унтер-офицер, увидевший позывные.

— К повороту! — скомандовал Ашанин.

Адмирал не отрывал глаз от бинокля, направленного на катер, и нервно вздергивал и быстро двигал плечами. Положение катера беспокоило его. Ветер крепчал; того и гляди, при малейшей оплошности при повороте катер может перевернуться. Такие же мысли

пробежали в голове капитана, и он приказал старшему офицеру посадить вельботных на вельбот и немедленно идти к катеру, если что-нибудь случится.

Но ничего не случилось. Катер лихо дал поворот и летел домой к корвету. И адмирал сердито и в то же время одобрительно проговорил:

— Этот сумасшедший мальчишка отлично управляется со шлюпкой.

Через пять минут катер был у борта, и Володя выскочил на палубу, несколько сконфуженный и недоумевающий, зачем его потребовали: кажется, шкоты были вытянуты до места, повороты правильны, и концов за шлюпкой не болталось.

— Адмирал на вас освирепел, голубчик, — участливо предупредил мичман Лопатин.

— За что?

— Зачем рифов не взяли. В самом деле, вы жарили, как отчаянный.

— Гардемарин Ашанин! пожалуйста сюда-с! — раздался окрик адмирала.

Ашанин быстрой походкой направился к мостику.

— Да бегом, бегом-с, когда вас зовет адмирал!.. — крикнул адмирал.

Ашанин благоразумно рысью взбежал на мостик и, приложив руку к козырьку фуражки, остановился перед адмиралом. Адмирал уже отходил. Во-первых, катер благополучно вернулся и, во-вторых, сам смелый, он любил смелость. Взглядывая на это раскрасневшееся, еще возбужденное лицо Ашанина, на эти еще блестящие отвагой глаза, адмирал словно бы понял все те мотивы, которые заставили Ашанина не видеть опасности, и не только не гневался, а, напротив, в своей душе лихого моряка одобрил Ашанина. Ведь и сам он в молодости разве не сумасшествовал точно так же и не выезжал в бурную погоду на маленькой шлюпке под парусами? Тем не менее он считал своим долгом в качестве адмирала «разнести» Ашанина и потому, напуская на себя строгий вид, проговорил:

— Скажите, пожалуйста, вы с ума, что ли, сошли?

И так как Ашанин не счел возможным отвечать на такой вопрос, то адмирал продолжал:

— Только сумасшедшие могут не брать рифов в такой ветер... Только безумные молодые люди! Разве вы не понимали, какой опасности подвергали и себя и, главное, людей, которые были под вашей командой?

Такая постановка обвинения очень задела Ашанина, и он с живостью ответил:

— Я не думал, ваше превосходительство, чтобы была опасность.

— Не думали?! Что ж, тогда, по-вашему, опасность? Когда бы вы в море очутились, а?

— Я, ваше превосходительство, как видите, не очутился в море! проговорил Володя.

— А могли бы очутиться... если я вам говорю! — возвысил голос адмирал. — Могли бы! Налети только шквал, и были бы в воде... Слышите?

— Слушаю, ваше превосходительство.

Адмирал выдержал паузу и продолжал:

— Я понимаю, что иногда нужно рисковать. Вот если бы на войне вас послали со шлюпкой или спасали бы погибающих и торопились на помощь... тогда я похвалил бы вас, а ведь вы просто катались... И... ни одного рифа!.. Небось, видно, приятно вам было,

что катер на боку совсем? Приятно?

Но Ашанин, уже раз оборванный, счел благодарнее не отвечать, что ему было очень приятно видеть катер на боку.

— Вперед прошу в такую погоду всегда рифы брать... Слышите?..

— Слушаю, ваше превосходительство.

— А затем я вам должен сказать, Ашанин, что вы хоть и сумасшедший молодой человек, а все-таки лихо управляете шлюпкой... Я любовался... да-с, хоть и сердился на вас... Можете идти.

Но только что Ашанин повернулся, как адмирал вернул его и, уже почти ласково глядя на Володю, проговорил:

— И вот что еще, любезный друг: прошу вас сегодня ко мне обедать в шесть часов. Но только смотрите: если приедете под парусами, — два рифа взять! — прибавил, уже смеясь, адмирал.

Адмирал не делал никаких учений. Поблагодарив собравшихся офицеров и команду, он уехал с корвета, пригласив капитана и двух офицеров к себе обедать.

Как только что адмирал уехал, капитан

отдал ревизору приказание заготовить немедленно провизию к завтрашнему утру.

— Завтра утром мы снимаемся с якоря и идем в Шанхай!

— Есть! — отвечал ревизор.

— Адмирал здесь остается, Василий Федорович? — спрашивал старший офицер.

— Он с нами идет. Завтра перебирается... но вы не печальтесь... только до Шанхая! — прибавил улыбаясь капитан. — А оттуда мы пойдем в отдельное плавание.

«Слава богу!» — подумал Андрей Николаевич. Хотя сегодня он и был расхвален адмиралом, тем не менее все-таки полагал, что чем дальше от начальства, тем лучше. И он пошел в кают-компанию завтракать и сообщить новости.

— Вот тебе и на! Значит, Хакодате так и не увидим! — заметил Лопатин.

— А сегодняшней день?.. Снимаемся завтра. И нечего особенного здесь смотреть... Да и, верно, зимовать придем в Японию... Еще посмотримся на нее! — отвечал Андрей Николаевич.

И на радостях, что адмиральское посеще-

ние прошло благополучно и что «Коршун» показал себя во всех отношениях молодцом, Андрей Николаевич велел подать из собственного запаса десять бутылок шампанского и угощал всех с обычным своим радушием.

— Ну, что, познакомились теперь с адмиралом? — поддразнивали Ашанина в кают-компани.

— Это еще что за знакомство... Разве он так разносит! — говорил Поленов.

— Вот кричал он вам на катер, чтобы вы риф взяли, так я вам скажу! Точно быка резали! — смеялся Лопатин.

— И как это вы не слышали?

— За ветром не услышишь.

— Ну, да он быстро отошел! — заметил старший штурман. — И ваша отчаянность ему понравилась. Он ведь сам отчаянный.

— Да, Ашанин, не управься вы хорошо сегодня, пришлось бы вам купаться... Но вы молодцом! — заметил старший офицер и приказал вестовому налить еще бокал шампанского.

После завтрака Ашанину пришлось вступить на вахту, а после ехать обедать к адми-

ралу на «Витязь». Так ему и не пришлось побывать на берегу. Но зато на «Витязе» он встретил несколько своих товарищей и провел с ними вечер. В этот вечер много анекдотов рассказывали ему гардемарины о «глазастом дьяволе» и, между прочим, читали ему стихи, сочиненные на адмирала.

IV

За этот короткий переход из Хакодате в Шанхай все, не знавшие беспокойного адмирала, более или менее хорошо познакомились с ним. Всего было, и многим попадало. Особенно часто попадало Быкову, и он боялся адмирала пуще огня и пугливо прятался за мачту, когда, бывало, адмирал показывался наверху.

Более всего донимал он мичманов и гардемарин, требуя их почти каждый вечер в капитанскую каюту, которую занимал, и заставлял их слушать то, что он читал, — преимущественно историю морских войн, а то и просто литературные произведения, — и боже сохрани было не слушать или не уметь повторить прочитанного! Кроме этих чтений, он беседовал и в этих беседах старался вселить в

молодых моряках тот «морской дух», который он считал главным достоинством в моряке. Особенно любил он рассказывать о Нельсоне, Лазареве и Корнилове, и через несколько дней все — даже ленивец Быков — знали, какой приказ отдал Нельсон перед Трафальгарским сражением. Заботясь не об одном только морском образовании молодых моряков и зная, как мало в смысле общего образования давал морской корпус, адмирал рекомендовал книги для чтения и заставлял переводить с иностранных языков разные отрывки из лодий или из морской истории. И все это он делал с порывистостью и вместе с тем с деспотизмом властной натуры, приходя в гнев, если его не понимали или недостаточно проникались его взглядами.

И зато как же его ругали втихомолку молодые люди, что он не дает им покоя, но зато и как же тепло вспоминали его впоследствии, когда поняли, что и вспоминал он о Корнилове, и разносил, и бесновался подчас, искренне любя морское дело и искренне желая сделать молодежь хорошими моряками.

Однако бывали «штормы», но «урагани-

ков» не было, и никто на «Коршуне» не видел, что на «Витязе» видели не раз, как адмирал, приходя в бешенство, бросал свою фуражку на палубу и топтал ее ногами. На «Коршуне» только слышали, — и не один раз, — как адмирал разносил своего флаг-офицера и как называл его «щенком», хотя этому «щенку» и было лет двадцать шесть. Но это не мешало адмиралу через пять же минут называть того же флаг-офицера самым искренним тоном «любезным другом».

Володя Ашанин хотя и пользовался благоволением его превосходительства, тем не менее старался не особенно часто попадаться ему на глаза и на вахтах, что называется, держал ухо востро, чтобы адмиралу не за что было придраться и «разнести». Но все-таки и ему изрядно «попадало» и приходилось выслушивать подчас выговоры, после которых адмирал становился еще приветливее, особенно когда эти выговоры были не вполне заслуженные и делались иногда под влиянием раздражения на что-нибудь другое. И Ашанин отчасти понял этот своеобразный характер, сумел оценить его достоинства и до некото-

рой степени извинить недостатки, и если и не сделался таким влюбленным поклонником адмирала, каким был по отношению к капитану, то все-таки чувствовал к нему и большое уважение и симпатию. Энергия и решительность адмирала подкупили Володю, и он нередко защищал его от нападков Кошкина и Быкова, которые видели в нем только самодура и ничего более.

К этому надо прибавить, что Ашанин особенно восхищался в адмирале его гуманным отношением к матросам, и в этом отношении адмирал совершенно сходился с капитаном. И матросы очень верно оценили своего адмирала.

— Даром что кипуч, а добер! — говорил про него Бастрюков и прибавлял: а по флотской части адмирал не чета другим... все наскрозь видит!

— То-то видит... Глаз у него: у-у-у! Я служил с ним, когда он первый раз водил эскадру в кругосветку... Беда, какой отчаянный! — говорил старый плотник Федосей Митрич. — И, надо правду сказать, господ школил форменно и требовал службы настоящей, а к матросу

был добер. И не очень-то позволял наказывать!.. А господ в струне держал... это точно... Бывало, ежели какая работа, примерно, на фор-марсе, а офицера, что заведует мачтой, нет, он сейчас за ним, да пушить. «За что, — говорит, — вы будете чаи распивать да разговоры разговаривать, когда матрос на дождю мокнет... Вы, — говорит, должны матросу пример подать, а не то чтобы прохлаждаться»... Да так, бывало, и обзовет бабой... А уж накричит!..

«Коршун» подходил к Шанхаю, когда в гардемаринскую каюту прибежал сигнальщик и доложил Ашанину, что его адмирал требует.

Ашанин не заставил себя ждать и явился к адмиралу.

— Очень рад вас видеть, любезный друг... Очень рад! — любезно говорил адмирал, пожимая Ашанину руку. — Садитесь, пожалуйста... Прошу курить... Вот папироски.

— Благодарю, ваше превосходительство, у меня свои.

— Охота вам курить свои... Ваши ведь хуже. Курите мои.

— Я доволен своими.

— Ну, как знаете... А все лучше попробуйте мои! — потчевал адмирал.

Ашанин, улыбаясь, взял адмиральскую папиросу.

Адмирал несколько секунд молчал, вперив глаза в Ашанина, и, наконец, проговорил:

— А знаете, что я вам скажу, Ашанин... Ведь вы недурно перевели то, что я вам поручил... И слог у вас есть... Гладко написано... Это весьма полезно для морского офицера уметь хорошо излагать свои мысли... Очень даже полезно... Не правда ли?

— Совершенно верно, ваше превосходительство.

— А то другой и неглупый человек видит много интересного и по морскому делу и так вообще, а написать не умеет... да... И ни с кем не может поделиться своими сведениями, напечатать их, например, в «Морском Сборнике»...[101] И это очень жаль.

Ашанин слушал и недоумевал, к чему ведет речь адмирал и зачем, собственно, он его призвал. А адмирал между тем подвинул к Ашанину ящик с папиросами и, закурив сам, продолжал:

— Советую вам обратить на это внимание. У вас есть способность писать... И вы должны писать... Что вы на это скажете?

Зардевшийся Ашанин отвечал, что до сих пор не думал об этом вопросе, причем утаил, однако, от адмирала, что извел уже немало бумаги на сочинение стихов и что, кроме того, вел, хотя и неаккуратно, дневник, в который записывал свои впечатления и описывал посещаемые им порты.

— Так вы подумайте... И я вам дам случай написать... Я вас пошлю в Кохинхину.

Ашанин чуть не привскочил от удивления.

— Вы, конечно, желаете! — проговорил адмирал таким тоном, что не пожелать было невозможно.

И Ашанин, конечно, пожелал.

— А там теперь французы усмиряют ананитов. Они недавно завели там колонию и все не могут устроиться... В газетах пишут, что им плохо там... Так вот вы все это посмотрите и представите потом мне отчет, что вы видели... Я вам дам письмо к начальнику колонии, адмиралу Бонару, и он, конечно, не откажет вам дать случай все видеть... Пробуде-

те там два месяца, а через два месяца в Сайгон придет «Коршун», и вы снова на корвет. Так приготовьтесь. С первым же пароходом Messageries Imperiales вы отправитесь в Сайгон. Надеюсь, что вы отлично исполните возложенное поручение и опишете, каковы колонизаторы французы.

Все еще изумленный Ашанин обещал выполнить поручение по мере сил.

— Так можете идти... Завтра получите деньги и с первым пароходом в Сайгон!

— Слушаю, ваше превосходительство.

Когда Володя от адмирала пошел к капитану, чтобы сообщить о своей командировке, капитан поздравил его с таким поручением.

— По крайней мере, в два месяца кое-что основательно увидите и опишете. Я знаю адмирала. А потом опять на «Коршун». Надеюсь, что адмирал не отнимет вас от меня! — любезно прибавил капитан. — Или вы хотите к нему?

— Что вы, Василий Федорович! От вас я никуда не желаю.

Немало изумления было и в кают-компании, когда Володя объявил, что он команди-

руется в Кохинхину.

— Зачем? Надолго ли? И с чего это взбрело адмиралу послать вас? Потом к нам опять?

Такие вопросы сыпались со всех сторон на Ашанина. И хоть он добросовестно передал, для чего посылает его адмирал, тем не менее посылка эта всех удивила, и многие смеялись, что адмирал хочет сделать из Ашанина литератора.

Через два дня Володя рано утром перебрался на пароход с чемоданом, в котором между платьем лежал мешок с тысячью долларами, и в тот же вечер ушел из Шанхая в Сингапур, где он должен был пересесть на большой пароход Messageries Imperiales, шедший из Франции в Сайгон и другие китайские порты.

Глава четвертая

В Кохинхине

I

«Анамит» — большой океанский пароход Французского общества Messageries Imperiales, делавший рейсы между Францией и Дальним Востоком, был отличный ходок по тем временам, когда еще не было, как теперь, судов, ходящих по 25 узлов в час. Выйдя из

сингапурской красивой бухты, он быстро по-
несся полным ходом, делая по двенадцати-
тринадцати узлов в час.

Отделан он был роскошно, и пассажиры, особенно пассажиры I класса, пользовались теми удобствами и тем изысканным комфортом, какими вообще щеголяют французские и английские пассажирские пароходы дальних плаваний. И содержался «Анамит» в том безукоризненном порядке, который несколько напоминал порядок на военных судах. Морской глаз Володи тотчас же это заметил и объяснил себе чистоту и исправность коммерческого парохода тем, что капитан и его помощники были офицеры французского военного флота.

Огромная, крытая ковром столовая с длинными столами и с диванами по бортам, помещавшаяся в кормовой рубке, изящный салон, где стояло пианино, библиотека, курительная, светлые, поместительные пассажирские каюты с ослепительно чистым постельным бельем, ванны и души, расторопная и внимательная прислуга, обильные и вкусные завтраки и обеды с хорошим вином и ледяной

водой, лонгшезы и столики наверху, над рубкой, прикрытой от палящих лучей солнца тентом, где пассажиры, спасаясь от жары в каютах, проводили большую часть времени, — все это делало путешествие на море более или менее приятным, по крайней мере для людей, не страдающих морской болезнью при малейшей качке.

Ашанин был очень доволен своей неожиданной командировкой. Он вволю отсыпался теперь, не зная ни ночных вахт, ни авралов, ни учений, перезнакомился со многими пассажирами и двумя пассажирками и весь отдавался новым впечатлениям среди новой обстановки и новых людей. Для него приятно быстро и незаметно прошли эти несколько дней перехода из Сингапура в Сайгон — главный город только что завоеванной французами и еще находившейся в восстании Кохинхины, составлявшей часть Анамского королевства.

Погода все время стояла превосходная. Дни, правда, были знойные, но зато ночи, эти дивные южные ночи с нежной прохладой и брильянтовым небом, были восхитительны.

Стоял штиль, и качки почти не было, и потому столовая не пустовала во время ранних и поздних завтраков и обедов. Все пассажиры первого класса были на своих местах за двумя столами, и оживленные разговоры, шутки, смех и остроты не прекращались, особенно среди французов, составлявших большинство. Почти все они ехали из Франции в Сайгон, или, как они выговаривали «Сегон» (Saigon): кто на службу — преимущественно офицеры, кто искать богатства и счастья в новой колонии, только что присоединенной к Франции. Два патера, худощавые, серьезные и бледные, с пронизательными глазами, опущенными большую часть времени на молитвенники, в своих черных сутанах, с приплюснутыми треуголками на головах, являлись некоторым диссонансом и держались особняком. Они тоже ехали в Сайгон, чтобы оттуда отправиться по глухим местам для проповеди между анамитами христианства, проповеди, начатой миссионерами еще в XVII столетии, — обрекая себя на жизнь, полную лишений и подчас опасностей. Много уже было жертв среди проповедников. Из-за убийства

миссионеров, собственно говоря, и началась война с Анамом Франции, желавшей воспользоваться предложением для приобретения колонии.

Остальные пассажиры, в числе которых было несколько англичан, два немца, американец и испанец, направлялись далее: в Китай, Японию, Австралию и С.-Франциско.

Была и интересная парочка: молодой лорд и его жена, молоденькая и хорошенькая леди, которые совершали свое несколько далекое свадебное путешествие — ни более, ни менее, как на Сандвичевы острова, чтобы оттуда потом через Америку вернуться на родину.

Благодаря особой любезности капитана «Анамита», высокого, сухощавого, молодцеватого на вид старого моряка и типичного горбоносого южанина с гладко выбритыми смуглыми щеками и седой эспаньолкой, Ашанина поместили одного в каюту, где полагалось быть двоим. Это была любезность моряка к моряку. Узнавши, что Ашанин русский военный моряк, капитан с первой же встречи был необыкновенно мил и любезен. Он объяснил, что не раз встречал русских моряков во время

прежних плаваний, нередко приглашал Ашанина к себе на мостик, куда вход пассажирам был воспрещен, болтал там с ним и, между прочим, любезно сообщил разные сведения о Сайгоне, о котором Володя не имел ни малейшего понятия и знал только по плану, который показывал ему один пассажир-француз. Как оказалось потом, и план, и милый капитан, недаром бывший гасконцем[102], значительно преувеличивали прелести Сайгона и вообще Кохинхины.

За столом Ашанину пришлось сидеть между одной англичанкой, возвращавшейся из Англии к мужу-банкиру в Гонконге после шестимесячного пребывания у родных, и старым симпатичным французом-ботаником, севшим, как и Володя, в Сингапуре. За первым же завтраком Ашанин познакомился и с соседом и с соседкой, миловидной блондинкой, лет тридцати, с светло-русыми волосами, серыми глазами, веселыми и смеющимися. И он частенько сжививал около миссис Уайт на палубе, занимая любознательную, по-видимому, англичанку рассказами о России и стараясь оказывать ей всевозможные маленькие

услуги с величайшим усердием.

И англичанка так внимательно слушала рассказы молодого человека, полные откровенности и какой-то наивной сердечности, и так ласково улыбалась своими серыми глазами, когда Ашанин приносил ей снизу шаль или стакан лимонада со льдом, что другой ее кавалер, английский офицер, ехавший на Ванкувер, плотный рыжий господин лет за тридцать, с рачьими глазами, стал хмуриться, а наш юный моряк, напротив, был полон восторга и, признаться, начинал сожалеть, что адмирал дал ему командировку в Сайгон, а не в Гонконг.

Познакомился Ашанин и с патерами. Вернее, они сами пожелали с ним познакомиться, и однажды поздно вечером, когда он мечтательно любовался звездами, сидя в лонгшезе на палубе, они подошли к нему и заговорили. Разговор на этот раз был малозначащий. Говорили о прелести плавания, о красоте неба, — при этом один из патеров выказал серьезные астрономические познания, — о Кохинхине и ее обитателях и затем ушли, выразив удовольствие, что так приятно провели

время в обществе русского офицера.

На другой день, когда Ашанин снова поздно ночью засиделся на палубе, слагая какой-то чувствительный сонет в честь миссис Эни, оба патера подошли к нему и после приветствий один из них, постарше, человек лет под сорок, заговорил на тему о религии. Ашанин слушал несколько изумленный и подавал лишь время от времени реплики. А патер все страстнее и страстнее говорил о католической религии, о папе, о тех утешениях и радостях, которые дает католичество, и как бы мимоходом делал неодобрительные отзывы о «схизме», сетуя, что схизматики, разумея под ними православных, не просветлены истинным учением.

«Уж не думают ли они меня обращать в католичество?» — пронеслось в голове Ашанина, и он, удерживаясь от насмешливой улыбки, стал слушать с большим вниманием отца-иезуита.

Володя не ошибся. Действительно, после длинной апологии в честь католической религии патер спросил, понижая голос до шепота:

— Что вы думаете, сын мой, о той единственно истинной вере, которую завещал народам Иисус Христос через апостола Петра и в лоне которой только и могут люди спасти свои души?

Ашанина подмывало потешиться над этим патером, чтобы отучить его впредь от таких попыток спасти его грешную душу. И потому он таким же тоном, тихим и таинственным, каким говорил иезуит, скрывая возмущенное чувство, ответил, что он до сих пор не думал об этом.

— Подумайте об этом, сын мой, и, быть может, господь осенит вас своей благодатью...

Вслед за таким началом почтенный миссионер, решивший, вероятно, что «рыбка клюнула», еще горячее продолжал говорить о значении католичества и говорил бы, конечно, весьма долго, если бы Ашанин, уставший от этой беседы и раздосадованный, что эти патеры принимают его за дурака, готового променять свою веру благодаря непрошенным наставлениям, не перебил оратора на одном из патетических периодов насмешливым восклицанием:

— Не довольно ли, святой отец?!

«Святой отец» остановился, так сказать, со всего разбега и смущенно проговорил:

— Отчего довольно? Разве вам надоело слушать слово истины?

— Признаться, надоело, святой отец... Вы напрасно только потратили столько красноречия... Поберегите его для анамитов... И — извините, господа, — я ведь слушал вас только для того, чтобы посмотреть, как вы улавливаете души. Но моей вы не уловите, даю вам слово, и ни в чем меня не убедили... Поверьте, что порядочные люди не меняют религии, как перчатки... Спокойной ночи, святые отцы!

И с этими словами Володя раскланялся и ушел к себе в каюту, оставив патеров в дураках.

С тех пор они не только не пытались спасти Володину душу, но и не заговаривали с ним и вообще избегали Ашанина. Только по временам они бросали недовольные взгляды на юного схизматика, который так ехидно провел их.

Ашанин весело смеялся, возвратившись в

свою каюту, и на другой день сообщил о попытке сделать из него католика миссис Уайт и капитану. Англичанка назвала своего поклонника хитрецом, а капитан хохотал, как сумасшедший.

— Ловко вы поддели этих... тараканов, очень ловко. Они уж пробовали обращать здесь некоторых пассажиров-китайцев, но только те выманили у патеров по несколько долларов и после объявили, что предпочитают остаться буддистами... Ха-ха-ха!..

И затем старый моряк не без негодования стал говорить, что эти миссионеры делают много зла в Кохинхине. Вместо того чтобы спасать души, они развращают население и заводят интриги.

— Сами увидите, если отправитесь в глубь страны! — прибавил капитан.

— А скоро мы будем в Сайгоне, капитан?

— Послезавтра в полдень.

— Так скоро! — невольно вырвалось у Ашанина.

II

Ранним утром, когда золотистый шар солнца, выплыв из-за сереющей полосы бе-

рега, еще не успел жгучими лучами накалить атмосферу и на море было относительно прохладно, «Анамит» подходил к устью реки Донай, или Меконг.

Ашанин, имеющий поручение от адмирала сделать описание Сайгона и входа в него, конечно, был наверху с биноклем и с записной книжкой в руках, в которую он набрасывал время от времени заметки и частенько-таки отводил глаза от берега и взглядывал вниз, на трап, в надежде увидеть миссис Уайт. Но было всего шесть часов. Англичанка еще спала, и Ашанин снова смотрел на берег вместе с французами-пассажирами, ехавшими в Сайгон и желавшими поскорее взглянуть на свою новую колонию, которую так расхваливали парижские газеты, прославляя мудрость императора Наполеона III.

Несмотря на близость разлуки с «идеальной красавицей», Ашанин был жизнерадостен, бодр и счастлив. Еще бы! В боковом кармане его легонького пиджака лежит фотографическая карточка этой самой красавицы с надписью красивым почерком «В память нашего знакомства» и затем надпись: «Ану

White»[103]. Она сама дала эту карточку, просила Ашанина выслать ей его карточку и приглашала молодого человека быть у нее непременно, когда их «Коршун» зайдет в Гонконг. Мало этого: миссис Уайт, видя, вероятно, к своему изумлению, как легко сделать счастливым такого милого юношу, вдобавок вовсе не похожего на тех грубых варваров, какими она представляла себе русских, простерла свое благоволение до того, что выразила желание получить от Ашанина когда-нибудь несколько строк.

Нечего и говорить, что такие знаки благоволения окончательно привели в восторг Володю, и, покрасневши до макушки своих кудрявых волос, он, разумеется, прерывающимся от волнения голосом обещал прислать и карточку и написать письмо и, расставшись затем с англичанкой, побежал в свою каюту и стал рассматривать карточку с тем благоговейным восторгом, с каким один сингалезец в Сингапуре глядел в храме на статую Будды.

И теперь, посматривая на белеющий у входа в устье маяк, построенный на мысе Св. — Жак, он нет-нет да и ощупывает боковой кар-

ман, желая удостовериться: цело ли его сокровище. В это время капитан любезным жестом зовет его на мостик и, когда Володя взбегаёт, говорит ему, указывая на маяк:

— Сто сорок метров высоты... Освещает на тридцать миль в ясную погоду... Недавно только что выстроен... Да обратите внимание на мыс Св. — Жак.

— А что? — спрашивает Ашанин, приставляя к глазам бинокль.

— Видите, как он выдвинулся?

— Вижу.

— Между этим мысом и берегом самый узкий проход... Защита его — защита Сайгона, который в 50 милях от устья... А в другие рукава Доная нельзя войти: устья их мелки... Англичане не сунутся никогда сюда! — прибавил капитан, видимо не расположенный к англичанам.

Скоро пароход проходил в узком пространстве. С одной стороны мыс, состоящий из двух высоких гор, падающих отвесными стенами в море, а с другой плоский берег, на котором расположена деревушка, где находится станция лоцманов, унтер-офицеров французского

флота.

Приостановив ход, чтобы взять лоцмана, пароход вошел в Донай.

Желтовато-мутная вода этой глубокой реки, судоходной на протяжении 80 миль от устья для самых больших, глубоко сидящих кораблей, напомнила Ашанину китайские реки Вусунг и Янтсе Кианг. Но на Доне не почти мелей и банок, которыми изобилуют китайские реки. Донай уже, берега его покрыты густой дикой растительностью. Местами река суживается на поворотах и на пароходе то и дело приходится переключать руль с борта на борт, и в таких узких местах ветви береговых кустарников лезут в отворенные иллюминаторы кают.

«Анамит» шел полным ходом словно бы среди какого-то волшебного сада, дикого, грандиозного и красивого. Девственность леса и незапуганность его обитателей поражают парижан, едущих на службу в Сайгон и после театральных декораций видящих такую прелесть природы.

Володя давно уже сошел с мостика и был около англичанки, любуясь красотой берегов.

— Смотрите!.. Обезьяна! — раздались голоса.

Действительно, на высокой пальме, на самой ее кроне, сидела монки. Еще мгновение... и обезьяна перепрыгнула на другое дерево и скрылась из глаз. Видели и попугаев, и зеленых маленьких голубей, шумно оставляющих ветвистые пальмы, на которых они сидели. Звонкие концерты раздаются из зеленой чащи, и парижане то и дело вскрикивают от изумления.

Но пусты эти берега, печальны... Селений нет... Изредка встречается хижина, крытая тростником и похожая на малайскую или китайскую, но человека нет... Он куда-то исчез, словно бы чего-то боится, и эта чудная глубокая река кажется мертвой.

— Все убежали, — поясняет один из офицеров парохода. — Все взяли за оружие.

Но вот показалась впереди утлая лодчонка и тотчас же скрылась в один из узеньких протоков, составляющих между собой безвыходный лабиринт, знакомый лишь туземцам, и скрылась, словно мышь в норку.

После, когда Ашанин путешествовал по

этим боковым протокам и рукавам Доная, он узнал причину этой боязни туземцев, вызванной недавней войной: повсюду были развалины разрушенных или выжженных селений; печально стояли у берега обгорелые дома, около которых тянулись рисовые сжатые поля. Французы во время войны выжигали целые селения, уничтожали все, что только возможно, если не находили жителей.

— Совсем не та здесь была жизнь, — говорил Ашанину один старожил-француз. — Люди были везде... тысячи джонок шныряли по реке и ее притокам... до войны...

— Но ведь теперь войны нет! — удивился Ашанин.

— Все равно... Многие возмутились, побросали дома и ушли к Куан-Дину.

— А кто такой Куан-Дин?

— Предводитель их... Очень энергичный человек.

Пароход приближался к Сайгону, и все пассажиры были наверху... К полудню показались мачты кораблей, стоявших на сайгонском рейде, и скоро «Анамит» завернул в огромную бухту и стал на якорь против горо-

да, на купеческом рейде, на котором стоял десяток купеческих кораблей, а в глубине рейда виднелась большая французская эскадра.

Но где же город? Неужели это хваленый Сайгон с громадными каменными зданиями на планах? Оказалось, что Сайгон, расположенный на правом берегу реки, имеет весьма непривлекательный вид громадной деревни с анамитскими домами и хижинами и наскоро сколоченными французскими бараками. Все эти громадные здания, обозначенные на плане, еще в проекте, а пока всего с десяток домов европейской постройки.

Однако пора было Ашанину собираться. Через несколько минут он простился с англичанкой и был награжден одной из тех милых улыбок, которую вспоминал очень часто в первые дни и реже в последующие, простился с капитаном и с несколькими знакомыми пассажирами и сел на шлюпку, которая повезла его с небольшим чемоданом на берег, где он никого не знал и где приходилось ему устраиваться. Он несколько раз оборачивался и поднимал свою индийскую каску в ответ на маханье знакомого голубого зонтика и,

несколько грустный, вышел на незнакомый, неприветный берег, невольно вспоминая, что лихорадки и дизентерии косят здесь в особенности приезжих, и не зная, где найти ему пристанище.

Ашанин долго искал гостиницы, сопровождаемый полуголым анамитом, который нес его чемодан, и не находил. Стояла палящая жара (40 градусов в тени), и поиски пристанища начинали утомлять. Наконец, в одной из улиц он встретил пассажира-француза с «Анамита», который любезно проводил Ашанина до гостиницы, указав на небольшой на столбах дом, крытый банановыми листьями и окруженный садом.

Ашанин вошел прямо в большую бильярдную, где двое офицеров играли в карамболяж, а другие «делали» свою полуденную сиесту в больших плетеных креслах. Он так был поражен непривлекательным видом этой гостиницы, что хотел было снова сделаться жертвой 40-градусной жары и идти искать другого пристанища, как дремавший в бильярдной хозяин, толстый француз, остановил Володю словами:

— Вы ищете комнату?

— Именно.

— Пойдемте, я вам дам отличное помещение... одно из лучших...

И толстый, заплывший жиром француз с маленькими бегающими глазками, свидетельствовавшими о большой пронируемости их обладателя, ввел Володю в крошечную комнату с одним крошечным окном, выходящим на двор сомнительной чистоты, и, приятно улыбаясь, проговорил:

— Вот вам помещение, monsieur[104]... Не правда ли, комнатка недурна, а?

Хуже этой комнаты трудно было себе представить. Небольшая кровать под мустикеркой, кривой стол и два плетеных стула составляли всю меблировку. Жара в комнате была невыносимая, и на окне болталась одна жалкая шторка, не представлявшая защиты от палящего солнца. Француз заметил полнейшее разочарование, выразившееся на лице молодого приезжего, и поспешил сказать:

— Лучшего помещения вы нигде не найдете... Мы, видите ли, еще на биваках, так сказать... Ведь всего два с половиной года, как

мы заняли Сайгон, и война еще не окончилась... Эти проклятые анамиты еще бунтуют... Но наш адмирал Бонар скоро покончит с этими канальями... Скоро, будьте уверены... Через пять-шесть месяцев у нас в Сайгоне будут и хорошие гостиницы, и рестораны, и театры... все, что нужно цивилизованному человеку, а пока у нас все временное...

И болтливый француз продолжал рассказывать, какая большая будущность предстоит Сайгону, затем вкратце познакомил Володю со своей биографией, из которой оказалось, что он из Оверни родом и отправился искать счастья на Восток и странствует с французским воинством; сперва был маркитантом, а теперь завел маленькую гостиницу и ресторан.

— Пока дела неважные, но когда наша колония разовьется, о! тогда, я надеюсь, дела пойдут...

Он, наконец, ушел, и Ашанин начал устраниваться в своем жилище.

Через полчаса он уже шел, одетый в полную парадную форму, с треуголкой на голове, к губернатору колонии и главнокомандующе-

му войсками и флотом, адмиралу Бонару, чтобы представиться ему и передать письмо от своего адмирала.

Сайгон произвел на нашего юношу не особенно приятное впечатление. На плане значился громадный город — правда, в проекте — с внушительными зданиями, похожими на дворцы, с собором, с широкими улицами и площадями, носящими громкие названия, в числе которых чаще всего встречалось имя Наполеона, тогдашнего императора французов, с казармами, театром и разными присутственными местами, — и вместо всего этого Ашанин увидел большую, широко раскинутую деревню с анамитскими домиками и хижинами, из которых многие были окружены широкой листвой тропических деревьев. Только широкие шоссеиные улицы, несколько наскоро сделанных барачков да строящиеся дома показывали, что здесь уже хозяйничает европеец и вдобавок француз, судя по обилию кофеен с разными замысловатыми названиями, приютившихся в анамитских домиках.

Множество туземных домов стояло пустыми, и Ашанин вскоре узнал, что половина ту-

земного населения Сайгона, которого насчитывали до 100000, ушла из города вследствие возмущения против завоевателей, вспыхнувшего незадолго перед приездом Володи в Кохинхину и спустя шесть месяцев после того, как французы после долгой войны, и войны нелегкой вследствие тяжелых климатических условий, предписали анамскому императору в его столице Хюе мир, отобрав три провинции — Сайгон, Мито и Биен-Хоа — и двадцать миллионов франков контрибуции. Только шесть месяцев после заключения мира было относительное спокойствие в завоеванном крае... Вскоре начались вспышки в разных уголках Кохинхины; анамиты восстали под начальством Куан-Дина во всех трех завоеванных провинциях.

Под адски палящим солнцем шел Володя, направляясь в дом губернатора. На улицах было пусто в этот час. Только у лавчонок под навесом банановых листьев, лавчонок, носящих громкие названия, вроде «Bazar Lionnais» или «Magasin de Paris»[105], да и у разных «кафе» с такими же названиями и в таких же анамитских домишках встречались солдаты

в своей тропической форме, куртке, белых штанах и в больших анамитских соломенных шляпах, похожих на опрокинутые тазы с конусообразной верхушкой, — покупавшие табак «*miscarogale*»[106] или сидевшие у столиков за стаканами вермута или абсента, разведенного водой. Встречались и анамиты (мирные, как их называли), работавшие над шоссе или у строящихся зданий под присмотром французских унтер-офицеров, которые тросточками подбадривали более ленивых, разражаясь бранью.

Почти на всех улицах, по которым проходил Володя, он видел среди анамитских хижин и китайские дома с лавчонками, около которых в тени навесов сидели китайцы за работой. Все ремесленники в Сайгоне — китайцы: они и прачки, и торгаши, и комиссионеры... Вся торговля в Кохинхине издавна была в руках этих «евреев Востока», предприимчивых, трудолюбивых и крайне неприхотливых. В Сайгоне их было много, и Володя на другой же день, осматривая город, видел за городом целый китайский поселок.

Вот, наконец, на одной из широких улиц с

бульваром временный дом губернатора. Он был неказист на вид, переделанный из жилища анамитского мандарина, и имел вид большого сарая на столбах, крытого черепицей, с дощатыми, не достигающими до крыши стенами для пропуска воздуха. Окна все были обращены во двор. Вокруг дома и во дворе было много пальм разных видов, раскидистых бананов и других деревьев.

У входа стояли двое часовых с ружьями. Они отдали честь Володе, оглядывая с любопытством его форму.

— Адмирал дома?

— Дома! — отвечал один из часовых и указал на дверь.

Ашанин вошел в большую полутемную, прохладную прихожую, где, сидя на скамье, дремал мальчик-китаец. Он поднялся при виде посетителя и провел его в соседнюю, такую же полутемную, прохладную комнату-приемную, в которой тоже дремал, удобно расположившись в лонгшезе, молодой су-лье-тенант.

— Вам что угодно? — спросил он, лениво поднимаясь с кресла, и, видимо, недовольный, что потревожили его сладкий сон.

Володя объявил, что он желал бы представиться адмиралу Бонару.

— Вы какой нации?

— Я русский моряк. Имею письмо к адмиралу от начальника русской эскадры Тихого океана.

Молодой су-льетенант тотчас же рассыпался в любезностях и попросил подождать минутку: он сию минуту доложит адмиралу и не сомневается, что русского офицера тотчас же примут. И действительно, не прошло и минуты, как офицер вернулся и ввел Ашанина в комнату рядом с приемной — кабинет адмирала.

В довольно большом кабинете за письменным столом сидел высокий, худощавый, горбоносый старик с седой, коротко остриженной головой, седой эспаньолкой и такими же усами, в летнем черном сюртуке с адмиральскими шитыми звездами на отложном воротнике и шитыми галунами на обшлагах. Лицо у адмирала было серьезное и озабоченное.

— Очень рад видеть здесь русского офицера, — проговорил адмирал, слегка привставая с кресла и протягивая Ашанину длинную

костлявую руку, с любезной улыбкой, внезапно появившейся у него на лице. — Как вы сюда попали? Садитесь, пожалуйста! — указал он на плетеное кресло, стоявшее по другую сторону стола.

Ашанин передал письмо и уселся, разглядывая губернатора-адмирала, про которого еще на пароходе слышал, как о человеке, суровые меры которого против анамитов и жесткие репрессалии во время войны, вроде сжигания целых деревень, были одной из причин вспыхнувшего восстания.

— Очень рад исполнить желание вашего адмирала и дам вам, *monsieur* Ашанин, возможность познакомиться с нашей колонией до прихода сюда вашего корвета... В месяц вы, при желании, все увидите... Скоро будет экспедиция против инсургентов... Я только жду тагалов из Манилы... и батальона зефиров из Алжира... Тогда мы уничтожим этих негодяев и отучим их впредь возмущаться! — продолжал адмирал, и на его лице появилось что-то жестокое и непреклонное. — Надеюсь, что и вы, как русский офицер, захотите принять участие в этой славной экспедиции и посмот-

реть, как мы поколотим это скопище разбойников.

Хотя Ашанину казалось не особенно приятным это предложение принять участие в войне, да еще в чужой, и испытать, так сказать, в чужом пиру похмелье, тем не менее он, по ложному самолюбию, боясь, чтобы его не заподозрили в трусости, поспешил ответить, что он будет очень рад.

— Ну еще бы... русские офицеры такие же храбрецы, как и наши! проговорил адмирал, вполне уверенный, что осчастливил Ашанина сравнением с французами.

Видимо чем-то озабоченный, адмирал, только что говоривший о славной экспедиции, ворчливо заметил, что не все понимают трудности войны в этой стране. Здесь придется бороться не с одними людьми, но и с природой.

— Вы увидите, какие здесь болота и какой климат! Лихорадки и дизентерии губительнее всяких сражений... А этого не понимают! — ворчал адмирал, не досказывая, конечно, перед юным иностранцем, кто не понимает этого. Думают, что можно с горстью солдат

завоевывать страны! Да, только французы могут героически переносить те лишения, какие им выпадают на долю вдали от родины. Слава Франции для них выше всего! — неожиданно прибавил адмирал.

Володе эти слова показались и несколько ходульными, и несколько хвастливыми, и он невольно вспомнил, что и русские солдаты переносили, и не раз, тяжкие лишения не менее героически. словно бы спохватившись, что говорит ненужные вещи, да еще перед юношей, адмирал оборвал свою речь и спросил:

— Вы где устроились, молодой человек?

Володя сказал.

— Это никуда не годится. Я вас иначе устрою. Вы будете жить с одним из моих *officiers d'ordonnances*[107], бароном де Неверле... У нас здесь пока гостиниц порядочных нет... Конечно, скоро будут, но пока... *A la guerre comme a la guerre...*[108]. За обедом мы порешим это дело с Неверле... Вы сегодня у меня обедаете... Ровно в семь и, пожалуйста, в сюртуке, а не в мундире... До свидания.

Ашанин поблагодарил адмирала за его любезность и ушел, очень довольный, что его

устроят, вероятно, лучше, чем в гостинице.

Истомленный от жары и от мундира, вернулся он в свою комнатку и, раздевшись, бросился на постель, приказав китайцу-слуге разбудить себя в шесть часов. Но заснуть ему пришлось не скоро: до него доносились крикливые голоса и шум катающихся шаров в бильярдной комнате, вдобавок духота в комнате была нестерпимая. Вообще первые впечатления не были благоприятны, и Володя, признаться, в душе покорил беспокойного адмирала, который послал его в Кохинхину.

За обедом у адмирала Володя познакомился с бароном Неверле и поручиком Робеном, его сожителем, которые предложили ему перебраться к ним и вообще выказали ему любезность, обещая показать все интересное в Сайгоне.

В тот же вечер Ашанин перебрался к французам в их анамитский дом. Середину его занимала, как почти во всех туземных домах, приспособленных для жилья французов, большая, открытая с двух сторон, так сказать сквозная, комната, служившая столовой, а по бокам ее было несколько комнат. Дом был

окружен рядом деревьев, дававших тень. Ашанину отвели одну из комнат и вообще устроили его хорошо, с истинно товарищеским радушием. Один из трех юношей китайцев-слуг был предоставлен к услугам Володи.

И Неверле, кавалерийский офицер, окончивший Сен-Сирское училище, и Робен, политехник, служивший в артиллерии, были очень милые, любезные люди, что не мешало, однако, одному из них относиться к анамитам с тем презрением и даже жестокостью, которые с первых дней поразили Володю и заставили его горячо спорить с одним из своих хозяев. Поводом послужила возмутительная сцена.

Как-то Неверле, красивый, изящный брюнет, представитель одной из старых дворянских фамилий (чем молодой человек особенно гордился), пригласил Ашанина погулять. Они вышли и вместе с ними породистая большая собака из породы догов, принадлежащая Неверле. Вышли за город, направляясь к китайскому городу. Молодой француз рассказывал Володе о том, как скучает он в Кохинхине после Парижа, откуда уехал сюда только за-

тем, чтобы подвинуть свое производство и потом вернуться назад. Вдруг поручик увидел анамита-водоноса, идущего по дороге, и со смехом уськнул своему догу. Тот бросился на анамита и вцепился в его ляжку. Поручик захохотал, но, заметив изумление на лице Ашанина, тотчас же отозвал собаку, и испуганный анамит, кинув злобный взгляд на офицера, пустился бегом со своими ведрами.

Несколько времени оба спутника шли молча. Володя был полон негодования, поручик был несколько сконфужен. Наконец, он проговорил:

— Это такие каналы, что их несколько не жалко... И мой Милорд очень любит их хватать за ляжки, это для него одно из больших удовольствий... Если бы вы знали, как эти варвары жестоки...

И он стал рассказывать, как анамиты вырезывали небольшие французские посты и не давали никому пощады.

— Но ведь это на войне! — проговорил Володя.

— Все равно... С варварами надо по-варварски...

Они заспорили, и Ашанин убедился, что этот молодой, блестящий офицер смотрит на темные расы с ненавистью и презрением, не допускающими никаких сомнений. Но, разумеется, Ашанин не обобщил этого факта, тем более, что впоследствии имел случай убедиться, что среди французских офицеров есть совсем другие люди. Вообще же большая часть офицеров, с которыми он встречался, не произвела на него хорошего впечатления, а система жестокости, проявляемая ими относительно возмущившихся, просто поражала его впоследствии.

Они дошли до китайского города, и Ашанин сразу же заметил, что китайцы в Кохинхине далеко не имеют того забитого, униженного вида, как в других колониях. Впоследствии он узнал, что еще издавна вся торговля в Анаме находилась в руках китайцев, они давно добились права монопольной торговли и вывозили рис в Китай. Богатая и плодородная Кохинхина, изрезанная по всем направлениям множеством глубоких рек, давно славилась богатством своих рисовых полей и недаром называлась «житницей Анама». Низ-

кие берега ее рек на далекое пространство покрыты влажными рисовыми полями, но — как это ни странно! — поля эти не доставляли жителям особенной пользы, так как по законам Анама ни один анамит не имел права заниматься торговлей (исключение оставалось только за императором и его домом), и избыток рисового богатства, остававшийся у земледельца от платы подати натурой и от домашнего обихода, скупался за бесценок китайцами. Народ, несмотря на богатство своих полей, был нищим.

Эти анамиты, или анамы, составляющие население Кохинхины, принадлежат к китайскому племени. Те же выдавшиеся скулы и узкие глаза, те же нравы, пища, одежда. Анамиты только не носят кос и не бреют голов, как китайцы. Само Анамское государство было сперва леном Поднебесной империи, но потом отделилось и стало независимым. По образованию и по культуре анамиты ниже китайцев, и варварский произвол чиновников здесь еще более, чем в Китае. Находясь постоянно под гнетом, не имея права вести торговли, анамит далеко отстал от китайца,

купца и промышленника, и вся его деятельность сосредоточилась на земледелии и рыбной ловле. Небольшая, построенная на столбах хижина, крытая листьями, несколько риса, соленой рыбы и вечная жвачка ареки, делающая его губы красными, — вот все, что нужно анамиту. Невежество, постоянные поборы чиновников, привычка к наказаниям сделали этот народ забитым и трепещущим перед властями.

Но это простое, невежественное племя крепко привязано к родине. Хоть французский режим был несравненно лучше своего, тем не менее он был чужой, и это была одна из главнейших причин, почему анамиты восставали против завоевателей. Володе рассказывали, что анамиты храбро и стойко защищались во время войны с французами. Попавшие в плен, они равнодушно умирали, если их расстреливали озверевшие солдаты... Вместо милосердия как единственного средства, чтобы расположить народ в свою пользу, победители после битв добивали раненых, и Ашанину во время его пребывания в Кохингине не раз приходилось слышать в кафе, как

какой-нибудь офицер за стаканом вермута хвастал, что тогда-то повесил пятерых *seschiens d'anamites*[109], как его товарищ находил, что пять — это пустяки: он во время войны десятка два вздернул... И все это рассказывалось шутя, при общем смехе, точно самое обыкновенное дело.

Нечего и говорить, что и анамиты платили той же монетой и с начала войны питали ненависть к пришельцам, и когда мир был заключен, мандаринам и влиятельным людям, у которых, благодаря господству французов, все-таки значительно терялось влияние и главное — доходы, легко было поднять к восстанию против пришельцев, завладевших страной, невежественный, но полный патриотизма народ.

III

Благодаря любезному разрешению адмирала Бонара побывать внутри страны и видеть все, что хочет, Ашанин вскоре отправился в Барию, один из больших городов Кохинхины, завоеванной французами. Почти все анамитские города и селения стоят на реках, и потому сообщение очень удобное. Ежеднев-

но в 8 часов утра из Сайгона отправляются в разные французские посты и города, где находятся гарнизоны, военные канонерские лодки, неглубоко сидящие в воде, доставляют туда провизию, почту и перевозят людей.

По широкому Донаю и по бесчисленным его протокам шла канонерка узлов по шести в час. Командир ее, лейтенант, милый и любезный моряк, совсем непохожий по своим взглядам на пехотных офицеров, не без горького чувства рассказывал Ашанину о том, как жестоко велась война против анамитов, и не удивлялся, что теперь, после мира, снова приходится «умиротворять» страну.

Пусто было на реке и в протоках: ни одной лодки, ни одной джонки. И маленькая канонерка с большим боковым орудием, заряженным картечью, попыхивая дымком, подвигалась вперед среди берегов, то покрытых гущей деревьев, то оголенных, с выжженными на далекое пространство рисовыми полями.

— Это все анамиты уничтожили, чтобы не досталось нам! — заметил лейтенант и, помолчав, неожиданно прибавил: — Грустно все это видеть... Пришли мы сюда, разорили

край... вели долгую войну против людей, которые нам ничего дурного не сделали... Наконец, завладели страной и... снова будем ее разорять... И сколько погибло здесь французов!.. Все наши госпитали переполнены... Лихорадки здесь ужасны... в три дня доканывают человека... И, подумаешь, все это делается в угоду одного человека, нашего императора...

Оказалось, что моряк был не особенно преданным бонапартистом и, как узнал Ашанин из беседы, послан был в Кохинхину как подозрительный человек.

К вечеру канонерка подошла к Барии, находящейся у реки того же названия и составляющей главный пункт у западной границы французской колонии. Прежде тут был большой город, но во время войны французы сожгли его, оставив нетронутой одну деревню анамитов-католиков. Теперь французы все помещаются в форте и в деревне, и помещаются очень плохо. Начальник барийского гарнизона, он же и начальник провинции, принял Ашанина с чисто французской любезностью и предложил ему поместиться у поручи-

ка-префекта.

Володя провел в Барии три дня и успел увидеть, каким лишениям подвергались и офицеры и солдаты, и как скверно жилось французскому воинству. Ежедневно, с 3 ч. утра и до 6 вечера половина гарнизона ходила в экспедицию, отыскивая инсургентов. Солдаты под палящим зноем ходили по горам, по болотам, по кочкам и, не находя неприятеля, который ловко скрывался в знакомой местности, возвращались в форт усталые и голодные, чтобы отдохнуть после на голых досках в казарме с шинелью под головами. Из 600 солдат барийского гарнизона 200 были отправлены в госпиталь в Сайгон, а 100 слабых лежали в каком-то сарае, едва защищенные от солнца, искусанные москитами, которых в Кохинхине масса... Недоставало ни одежды, ни провианта. По ночам гарнизон бывал вечно в тревожном ожидании нападения.

Префект-поручик водил Ашанина в деревню, показывал бедную жизнь анамитов, рассказывал о своих предположениях, о надеждах. Он был крайне гуманный человек и «ана-

митист», как насмешливо звали его многие товарищи. Он недурно объяснялся по-анамски, стрелял из лука, привык, как и анамиты, ходить под палящим солнцем без шапки и искренне желал сделать жизнь подчиненного ему населения сносной. Но большая часть анамитов разъехалась.

Когда Ашанин вернулся в Сайгон, на рейде стояло два фрегата, только что привезшие подкрепления французам. Испанцы, их союзники, прислали из Манилы батальон тагалов (туземцев острова, принадлежащего Испании, которых испанцы в качестве союзников французам предоставили в их распоряжение) и батальон африканских стрелков или «зефи-ров», как презрительно называют французы эти войска, намекая этим названием на легкость их поведения.

Получив подкрепления, адмирал Бонар стал готовиться к экспедиции, цель которой был поход на Го-Конг, где были сосредоточены все силы инсургентов под начальством предводителя их Куан-Дина, человека решительного и энергичного, умевшего управлять недисциплинированными толпами анамитов

и успешшего построить в короткое время линию отличных укреплений. Прокламации французского адмирала давно уже, с начала возмущения, обещали за голову Куан-Дина десять тысяч франков, но никто головы его не нес, и французам приходилось снова выступать в поход.

Давно готовившаяся экспедиция откладывалась со дня на день. Приказания отдавались нерешительно и часто менялись, по нескольку раз в день. Наконец, однажды Неверле объявил Ашанину, что на другой день отправляются на судах два отряда, а третий отряд, под начальством испанского полковника de Palansa, при котором был назначен состоять и Володя, отправится через три дня. Все эти три отряда, высадившись в известных пунктах, должны были обойти Го-Конг с трех сторон и, по предложению адмирала, захватить форт и все неприятельские войска вместе с Куан-Дином. Но «тайна» экспедиции, к которой готовились целый месяц, едва ли могла быть тайной для анамитов... И потому вся эта экспедиция окончилась совсем не так, как ожидали французы, слишком

легкомысленно надеявшиеся на захват войска инсургентов.

— Надолго ли надо собираться? — спрашивал Ашанин у своих сожителей.

— О, мы в несколько дней все покончим! — хвастливо воскликнул барон Неверле, веселый и вполне уверенный, что эта экспедиция даст ему случай получить орден почетного легиона. — Мой адмирал в этом не сомневается.

Поручик Робен, человек более серьезный, чем Неверле, и несравненно более симпатичный Ашанину, проговорил с иронической улыбкой:

— Пожалуй, и не в несколько дней...

— Держу пари, что через неделю мы будем в Сайгоне! — настаивал Неверле.

— К чему пари?.. Во всяком случае имейте в виду, — обратился Робен к Ашанину, — что наши канонерки будут ходить в Сайгон ежедневно с места экспедиции... Берите с собой как можно меньше багажа. Если дело затянется, всегда можно послать за вещами. Наши китайские мальчики пришлют... У вас есть высокие сапоги?

— Нет.

— Приобретите: придется идти по болотам. И непромокаемый плащ необходим на случай дождей, здесь ливни бывают ужасные.

Ашанин приобрел эти вещи, заплатив за них втридорога, и через три дня вместе с Робеном, взявши с собой маленький чемоданчик с несколькими сменами белья, перебрался на ночь на один из корветов, стоявших на рейде и назначенных для перевозки отряда. При этом же отряде отправлялся со своим штабом и адмирал Бонар на пароходе.

Десант посажен был на суда еще с вечера, и ранним утром эскадра, состоявшая из четырех корветов, одного транспорта и двух пароходов, с батальоном морской пехоты, батальоном тагалов, батареей горной артиллерии и полуротой сапер и нанятых китайцами-воинами и китайцами-кули для переноски обоза и разных тяжестей, вышла из Сайгона вверх по Донаю, чтобы высадить этот третий отряд верстах в пятидесяти от Го-Конга.

Володя, с первых же дней приезда в Кохингину одевшийся на французский манер, то есть имевший на голове вместо фуражки

анамскую шляпу и на бедрах широкий красный пояс, в белом кителе и белых штанах, засунутых в высокие сапоги, отличался по костюму от других представителей сборного и довольно пестрого воинства, бывшего на корвете. Кроме французских солдат, одетых в темно-синие куртки и белые широкие, стянутые у ног штаны и в анамских шляпах на головах, тут были темнокожие тагалы в пестрых, светло-синих рубахах и таких же штанах, с несколько выкаченными глазами и толстыми губами, добродушные на вид люди, молчаливо покуривавшие сигары и с недоумением поглядывающие на берега чужой страны, куда их неизвестно почему перевезли вдруг с родного острова и теперь везут для усмирения таких же туземцев, как и они сами. Были тут и нанятые воины-китайцы. Из своих широких национальных балахонов попавшие в форменный костюм, придуманный для них французами, темно-синюю рубаху с красной петличкой, со спрятанными косами, они представляли собой довольно жалкий вид: амуниция на них сидела как-то неуклюже, а ружья и пики, которыми они были во-

оружены, казалось, составляли для них не особенно приятную обузу.

У всех этих цветных войск офицеры были, конечно, европейцы. Полуротой китайцев командовал французский поручик, а при тагалах были испанские офицеры. Испанцы резко отличались от веселых и крикливых французов своей чопорной и важной флегмой. Высокие, худощавые, с смугло-желтыми красивыми лицами, они, по-видимому, не особенно дружили с союзниками и держались особняком. Командир тагалов и начальник отряда, полковник de Palanca, необыкновенно изящный, худощавый, маленького роста человек, щегольски одетый в свою яркую военную форму, отличался, напротив, любезностью и общительностью, и когда Ашанин был ему представлен, он приветливо обошелся с ним, закидав его вопросами о России, свидетельствующими и о любезности испанского полковника, и в то же время о большом его невежестве по части географии и по части знания России.

Почти целый день французская морская пехота (*infanterie de marine*) распевала раз-

ные шансонетки; тагалы сидели на палубе молча, а китайцы страстные игроки — с равнодушно бесстрастными, казалось, желтыми лицами играли большими кучками в кости. Тем временем большая часть офицерства сидела в кают-компании и в промежутках между завтраком и обедом потягивала вермут или абсент, которым любезно угощали французские моряки. Ашанин большую часть времени проводил наверху. День стоял хороший, на реке было не особенно жарко, и наш молодой человек — один среди чужих людей — то наблюдал этих чужих людей, то посматривал на пустынные берега реки и бесчисленные рукава и протоки, по которым одно за другим шли суда французской эскадры.

К вечеру эскадра стала на якорь, и на следующее утро началась перевозка десанта. В течение дня все войска были свезены, и часа в четыре отряд, наконец, двинулся к назначенному месту, отстоявшему верстах в пятнадцати от пункта высадки. Дорога была неважная, и Ашанин порядочно-таки устал, шагая вместе с другими. Лошадей ни у кого не было. Только начальник отряда, полковник de

Palansa, ехал впереди на маленьком конике, остальные офицеры шли пешком.

Уже начинало темнеть, когда отряд добрался до большой пустой, наполовину выжженной анамитской деревни и остановился на ночлег. Тотчас же развели костры, и солдаты, закусив галетами, улеглись спать на сырой земле. К вечеру температура быстро понизилась. Поручик Робен приютил Ашанина вместе с несколькими артиллерийскими офицерами в полуразвалившейся хижине, едва прикрытой сухим тростником. После скромной трапезы, любезно предложенной артиллеристами, усталый Ашанин с наслаждением бросился на сено, принесенное откуда-то солдатами, и, прикрытый одеялом, которое дал ему Робен, скоро заснул под разговор артиллеристов, сидевших после ужина за горячим красным вином.

Звуки генерал-марша хора трубачей, призывавшего к выступлению, разбудили Ашанина. Он быстро поднялся. Поднялись и артиллеристы. Наскоро напившись горячего черного кофе, Ашанин вышел из лачужки. Было четыре часа. Утро только занималось.

Было свежо и сыро. Впереди над болотистыми равнинами толстым слоем залег туман. Лагерь просыпался. Кое-где догорали костры, освещая в полутемноте предрассветных сумерек движущиеся фигуры солдат. К пяти часам роты были выстроены на поле перед деревней. На маленьком конике приехал испанский полковник, и отряд двинулся вперед.

По топям и болотам шел пестрый отряд. Впереди шли тагалы, за ними французы, арьергард состоял из китайцев. Артиллерию везли на себе китайцы-кули, целая вереница их шла сзади, неся на спинах обоз. Когда маленькие горные орудия застревали в болоте, кули брали их на носилки и, ступая по пояс в воде, тащили их на плечах.

Тихо двигалась, растянувшись длинным хвостом, эта оригинальная смесь племен, одежд и языков. Солнце уже высоко поднялось над горизонтом и подпекало порядочно. То и дело приходилось останавливаться из-за глубоких болот. Саперы тогда устраивали мостки, набрасывая доски, и по ним переходил один за другим отряд... По таким болотам пришлось идти большую часть пути, и, разу-

меется, отряд двигался чрезвычайно медленно, делая не более версты в час.

Наконец, часу в одиннадцатом, отряд подошел к небольшой деревушке, раскинувшейся на берегу узкого протока. Рожки протрубили привал.

Усталые солдаты едва успели закусить, как по ту сторону протока раздались выстрелы и несколько картечей перелетели через головы. Тотчас же были выдвинуты к берегу два орудия, и из них стали пускать бомбы наудачу, так как за высоким широколистым камышом, густо покрывавшим берега, ничего не было видно. Несколько офицеров влезли на деревья с биноклями в руках и с деревьев увидели толпы анамитов и насчитали до двадцати фальконетов, выдвинутых впереди. Французские бомбы ложились неудачно. Только изредка радостные восклицания офицеров с деревьев свидетельствовали, что бомба попадала в людскую толпу, и в такие моменты с того берега доносились крики.

Деревня, у которой стоял отряд, обстреливалась картечью. Часто просвистывали пули и залетали стрелы.

«Так вот она какая бывает война!» — подумал Ашанин, испытывая жуткое чувство при свисте картечей и пуль, но тщательно скрывая его. Стараясь показать вид, что он несколько не трусит, он перекидывался словами с поручиком Робеном и как будто особенно интересовался незначущим разговором и в то же время думал: а вдруг одна из этих шальных пуль хватит его, и он, неизвестно из-за чего, будет убит, когда жить так хочется и впереди предстоит еще так много хорошего, светлого, радостного. И зачем это он пошел в экспедицию? Что ему сделали анамиты? Зачем вот он стоит здесь, среди чужих людей, принимая участие в походе против людей, которых ему жаль? Ради чего он подвергается опасности, употребляя невероятные усилия, чтобы не показать перед поручиком Робеном и перед другими, что ему, Ашанину, очень жутко и не хочется умереть, да еще из-за чужого дела, вдобавок ему несимпатичного?

Володя невольно вспомнил почему-то Бастрюкова и его ясные, правдивые взгляды на жизнь. Он, разумеется, не пошел бы сюда, если бы ему и предлагали, он прямо бы сказал:

«Зачем мне идти смотреть, как убивают людей и самому подвергаться опасности быть убитым? За свое дело я пожертвую жизнью, если надо, а за чужое?..» И Ашанину ясно представилось, сколько было ложного самолюбия и ложного стыда в его согласии — да еще притворно-радостном — на предложение адмирала Бонара идти в экспедицию. Но, с другой стороны, как было отказаться? Что подумал бы о нем адмирал?.. А разве ему не все равно, что бы он подумал?

Словно нарочно, в голове Ашанина проносились мысли о том, как хорошо теперь на «Коршуне» среди своих, а еще лучше дома, на Васильевском острове. «И на кой черт послал меня сюда наш адмирал!» — подумал Володя и мысленно наградил адмирала весьма нелестным эпитетом.

— Так вы думаете, поручик, что экспедиция скоро окончится? — спрашивал между тем Ашанин самым, по-видимому, равнодушным тоном, будто не обращая ни малейшего внимания на жужжание пуль.

— А черт их знает, этих анамитов... Видите, какие это бестии... Мы и не рассчитывали

найти их здесь, а они объявились... Взгляните, как красиво летит стрела...

И Володя взглянул, услышавши легкое жужжание, и увидал, как стрела впилась в землю.

— Эти варвары отлично ими действуют. Я видел анамитов, которые из большого, тяжелого лука с необыкновенно тугой тетивой в одну минуту пускали до двадцати стрел... На 300 шагов при безветрии они пробивали дюймовую доску и улетали далеко... Вдобавок стрелы эти напитываются каким-то ядом.

— Смертельным? — спросил Ашанин, чувствуя, как мурашки у него забегали по спине.

— Нет, яд не смертелен, но во всяком случае затрудняет излечение ран... Однако что ж это мы стоим здесь и не переправляемся, чтоб уничтожить анамитов... Эти каналы уж ранили у нас пять человек.

— Разве?

— Да... Сейчас из пехоты говорили.

В это время неподалеку раздался стон. Ашанин взглянул и увидел молодого солдатика-артиллера, схватившегося обеими руками за грудь. Его лицо побледнело — не то

от страха, не то от боли — и как-то беспомощно улыбалось. Володя невольно ахнул при виде раненого. Его тотчас же положили на носилки, и два китайца-кули унесли его.

— Куда его понесли? — спросил Володя.

— А к месту нашей высадки. Там стоит транспорт-госпиталь.

Вид раненого произвел на Ашанина тяжелое впечатление.

— Однако, черт возьми, что ж мы стоим! — снова воскликнул поручик.

Но в это время заиграли рожки, и отряд двинулся искать более удобную переправу. Часа два продолжались поиски переправы, и, наконец, отряд остановился у маленькой деревеньки, где протоки были не особенно широки, но зато течение было довольно быстрое. Саперы пошли наводить мост, но оказалось, что не было достаточно веревок для связки плотов. Мост наводился медленно. Картечь, пули и стрелы снова продолжали летать и снова уже было еще двадцать раненых, которых отправляли на транспорт, стоящий на реке. Первоначальной помощи подать было нельзя, так как доктора при отряде не ока-

залось.

Вообще беспорядка было много. Солдаты стояли в бездействии под ружьем, покуривали трубочки и перекидывались остротами. Саперы наводили мост, а китайцы-кули исполняли черную работу при наводке моста. Офицеры, видимо, волновались желанием скорее прогнать анамитов. Один из охотников французский капитан — пробовал вброд перейти проток, но эта попытка чуть не стоила ему жизни.

А мост навести не могли. Пришлось за веревками и необходимыми инструментами посылать к месту, где была высадка на военные суда.

— Сегодня не успеем навести моста! — объявил Робен Володе, вернувшись от сапер.

— Почему?

— Забыли взять веревок в достаточном количестве. У нас всегда так! досадливо прибавил Робен. — А главное, нет единства... И какой военачальник этот выживший из ума адмирал Бонар! — смеясь воскликнул поручик.

В это время полковник de Palanca о чем-то совещался с батальонными командирами. Че-

рез несколько минут было объявлено, что отряд отойдет версты за две в деревню, а у моста останутся саперы и рота для прикрытия. Завтра утром мост будет готов, и тогда отряд двинется дальше.

— Давно бы догадались! — заметил Робен. — Ну пойдете-ка, monsieur Ашанин, поскорей в деревню. Есть хочется... У нас будет отличный обед.

Через полчаса Ашанин уже сидел в обществе артиллеристов в довольно просторной хижине, за столом, на котором стояла большая сковородка яичницы, тарелки с ветчиной, белый хлеб и несколько бутылок красного вина. За обедом артиллеристы главным образом бранили адмирала Бонара и весь его штаб... Кстати, досталось и испанцу de Palanca.

Мрачное настроение Ашанина понемногу прошло. Довольный, что вернулся жив и невредим из этой первой военной стычки, которую он видел в своей жизни, он с большим аппетитом ел яичницу и ветчину, находя обед чрезвычайно вкусным и так же вкусным простое красное вино, и после обеда горячо

заспорил с французами, когда речь зашла о Суворове, которого французы называли Suwaroff и находили, что он был самый заурядный генерал, а не талантливый полководец. Спор, впрочем, не разжигал страстей, и французы в конце концов любезно согласились с Володей, что Suwaroff побил французов при Нови и при Треббии, но зато в Швейцарии был поколочен Массеной.

Всю ночь анамиты не давали покоя саперам, строившим мост. Утром он, наконец, был готов, и приехавший со свитой адмирал Бонапар первый переехал его во главе отряда. Но анамитов не было. К досаде французов, они исчезли, скрывшись по знакомым им тропинкам и переправившись по бесчисленным протокам, изрезающим страну.

Опять по топям, по густым рисовым полям усталый отряд двигался к Го-Конгу. Шел день, шел другой — и не видали ни одного анамита в опустелых, выжженных деревнях, попадавшихся на пути. Днем зной был нестерпимый, а по вечерам было сыро. Французские солдаты заболели лихорадкой и холерой, и в два дня до ста человек были больны.

На третий день, наконец, вдали увидели го-конгские укрепления и зарево пожара. Гул канонады доносился оттуда.

Это канонерские лодки бомбардировали с реки форт, а другой отряд выжигал деревни.

— Наконец-то мы этих каналов поймаем. Они, верно, в форте! — громко говорил адмирал, обращаясь к штабным.

Но — странное дело! — отряд уже был близко, а из укреплений не стреляли. Авангард, с которым был и Ашанин, подошел к Го-Конгу, большому форту, выстроенному на холме, окруженному рвами и командующему местностью и имеющему 300 метров по фасу и 85 амбразур и... там не было никого... Все пусто. Внутри форта было 40 блиндированных казарм... Солдаты бросились осматривать их и скоро торжественно привели трех стариков.

Приехал в форт и адмирал, раздраженный и сердитый. Он надеялся переловить всех анамитов живьем, и... вместо этого три старика.

Их допросили. По их словам, Куан-Дин в ночь ушел со всем войском за Камбоджу.

Таким образом, экспедиция окончилась полнейшей неудачей. Отдано было распоряжение о возвращении войск в Сайгон.

Ашанин очень обрадовался и еще более обрадовался, когда недели через две ему дали знать, что русское военное судно пришло на рейд. В тот же день он откланялся адмиралу Бонару, простился с сожителем и, забравши свои пожитки, отправился на «Коршун».

Нечего и говорить, как был счастлив Ашанин, когда он очутился «дома» вместе со своими.

Глава пятая **Юный литератор**

Прошло два месяца после того, как Ашанин поставил Кохинхину, унося в своем сердце отвращение к войне и к тому холодному бессердечью, с каким относились французы к анамитам, — этим полудикарям, не желавшим видеть в чужих пришлых людях друзей и спасителей, тем более что эти «друзья», озверевшие от войны, жгли деревни, уничтожали города и убивали людей. И все это называлось цивилизацией, внесением света к дикарям.

Снова Володя был на своем милом «Коршуне» между своими — среди офицеров-сослуживцев, к большей части которых он был искренно расположен, и среди матросов, которых за время долгого совместного плавания успел полюбить, оценив их отвагу и сметливость и их трогательную преданность за то только, что с ними, благодаря главным образом капитану, обращались по-человечески и не делали из службы, и без того тяжелой и полной опасностей, невыносимой каторги. Снова Володя правил пятой вахтой, сменяя Лопатина и сдавая вахту первому лейтенанту — Поленову, и исполнял все прежние свои служебные обязанности по заведыванию формарсом, кубриком, капитанским катером и двумя орудиями, не забывая и чтений для матросов. И как же был он внутренне удовлетворен и счастлив, когда первый раз по возобновлении этих бесед аудиторию его составляла большая толпа матросов, видимо обрадованная появлению лектора и жадно внимавшая каждому его слову.

По-прежнему и капитан, и старший офицер, и старший штурман относились к Володе

хорошо. В этом отношении опытных, испытанных моряков чувствовалось не одно только сердечное расположение добрых, хороших людей к юнцу, но — что было еще дороже и приятнее — и уважение к серьезному и внимательному исполнению служебного долга их младшего товарища. Старый штурман, обыкновенно не очень-то благоволивший к флотским и особенно к тем, кому, по его выражению, «бабушка ворожит», напротив, видимо, благоволил к Ашанину и за то, что он не лодырь, и за то, что не рассчитывает на протекцию дядюшки-адмирала, и за то, что Володя недурно (что было уже большим комплиментом со стороны педанта-штурмана) берет высоты солнца и делает вычисления, и за то, наконец, что в нем не было и тени того снисходительно барского отношения к штурманам, какое, по старым традициям, укоренившимся во флоте, существовало у большинства флотских офицеров, этих, относительно, баловней службы, к ее пасынкам — штурманам.

И Степан Ильич, случалось, зазывал Ашанина в свою образцовую по чистоте и порядку

ку каюту и там беседовал с ним по душе, рассказывая о тяготе прежней службы, о несправедливостях и притеснениях, какие приходилось испытать.

— Ведь нас, штурманов, только терпят на судне, и каждый флотский считает нас в некотором роде париями... отверженной кастой... Еще бы! — они из потомственных дворян, а мы из разночинцев... Им, так сказать, все отличия службы, а нам черная работа и вечное подчинение, — говорил не без горькой иронии обойденного человека почтенный старый служака. — Я вот тридцать пять лет прослужил и всего штабс-капитан... Еще слава богу, если умру в чине полковника, а вы через тридцать пять лет будете адмиралом. У вас с начала службы впереди повышения, карьера, а у нас — постоянная лямка и ничего впереди... Неудивительно, что нередко из штурманов выходят озлобленные мрачные люди... Так-то-с, батенька!

Володя слушал и только дивился тому, что сам Степан Ильич, этот безукоризненный служака и рыцарь долга, после всего им испытанного в течение службы не озлобился и

нисколько не походил на угрюмых и подозрительных типичных штурманов, а напротив, отличался добродушием и необыкновенной сердечностью.

По-прежнему и Ворсунька был не только исправным вестовым и рачительным хранителем имущества Ашанина, но и добрым, преданным человеком, любившим Володю. Ему обыкновенно он передавал свои впечатления, ему сообщал все новости из матросской жизни, с ним советовался насчет гостинцев для жены. По-прежнему Бастрюков любил пофилософствовать с Володей, открывая перед ним все новые черты своего золотого сердца и нередко дивя своим мировоззрением, полным любви и прощения, своими тонкими замечаниями и необыкновенной любовью к работе, — без какой-нибудь работы Бастрюков никогда не бывал:

И Ашанину жилось хорошо на «Коршуне», а впереди, казалось, будет еще лучше. А пока он был усиленно занят составлением отчета о своей командировке для представления его адмиралу Корневу, почти все свободное от вахт и служебных занятий время он посвя-

щал этой работе. Еще в Сайгоне он достал несколько книг о Кохинхине и собрал немало сведений и цифр при обязательном содействии французских офицеров и обрабатывал собранный материал, дополняя его личными наблюдениями, стараясь, по возможности, сделать отчет полным и не осрамиться перед строгим и требовательным адмиралом. Но вместо сухого отчета у Володи выливалась страстная, полемическая статья, направленная, главным образом, против войны.

За эти два месяца «Коршун», согласно полученным инструкциям, обошел почти все гавани южного побережья Приморской области, которое только что перешло от Китая к России. Это были пустые, тогда еще совсем не заселенные гавани и рейды, — по берегам которых ютилось несколько хижин манз (беглых китайцев), занимавшихся на своих утлых лодчонках добычей морской капусты, с девственными лесами, в которых, по словам манз, бродили тигры и по зимам даже заходили к поселкам, нападая на скот и, случалось, на неосторожных людей.

Обойдя все порты и сделав описи некото-

рых, «Коршун» отправился в японский порт Хакодате и стоял там уже неделю, ожидая дальнейших инструкций от адмирала, который на флагманском корвете с двумя катерами был в Австралии, отдав приказание капитану «Коршуна» быть в назначенное время в Хакодате и ждать там предписания.

Ашанин, занятый отчетом, почти не съезжал на берег и только раз был с Лопатиным в маленьком чистеньком японском городке. Зашел в несколько храмов, побывал в лавках и вместе с Лопатиным не отказал себе в удовольствии, особенно любимом моряками: прокатился верхом на бойком японском коньке за город по морскому берегу и полюбовался чудным видом, открывающимся на одном месте острова — видом двух водяных пространств, разделенных узкой береговой полосой Тихого океана и Японского моря.

Проскакав с большой отвагой, хотя и с малым умением ездить верхом, несколько верст, моряки вернулись в город, и Володя тотчас же отправился на корвет оканчивать свой труд. Оставалось переписать несколько страниц... Того и гляди, нагрянет адмирал, а у

Ашанина работа еще не готова.

Наконец, толстая объемистая тетрадь, испещренная цифрами и полная самых горячих излияний, едва ли пригодных в отчете, окончательно переписана и просмотрена. Автор, как все юные авторы, казалось, удовлетворен и ищет стороннего одобрения. Подвернулся Лопатин, и автор читает ему отрывки. Но мичмана, по-видимому, не особенно интересует ни исторический очерк Кохинхины, ни личность анамского короля Ту-Дука, ни резня миссионеров, ни список французских кораблей, ни цифры французских войск и их заболеваемости, ни страстные филиппики против варварского обращения с анамитами, ни лирические отступления об отвратительности войн, ни наивные пожелания, чтобы их не было и чтобы дикарям не мешали жить, как им угодно, и насильно не обращали в христианство.

— Однако! — воскликнул жизнерадостный мичман Лопатин, воспользовавшись перерывом чтения.

Ашанин вопросительно взглянул на своего слушателя.

— Вы вместо коротенького служебного отчета целую статью навалили!

Это «навалили» резануло ухо автора.

— А разве уж так много?

— Многовато, голубчик. И как только вам не надоело исписать столько бумаги... Эка тетрадища какая! Я, признаться, так едва осиливаю длинное письмо.

— Но, во всяком случае, скажите откровенно, как вам показались отрывки: интересны или нет?

Ашанин еще во время чтения скорее чувствовал, чем видел, что слушателю совсем неинтересна его статья, но все-таки почему-то спросил.

— Если правду говорить, то не очень... Сухая материя. Ту-Дуки какие-то, Куан-Дины, сборы податей, — одним словом... скучновато... И откуда только вы набрали столько сведений?.. И на кой они черт в отчете?.. Но написано живо, очень живо, со слогом... на двенадцать баллов! — поспешил прибавить Лопатин, заметивший, как внезапно омрачилось лицо юного автора.

— Но ведь необходимо же было объяснить

историю страны, которой завладели французы...

— Я, впрочем, не судья... Может быть, и надо... Черт его знает! Но только, знаете ли, что я вам скажу, Владимир Николаевич...

— Что?

— Как бы глазастый дьявол, адмирал, не посадил вас на салинг за вашу литературу.

— На салинг? За что же на салинг, позволите вас спросить?.. Велел написать отчет, и на салинг! Это довольно странно! — промолвил окончательно павший духом Ашанин.

— А за все ваши разные идеи.

— Какие идеи?

— Да эти насчет войн, и все такое...

— Вы с ним не согласны?

— Не вполне... Вы уже очень того... замечались... Да я-то что! Согласен или не согласен, вам наплевать! А вот беспокойный адмирал...

— Что же беспокойный адмирал?

— Взъерепенится... Уж вы лучше всю эту «антимонию» исключите!.. А то адмирал разнесет вас вдребезги... небо с овчинку покажется.

Это неожиданное предложение исключить те места, в которых вылилась душа автора и которые, казалось ему, были самыми лучшими и значительными во всем труде, показалось Ашанину невозможным, возмутительным посягательством, и он энергично восстал против предложения Лопатина. Уж если на то пошло, он непрочь исключить многое, но только ни одной строчки из того, что Василий Васильевич назвал «антимонией».

— Ни единой! Понимаете ли, ни единой! — вызывающе воскликнул Ашанин. И, наконец, ведь он не обязан писать то именно, что нравится адмиралу. Обязан он или нет?

— Ну, положим, не обязаны...

— Так пусть сажает на салинг, если он, в самом деле, такой башибузук, каким вы его представляете. Пусть! — порывисто говорил Ашанин, охотно готовый не только высидеть на салинге, но даже претерпеть и более серьезное наказание за свое сочувствие к анамитам. — Но только вы ошибаетесь... адмирал не пошлет на салинг...

— Очень буду рад за вас... Ну-ка, валяйте еще, а то скоро обедать! — с печальной миной

сказал Лопатин.

Но Ашанин уже больше не «валял» и, закрыв тетрадь, спрятал ее в шифоньерку, проговорив:

— И дальше не особенно интересно...

Видимо обрадованный исчезновением тетради, Лопатин предложил Володе после обеда съехать на берег и покататься верхом и поспешил удрать из каюты.

Мнение мичмана несколько смутило молодого человека, и он несколько минут сидел в раздумье над своей тетрадью. Наконец, видимо принявший какое-то решение, он взял рукопись и пошел к капитану.

— Имею честь представить отчет, составленный по приказанию адмирала, для представления его превосходительству! — взволнованно проговорил Ашанин, кладя на стол свою объемистую тетрадь.

— Ого... труд весьма почтенный, судя по объему! — мягко и ласково проговорил Василий Федорович, взявши рукопись. — Вы хотите, чтобы я послал адмиралу?.. Не лучше ли вам самому представить при свидании. Я думаю, мы скоро увидим адмирала или, по

крайней мере, узнаем, где он... Завтра придет почтовый пароход из Го-Конга и, вероятно, привезет известия... Лучше сами передайте адмиралу свою работу. Он, наверное, заставит вас ему и прочесть.

— Слушаю-с, Василий Федорович.

С этими словами Ашанин хотел взять со стола положенную капитаном рукопись.

— А разве вы не позволите и мне познакомиться с вашей работой? любезно остановил его капитан.

Ашанин не желал ничего лучшего. Весь вспыхивая не то от удовольствия, не то от смущения, что его статья будет прочтена таким человеком, как капитан, Ашанин взволнованно проговорил:

— Я очень рад... Боюсь только, что мой отчет неинтересен...

— Об этом предоставьте судить другим, Ашанин! — промолвил, улыбаясь, капитан.

Когда вскоре после обеда Ашанин, заглянув в открытый люк капитанской каюты, увидел, что капитан внимательно читает рукопись, беспокойству и волнению его не было пределов. Что-то он скажет? Неужели найдет,

как и Лопатин, статью неинтересной? Неужели и он не одобрит его идей о войне?

Капитан читал несколько часов подряд. Ашанин это видел — недаром ему не сиделось в каюте, и он то и дело выбегал наверх и заглядывал в люк.

«Читает... Значит, не так уже скучно, как говорил Лопатин!» — радостно заключал Ашанин и снова спускался вниз, чтобы минут через десять снова подняться наверх. Нечего и прибавлять, что он отказался ехать на берег кататься верхом, ожидая нетерпеливо приговора человека, которого он особенно уважал и ценил.

С полуночи он стал на вахту и был несколько смущен оттого, что до сих пор капитан не звал его к себе. «Верно, нашел мою работу скверной и из деликатности ничего не хочет сказать. А может быть, и не дочитал до конца... Надоело!» — раздумывал юный самолюбивый автор, шагая по мостику.

Но вот в темноте мелькнула фигура капитана. Он поднялся на мостик и, приблизившись к Ашанину, проговорил:

— Я только что окончил вашу статью о Ко-

хинхине, Ашанин, и прочел ее с интересом. У вас есть способность излагать свои мысли ясно, живо и местами не без огонька... Видно, что вы пробыли в Кохинхине не даром... Адмирал угадал в вас человека, способного наблюдать и добросовестно исполнить возложенное поручение. В последнем, впрочем, я и не сомневался! — прибавил капитан.

Ашанин был в восторге от похвалы капитана. Теперь ему было все равно, как отнесется к его работе даже сам адмирал, — ведь Василий Федорович похвалил! А мнение такого человека было в то время для Ашанина самым дорогим.

Необыкновенно счастливый заснул после вахты Ашанин, собираясь следующий день съехать на берег и предпринять дальнюю поездку верхом.

В восьмом часу утра Ворсунька, по обыкновению, пришел будить Володю.

— Ваше благородие... Владимир Николаевич... Извольте вставать... Пора!

Но разоспавшийся Ашанин, казалось, ничего не слышал и продолжал сладко спать.

— Скоро подъем флага... Владимир Нико-

лаевич! — говорил Ворсунька, потягивая Ашанина за ногу.

— Еще четверть часика дай поспать... Только четверть часика! — сквозь сон промычал Володя.

— Никак невозможно... До флага всего десять минут...

— Ну, пять минут я еще посплю... Буди через пять.

Вестовой постоял минутку и снова дернул Ашанина за ногу.

— Пять минут прошло... Вставайте, ваше благородие. Все господа уже вставши... Да и пары разводят. Сейчас с якоря снимаемся...

— Как с якоря снимаемся? Что ты рассказываешь? — спрашивал Ашанин, внезапно просыпаясь и протирая сонные глаза. — Разве пришел почтовый пароход из Го-Конга?

— Не могу знать, ваше благородие. Но только в шесть часов утра от концыря (консула) приходила шлюпка с письмом к капитану и тую ж минуту приказано разводять пары...

Через несколько минут Ашанин уже был наверху к подъему флага. Пары гудели. Капитан и старший офицер, стоявшие на мостике,

видимо, были возбуждены, и лица у обоих выражали нетерпение.

— Свистать всех наверх сниматься с якоря! — раздался голос вахтенного офицера.

— Что это значит: куда мы идем? — спрашивал Ашанин у лейтенанта Поленова на баке, где должен был находиться по расписанию во время аврала.

— Разве вы ничего не знаете? — Мы идем на Сахалин... Клипер «Забияка» на камнях... Сегодня пришла оттуда английская шхуна и привезла письмо с «Забияки» к консулу с этим известием... Мы идем на помощь... Досадно только, что в море сильный туман...

Действительно, густой туман заволакивал выход с рейда, а на рейде носился легкий туман. Солнце казалось тусклым пятном. Было тепло и сыро и пахло баннным воздухом.

— Пошел шпиль![110] — раздался нетерпеливый возбужденный окрик старшего офицера с мостика.

— Есть! — отозвался лейтенант и в свою очередь крикнул матросам: — Ходи веселей, братцы!

И матросы сильнее наваливались на вымбовки[111], упираясь на них грудью, и якорная цепь с тихим лязгом выбиралась через клюз[112].

Все гребные суда были подняты, и орудия закреплены по-походному. Пары гудели.

— Как якорь? — снова раздался окрик с мостика.

— Апанер[113].

Рулевые стали у штурвала.

— Тихий ход вперед!

Машина застучала, и корвет, сделав оборот, направился к выходу с рейда.

Просвистали подвахтенных вниз. Но капитан и старший штурман оставались на мостике, серьезные и слегка возбужденные, посматривая на окутанное туманом море.

Туман все сгущался, и когда «Коршун» вышел с рейда, то очутился словно в молочной бездне, сырой и непроницаемой. В нескольких шагах ничего не было видно. Только слышался всплеск рассекаемой воды да мерное постукивание машины.

— Полный ход вперед! — крикнул капитан в машину.

Винт забурлил быстрее, и «Коршун» понесся полным ходом среди непроницаемой мглы, спеша на помощь бедствующему товарищу.

Колокол непрерывно гудел на баке. Протяжно гудел и свисток трубы, предупреждая встречные суда об опасности столкновения [114]. Часовые на баке чутко прислушивались, не раздастся ли поблизости такого же звона или гудения свистка парового судна. Но каждый понимал, что все эти меры только отчасти гарантируют безопасность столкновения. И, зная это, все понимали, что все-таки нужно было идти полным ходом, чтобы выручить товарища в беде, и вполне сочувствовали отважному решению капитана.

Глава шестая **Выручка «Забияки»**

Туман, довольно частый в Японском море и в Японии, казалось, надолго заключил «Коршуна» в свои влажные, нерасторжимые объятия. День близился к концу, а туман был так же страшен своей непроницаемостью, как и утром. Стоял мертвый штиль, и не было надежды на ветер, который разогнал бы эти

клубы тумана, словно злые чары, скрывшие все от глаз моряков.

И неустанный, скорый бег «Коршуна», передние мачты которого едва вырисовывались с мостика, а бушприта было совсем не видеть, — этот бег среди белесоватой мглы и безмолвия производил на Ашанина, как и на всех моряков, впечатление какой-то жуткой неопределенности и держал нервы в том напряженном состоянии, которое бывает в невольном ожидании неведомой опасности, которую нельзя видеть, но которая может предстать каждую минуту то в виде неясного силуэта внезапно наскочившего судна, то в виде неясных очертаний вдруг открывшегося, страшно близкого берега. Недаром же моряки, самые опытные и бесстрашные, так не любят туманы, предпочитая им хотя бы свирепые штормы. Ничто так не действует на психику человека, как неизвестность положения...

Капитан не сходил с мостика, чутко прислушиваясь и зорко всматриваясь в окутавшую со всех сторон пелену. Он наскоро закурил несколькими бутербродами с ветчиной и

на мостике же выпил чашку чаю.

Напрасно старший офицер упрашивал командира спуститься вниз, пообедать как следует и отдохнуть. Капитан не соглашался и, словно бы желая выяснить, почему он не уходит, проговорил:

— Я уверен, что вы, Андрей Николаевич, распорядитесь не хуже меня в случае какого-нибудь несчастья... Слава богу, мы друга друга знаем. Но в данном случае я не могу уйти... Ведь я рискнул идти полным ходом в этот дьявольский туман, и, следовательно, я один должен нести ответственность за все последствия моего решения и быть безотлучно на своем посту... Вы ведь поймете меня и не объясните мое упорство недоверием к вам, Андрей Николаевич!

Старший офицер больше не настаивал. И он подумал, что сам поступил бы точно так, если бы был командиром.

— А спешить необходимо, — продолжал капитан. — Эти гряды в Дуйском порте[115] на Сахалине, в которых застрял «Забияка», очень опасны. Я бывал в Дуэ. Тоже чуть нас не выбросило на каменья... Отвратительная

дыра!

— Еще слава богу, что не свежо теперь! — заметил старший офицер.

— Да, будь свежо, «Забияку» разбило бы... Бог даст, мы застанем его еще целым. Он пять дней тому назад вскочил на камни, судя по письму командира, доставленному английской шхуной...

— Как могло с ним случиться такое несчастье, Василий Федорович?

— Очень просто. Задул с моря норд-ост и быстро усилился до степени шторма, а рейд в Дуэ открыт для этого ветра. Уйти в море уж было невозможно, и капитан должен был выдержать шторм на якорях. Якоря не выдержали, на беду машина слаба, не выгребала против ветра, и клипер бросило на камни...

— Бедный Арбузов. Попадет под суд теперь. И что-то скажет адмирал! проговорил старший офицер.

— Арбузов опытный капитан и, конечно, сделал все, что было возможно, для сохранения судна и людей... Ну, и адмирал наш сам лихой моряк и сумеет несчастье отличить от неумения или небрежности... Да и все мы, мо-

ряки, никогда не застрахованы от беды... Вот хоть бы теперь... долго ли до несчастья в этом проклятом тумане... Какой-нибудь па...

Капитан оборвал на полуслове речь и дернул ручку машинного телеграфа. Машина вдруг застопорила... Вблизи раздался звук колокола. На «Коршуне» зазвонили сильнее.

— Ракету! — приказал капитан.

Спустили ракету.

Прошла минута, другая. Звона уже не было слышно. Кругом стояла тишина.

— Полный ход вперед! — приказал капитан.

И корвет снова понесся в молочной мгле, благополучно разойдясь с невидимым судном.

Выскочившие наверх офицеры и матросы облегченно вздохнули. Некоторые крестились. У всех пробежала мысль о миновавшей опасности.

Старший штурман, серьезный, озабоченный и недовольный, каким он бывал всегда, когда «Коршун» плыл вблизи берегов или когда была такая погода, что нельзя было поймать солнышка и определить астрономиче-

ски и приходилось плыть по счислению, частенько посматривал на карту, лежавшую в штурманской рубке, и затем поднимался на мостик и подходил к компасу взглянуть, по румбу ли правят, и взглядывал сердито на окружавшую мглу, точно стараясь пронизать ее мысленным взором и убедиться, что течение не отнесло корвет к берегу или к какому-нибудь острову на пути. Казалось бы, ничего этого не могло быть, так как, принимая в соображение туман, курс «Коршуна» был проложен среди открытого моря, в благоразумном отдалении от опасных мест, но кто его знает это течение: не снесло ли оно в сторону? А главное, его озабочивал проход Татарским проливом, отделяющим остров Сахалин от материка. Этот пролив узок, и там в тумане наскочить на берег весьма возможно. По расчету счисления, к проливу корвет должен был подойти на утро следующего дня.

«Если бы хоть к тому времени немного прочистилось!» — думал штурман, желая ветра. Он редко спускался в кают-компанию, чтобы наскоро выкурить папироску или наскоро выпить рюмку водки и закусить, и был

неразговорчив. И когда кто-то из молодых мичманов спросил его, когда, по его мнению, туман рассеется, он только недовольно пожал плечами и снова побежал наверх.

Никому в этот день не сиделось в кают-компании, и не было, как обыкновенно, оживленных бесед и споров. Пообедали почти молча и скоро, и после обеда все вышли наверх, чтобы снова увидеть эту непроглядную мглу, точившую из себя влагу в виде крупных капель, и снова слышать звон колокола и гудение свистка.

В восемь часов вечера Ашанин вступил на вахту, сменив Лопатина. В темноте вечера туман казался еще непроницаемее. С мостика ничего не было видно, и огоньки подвешенных на палубе фонарей еле мигали тусклым светом. Ашанин проверил часовых на баке, осмотрел отличительные огни и, поднявшись на мостик, чутко прислушивался в те промежутки, когда не звонил колокол и не гудел свисток.

Почти непрерывно с бака жгли фальшфейеры и время от времени пускали ракеты.

Так прошел час, другой, как вдруг потянул

ветерок, и туманная мгла стала понемногу прочищаться...

И капитан радостно проговорил, обращаясь к старшему штурману:

— Прочищается, Степан Ильич!

— Как будто к тому идет! — весело отвечал старший штурман.

К одиннадцати часам корвет уже вышел из туманной мглы.

Она темной густой пеленой осталась за ним. Впереди горизонт был чист. На небе сияла луна и мигали звезды.

Жуткое чувство, которое не покидало Ашанина с начала вахты, внезапно исчезло, и он полной грудью, весело и радостно крикнул:

— Вперед хорошенько смотреть!

И часовые на баке так же радостно ответили:

— Есть, смотрим!

Колокол уже не звонил, и свисток не гудел. И словно с корвета были сняты чары. Он весь со своими мачтами и снастями вырисовывался в полусвете лунной ночи.

— Ну, теперь, я думаю, нам можно и соснуть, Степан Ильич? — промолвил капитан,

обращаясь к старшему штурману.

— Вполне можно-с, Василий Федорович, К Татарскому проливу подойдем не раньше утра...

— Самый полный ход вперед! — весело крикнул капитан в переговорную трубку и двинул ручку машинного телеграфа.

Машина застучала сильнее.

— Когда менять курс будем?.. в четыре утра?

— В четыре...

— Так передайте на вахту, чтобы меня разбудили в четыре! — приказал Ашанину капитан. — И, разумеется, разбудите меня и раньше, если что-нибудь случится...

— Есть!

— И, если ветер позволит, поставьте паруса. Все-таки ходу прибавится.

— Есть!

— Ну, до свиданья, Ашанин. Хорошей вахты!

Капитан спустился вниз и, не раздеваясь, бросился на диван и тотчас же заснул. А старый штурман, придя в кают-компанию, велел дежурному вестовому подать себе рюмку вод-

ки, честера и хлеба и, основательно закусив, снова поднялся наверх, в штурманскую рубку, поглядел на карту, отметил приблизительный пункт места корвета и, поднявшись на мостик, сказал Ашанину:

— Смотрите, голубчик, дайте мне немедленно знать, если увидите какой-нибудь подозрительный огонек... И попросите о том же Поленова, когда он сменит вас. Не забудете?

— Будьте покойны.

— То-то, на вас я надеюсь... Эка славно-то как стало... И ночь светленькая... все видно! — воскликнул Степан Ильич, осматривая в бинокль еще раз горизонт. — А парусов, пожалуй, и не придется ставить... Ветерок еле вымпел раздувает... Ну, что, как вам понравился этот подлюга-туман? Верно, такого никогда еще не видали?

— Не видал... И, признаюсь, мне было жутко, Степан Ильич.

— А, вы думаете, мне не было жутко? — мягко промолвил штурман. — Еще как жутко! Места себе не находил, и в голову все скверные мысли лезли... А Василию Федоровичу, я полагаю, и еще жутче было... Ведь ответ-

ственность-то вся на нем, что мы дали полным ходом в тумане... И главное — нравственная ответственность, а не то, что перед судом... И он молодчага — решился... Другой бы не торопился так вызволять товарища, а он... Зато и пережил он много в этот денек... Недаром с мостика не сходил... На душе-то кошки скребли... Только не показывал он этого... вот и все... И нельзя себя обнаруживать хорошему моряку, чтобы не наводить паники на других... Так-то, голубчик... Ну, прощайте... Я спать пошел!

Старший штурман спустился в палубу, и Ашанин остался один сторожить безопасность «Коршуна» и бывших на нем моряков.

После этого жуткого дня все сладко спали, кроме вахтенных.

В третьем часу следующего дня «Коршун» входил на неприветный Дуйский рейд, мрачный и пустынный, окаймленный обрывистыми лесистыми берегами, с несколькими видневшимися на склоне казарменными постройками, в которых жили единственные и невольные обитатели этого печального места ссыльно-каторжные, присланные на Сахалин

для ломки каменного угля, и полурота линейных солдат для надзора за ними.

Далеко от берега белелись в разных местах буруны, ходившие через гряды камней, которыми усеяна эта бухта, и на одной из таких гряд, с опущенными стенгами и брам-стенгами, значительно разгруженный, стоял бедный клипер «Забияка». Около него длинной вереницей копошились гребные суда, пробуя тщетно стянуть с каменьев плотно засевший клипер.

Как только «Коршун» подошел, насколько было возможно, близко к клиперу и, не бросая якоря, остановился, поддерживая пары, с «Забияки» отвалил вельбот, и через несколько минут командир «Забияки», плотный, коренастый брюнет с истомленным, осунувшимся лицом, входил на палубу «Коршуна», встреченный, как полагается по уставу, со всеми почестями, присвоенными командиру. Он радостно пожимал руку Василия Федоровича и в первую минуту, казалось, не находил слов.

— Откуда вас бог сюда прислал, Василий Федорович? — наконец, спросил он.

Они спустились в каюту, и там произошла трогательная сцена. Когда командир «Забияки» узнал, что «Коршун» в тумане полным ходом шел к нему на помощь, он с какой-то благодарной порывистостью бросился целовать товарища и проговорил со слезами на глазах:

— Без вас мне грозила гибель... Поднимись ветер... и «Забияку» разбило бы в щепы на этих камнях...

Через четверть часа «Коршун» уж подал буксиры на «Забияку» и стал его тащить... Машина работала самым полным ходом.

Долго все усилия были тщетны. Наконец, к вечеру «Забияка» тронулся, и через пять минут громкое «ура» раздалось в тишине бухты с обоих судов. Клипер был на вольной воде и, отведенный подальше от берега, бросил якорь. Отдал якорь и «Коршун».

И почти в этот самый момент на рейд входил корвет под адмиральским флагом на крюйс-брам-стеннге, а на грот-брам-стеннге были подняты позывные «Коршуна» и сигнал: «Адмирал изъявляет свое особенное удовольствие».

Салют адмиральскому флагу раздался с

обоих судов, и как только дым рассеялся, оба капитана, собиравшиеся ехать к адмиралу с рапортами, увидали, что гичка с адмиралом уже несется к «Забияке».

Утром следующего дня «Коршун» вел на буксире «Забияку» в Гонконг в док в сопровождении адмиральского корвета.

Глава седьмая

Ночная гонка

I

«Коршун» благополучно прибуксировал своего потерпевшего товарища в Гонконг, и клипер в тот же день был введен в док для осмотра и починки повреждений. Повреждения были значительные: сорвана большая часть киля и форштевня[116], повреждена во многих местах наружная обшивка и сломан винт. В частном доке, при котором были и мастерские, потребовали значительную сумму за простой и за исправления, и дороговизна починки прибавила еще новые терзания и без того нравственно страдающему капитану. Хотя адмирал и успокаивал капитана, находя, что он нисколько не виноват в постигшем его несчастье, тем не менее ка-

питан клипера переживал тяжелые минуты и сам просил о скорейшем назначении следствия.

«Коршун» простоял в Гонконге несколько дней, пока работала следственная комиссия, назначенная адмиралом для расследования обстоятельств постановки клипера на камень в порте Дуэ на Сахалине и степени виновности командира. Председателем комиссии, как старший в чине, был назначен командир флагманского корвета, а членами — командир «Коршуна», Василий Федорович, флагманский штурман и оба старшие офицера корветов. Затем все следственное дело с заключением адмирала должно было поступить на рассмотрение морского генерал-аудиториата, если бы морской министр нашел нужным предать капитана суду или просто узнать мнение высшего морского судилища того времени, членами которого были адмиралы.

Исследовав в подробности дело и допросив капитана, офицеров и команду клипера, комиссия единогласно пришла к заключению, что командир клипера нисколько не вино-

ват в постигшем его несчастье и не мог его предотвратить и что им были приняты все необходимые меры для спасения вверенного ему судна и людей. Вполне соглашаясь с заключением комиссии, адмирал послал все дело в Петербург вместе с донесением, в котором сообщал морскому министру о том, что командир клипера действовал как лихой моряк, и представлял его к награде за распорядительность и хладнокровное мужество, обнаруженные им в критические минуты. Кроме того, адмирал отдал приказ по эскадре, в котором изъявлял благодарность командиру клипера в самых лестных выражениях.

Нечего и говорить, как нравственно удовлетворен был капитан признанием своей правоты товарищами и строгим начальником эскадры; осунувшийся и похудевший, он словно ожил за это время и, еще недавно бывший в числе порицателей беспокойного адмирала за его подчас бешеные выходки, стал теперь горячим его почитателем.

Обрадовались и моряки, когда прочли приказ и услышали о представлении адмирала. В ближайшее воскресенье, когда, по обыкнове-

нию, Василий Федорович был приглашен офицерами обедать в кают-компанию, многие из моряков спрашивали его: правда ли, что адмирал представил командира клипера к награде?

— Правда. Вчера я читал копию. Адмирал мне показывал.

В кают-компании раздались удивленные восклицания.

— Вас, как видно, удивляет это, господа? — заметил с улыбкой Василий Федорович.

— Еще бы! — воскликнул Лопатин.

— Признаться, и я изумлен! — проговорил старший офицер. — Положим, командир клипера вел себя во время крушения молодцом, но все-таки я не слыхал, чтобы капитанов, имевших несчастье разбить суда, представляли к наградам...

— И я не слыхивал таких примеров! — промолвил в свою очередь и старший штурман.

— А Корнев тем и замечателен, что поступает не так, как поступают люди рутины и укоренившихся предрассудков, и за то я особенно его уважаю! горячо проговорил Василий Федорович. — Он не боится того, как по-

смотрят на его представление в Петербурге, и, поверьте, господа, настоит на своем. Он не похож на тех, кто в каждом несчастье, столь возможном на море, видит прежде всего вину... Он, как истинный моряк, сам много плававший, понимает и ценит отвагу, решительность и мужество и знает, что эти качества необходимы моряку. В нашем ремесле, господа, нужны, конечно, бдительность и осторожность, но только осторожность, не имеющая ничего общего с трусостью, которая всюду видит опасность. Есть еще и другая трусость и часто у моряков, отважных по натуре, это — трусость перед начальством, страх ответственности в случае какого-нибудь несчастья. Такие моряки могут и счастливо плавать, но они все-таки не моряки в истинном значении этого слова, и боевой адмирал на них не может рассчитывать. Они похожи на того адмирала давно прошедшего времени, который, услышав выстрелы в море, не пошел на них на помощь товарищу-адмиралу, так как не получил на то приказания раньше... а он был слепой исполнитель приказаний начальства и боялся ответственности.

— Что же, этого адмирала отдали под суд, Василий Федорович? воскликнул Ашанин, слушавший — весь внимание — речь своего любимца-капитана.

— Отдали...

— И обвинили?

— Нет, оправдали. Он ведь был формально прав. Но зато нравственно моряки его осудили, и он должен был сам выйти в отставку.

Удовлетворив любопытство Ашанина, Василий Федорович продолжал, обращаясь главным образом к молодым офицерам:

— Вот все это и умеет отличать адмирал, так как он не рутинер и не формалист и любит до страсти морское дело. И в данном случае, представляя к награде капитана, хотя и попавшего в беду и едва не потерявшего веренного ему судна, но показавшего себя в критические минуты на высоте положения, адмирал дает полезный урок флоту, указывая морякам, в чем истинный дух морского дела, и поддерживая этот дух нравственным одобрением таких хороших моряков, как командир клипера... А командиру не награда нужна, а именно уверенность, что он поступил

так, как следовало поступить хорошему моряку... И поверьте, господа, что и впредь он будет таким же хорошим моряком. А отнесись к нему адмирал иначе, флот, пожалуй, лишился бы дельного и образованного капитана...

После минуты общего молчания, в котором чувствовалось сильное впечатление, произведенное на большую часть офицеров этой речью, капитан неожиданно прибавил:

— А ведь и я должен бы подвергнуться строжайшему выговору, господа... И, может быть, не только выговору, а и более серьезному наказанию, если бы начальником эскадры был не Корнев, а какой-нибудь педант и формалист. Не правда ли, Степан Ильич?

— Очень просто. Могли бы и под суд отдать-с. И меня бы с вами на цугундер, Василий Федорович! — промолвил старший штурман.

— А Корнев вместо того благодарил вас! — вставил старший офицер.

— Еще бы! Адмирал сам в том же повинен, в чем и Василий Федорович. Его тоже надо было бы отдать под суд! Он тоже дул полным ходом, спеша в Дуэ! засмеялся Степан Ильич.

— За что же это вас следовало отдавать под суд, Василий Федорович? — с удивлением спрашивал доктор, решительно не понимавший, в чем мог провиниться командир «Коршуна».

И многие, в том числе Ашанин, в недоумении смотрели на капитана, не догадываясь, за что можно было бы обвинить такого хорошего моряка.

— А разве вы забыли, доктор, как мы шли на Сахалин? — спросил капитан.

— Не шли, а, можно сказать, жарили, Василий Федорович! — вставил старший штурман, заметно оживившийся к концу обеда.

— Ну, так что же?

— А помните, какой был туман тогда?

— Ужасный! — согласился доктор.

— В двух шагах ничего не было видно... Молоко какое-то! — заметил лейтенант Невзоров. — Жутко было стоять на вахте! — прибавил он.

— И мне было, признаться, жутко! — виновато признался Володя.

— А мне, вы думаете, было весело? — улыбнулся капитан. — Могу вас уверить, господа,

что не менее жутко, а, скорее, более, чем каждому из вас... Так вот, доктор, в такую-то погоду мы, как образно выражается почтенный Степан Ильич, жарили самым полным ходом, какой только мог дать влюбленный в свою машину Игнатий Николаевич... А он, вы знаете, постоит за честь своей машины.

— Подшипники даже сильно нагревались тогда... Я пустил машину вовсю!.. Вы приказали! — конфузливо проговорил старший механик.

— Так долго ли было до греха, доктор? — продолжал капитан. — И у нас по борту произошло судно... Помните, Степан Ильич? Если бы мы не услышали вовремя колокола... какая-нибудь минута разницы, не успеи мы крикнуть рулевым положить руль на борт, было бы столкновение... Правила предписывают в таком тумане идти самым тихим ходом... А я между тем шел самым полным... Как видите, полный состав преступления с известной точки зрения.

— Но мы спешили на помощь «Забияке»! — горячо заметил доктор.

— Положим, спешили, но ведь могло слу-

читься и так, что вместо одного погибшего судна было бы два... Могло ведь случиться?

— Могло.

— И если стать на эту точку зрения, то я должен бы не спешить на помощь товарищу, а думать о собственном благополучии. Многие адмиралы одобрили бы такое благоразумие, тем более что и правила его предписывают... Но все вы, господа, конечно, поступили бы точно так, как и я, и наплевали бы на правила, а торопились бы на помощь бедствующему судну, не думая о том, что скажет начальство, хотя бы вы знали, что оно и отдаст вас под суд... Не правда ли, Ашанин?

— Еще бы! — воскликнул Володя.

— Конечно! — подтвердили и другие.

— И Корнев, наверно, отдал бы под суд или, по меньшей мере, отрешил меня от командования, если бы я поступил по правилам, а не так, как велит совесть... Вот почему он благодарил меня вместо того, чтобы отдать под суд! Сам он тоже не по правилам спешил к Сахалину и тоже в густой туман бежал полным ходом... Так позвольте, господа, предложить тост за тех моряков и за тех лю-

дей, которые исполняют свой долг не за страх, а за совесть! — заключил капитан, поднимая бокал шампанского.

Все сидевшие на конце стола подходили чокаться к капитану. Когда последним подошел Ашанин, капитан сказал ему:

— Вчера адмирал спрашивал о вас. Верно, скоро потребует к себе читать ваш отчет... Здесь ему не до отчета... Он каждый день в доке... разносит англичан, споря с ними о починке клипера...

— А когда мы уходим отсюда, Василий Федорович? — спросил кто-то.

— Кажется, завтра.

— А адмирал?

— Он тоже уходит.

— Пойдем вместе?

— Вместе.

— А куда, Василий Федорович? — спросил Лопатин.

— Об этом спросите сами у адмирала, Василий Васильевич, — усмехнулся капитан, — я не знаю. Знаю только, что в скором времени соберется эскадра и все гардемарины будут держать практический экзамен для производ-

ства в мичмана. Эта новость больше к вам относится, Ашанин. Недавние гардемарины наши теперь мичмана. Теперь за вами очередь. Скоро и вы будете мичманом, Ашанин... Почти два года вашего гардемаринства скоро прошли... Не правда ли?

— Я и не заметил, как они прошли, Василий Федорович.

— Да и плавание наше прошло незаметно. Еще полгода, и, вероятно, «Коршун» пошлют в Россию... Как раз через три года вернемся. Я думаю, всем хочется домой?

Все откровенно сознались, что хочется. Особенно горячо высказались лейтенант Невзоров, старший механик и артиллерист Захар Петрович. Первые два жаждали свидания с женами, а Захар Петрович страстно хотел обнять своего сынишку.

— А мне бы только побыть в России месяц-другой — я снова непрочь бы в дальнейшее плавание! — заметил Лопатин.

— И я отдохнул бы полгода, да и опять ушел бы в море! — проговорил старший офицер.

— Если уйдете, то, наверно, командиром,

Андрей Николаевич! — промолвил капитан.

— Еще вопрос: дадут ли судно?.. Может быть, не найдут достойным! скромно заметил Андрей Николаевич, не раз втайне лелеявший мечту о командирстве.

— Адмирал не позволит вас обойти... Он горой стоит за хороших офицеров...

— А вы, Степан Ильич, пошли бы снова в плавание? — спросил кто-то у старшего штурмана.

Степан Ильич глотнул из чашки кофе, разбавленного коньяком, сделал затяжку и после этого ответил:

— Я, батенька, не загадываю. Что будет, то будет... Назначат в дальнее плавание, — пойду, а не назначат, — не пойду, зазимую в Кронштадте. Слава богу, поплавал на своем веку довольно и всего на свете навидался! философски протянул Степан Ильич и вслед за тем не без шуточной иронии прибавил: — Да и у штурманов не осведомляются об их желаньях. Отдадут приказ: назначается на такое-то судно, — так, хочешь не хочешь, а собирай свои потроха и иди хоть на северный полюс. Мы ведь людишки маленькие, и впе-

реди у нас нет блестящих перспектив... Ничего-с в волнах не видно! Хе-хе-хе! А статья на мертвый якорь — выйти в отставку и получать шестьсот рублей полного пенсионера — тоже не хочется. Как-никак, а все-таки привык к воде... всю почти жизнь провел на ней. Так как-то зазорно сделаться сухопутным человеком и, главное, решительно не знать, что с собой делать с утра до вечера... Семьи у меня нет, жениться было некогда между плаваниями, я один, как перст... ну и, видно, до смерти придется брать высоты да сторожить маяки! — усмехнулся старый штурман.

Чуткое ухо Ашанина в этой полушутливой речи уловило горькое чувство старика, обойденного, так сказать, жизнью только потому, что он был штурманом. После долгих лет тяжелой и ответственной службы — ни положения, ни средств для сколько-нибудь сносного существования в случае отставки, одним словом — все та же подначальная жизнь, все та же ляпка... И Володя с глубоким уважением, полный искреннего сочувствия, посмотрел на старика-штурмана и словно бы чувствовал себя виноватым за то, что он флотский и что у

него впереди жизнь, полная самых розовых надежд.

И капитан как-то особенно сердечно проговорил, обращаясь к Степану Ильичу:

— Зато и как же счастливы будут капитаны, с которыми вы будете плавать, Степан Ильич...

— С вами и я рад, Василий Федорович, служить, вы это знаете... А ведь можно нарваться на такого капитана, что плавание покажется каторгой...

— Так я вас ловлю на слове, Степан Ильич... Если я буду назначен в плавание, вы не откажетесь плавать со мной?

— С большим удовольствием... А вы разве опять пойдете в плавание после того, как вернемся?..

— Я не прочь, если назначат. Но только не на три года... Это долго; я, признаться, соскучился по России... Там у меня старуха-матушка. Я у нее единственный сын, и она очень тоскует! — тихо и застенчиво прибавил капитан, словно бы конфузясь, что заговорил об интимных делах.

Степан Ильич понял это и благодарно оце-

нил откровенность капитана и с тонкой деликатностью, как будто не обратил внимания на эти слова, громко проговорил, с ласковой улыбкой подмигивая на Ашанина:

— А вот наш будущий мичман так не желает в Россию и собирается просить адмирала, чтобы он его оставил еще на три года в плавании.

— Это правда, Ашанин? Вы не хотите в Россию? — спрашивал, смеясь, капитан.

— Степан Ильич шутит, Василий Федорович. Я очень и очень хочу в Россию! — возбужденно воскликнул Ашанин и в то же мгновение вспомнил всех своих близких в Петербурге и взволнованно прибавил: — Ведь я уже два года не видал своих!

В тот же вечер он написал матери письмо и между прочим сообщал, что, верно, через полгода «Коршун» пойдет в Россию и он, Володя, уже будет мичманом.

Порадовал он и Ворсуньку известием, что скоро корвет вернется в Россию.

— Дай-то бог, ваше благородие.

— А ты очень соскучился?

— А то как же?.. Подчас и вовсе жутко бы-

вает, ваше благородие. Только я об этом никому не обсказываю... Зачем, мол, других смущать. Всякий про себя, значит, тоскуй. Небось и вам в охотку родительницу видать, да сестрицу с братцем, да дяденьку.

— Еще как в охотку-то, Ворсунька...

— То-то оно и есть... А у меня, Владимир Николаевич, в деревне, сами знаете, жена оставлена и батюшка с матушкой...

II

Неделю спустя адмиральский корвет и «Коршун» на рассвете вбежали под штормовыми парусами и со спущенными стеньгами на рейд китайского порта Амое, скрываясь от жестокого тайфуна, который трепал оба корвета двое суток и все свирепел, так что адмирал дал сигнал: «спуститься в Амое». В это утро на рейд пришли еще три военных судна: два английских и одно американское, и у всех были повреждения. Американец был без грот-мачты, а на двух английских корветах были прошибленные борты и сломанные бушприты. Видно было, что тайфун потрепал их основательно и в море достиг своего апогея. И на рейде чувствовалась его сила. «Коршун» силь-

но раскачивало и подергивало на цепях двух брошенных якорей. Временами, в моменты сильных порывов, цепи натягивались в струны. Стеньги так и не поднимались, и на всякий случай поддерживались пары. Волнение было на рейде такое сильное, что нельзя было посылать шлюпок. Ветер так и завывал в снастях. Было сыро и холодно.

Но бухта была закрытая, большая и глубокая, и отстаиваться в ней было безопасно. По крайней мере, Степан Ильич был в отличном расположении духа и, играя с доктором в кают-компании в шахматы, мурлыкал себе под нос какой-то мотив. Старший офицер, правда, часто выходил наверх смотреть, как канаты, но скоро возвращался вниз успокоенный: цепи держали «Коршун» хорошо на якорях. Не тревожился и капитан, хотя тоже частенько показывался на мостике.

К вечеру стало стихать. Мистер Кенеди давал один из своих последних концертов. Ему надоело плавать, и он собирался скоро покинуть корвет, чтобы попасть в Америку и там поискать счастья. Все сидели в кают-компании и слушали талантливую игру Кенеди, ис-

пытывая приятное чувство тепла и уюта после двухдневной трепки в Китайском море... Скоро подали вечерний чай, и в кают-компании было шумно и весело. Все предвкушали удовольствие хорошо выспаться, не рискуя стукаться о переборку, как вдруг в кают-компанию вбежал рассыльный и прокричал:

— Свистали всех наверх с якоря сниматься!

— Вот тебе и спокойная ночная вахта! — проговорил Лопатин.

— И хоть бы ночь простояли на якорю! А то загорелось! — воскликнул Невзоров.

— У Корнева всегда все горит! — заметил Степан Ильич. — Видно, был сигнал?..

— Конечно, сигнал: сниматься с якоря! — крикнул лейтенант Поленов, уже сдавший вахту старшему офицеру и сбежавший вниз, чтобы надеть теплое пальто.

Кают-компания опустела. Только доктор, отец Спиридоний и мистер Кенеди остались внизу.

Через полчаса «Коршун» с поднятыми уже стеньгами шел в кильватер адмирала, выходя из Амое. В море было очень свежо, и волне-

ние было изрядное. Тотчас же по выходе в море на адмиральском корвете были подняты последовательно ночные сигналы: «поставить паруса» и «следовать за адмиралом».

— А куда следовать, — это, разумеется, секрет адмирала! — кинул Лопатин, смеясь и ежась от холода, стоявшему у сигнальных книг младшему штурману.

Паруса были быстро поставлены, пары прекращены, винт поднят, и «Коршун», изрядно раскачиваясь на сильном попутном волнении, имея, как и у адмирала, марсели в два рифа, фок, грот, бизань и кливера, бежал в галфинд[117] за адмиральским корветом, который в виде темного силуэта с огоньком на мачте виднелся вблизи в полумраке вечера. Луна по временам показывалась из-за облаков.

Просвистали подвахтенных вниз. Офицеры торопливо спустились в кают-компанию доканчивать чай.

Разговоры, конечно, поднялись по поводу внезапного ухода из Амое, и большая часть офицеров, рассчитывавшая на спокойные ночные якорные вахты, была недовольна и

не отказала себе в удовольствии побранить адмирала.

— Вот уж, подлинно, беспокойный адмирал! Вместо того чтобы после двухдневной трепки постоять ночь на якоре, он опять в море! — говорил лейтенант Невзоров, которому предстояло с восьми часов вечера вступить на вахту.

— Да еще следуй за ним... Не спускай с него глаз. Вахта будет не из приятных, Александр Иванович, — подлил масла Первушин.

— Да и ваша вахта, с полуночи до четырех, тоже не из веселых.

— А моя, господа, отличная... На рассвете, с четырех до восьми. Мне пофартило! — засмеялся Лопатин. — А Владимиру Николаевичу еще того лучше: ночь может спать и только с восьми часов сторожить адмирала.

Ашанин между тем подсел к Степану Ильичу и спрашивал:

— А если мы ночью разлучимся с адмиралом? Куда мы тогда должны идти, Степан Ильич?

— Боже сохрани, разлучиться... Типун вам на язык, милый юноша. Он тогда при встрече

осрамит капитана и разнесет вдребезги и его, и вахтенного начальника, который упустит адмирала, и всех нас. Что вы, батенька! «Коршун» должен, понимаете ли, должен не отставать от адмиральского корвета и не упускать его ни на минуту из вида... Только какие-нибудь особенные обстоятельства: шторм, туман или что-нибудь необычайное — может извинить в его глазах разлучившегося... Но в таком случае адмирал, разумеется, предупредит о рандеву.

— Слышите, Александр Иванович! — крикнул Невзорову Лопатин. — Не упустите адмирала.

— Ночь-то не особенно темная... Не упущу.

— А он, вот увидите, будет стараться удрать от нас. Начнет менять курсы, прибавлять парусов... Одним словом, будет настоящая гонка! — уверенно произнес Степан Ильич.

— На кой черт он станет все это проделывать? Людей беспокоить зря, что ли? — воскликнул недовольным тоном Невзоров.

Молодой и красивый лейтенант не отличался любовью к морскому делу и служил ис-

правно более из самолюбия, чем по влечению; для него чуждо было море с его таинственностью, ужасом и поэзией. Сибарит по натуре, он с неудовольствием переносил неудобства, невзгоды, а подчас и опасности морской жизни и, страшно скучавший в разлуке с любимой женой, ждал с нетерпением конца «каторги», как называл он плавание, и не раз говорил, что по возвращении оставит морскую службу, — не по нем она.

— Просто адмирал самодур, вот и все. Ему, видно, спать не хочется, он и чудит! — вставил ревизор, лейтенант Первушин.

— Не жалейте эпитетов, Степан Васильевич: самодур — слабо... Уж лучше скажите, что он антихрист, что ли, за то, что не дает вам покойной вахты! отозвался со смехом Лопатин, и в его веселых глазах искрилась чуть заметная насмешливая улыбка.

— Что вы вздор городите... Я не из-за вахты.

— Не из-за вахты?

— Я вообще высказываю свое мнение об адмирале.

Степан Ильич нахмурился и молчал, види-

мо не желая вмешиваться в разговор, да еще с Первушиным, которого и он не особенно долюбивал, считая его интриганом и вообще неискренним человеком. Но когда и Ашанин, его фаворит Ашанин, вслед за другими довольно развязно назвал предполагаемую ночную гонку бессмысленной, старый штурман с ласковой укоризной остановил его:

— И вы, Владимир Николаевич, порицаете то, чего — извините — сами хорошо не понимаете!

Ашанин сконфузился и проговорил:

— Но, в самом деле, какой же смысл в такой гонке, Степан Ильич?..

— Какой смысл? — переспросил Степан Ильич, оживляясь. — А вы думаете, что нет смысла и что адмирал приказал идти ночью и в свежую погоду за собой, неизвестно куда, только потому, что он самодур и что ему спать не хочется?

— А то из-за чего же? — вызывающе бросил Первушин, задетый за живое словами старшего штурмана.

— Во всяком случае не из-за самодурства, как вы полагаете.

— Так объясните, пожалуйста, Степан Ильич, а мы послушаем! — не без иронии кинул Первушин.

— Вам что же объяснять? Вы уже уяснили себе причины, — сухо промолвил старый штурман, — а вот Владимиру Николаевичу я скажу, что Корнев, устроивши ночной поход, наверное, имеет цель убедиться, будут ли на «Коршуне» бдительны и находчивы... сумеет ли «Коршун» не упустить неприятельское судно, если б оно было вместо адмиральского корвета... Ведь Корнев не смотровой адмирал. У него на первом плане морская выучка и требование, чтобы военное судно было всегда готово и исправно, как на войне...

Ашанин понял, что старый штурман был прав, и проговорил:

— Так вот оно что!.. А я и не подумал об этом.

— То-то и есть, милый юноша... Оттого и опрометчиво сделали заключение о человеке, который еще на днях восхитил вас своим приказом о командире клипера. В адмирале много недостатков, служить с ним тяжело, но он отличный морской учитель. И поверьте,

Владимир Николаевич, что сегодня ночью он не будет спать из-за желания приучить моряков к осмысленной службе. И он сам увлечется ролью неприятеля... поверьте... и будет употреблять все меры, чтобы удрать от «Коршуна» и в назначенном «рандеву» разнести капитана... Но не на такого напал... Не удрать ему от Василия Федоровича!

Предположения старого штурмана действительно оправдались, и в самом скором времени.

Не прошло и часа, как сверху донеслись командные слова Невзорова.

— Верно уж начал гонку. Пойдем-ка, посмотрим, в чем дело! — проговорил старый штурман.

Они вышли вместе наверх и стали у борта, около мостика.

На мостике были и капитан и старший офицер, и оба напряженно смотрели в бинокли. А Невзоров тем временем нервно, нетерпеливо и, казалось, с раздражением виноватого человека командовал, распоряжаясь работами и поторапливая людей.

Еще бы не торопить! Оставшись один на

вахте, пока капитан со старшим офицером пили чай в капитанской каюте, он чуть было не прозевал, что на флагманском корвете отдали рифы и ставят брамсели. И это было сделано как раз в то время, когда луна спряталась за облака и ночь стала темней. Спасибо сигнальщику, который, не спуская подзорной трубы с «Витязя», заметил его маневры и доложил об этом Невзорову.

И тогда Невзоров крикнул, словно оглашенный:

— Марсовы к марсам! Рифы отдавать!.. На брамсели! — На этот окрик выбежали капитан и старший офицер.

— Я думал, что адмирал позже начнет гонку! — смеясь проговорил капитан и, взглянув в бинокль, заметил Невзорову: — А вы немного опоздали!.. «Витязь» уходит вперед...

Невзоров виновато отвечал:

— Луна спряталась... Не разглядел...

— На это адмирал и рассчитывал... Что это, сигнал?

Взвились огоньки, и через минуту сигнальщик доложил:

— Рандева Нагасаки.

Пока поднимали ответ, капитан заметил:

— Адмирал думает, что у нас спят и что он уйдет. Напрасно! Мы его нагоним!.. Скорее ставьте брамсели, Александр Иванович! — нетерпеливо прибавил он, досадуя на оплошность Невзорова.

Тот хорошо понял это по нетерпеливому тону капитана и еще громче и раздражительнее крикнул:

— Брамсели отдать!

— Прозевал прибавку парусов у адмирала и теперь зря суетится. Эх, моряк с Невского проспекта! — с сердцем проговорил вполголоса Степан Ильич и, прислонясь к борту, жадно впился глазами в бинокль, направленный на «Витязь».

— Разве не нагоним, Степан Ильич? Ведь это будет ужасно!.. Капитан говорил, что нагоним. Значит, нагоним, Степан Ильич? — с нетерпением спрашивал Ашанин, внезапно почувствовавший, как и старый штурман, и обиду за «Коршуна», и ненависть к моряку с Невского проспекта (эта кличка Володе особенно почему-то понравилась) за то, что он прозевал. И в эту минуту ему казалось дей-

ствительно ужасным, если «Витязь» уйдет от «Коршуна». Морская жилка жила в нем, как и в Степане Ильиче, и он всем существом почувствовал смысл всех этих «штук» адмирала и пламенно желал, чтобы «Витязь» не ушел, точно «Витязь» в самом деле был неприятель, которого выпускали из рук.

— Нагоним, нагоним! — успокоил Володю старый штурман. — Слава богу, прозевка была недолгая, а «Коршун» в полветра лихо ходит...

И неожиданно прибавил с лаской в голосе:

— И у вас морская душа разыгралась?.. И вас задор взял?.. А ведь этим вы обязаны вот этому самому беспокойному адмиралу... Он знает, чем моряка под ребро взять... От этого служить под его командой и полезно, особенно молодежи... Только его понять надо, а не то, как Первушин...

— Я дурак был, Степан Ильич, когда говорил давеча...

— Не дурак — вы, слава богу, имеете голову на плечах, — а слишком скоропалительны, голубчик. Вы не сердитесь: я, любя вас, это вам говорю.

— Да я и не сержусь ни капельки... И прошу вас всегда так со мною говорить.

Работы между тем кипели. Скоро рифы у марселей были отданы, брамсели были поставлены, и для увеличения хода вздернуты были и топселя по приказанию капитана. Сильно накренившись и почти чертя воду подветренным бортом, «Коршун» полетел еще быстрее. Брам-стенъги гнулись, и корвет слегка вздрагивал от быстрого хода.

Через несколько минут «Коршун» уже нагнал «Витязя», и на «Коршуне» тотчас же убрали топселя и один из кливеров, чтобы не выскочить неделикатно вперед.

— Что, небось, раненько назначил «рандеву»? — произнес, ни к кому не обращаясь, Степан Ильич, и в его старческом голосе звучали и радость, и торжество, и насмешка.

Улыбнулся и капитан и, обращаясь к Невзорову, проговорил, видимо желая подбодрить его:

— Отлично управились, Александр Иванович.

Обрадовался и Ашанин, увидав совсем близко и чуть-чуть на ветре красивый, лежав-

ший почти на боку «Витязь» с его высоким рангоутом, одетым парусами, которые белелись теперь под серебристым светом месяца, выплывшего из-за быстро несущихся облаков.

— Ну, теперь я спать пошел. Спокойной ночи, Владимир Николаевич! проговорил старший штурман и как-то особенно крепко и значительно пожал руку Ашанину.

Скоро спустился к себе в каюту и Ашанин. Теперь он был единственным обитателем гардемаринской каюты. Быков и Кошкин, произведенные в мичмана, были переведены в Гонконге на клипер, где не хватало офицеров, а два штурманские кондуктора, произведенные в прапорщики, еще раньше были назначены на другие суда тихоокеанской эскадры.

Капитан уже более не спускался вниз. Он простоял на мостике всю ночь во время вахт Невзорова и Первушина, боясь, как бы опять не прозевали какого-нибудь маневра «Витязя».

А на «Витязе», казалось, все еще не теряли надежды обмануть бдительность «Коршуна» и уйти от него. Когда луна скрывалась за об-

лаками и становилось темней, «Витязь» вдруг сделал поворот и ложился на другой галс, то неожиданно спускался на фордевинд, то внезапно приводил к ветру, — но «Коршун» делал то же самое и шел по пятам беспокойного адмирала.

К рассвету, казалось, на «Витязе» утомонились, и он взял курс на Нагасаки.

— Ну, теперь «Витязю» уж нельзя скрыться! — сказал капитан Лопатину, когда тот в четыре часа утра вступил на вахту. — А все-таки вы, Василий Васильевич, следите в оба глаза за движениями адмирала.

— Есть! — весело отвечал Лопатин.

— И, смотрите, Василий Васильевич, не выскочите как-нибудь вперед, если на «Витязе» вдруг убавят парусов.

— Не прозеваю, Василий Федорович, — улыбаясь своей широкой, добродушной улыбкой, промолвил мичман.

— Ну, я спать пойду. Без особенной надобности не будите.

— Есть.

Капитан спустился в свою каюту, а Лопатин, безмятежно проспавший семь часов,

стал на наветренной стороне мостика и, обдуваемый ветром, то поглядывал на надувшиеся паруса, то на «Витязя».

Солнце только что выплыло из-за горизонта, переливавшего золотисто-пурпурными цветами, и, ослепительное, медленно поднималось по голубому небосклону, то прячась в белоснежных перистых, быстро несущихся облаках, то снова показываясь из-за них и заливая блеском полосу моря, на котором сверкали зайчики. Ветер заметно стихал, и скоро на обоих спутниках-корветах, почти одновременно, поставили топсея и лисея с одной стороны.

Андрей Николаевич, вставший, по обыкновению, одновременно с командой, в пять часов, поднялся на мостик и, осмотрев, как стоят паруса, с видимым чувством удовлетворения, что все на корвете исправно, проговорил:

— Чудный будет денек сегодня, Василий Васильевич. Как у нас ход?

— Десять узлов, Андрей Николаевич.

— Славно идем... Одолжите-ка бинокль, Василий Васильевич.

И старший офицер, взяв бинокль, впился жадными ревнивыми глазами на «Витязя», осматривая его зорким взглядом любящего свое ремесло моряка.

Не найдя никаких погрешностей, заметить которые мог бы только такой дока старший офицер, каким был Андрей Николаевич, он отдал бинокль Лопатину и торопливо сбежал с мостика, чтобы носиться по всему корвету и приглядывать, как во время обычной утренней чистки моют, убирают и скоблят его любимый «Коршун».

Глава восьмая **На флагманском корвете**

I

Вслед за подъемом на обоих корветах флагов на «Витязе» взвился сигнал: «Адмирал изъявляет свое особенное удовольствие».

— Ответ! — крикнул сигнальщику Ашанин, стоявший с восьми часов утра на вахте.

На крюйс-брам-стеннге «Коршуна» взвился ответный флаг, свидетельствующий, что сигнал понят, и вслед затем сигнальные флаги были спущены на «Витязе».

Ашанин послал доложить о сигнале капи-

тану.

Капитан, плохо выспавшийся, бывший уже наверху к подъему флага, сидел за кофе, когда сигнальщик докладывал ему о сигнале.

— Хорошо, — ответил он, и в голове его пробежала мысль: «Верно, нашего зевка не заметил, что благодарит».

Только что он кончил кофе и вышел прогуляться на шканцы, как на «Витязе» уже развевались новые сигнальные флаги. На этот раз был не сигнал, а разговор. Несколько раз то поднимались, то опускались флаги в разных сочетаниях.

— В чем дело? — спросил капитан, когда флаги исчезли с мачты «Витязя».

— Адмирал спрашивает фамилию вахтенного начальника, стоявшего на вахте вчера с восьми до двенадцати ночи! — отвечал младший штурман.

— Ответить! — приказал Ашанину капитан и в то же время подумал: «Заметил, что прозевали», и решил про себя заступиться за Невзорова.

Молодой лейтенант, мечтательно пускавший дым колечками и вспоминая, веро-

ятно, о жене, сразу вернулся к действительности, когда артиллерист Захар Петрович пришел сверху и принес известие о сигналах. Он вдруг сделался мрачен и со вздохом проговорил:

— Хоть бы от адмирала скорей избавиться... С ним только одни неприятности!

— Бедный Александр Иванович!.. И попадет же вам от этого беспокойного дьявола! — с притворным участием проговорил Первушин.

— И без вас знаю, что попадет! — сухо отозвался Невзоров.

— Если и попадет, то слегка, а то и вовсе не попадет! — неожиданно произнес Степан Ильич, только что взявший высоты и сидевший на конце стола за вычислениями. Он уже забыл, как сердился вчера на «моряка с Невского проспекта», и спешил его успокоить.

— Вы думаете, Степан Ильич?

— Уверен. Корнев отходчив. До Нагасаки совсем успокоится. Да, наконец, ведь мы и не упустили его, а лихо догнали. Выведали только, куда идем, — вот и всего.

Эти успокоительные слова произвели свое действие, и Невзоров просветлел.

На «Витязе» тем временем взвился новый сигнал: «Лечь в дрейф», и Ашанин, первый раз в жизни производивший такой маневр, стал командовать, напрасно стараясь скрыть волнение, овладевшее им и сказывающееся в дрожащих нотках его громкого, звучного голоса.

Через несколько минут оба корвета почти неподвижно покачивались в очень близком расстоянии друг от друга. В бинокль можно было разглядеть на полуюте «Витязя» кряжистую, сутуловатую фигуру адмирала, расхаживающего взад и вперед быстрой походкой, точно зверь в клетке.

— Зачем это мы легли в дрейф? — спрашивали друг у друга офицеры, выскочившие наверх.

Никто не мог догадаться.

— Адмирал, господа, «штормует»! — проговорил лейтенант Поленов, не отрывая глаз от бинокля.

— Ну? Разве видно?

— Я вижу по его походке... Бегает... и на

что-нибудь рассвирепел... Ну, конечно... Вот остановился и что-то говорит какому-то гардемарину... Должно быть, орет... Господа, слышите?..

Все притихли и действительно услышали крик, донесенный ветром.

— А вот и узнаем, почему мы в дрейфе... Опять сигнал...

— Не сигнал, а переговоры...

Через две-три минуты на «Коршуне» было известно, что адмирал требует гардемарина Ашанина с отчетом и с запасом белья на неделю.

Поленов сменил с вахты Ашанина и посоветовал ему собраться скорей.

— А то адмирал разнесет вас, даром что зовет погостить. К тому же он только что «штормовал»...

— Да, торопитесь, Ашанин! — повторил и капитан.

Ашанин побежал укладываться. Ворсунька, изумленный, что его барина переводят среди моря на другое судно, уже был в каюте. Лицо его было грустное-прегрустное. Он думал, что Ашанин совсем уходит с корвета.

— Живо, голубчик Ворсуня, маленький чемоданчик. Вали туда белья на неделю.

— Есть, ваше благородие. Значит, вы не совсем от нас? — повеселевшим голосом спросил Ворсунька, доставая чемодан.

— С чего ты взял? Всего на неделю.

— Так-то лучше... Крахмальных пять класть?

— Клади шесть.

Пока вестовой запикивал торопливо белье и объемистую тетрадь в чемодан и завязывал одеяло и подушку в парусину, баркас был спущен.

Наскоро простившись с офицерами, бывшими в кают-компании, Ашанин выбежал наверх, пожал руку доктора, механика и Лопатина и поднялся на мостик, чтобы откланяться капитану.

Крепко пожимая Ашанину руку, капитан сердечно проговорил:

— Надеюсь, адмирал вас не отнимет от нас. Иначе я буду протестовать.

— И я буду просить, чтобы меня оставили на «Коршуне», Василий Федорович.

— Если бы адмирал хотел взять к себе Вла-

димира Николаевича, он бы велел ему со-
брать все свои потроха! — засмеялся старший
штурман.

— До свидания, Андрей Николаевич. До
свидания, Степан Ильич. До свидания, Петр
Николаевич.

Все пожимали руку Володи.

Ашанин сбежал с мостика и, спустившись
по выкинутому веревочному трапу, вскочил
в баркас, где уже лежали его чемоданчик и
небольшой узелок. Он сел на руль, приказал
ставить паруса и понесся к адмиральскому
корвету.

Через несколько минут баркас пристал к
левому борту «Витязя», и Ашанин, несколько
смущенный и взволнованный, ступил на па-
лубу «Витязя», встреченный вахтенным офи-
цером.

II

Ашанин сразу заметил какую-то особен-
ную тишину на палубе, заметил взволнован-
но-тревожный вид вахтенного мичмана, хотя
тот и старался скрыть его перед Володей в на-
пускной отваге, увидал на мостике мрачную
физиономию долговязого старшего офице-

ра и удрученно-недовольное круглое лицо толстенного, низенького и пузатенького капитана и легко сообразил, что адмирал только что «штормовал», а то, пожалуй, еще и «штормует», чего Ашанин в качестве приглашенного гостя, да еще собирающегося читать свое произведение, вовсе не предвидел и чему далеко не радовался.

Эти быстрые и поверхностные наблюдения подтвердились еще внезапным появлением из-за грот-мачты корпусного товарища, гардемарина Касаткина, маленького, худенького, востроглазого брюнетика, который, пожимая руку Ашанина и озираясь на ют, быстро и конфиденциально шепнул:

— Глазастый черт взъерепенился. Сейчас всех разнес... Орал, как зарезанный боров. И мне здорово въехало... Хотел расстрелять! Ну, конечно, пугал... антихрист... Он так только кричит, — улыбнулся брюнетик. — Так, знаешь что? Не являйся к нему сейчас. Пережди, а то и тебе въедет... Он теперь в каюте... Не иди к нему... Пони...

Но Касаткин не окончил слова и исчез так же внезапно, как и появился.

Выход адмирала из каюты объяснил Ашанину эту внезапность и вместе с тем указал ему несостоятельность товарищеского совета. И он храбро двинулся вперед и, поднявшись на полуют, подошел к старшему офицеру и, приложив руку к козырьку фуражки, начал:

— Гардемарин Ашанин. Потребован по сигналу на «Витязь». Честь имею...

Старший офицер не дал Ашанину докончить и сказал, мотнув головой в сторону:

— Явитесь к капитану.

— Гардемарин Ашанин... Потребован...

— Знаю-с. Явитесь к адмиралу! — перебил капитан, которому, как и старшему офицеру, по-видимому, было вовсе не до гардемарина, вытребованного сигналом.

Адмирал был в нескольких шагах на правой стороне полуюта.

— Гардемарин Ашанин...

Адмирал остановил на Ашанине на секунду свои большие круглые, еще метавшие молнии глаза и, словно бы обрадованный видом нового лица, не напоминавшего ему тех лиц, которых он только что разносил, внезапно просветлел и, протягивая руку, проговорил:

— Здравствуйте, любезный друг... Очень рад вас видеть... Слышал от Василия Федоровича, что хорошо служите... Я вас потребовал, чтобы вы мне прочли, что вы там видели в Кохинхине... Да... прослушаю... Завтракаете у меня, а после завтрака...

Адмирал прервал речь и, повернув к морю свою круглую, крепко посаженную в плечах голову, в фуражке, чуть-чуть сбитой на затылок, взглянул на баркас, возвращающийся к «Коршуну», и резким металлическим голосом, заставившим Ашанина невольно вздрогнуть, крикнул:

— Николай Николаевич!

Почти в ту же секунду подбежал на рысях молодой мичман, флаг-офицер адмирала, и замер в ожидании, приложив руку к козырьку фуражки.

Эта поза, казалось, взбесила адмирала, и он крикнул:

— Ну, чего вы вытянулись, как фельдфебель?.. Что я, армейский генерал? Нужна мне ваша вытяжка, что ли?.. Опустите руку.

Флаг-офицер опустил руку и принял более свободное положение.

— Когда баркас будет поднят, сделать сигнал: «Сняться с дрейфа».

— Есть! — отвечал флаг-офицер и поспешил отойти.

— Так после завтрака вы мне прочтете, что вы там написали, — снова обратился адмирал к Ашанину, несколько смягчая тон. — Василий Федорович хвалил... А вы должны за честь считать, что служите на «Коршуне»... Вполне исправное судно... Да-с. И быстро в дрейф лег «Коршун»... Отлично... Скорее, чем мы на «Витязе»... А мы копались! — продолжал адмирал, возвышая голос и, по-видимому, для того, чтобы эти слова услышали и капитан, и старший офицер, и вахтенный мичман. — Видно, что на «Коршуне» понимают, почему для моряка должна быть дорога каждая секунда... Упади человек за борт, и каждая секунда — вопрос о жизни и смерти... Да-с, на «Коршуне» это понимают... По-ни-мают! — почти крикнул на Ашанина адмирал, готовый, казалось, снова «заштормовать» при воспоминании о том, что адмиральский корвет лег в дрейф двадцатью секундами позже «Коршуна».

— Можете идти, — круто оборвал адмирал и, когда Ашанин повернулся, он крикнул вдогонку: — Расскажите товарищам, как служат на «Коршуне».

Спустившись в гардемаринскую каюту и весело здороваясь с шестью товарищами, которых давно не видал, Ашанин был встречен прежде всего вопросами: «попало» ли ему от глазастого черта? — и поверг всех в изумление, что ему не попало, несмотря на то, что он подвернулся как раз после «общего разноса» за то, что «Витязь» чуть-чуть «опрохвостился» сегодня.

Все наперерыв спешили познакомить Ашанина с адмиралом в кратких, но выразительных характеристиках беспощадной юности, напирая главным образом на бешеные выходки стихийной страстной природы начальника эскадры. Про него рассказывались легендарные истории, невероятные анекдоты. Признавая, что Корнев лихой моряк и честнейший человек, все эти молодые люди, которые только позже поняли значение адмирала, как морского учителя, видели в нем только отчаянного «разносителя» и ругателя,

который в минуты профессионального гнева топчет ногами фуражку, прыгает на шканцах и орет, как бесноватый, и боялись его на службе, как мыши кота. Ашанину изображали адмирала в лицах, копируя при общем смехе, как он грозит гардемарина повесить или расстрелять, как через пять минут того же гардемарина называет любезным другом, заботливо угощая его папиросами; как учит за обедом есть рыбу вилкой, а не с ножа; как декламирует Пушкина и Лермонтова, как понимает чтениями у себя в каюте и рассказами о Нельсоне, Нахимове и Корнилове и как совершает совместные прогулки для осмотра портов, заставляя потом излагать все это на бумаге. Внезапные переходы его от полнейшего штиля, когда гардемаринны были «любезные друзья», к шторму, когда они становились «щенками», которых следует повесить на нока-реях, мастерски были переданы востроглазым, худеньким Касаткиным.

Слушая все эти торопливые рассказы, смотря на более или менее удачные воспроизведения Корнева, Ашанин понял, что на «Витязе» центральной фигурой так сказать геро-

ем — был беспокойный адмирал. На нем сосредоточивалось общее внимание; ему давали всевозможные клички — от «глазастого черта» до «прыгуна-антихриста» включительно, его бранили, за небольшим исключением, почти все, над ним изощряли остроумие, ему посвящались сатирические стихи.

— Слушай, Ашанин, какую я песенку про него написал... Небось, он ее знает... Слышал, дьявол! — похвастал Касаткин.

— И не расстрелял тебя? — засмеялся Ашанин.

— Нет... смеялся... Просил всю песню показать...

И маленький гардемарин с задорным вихорком и мышинными глазками, благоразумно затворив двери каюты, затянул фальцетом, а все подтянули хором:

Хуже ливня и тумана,
Мелей, рифов, скал,
Шквала, шторма, урагана
Грозный адмирал...

Второго куплета не успели начать. Ворвавшийся в каюту рассыльный прокричал: «Свистали всех наверх с дрейхвы сниматься!», и

все юные моряки, нахлобучивши на свои головы фуражки, как полоумные, бросились наверх и разбежались по своим местам.

Вышел наверх и Ашанин. Чувствуя себя пассажиром, он приютился в сторонке, к борту у шканцев, чтобы не мешать авралу, и поглядывал то на адмирала, стоявшего, расставив фертном ноги, на полуюте, то на свой «Коршун». И Ашанин, уже давно проникшийся особенной знакомой морякам любовью к своему судну, горячо желал, чтобы «Коршун» снялся с дрейфа скорее «Витязя».

На «Витязе» в свою очередь желали противного и, видимо, желали этого все, начиная с кругленького, пузатенького, похожего на бочонок капитана и долговязого старшего офицера и кончая вот этим белобрысым матросиком, который, весь напрягаясь, тянул вместе с другими снасть, поворачивавшую грота-рею.

Матросы так и рвались, чтобы отметить «Коршуну» за его недавнее первенство, вызвавшее адмиральский гнев. Капитан то и дело взглядывал на «Коршун» ни жив ни мертв. У старшего офицера на лице стояло такое напряженное выражение нетерпения и вместе с

тем страдания, что, казалось, он тут же на мостике растянется от отчаяния, если «Витязь» опоздает. И он командует громко, отрывисто и властно.

Володя взглянул на мачты «Витязя». Реи уже обрасоплены, марсели надулись, фок и грот посажены и уже взлетают брамсели... Он отвернулся и с замиранием сердца посмотрел на «Коршун», думая почему-то, что на «Коршуне» еще нет брамселей. Но вдруг лицо Володи светлеет, и сердце радостно бьется в груди: и на «Коршуне» уже стоят брамсели, и он, разрезая носом воду, плавно несется за «Витязем».

Оба корвета снялись с дрейфа одновременно.

Ашанин взглянул на адмирала. Тот, видимо, доволен, и глаза его, недавно страшные, выпученные глаза, не мечут молний, они смотрят весело и добродушно. И Володя слышит, как адмирал говорит капитану самым приветливым тоном:

— Славно мы снялись с дрейфа, Степан Степанович... Отлично... Прикажете выдать от меня команде по чарке водки...

Володя видит вслед за тем, как проясняются лица у капитана и у старшего офицера, как на всем корвете исчезает атмосфера тишины и страха, и все стали словно бы удовлетворенными и спокойными только потому, что «Витязь» не отстал от «Коршуна» и не осрамился.

«Какая странная эта морская жизнь! Как она объединяет людей и сколько разнообразных ощущений дает!» — подумал Ашанин.

Когда просвистали подвахтенных вниз, он спустился в гардемаринскую каюту вместе с Касаткиным, который весело говорил:

— Адмирал «заштилел». Ты, Ашанин, отлично позавтракаешь. Ешь вволю, он не скупой и любит угостить. Только смотри: белое вино наливай в зеленую рюмку, а красное — в маленький стакан, иначе... взъерепенится.

Когда в гардемаринской каюте узнали, что после завтрака Ашанин будет читать адмиралу свой отчет о пребывании в Кохинхине, все обрадовались. Значит, сегодня не будет чтения морской истории. Ура! Не надо идти после обеда к адмиралу.

— А у тебя длинный отчет, Ашанин? — спросил Касаткин.

— Порядочный...

— Значит, сразу не прочтешь... Хватит на несколько сеансов?

— Пожалуй...

— Так будь другом, тяни... Читай потише.

— Зачем?

— А затем, чтобы он нас подольше не звал. А то слушай, да потом еще объясняй ему... С ним нельзя не слушать. Сейчас поймает и начнет разносить.

III

Завтрак у адмирала был действительно вкусный и обильный. «Штилевший» адмирал был необыкновенно гостеприимным и приветливым хозяином и с каждым из гостей любезен. Когда после кофе его гости — капитан, флагманский штурман, флаг-офицер и стоявшие на вахте с 4 до 8 ч. утра вахтенный лейтенант и вахтенный гардемарин — ушли, адмирал приказал Ашанину принести рукопись.

Через несколько минут Ашанин уже сидел, по указанию адмирала, у круглого стола в углу большой, светлой, роскошно убранной адмиральской каюты с диванами по бортам и большим столом посредине. Эта каюта была

приемной и столовой. Рядом с нею были две каюты поменьше — кабинет и спальня с ванной.

— Удобно вам? — спросил адмирал, усаживаясь напротив чтеца на диване.

— Удобно, ваше превосходительство.

— Так начинайте.

Ашанин начал и, помня просьбу товарищей, читал нарочно медленно.

Адмирал слушал внимательно, но через пять минут нетерпеливо заерзал плечами и проговорил:

— А знаете ли, что я вам скажу, любезный друг...

— Что, ваше превосходительство?

— Да называйте меня попросту по имени и отчеству, а то вы все: ваше превосходительство... Слышите?

— Слушаю-с.

— Так вот что я вам скажу, Ашанин: ужасно вы медленно читаете... Нельзя так тянуть... Надо читать поскорей... Можете вы читать скорей?

— Могу.

И Ашанин невольно должен был прене-

бречь просьбой товарищей.

— Ну вот, теперь вы хорошо читаете... А то тянули-тянули... А еще собираетесь быть хорошим морским офицером... В морской службе нельзя копать... Продолжайте.

Адмирал больше не останавливался, и когда Ашанин окончил первую главу, в которой излагался исторический очерк сношений французов с Анамом, адмирал заметил:

— Преинтересно, я вам скажу... И хорошо изложено... И видно, что вы серьезно потрудились... Теперь отдохнем... Вечером вы мне прочтете вторую главу, а завтра третью... Их у вас три?..

— Три.

— Ну, а как вас принял адмирал Бонар?.. Надеюсь, хорошо?

— Очень, Иван Андреевич.

— И оказывал вам содействие?..

— Вполне. Даже в экспедицию против анамитов пригласил.

— Пригласил?.. Эдакий болван! И вы были в экспедиции?

— Был.

— Какая, однако, скотина этот Бонар! Ведь

вас могли подстрелить неизвестно за что... Он не должен был приглашать... И я вас не за тем посылал, чтобы вы рисковали своей жизнью из-за глупости этого осла... Ну, слава богу, вы целы... Больше я вас к дуракам не пошлю... Да не хотите ли чего-нибудь выпить? Вы целый час читали; горло, я думаю, пересохло. Чего хотите: лимонаду, аршаду, сельтерской воды...

— Все равно...

— Да ведь и мне все равно!.. — резко крикнул Корнев. — Надо, любезный друг, отвечать определенно.

— Я выпью лимонаду.

— Ну, вот, теперь я знаю, чего хотите, а то: «все равно!» — улыбнулся адмирал и, крикнув своего вестового, приказал принести две бутылки.

Вскоре адмирал отпустил Ашанина и почти тоном приказания сказал:

— Вы завтракаете и обедаете у меня каждый день!

Вечером Ашанин прочел только полглавы. Адмирал объяснил, что он хочет спать и слушать хорошо не может. Зато на следующий

день он внимательно и с видимым интересом прослушал окончание.

И когда Ашанин сложил объемистую тетрадь, адмирал с живостью проговорил:

— Очень благодарю вас за доставленное удовольствие, Ашанин. Интересно и написано хорошо. Много фактических сведений. Вы оставьте рукопись у меня, я пошлю ее в «Морской Сборник». Она должна быть напечатана... да-с.

Адмирал примолк на секунду и, взглядывая на вспыхнувшего от удовольствия автора, совершенно неожиданно для него прибавил:

— Ну, а эти глупости ваши насчет безнравственности войн и все ваши рассуждения по этому поводу редакция вычеркнет... А если и напечатает, не беда. Лишней печатной глупостью будет больше, а войны все-таки будут. И я уверен, что случись война, вы будете храбрым офицером, хоть и пишете о войне вздор... А Бонар дурак, что не умел справиться с анамитами и посылал вас в эту дурацкую экспедицию... А статья ваша все-таки очень интересная... Очень рад, что у меня на эскадре такой способный молодой человек! — заключил

адмирал.

И вслед за тем — что было еще неожиданнее для Ашанина — адмирал привлек его к себе и, поцеловав, проговорил необыкновенно ласково:

— Учитесь и работайте. Из вас сможет выйти дельный морской офицер, хоть вы и высказываете глупости о войне. И нельзя в ваши годы не говорить таких глупостей: в них сказывается юная, честная душа... Можете идти!

Хотя адмирал во все время пребывания на «Витязе» Ашанина и выказывал ему явное благоволение, и хотя адмиральские завтраки и обеды были очень вкусны, тем не менее наш юный моряк был несказанно рад, когда адмирал разрешил ему вернуться на «Коршун». Перед этим была неприятная история: адмирал предлагал Ашанину остаться при нем флаг-гардемарином.

— Хотите? — любезно спрашивал адмирал, призвав к себе Ашанина в каюту часа за два до прихода в Нагасаки.

— Нет, ваше превосходительство! — ответил Ашанин.

Адмирал, почти не сомневавшийся в согласии на такое лестное предложение, в первое мгновение был изумлен и, казалось, не находил слов. Но вдруг круглые глаза его блеснули металлическим блеском, скулы мясистого лица заходили, плечи заерзали и, весь закипая гневом, он крикнул:

— Почему же вы отказываетесь, хотел бы я знать? И как вы смеее отказываться, а? Адмирал оказывает ему честь, а он даже не поблагодарил. Он, видите ли, не желает...

— Но, ваше превосходительство...

— Прошу замолчать-с! Вы дерзкий мальчишка! Как вы смеее не желать, если я этого желаю!

Несмотря на серьезность положения, Ашанин едва удержался от улыбки при этих словах.

— Что же вы молчите?.. Отвечайте!

— Ваше превосходительство сами спрашивали моего желания...

— На службе не может быть желаний: куда назначат, там и должны быть... А то разбирай еще желания...

Ашанин благоразумно молчал, понимая,

что говорить в эти минуты что-нибудь адмиралу было бы бесполезно. И он тоскливо думал, что теперь уж все кончено: он не останется на «Коршуне» и не вернется в Россию вместе с Василием Федоровичем. Примолк и адмирал и смотрел в упор на серьезное и печальное лицо молодого человека. И гнев его, казалось, начинал проходить, в глазах уже не было молний.

Так прошла долгая для Ашанина минута. Наконец, адмирал заговорил ворчливым, но уже не прежним гневным тоном:

— А если я вас назначу, не обращая внимания на ваши желания?

— Слушаю, ваше превосходительство! — покорно отвечал Ашанин.

— Но вам ко мне не хочется? Почему же не хочется? Напугали вас, что ли, гардемарины беспокойным адмиралом? — спрашивал адмирал, и при этом мягкая улыбка скользнула по его лицу.

— Я люблю «Коршун»... Я почитаю и люблю Василия Федоровича... Я на корвете исправляю обязанности вахтенного начальника! По всем этим причинам мне было бы тя-

жело расстаться с «Коршуном», — горячо и взволнованно произнес Ашанин.

И — странное дело! — адмирал совсем смягчился. Тронула ли его эта привязанность к судну и к капитану, тронуло ли его это желание юного моряка командовать вахтой вместо того, чтобы быть штабным, — желание, внезапно напомнившее адмиралу его молодость и радость первых вахт, — понравилась ли, наконец, ему откровенная смелость отказа от предложения, вызванная его же вопросом о желании, но дело только в том, что адмирал проговорил уже совсем мягко:

— Я и не знал, что вы так любите свое судно и своего командира... Это делает честь и вам, Ашанин, и Василию Федоровичу, который умеет так привязывать к себе... Не хочу вас отнимать от такого капитана и лишать вас вахты... Оставайтесь на «Коршуне»!

— Благодарю вас, Иван Андреевич! — радостно проговорил Ашанин.

— А я вас не благодарю за то, что вы не хотите служить при мне! полушутя сказал адмирал. — Не благодарю! Но вижу, что вы... славный, я вам скажу, молодой человек... И я

буду жаловаться на вас Василию Федоровичу: он лишил меня хорошего флаг-гардемарина!

Недели через две в Нагасаки собралась вся эскадра Тихого океана, и вслед за тем все гардемарины выпуска Ашанина держали практический экзамен на мичманов перед комиссией, членами которой были все капитаны, старшие штурмана и механики под председательством адмирала. Экзамен продолжался неделю на «Витязе», который для этой цели вышел в море в свежую погоду.

После экзамена представление о производстве в мичмана гардемаринов было послано в Петербург, и адмирал заботливо просил, чтобы о производстве было сообщено ему по телеграфу, и в то же время телеграфировал своему знакомому выслать двадцать пар мичманских эполет, чтобы поздравить ими молодых мичманов, как только будет получена телеграмма об их производстве. Об этом он, конечно, никому не сказал и заранее радовался при мысли об удовольствии, которое он доставит молодым людям, которым так от него доставалось.

Глава девятая

Возвращение на родину

I

Прошло еще семь месяцев.

За это время «Коршун» провел месяц на стоянке в Хакодате, крейсировал в Беринговом проливе и побывал еще раз в С.-Франциско, где Ашанин на одном балу встретился с бывшей мисс Клэр Макдональд, недавно вышедшей замуж за богатейшего банкира Боунта, и, надо правду сказать, не обнаруживал особенного волнения. И молодая миссис, по видимому, довольно холодно отнеслась к Ашанину, несколько возмужавшему, с недавно пробившимися усиками и пушком на щеках, намекающим на бакенбарды, в только что обновленном шитом мичманском мундире и в эполетах, подаренных адмиралом. Они говорили несколько минут и разошлись, чтобы больше не встретиться, оба основательно позабывшие о прошлогодних клятвах в вечной привязанности.

Побывал «Коршун» и на чудном острове Таити с его милыми чернокожими обитателями и роскошной природой, заходил на два дня в Новую Каледонию, посетил красивый,

богатый и изящный Мельбурн, еще не особенно давно бывший, как и весь австралийский берег, местом ссылки, поднимался по Янтсе Киангу до Ханькоу, известной чайной фактории, и теперь шел в Гонконг, где должен был получить дальнейшие инструкции от адмирала.

Эти месяцы казались обитателям «Коршуна» куда длиннее прежних месяцев первых двух лет плавания. Тогда они пролетали незаметно под быстрой сменой новых, необычных впечатлений, а теперь тянулись долго-долго и с томительным, казалось, однообразием.

И офицеров, и еще более матросов тянуло домой, туда, на далекий Север, где и холодно и неприветно, уныло и непривольно, где нет ни ослепительно жгучего южного солнца, ни высокого бирюзового неба, ни волшебной тропической растительности, ни диковинных плодов, но где все — и хмурая природа, и люди, и даже чернота покосившихся изб, с их убожеством — кровное, близкое, неразрывно связывающее с раннего детства с родиной, языком, привычками, воспитанием, и где,

кроме того, живут и особенно милые и любимые люди.

Всем, признаться, начинало надоедать и это скитание по океанам с их шквалами и бурями, и это шатание по разным чужеземным портам. Впечатления от много виденного притуплялись: пальмы привиделись, роскошь природы пресытила, и все те же развлечения в портах прискучили. Вместе с тем становилось чувствительнее и однообразие судовой жизни с ее неизменным, обычным ритуалом. Привыкли нервы и к сильным ощущениям бурь и непогод. Стало меньше разнообразия и в душевных волнениях морского служебного самолюбия: оно уж не тешило, как прежде. Пригляделись все одни и те же лица в кают-компании, и неинтересными казались повторяющиеся рассказы и анекдоты. Все становилось нетерпеливее и раздражительнее, готовые из-за пустяка поссориться, и каждый из офицеров чаще, чем прежде, искал уединения в душной каюте, чтобы, лежа в койке и посматривая на иллюминатор, омываемый седой волной, отдаваться невольно тоскливым думам и воспоминаниям о том, как хоро-

шо теперь в теплой уютной комнате среди родных и друзей.

Особенно скучал Невзоров. Мрачный и грустный, он целыми днями молчал или писал длинейшие письма жене или перечитывал ее письма. Словно школьник, он отмечал дни, остающиеся до предположенного им возвращения в Кронштадт. Грустно мурлыкал себе под нос какие-то песенки и старший механик Игнатий Николаевич, особенно скучавший на переходах под парусами, когда ему нечего было делать, и он просиживал в кают-компании, не зная, как избыть время. Тосковал и артиллерист Захар Петрович и от скуки, вероятно, допекал артиллерийского унтер-офицера, хотя уж опасался бить его по лицу и только в бессильном гневе сжимал свои волосатые кулаки и сыпал ругательствами, остальное время он или ел, или спал, или играл в шашки с Первушиным. Невесел был и Андрей Николаевич, хотя, вечно занятый чистотой и порядком, он менее других испытывал скуку. Не особенно веселы были и другие, и даже жизнерадостный и всегда веселый Лопатин и тот подчас бывал серьезен и молча-

лив и шутя просил доктора Федора Васильевича дать ему пилюль от скуки.

Несмотря на недавнее производство в мичмана и назначение начальником пятой вахты, случалось, тосковал и Ашанин, и нередко среди чтения, которым он коротал дни плавания, мысленным его взорам представлялась маленькая квартира в Офицерской со всеми ее обитателями... И он подолгу отдавался этим воспоминаниям, откладывая в сторону книгу, и грезил о счастье свидания. Один капитан, казалось, был все тот же покойный, серьезный и приветливый, каким его привыкли все видеть наверху. Но однажды, когда Ашанин вошел в капитанскую каюту, чтобы возвратить книгу и взять другую из библиотеки капитана, он застал Василия Федоровича с таким грустным, страдальческим выражением лица, что подумал, не болен ли капитан. И он хотел было уйти, чтобы не беспокоить капитана, но Василий Федорович проговорил:

— Идите, идите, Владимир Николаевич... Берите, что вам нужно.

— Но я боюсь беспокоить вас.

— Нисколько...

— Мне показалось, что вы больны, Василий Федорович...

— Я здоров. Просто захандрилось после неприятного письма о болезни матушки... ну, я немного и раскис! — с невеселой улыбкой сказал капитан. Вдали мало ли какие мучительные мысли приходят в голову... Вероятно, и вы, Владимир Николаевич, подчас так же тревожитесь за своих близких. Что, все ваши здоровы?

— Очень тревожусь, Василий Федорович... По последнему письму все дома благополучно, но ведь письмо шло три месяца...

— И порой скучаете, конечно?

— Еще как, Василий Федорович! — добродушно признался Володя.

— Еще бы! Вы думаете, и я не скучаю? — усмехнулся капитан. — Ведь это только в глупых книжках моряков изображают какими-то «морскими волками», для которых будто бы ничего не существует в мире, кроме корабля и моря. Это клевета на моряков. И они, как и все люди, любят землю со всеми ее интересами, любят близких и друзей — словом,

интересуются не одним только своим делом, но и всем, что должно занимать сколько-нибудь образованного и развитого человека... Не правда ли?

— Совершенно справедливо, Василий Федорович. Вы не раз это говорили.

— Потому-то очень долгое плавание и утомляет... Ну, да уж нам недолго ждать. Верно, скоро нас пошлют в Россию, а пока потерпим, Владимир Николаевич! В Гонконге решится наша участь.

Через три дня «Коршун» утром был в Гонконге.

Спустя час после того как отдали якорь, из консульства была привезена почта. Всем были письма, и, судя по повеселевшим лицам получателей, письма не заключали в себе неприятных известий... Но все, отрываясь от чтения, тревожно поглядывали на двери капитанской каюты: есть ли инструкции от адмирала и какие?

Еще все сидели в кают-компании за чтением весточек с родины, и пачки газет еще не были тронуты, как вошёл капитан с веселым, сияющим лицом и проговорил:

— Тороплюсь поздравить вас, господа... Мы возвращаемся в Россию!

Взрыв радостных восклицаний огласил кают-компанию. Все мигом оживились, просветлели, и едва сдерживали волнение. Пожимали друг другу руки, поздравляя с радостной вестью. У Захара Петровича смешно вздрагивали губы, и он имел совсем ошалелый от радости вид. Ашанин почувствовал, как сильно забилося сердце, и ему представлялось, что он на днях увидит своих. А Невзоров, казалось, не верил известию, так жадно он ждал его, и, внезапно побледневший, с сверкавшими на глазах слезами, весь потрясенный, он повторял:

— Неужели?.. Мы возвращаемся?.. Неужели?..

— И в сентябре, если даст бог все будет благополучно, будем в Кронштадте. Да вы что же, голубчик? Не волнуйтесь... Выпейте-ка воды! участливо говорил Степан Ильич, подходя к Невзорову.

Но Невзоров уже оправился и улыбался счастливой, радостной улыбкой.

— Какая теперь вода? Выпьем, господа,

лучше шампанского по случаю такого известия. Василий Федорович! милости просим, присядьте... Эй, вестовые, шампанского! — крикнул Андрей Николаевич.

— Вот это ловко! — воскликнул Лопатин и так заразительно весело засмеялся, что все невольно улыбались, хотя, казалось, в словах Лопатина и не было ничего смешного.

Неразговорчивый в последнее время лейтенант Поленов стал оживленно рассказывать о том, как он возвращался из кругосветного плавания пять лет тому назад и как они торопились, чтобы попасть в Кронштадт до заморозков.

— А мы разве не придем? — испуганно спрашивал Невзоров.

— Придем! придем! — кричали со всех сторон.

Подали шампанское, и Андрей Николаевич провозгласил тост за благополучное возвращение и за здоровье глубокоуважаемого Василия Федоровича. Все чокались с капитаном. Подошел Ашанин и промолвил:

— За ваше здоровье, Василий Федорович... и за здоровье вашей матушки! прибавил он

тихо.

— Спасибо... Она поправилась... Я получил письмо... А вы получили?

— Получил... И мои все здоровы, а сестра выходит замуж.

Наполнили опять бокалы, и капитан предложил тост за старшего офицера и всю кают-компанию. Не забыли послать шампанского и Первушину, стоявшему на вахте.

— Ну, а теперь надо объявить команде о возвращении на родину. Андрей Николаевич, прикажите вызвать всех наверх.

Матросы приняли это известие с восторгом. Всем им давно уже хотелось вернуться на родину: море с его опасностями не особенно по душе сухопутному русскому человеку.

Решено было простоять в Гонконге пять дней, чтобы пополнить запасы и вытянуть такелаж. Ашанин почти каждый день съезжал на берег и возвращался с разными ящиками и ящичками, наполненными «китайщиной», которой он пополнял коллекцию подарков, собранных во всех странах и аккуратно уложенных заботливым Ворсунькой.

— Что, Ворсуня, рад? — весело спрашивал

своего вестового чуть не каждое утро Ашанин.

— А то как же, ваше благородие... И вы рады, и мы рады.

А Бастрюков, как-то встретившись с Ашаниным, проговорил:

— Вот и дождались, ваше благородие, своего времени. Добром плавали, добром и вернемся в Россею-матушку. И век будем помнить нашего командира... Ни разу не обескураживал он матроса... Другого такого и не сыскать. Не видал я такого, ваше благородие, а живу, слава богу, немало на свете.

— А ты, Бастрюков, как вернешься, так в отставку выйдешь?..

— Должно выйти, ваше благородие. Довольно прослужил престол-отечеству. Пора и честь знать. Не все же казенным пайком кормиться! — проговорил со своею доброй, ясной улыбкой Бастрюков.

— А что ж ты будешь делать после отставки?

— Как что делать буду? В свою деревню пойду! — радостно говорил Бастрюков. — Даром что долго околачиваюсь на службе, а к

своему месту коренному тянет, ровно кулика к своему болоту. У земли-матушки кормиться буду. Самое это душевное дело на земле трудиться. Небось, полоской разживусь, а угол племяши дадут... И стану я, ваше благородие, хлебушко сеять и пчелкой, бог даст, займусь... Хорошо! — прибавил Бастрюков, и все его лицо сияло при мысли об этом.

В эти дни Ашанин говорил со многими старыми матросами, ожидавшими после возвращения в Россию отставки или бессрочного отпуска, и ни один из них, даже самых лихих матросов, отличавшихся и знанием дела, и отвагой, и бесстрашием, не думал снова поступить по «морской части». Очень немногие, подобно Бастрюкову, собирались в деревню — прежняя долгая служба уничтожала земледельца, — но все в своих предположениях о будущем мечтали о сухопутных местах.

Все на корвете торопились, чтобы быть готовыми к уходу к назначенному сроку. Работы по тяге такелажа шли быстро, и оба боцмана и старший офицер Андрей Николаевич с раннего утра до позднего вечера не оставляли палубы. Ревизор Первушин все время пропа-

дал на берегу, закупаая провизию и уголь и по-торопливая их доставкой. Наконец к концу пятого дня все было готово, и вечером же «Коршун» вышел из Гонконга, направляясь на далекий Север.

Ашанин долго стоял наверху, поглядывая на огоньки красавца-города, и когда они скрылись из глаз, весело прошептал:

— Прощай, далекие края!

II

Торопясь домой, «Коршун» заходил в попутные порты только лишь по крайней необходимости, — чтобы запастись углем и кстати свежей провизией, и нигде не застаивался. Капитан просил ревизора справляться как можно скорей, и ревизор в свою очередь торопил консулов.

В Сингапуре корвет простоял всего лишь сутки. Грузили уголь и днем и ночью, к общему удовольствию всех обитателей корвета. Невзоров даже говорил комплименты Первшину, расхваливая его распорядительность и быстроту, рассчитывая этими комплиментами подзадорить самолюбие и без того невозможно самолюбивого ревизора. Но эти ма-

ленькие хитрости Невзорова, считавшего чуть ли не каждую лишнюю минуту простоя за преступление, были напрасны — Первушин и без них старался изо всех сил: его ждала в Петербурге невеста. Об этом он, впрочем, ни разу никому не обмолвился, вероятно потому, что годы и наружность его невесты могли возбудить сомнения относительно искренности и силы его привязанности. Она была старше жениха лет на десять и дурна, как «сапог», как не деликатно выразился Лопатин об этой неуклюжей даме, приехавшей на «Коршун» в день ухода его из Кронштадта и которую Первушин выдавал за свою кузину, но зато у этой невесты, вдовы-купчихи, был огромный дом на Невском, как узнали все после, когда Первушин на ней женился.

Переход Индийским океаном был бурный и сопровождался частыми штормами, во время которых «Коршуну» приходилось штормовать, держась в бейдевинд, и следовательно плохо подвигаться вперед и терять много времени. Кроме того, недалеко от мыса Доброй Надежды «Коршун» встретил противные ветры и нет сколько дней шел под парами, тратя

уголь. Это обстоятельство заставило капитана зайти в Каптоун, чтобы пополнить запас угля.

Благодаря штормам «Коршун» сделал переход недели на две дольше, чем предполагали, и эта неудача, весьма обычная в морской жизни, теперь очень сокрушала наших моряков, и в особенности женатых. Невзоров и Игнатий Николаевич изоцрялись в комплиментах Первушину в Каптоуне, не отставал от них и артиллерист. Но вместе с тем у них закрадывалось и малодушное сомнение насчет того, успеет ли прийти «Коршун» в Кронштадт до заморозков. Ведь это было бы ужасно! Они не решались говорить об этом громко, однако нет-нет да и закидывали более или менее дипломатические вопросы старшему штурману, чтобы выведать его мнение в категорической форме.

Но Степан Ильич не даром много плавал на своем долгом веку и видывал всякие виды. Он понимал, что в море нельзя делать точные расчеты и, как несколько суеверный человек, никогда не говорил категорически о своих расчетах и предположениях, а всегда с оговорками, вроде «если ничего не случится»

или «если все будет благополучно», зная хорошо, какими неожиданными случайностями и неожиданностями полна морская жизнь. Вот почему на все вопросы, задаваемые ему в кают-компании нетерпеливыми товарищами, он отвечал, по обыкновению, уклончиво и этой уклончивостью не только не облегчал сомнений, но еще более их увеличивал в смятенных душах, так что Игнатий Николаевич однажды не выдержал и сказал:

— Да вы, Степан Ильич, лучше прямо скажите, что мы осенью не попадем в Кронштадт.

— Типун вам на язык, Игнатий Николаевич! — с сердцем проговорил старший штурман. — И видно, что вы механик и ничего в морском деле не понимаете. Кто вам сказал, что не попадем? Почему не попадем-с? — прибавил Степан Ильич «с» в знак своего неудовольствия.

— Да сами же вы как-то неопределенно говорите, Степан Ильич, насчет времени возвращения.

— А вы думаете, что можно говорить точно?

— Но все-таки...

— Это пусть говорят дураки-с, которые предвидят волю господа бога, а я предвидеть не могу-с. Помните, как за сто миль от Батавии, когда уж вы собирались на берегу разные фрикасе, с позволения сказать, кушать, нас прихватил ураган, и мы целую неделю солонину и консервы кушали-с?.. Помните?

— Ну, положим, помню...

— А не забыли, как мы штормовали в Индийском океане и ни туда, ни сюда — почти на одном месте толклись? А вы все это время, задравши ноги, в койке отлеживались?

— Что ж мне было делать?.. Мое дело машина, а когда она стоит, я лежу! — сострил добродушно механик.

— Я не к тому. Лежите, сколько угодно-с, на то вы и механик. А я спрашиваю, не забыли ли вы, какая гнусность была в Индийском?

— Еще бы забыть!

— То-то и есть! Так как же вы хотите, чтобы я вам ответил, как, с позволения сказать, какой-нибудь оболтус, для вашего утешения: придем, мол, в Кронштадт в такой-то день, в таком-то часу-с?.. Еще если бы у вас сильная

машина была да вы могли бы брать запас угля на большие переходы, ну тогда еще можно было бы примерно рассчитать-с, а ведь мы не под парами главным образом ходим, а под парусами-с.

— Но все-таки, Степан Ильич, как вы надеетесь... в сентябре придем в Кронштадт? — все-таки приставал механик.

— Отчего не прийти. Может быть, и придем, если бог даст...

— Ну, вы все свое, Степан Ильич!

— И вы все свое... Каждый, батюшка, свое. А по-чужому я не умею-с. Уж вы не сердитесь.

— Да чего вы хнычете, Игнатий Николаевич. Придем, наверное придем в сентябре! — воскликнул Лопатин. — Степан Ильич ведь всегда Фому неверного строит... Сглазу боится.

— Вот вы и верьте Василию Васильевичу! Он у нас ничего не боится! промолвил штурман и во избежание дальнейших вопросов ушел из кают-компания.

Из Каптоуна решено было идти никуда не заходя, прямо в Шербург. И это решение сделать длинный переход встречено было с жи-

вейшей радостью: нужды нет, что придется под конец перехода есть солонину и консервы и порядочно-таки поскучать, только бы скорее попасть на родину.

«Коршун» вышел с мыса Доброй Надежды, имея на палубе пять быков и много разной птицы, так что все надеялись, что на большую часть перехода будет чем питаться и даже очень хорошо. Но в первую же бурю, прихватившую «Коршун» во ста милях от мыса, быки и большая часть птицы, не выдержавшие адской качки, издохли, и весь длинный переход обитателям «Коршуна» пришлось довольствоваться консервами и солониной.

Наконец, через пятьдесят дней плавания «Коршун» в первых числах сентября пришел в Шербург. И все было забыто: и опротивевшие консервы, и солонина, которыми поневоле угощалась кают-компания, и томительная скука, усилившаяся однообразием долгого перехода, во время которого моряки только и видели, что небо да океан, океан да небо — то ласковые, то гневные, то светлые, то мрачные, да временами белеющиеся паруса и дымки встречных и попутных судов. Забыты

были и маленькие недоразумения и ссоры, обострившиеся от отсутствия впечатлений, и постоянная океанская качка, и отсутствие новых книг, газет и писем...

Теперь все знали, что были почти дома, и даже Игнатий Николаевич не сомневался, что «Коршун» скоро придет в Кронштадт. Но только скорей бы, скорей...

Однако пришлось простоять в Шербурге несколько дней, чтобы дать отдохнуть команде после долгого перехода, осмотреться и покраситься. Нельзя же вернуться домой не в том блестящем виде, каким всегда щеголял «Коршун».

И офицеры и матросы вознаградили себя теперь за долгое воздержание. Каждый день у матросов были за обедом превосходные щи со свежей говядиной, а в кают-компании такое обилие и разнообразие, что один восторг.

Из Шербурга предполагалось зайти в Копенгаген за углем и уж оттуда прямо в Кронштадт.

Наконец, нетерпеливые моряки дождались и Копенгагена... Еще сутки стоянки — и десятого сентября «Коршун» пошел уж теперь

прямо домой.

III

Чем ближе приближался корвет к Кронштадту, тем сильнее росло нетерпение моряков. Несмотря на то, что Игнатий Николаевич, любовно хлопотавший в своей «машинке», как он нежно называл машину «Коршуна», пустил ее «вовсю», и корвет, имея еще триселя, шел узлов до десяти, всем казалось, что «Коршун» ползет как черепаха и никогда не дойдет. И каждый считал своим долгом покорить Игнатия Николаевича за то, что ход мал.

— Взлететь на воздух, что ли, хотите? — посмеивался Игнатий Николаевич, показываясь минут на пять в кают-компании в своей засаленной, когда-то белой рабочей куртке, и снова исчезал в машину.

Но вот, наконец, и Финский залив. Все выскочили наверх.

Шел мелкий, назойливый дождь, пронизывало холодом и сыростью, мутное небо тяжело повисло над горизонтом. Но, несмотря на то что родина встречала возвращавшихся моряков так неприветливо, они радостными

глазами глядели и на эти серо-свинцовые воды Финского залива и на мутное небо, не замечая ни холода, ни сырости.

— Рассея-матушка, братцы! — радостно говорили матросы.

Прошли еще одни сутки, бесконечно длинные сутки, когда нетерпение достигло, казалось, последнего предела. Многие не сходили с палубы, ожидая Толбухина маяка. Вот и он, наконец, показался в десятом часу утра, озаренный лучами бледного солнца. Дождь перестал... Был один из недурных осенних дней.

Еще полчаса, и раздался радостный звучный голос Лопатина:

— Свистать всех наверх на якорь становиться!

И такой же радостный окрик боцмана повторил эту команду.

Но все до единого человека и без того были наверху и жадными глазами смотрели на видневшийся за фортами Кронштадт. Матросы снимали шапки и крестились на макушки церквей.

— Первая пли... вторая пли... третья пли! — дрожащим от волнения голосом ко-

мандовал Захар Петрович, не спавший ночи от нетерпения поскорее обнять своего сынишку.

Выстрелы салюта крепости гулко разнеслись по кронштадтскому, уже опустевшему рейду. В амбразурах одного из фортов пыхнули дымки ответных выстрелов входившему военному судну.

— Из бухты вон, отдай якорь! — раздалась команда старшего офицера.

Звякнула цепь, грохнул якорь, — и «Коршун» стоял неподвижно на Малом рейде. Счастливые и радостные моряки поздравляли друг друга.

Ашанин побежал вниз собираться на берег, чтобы с двенадцатичасовым пароходом ехать в Петербург до завтрашнего дня. Ворсунька торопливо укладывал чемодан и собирал ящички и ящички с подарками, как вдруг влетел рассыльный и доложил:

— Ваше благородие, пожалуйста наверх...

— Кто зовет? Зачем?

Но рассыльный уже исчез, и Ашанин, недовольный, что ему помешали, выбегает на шканцы, и вдруг радостное волнение неописуемо.

суемого счастья охватывает все его существо: перед ним на шканцах мать, брат, сестра и дядя-адмирал.

— Володя! — раздается в его ушах какой-то радостный крик.

И он бросается к матери. Та прижимает его к себе, целует и плачет, плачет и целует и, по-видимому, не желает его отпустить. Наконец, она его отпускает, но жадно глядит на него, пока он целуется с сестрой, братом и дядей-адмиралом.

— А ведь ты совсем возмужал, Володя... Уж усы... и бачки... Ну, чего вы раскисли, Мария Петровна?.. Вот он и вернулся... посмотрите, каким молодцом! — говорит адмирал, стараясь скрыть свое волнение, но его старческий голос вздрагивает, и на ресницах блестят слезы.

— А вот мой муж, Володя! — говорит Маруся, подводя к Володе красивого молодого человека в штатском.

Володя горячо его целует и уводит всех к себе в каюту.

После завтрака на корвете Володя со своими отправился в Петербург. Ему казалось, что

счастливее его нет человека на свете.

Примечания

Траншей-майор — наблюдающий за траншеями и за «секретами», скрытыми от лица неприятеля. (Примеч. автора.)

[^^^]

2

В те времена по окончании курса выпускали не прямо в мичманы, а на два года в гардемарины. Жалованье было то же, что мичману.

[^^^]

3

Бак — передняя часть судна.

[^^^]

4

Принайтoвить — привязать.

[^^^]

5

Иллюминатор — небольшое окно в каюте из очень толстого стекла.

[^^^]

6

Два орла означают второй адмиральский чин — чин вице-адмирала.

[^^^]

Моряки старого времени называли кругосветное путешествие дальним вояжем.

[^^^]

Ошвартоваться — привязаться к берегу или другому судну швартовыми толстыми веревками.

[^^^]

9

Реи — большие поперечные деревья, к которым привязываются паруса.

[^^^]

10

Сплеснивать — соединять веревки, пропуская пряди одной в пряди другой.

[^^^]

Тали состоят из неподвижного и подвижного двухшкивных блоков, через которые пропущен трос (веревка). Тали служат для подъема тяжестей и натягивания снастей.

[^^^]

12

Марс — площадка, с которой матросы идут по реям и поднимаются выше на брам-реи по вантам.

[^^^]

Ванты — веревочная лестница, идущая от бортов к марсам и от марсов выше, до верхушки мачты.

[^^^]

Бухта — длинный конец веревки, сложенной в несколько рядов.

[^^^]

Беседка — маленькая скамеечка вроде тех, на которых красят стены городских домов.

[^^^]

16

Матросы всегда коверкают это слово и вместо корвет говорят «конверт».

[^^^]

Дальняя — кругосветное и вообще далекое плавание.

[^^^]

Вахтенный офицер — дежурный, отвечающий за все во время своей вахты. Он называется еще вахтенным начальником. Вахтенные офицеры чередуются между собой и стоят на вахте в море по четыре часа; их бывает 4 и 5.

[^^^]

Мостик — возвышенная площадка, помещающаяся впереди бизань-мачты, откуда удобно наблюдать за всем. Это обыкновенное место во время вахты вахтенного офицера. На мостике стоит главный компас, или пелькомпас.

[^^^]

Лейтенант — второй офицерский чин у моряков.

[^^^]

Переборка — деревянная стена каюты.

[^^^]

Кубрик — матросское помещение в палубе, передней части судна.

[^^^]

Подшкипер — унтер-офицер, заведующий каютой, где хранятся запасные паруса, веревки и проч. Подшкипер ведаёт материальной частью корабля за исключением машинного и специального имущества. — *Ред.*

[^^^]

Боцман — старший унтер-офицер.

[^^^]

Ют — задняя часть судна.

[^^^]

Линек — небольшая, дюйма в три толщиной, веревка, которой в прежнее время били матросов по оголенным спинам. В царствование императора Александра II телесные наказания были отменены, и теперь им подвергаются только штрафованные по суду матросы.

[^^^]

Гюйс — носовой флаг [на военных кораблях поднимается во время стоянки на якоре. — *Ред.*]

[^^^]

Шканцы — часть палубы между грот мачтой и ютом.

[^^^]

Сигнальщик — матрос, поднимающий сигнальные флаги. На вахтах он находится вблизи вахтенного, наблюдает в подзорную трубу за горизонтом, бросает лаг — инструмент, измеряющий скорость хода корабля, и исполняет обязанности рассыльного при вахтенном офицере.

[^^^]

Стоя (франц.).

[^^^]

Шпиль — вертикальный ворот, которым поднимают якорь.

[^^^]

До востребования (франц.).

[^^^]

«Вольным» матросы называют каждого штатского, постороннего.

[^^^]

Положение якорной цепи, перпендикулярное к воде при выхаживании якоря, когда последний еще не встал, т. е. не отделился от грунта.

[^^^]

Веревка, которая привязывается к лагу — инструменту, имеющему вид сектора и служащему для измерения промытого расстояния, называется лаг-линем. Он развязывается обыкновенно так: от вершины сектора оставляют на линии расстояние, равное длине судна, и кладут в этом месте марку. От этой марки измеряют линь на части в 48 фут, т. е. немного меньшие $1/120$ итальянской мили. Через каждые 48 фут вплесниваются кончики веревок с узелками: одним, двумя, тремя и т. д., почему и самые расстояния называются узлами. Сколько узлов высучит лаг-линия в течение 30 секунд, столько, значит, итальянских миль (миля — $1\frac{3}{4}$ версты) судно проходит в час. Объясняется это тем, что 30 секунд составляют $1/120$ часа, узел тоже почти $1/120$ часть мили. Принято считать узел в 48 фут, а не в 50,7, как бы следовало (потому что $1/120$ мили равняется 50,7 ф.), для того, чтобы судно из предосторожности считало себя всегда впереди настоящего места. Лаг-линь наматывается на вьюшку.

[^^^]

Кливера — косые треугольные паруса, ставящиеся впереди фок-мачты, на носу судна.

[^^^]

Обучение матросов грамоте было хорошей традицией на лучших кораблях дальнего плавания. В частности, из документов известно, что на корвете «Калевала», на котором плавал Станюкович, каждому неграмотному матросу была выдана азбука. — *Ред.*

[^^^]

Кадка с водой стоит для курильщиков нижних чинов. Курить можно только у кадки.

[^^^]

Заведующий провизией и раздачей водки.

[^^^]

Заведующий каютой, в которой хранятся различные запасы судового снабжения.

[^^^]

Заведующий крьюит-камерой (пороховым погребом), оружием и снарядами.

[^^^]

Слабый ветер, позволяющий нести брамсе-
ля — третьи снизу прямые паруса. — *Ред.*

[^^^]

Ноковые матросы, работающие на самых концах рей.

[^^^]

Шкоты — веревки, прикрепленные к углу парусов и растягивающие их. Эти веревки принимают название того паруса, к которому прикреплены, например, брам-шкот, марса-шкот, бизань-шкот и т. д.

[^^^]

Фок — самый нижний парус на фок-мачте, привязывается к фока-рее.

[^^^]

Грот — такой же на грот-мачте.

[^^^]

С возрастающей силой (итал.).

[^^^]

Виндзейль — длинная парусиновая труба с металлическими или деревянными обручами. Ставится в жилые помещения или в трюм вместо вентилятора.

[^^^]

Так называются непромокаемые шляпы моряков.

[^^^]

Обрасопить — повернуть реи так, чтобы паруса стояли наивыгоднейшим образом относительно ветра.

[^^^]

Матрос, который ходит на нок (оконечность реи) и вяжет угол паруса (штык-болт).

[^^^]

Устаревшее название Северного моря. — *Ред.*

[^^^]

Бимсы — поперечные деревянные балки между бортами корабля. На бимсы настилаются палубы.

[^^^]

Леер — туго вытянутая веревка, у которой оба конца закреплены. Использование лееров весьма разнообразно, между прочим, их протягивают вдоль палубы во время сильной качки.

[^^^]

Брюк — канат, охватывающий орудие.

[^^^]

Триселя — небольшие нижние паруса у грот- и фок-мачт.

[^^^]

Бизань — нижний парус у бизань-мачты.

[^^^]

Шпигаты — отверстия в бортах корабля для стока воды и для снастей.

[^^^]

Боканцы, или шлюп-балки — слегка изогнутые железные брусья, на которых висят гребные суда.

[^^^]

Когда с носа на судно вкатывается гребень волны.

[^^^]

Повернуть на другой галс — значит сделать поворот, то есть относительно ветра поставить судно в такое положение, чтобы ветер дул в его правую сторону, когда до поворота он дул в левую, и обратно.

[^^^]

Баркас — самое большое гребное судно. Бывает и паровое.

[^^^]

Да здравствует Россия! (франц.).

[^^^]

Абсент.

[^^^]

Так называются корабли, перевозящие хлопок.

[^^^]

На всех судах ночью должны быть «огни», то есть зажженные фонари. Таких «огней» на паровых судах во время хода три: на фор марсе — белый огонь, на правой стороне, у носа судна, — зеленый огонь и на левой стороне красный огонь.

[^^^]

Пять, шесть (франц.).

[^^^]

О сударь, будьте спокойны. Цена — франк за дюжину (франц.).

[^^^]

Ничего неделанье (итал.).

[^^^]

Ост — ВОСТОК.

[^^^]

Карты капитана американского флота Мори, на которых, на основании наблюдений, означено, в каких широтах нужно пересекать экватор, рассчитывая встретить более узкую штилевую полосу.

[^^^]

Попутный ветер, составляющий с диаметральной плоскостью судна угол более 90° и менее 180° .

[^^^]

Свечение характерно только для морских организмов. В пресных водах оно не наблюдается. Свечение морских организмов разделяется на постоянное (у бактерий), вынужденное — под влиянием внешнего раздражения — и произвольное. Природа свечения недостаточно выяснена, но, во всяком случае, электричество в этом явлении не при чем. — *Ред.*

[^^^]

Ладно (англ.).

[^^^]

В настоящее время моряки говорят просто «десять узлов», что равно десяти морским милям в час. — *Ред.*

[^^^]

Самый длительный переход «Коршуна» («Калевалы») за время плавания был от Порто-Гранде до Батавии и продолжался без захода в порты 73 дня. Ю.Ф.Лисянский на «Неве» в 1806 году сделал переход под парусами, продолжавшийся 142 дня. — *Ред.*

[^^^]

Над центром урагана образуется громадное облако, видимое на огромное расстояние.

[^^^]

На левый галс, то есть таким образом, чтобы ветер дул в правую сторону корабля. Этим способом можно уйти от центра урагана.

[^^^]

Временная мачта; ставится вместо настоящей, в случае если последняя сломается.

[^^^]

«Индийская гостиница» (франц.).

[^^^]

«Заслужкой» назывались деньги, которые выдавались непьющим матросам на руки за невыпитые ими казенные чарки, и деньги, которые оставались за несъеденное количество масла или какого-нибудь другого припаса, отпущавшегося по положению.

[^^^]

Местом встречи (франц.).

[^^^]

Окончание бизань-мачты: сначала идет бизань-мачта, продолжение ее называется крьюйс-стенъгой, а продолжение последней крьюйс-брам-стенъгой. Эти части делаются или из трех кусков рангоутного (круглого) дерева или из одного целого куска.

[^^^]

Вертикальные металлические брусья с блоками для проводки снастей.

[^^^]

Война эта тянулась с 1861 по 1865 г. и окончилась победой северян. Южные штаты (Южная Каролина, Джорджия, Флорида, Миссисипи, Алабама и Луизиана) принуждены были войти в состав республики Северо-Американских Соединенных Штатов, и невольничество было окончательно отменено.

[^^^]

Гавайские острова были названы английским мореплавателем Джеймсом Куком Сандвичевыми в честь тогдашнего морского министра Англии лорда Сандвича. — *Ред.*

[^^^]

Узлом измеряют пройденное кораблем расстояние, он равняется $1/120$ части итальянской мили, то есть 50 ф. 8 д. [Узел — 1 миля (1852 м) в час. — *Ред.*]

[^^^]

Снасти (веревки), которыми натягиваются паруса.

[^^^]

Свинцовая гиря на бечевке, которой измеряют глубину воды.

[^^^]

Длинные парусинные цилиндры, которые ставятся в жилые палубы вместо вентиляторов.

[^^^]

Лечь в дрейф — расположить паруса таким образом, чтобы от действия ветра на одни из них судно шло вперед, а от действия его на другие пятилось назад. Во время лежания в дрейфе судно попеременно то подвигается вперед, то назад, а следовательно остается почти на одном и том же месте.

[^^^]

Особый вид парусов.

[^^^]

Гитовы — снасти, которыми убираются паруса: взять на гитовы подобрать паруса гитовами.

[^^^]

Определить направление по компасу.

[^^^]

Свечение моря похоже на свечение фосфора и потому иногда даже называлось фосфоресценцией моря, но с фосфором совершенно не связано. — *Ред.*

[^^^]

Не звезда, а созвездие Южного Креста. — *Ред.*

[^^^]

Двухвесельная маленькая шлюпка.

[^^^]

Джемс Кук был убит гавайцами в феврале 1779 года из-за жестокости англичан; по их требованию островитяне вернули только части его тела. — *Ред.*

[^^^]

Ошибка в дате. Король Камеамеа посетил корвет «Калевала» в 1862 году. — *Ред.*

[^^^]

На Сандвичевых островах введена конституция.

[^^^]

Первые статьи Станюковича были напечатаны в «Морском Сборнике». — *Ред.*

[^^^]

Гасконь — старинная провинция Франции, теперь департаменты Ланда, Верхн. Пиренеев, Герца, Тарн-Гаронны, Ло-Гаронны. Гасконцы до сих пор сохранили особенный характер и обычаи; страсть их к хвастовству вошла в пословицу.

[^^^]

Эни Уайт (англ.).

[^^^]

Сударь (франц.).

[^^^]

«Лионский базар» или «Парижский магазин»
(франц.).

[^^^]

Низкосортный табак (итал.).

[^^^]

Адъютантов (франц.).

[^^^]

Непереводимая пословица: «На войне, как на войне», т. е. применяйся к обстоятельствам.

[^^^]

Этих собак аномитов (франц.).

[^^^]

То есть начинай вертеть шпиль — вертикальный ворот, на который наматывается канат или цепь.

[^^^]

Вымбовки — толстые и довольно длинные палки, вставляемые в голову шпиля.

[^^^]

Клюз — сквозное отверстие в борту для якорных цепей.

[^^^]

Апанер (панер. — *Ред.*) — положение каната перпендикулярно воде, когда якорь еще не встал, то есть не отделился от грунта.

[^^^]

По международным правилам во время тумана в целях предупреждения столкновений суда, стоящие на якоре, бьют в колокол; суда на ходу подают сигналы свистком, горном, сиреной. — *Ред.*

[^^^]

Порт Дуэ — ныне Александровск. — *Ред.*

[^^^]

Дерево, составляющее переднюю оконечность судна.

[^^^]

Когда направление ветра составляет прямой угол с курсом корабля (в «полветра»).

[^^^]